

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ



ПОКИДАЯ ЗЕМНЫЕ КВАРТИРЫ

ПЕРЕФОРМИРОВКА

Возле города Орла
полк в боях сгорел дотла.
Командир убит, а танки —
их печальные останки —
головешками в золе
раскидало по земле.

Из людей — десятка два
выжило едва-едва,
повезло им, что успели
выскочить, пока горели
бензобаки и движки
и снарядные лотки.

А когда огонь остыл,
выживших послали в тыл,
чтоб на сборном пункте в Туле
подлечились, отдохнули
и вернулись бы опять
в новых танках воевать.

ВЕРСТАКОВ Виктор Глебович родился в 1951 году в семье офицера-фронтовика. Окончил Военно-инженерную академию им. Дзержинского, полковник запаса. Автор нескольких стихотворных книг. Член Союза писателей России. Живёт в Москве и тверской деревне Бирюльки.

Переформировка. Так
называли этот шаг
с фронта в тыл, затем обратно.
Мой отец неоднократно
совершал его, когда
брал на танках города.

Ну, а в Туле есть вокзал,
сохранился даже зал,
где отец мой не однажды
заливал тоску и жажду
самогоном и вином
в ресторанчике хмельном.

Я недавно там сидел,
в те же окна я глядел,
и бежал мороз по коже:
всё знакомо, всё похоже,
словно тыловым винцом
отпивался здесь с отцом.

А потом чеченский фронт;
чёрт бы с ним, да вдруг ремонт
учинили на вокзале
с перепланировкой в зале...
Ничего не узнаю.
Без отца впервые пью.

ИКОНКА

Мама в ту пору была медсестрой
в госпитале фронтовом.
Песенки раненым пела порой,
если попросят о том.

Как молода была, как хороша,
пусть не ахти голосок,
слушали раненые чуть дыша,
боль подзабыв на часок.

Мама всю жизнь вспоминала бойца
с малой иконкой в руке,
не убирал он её от лица,
прятал слезу на щеке.

— Утром я вновь на дежурство пришла,
Всё образок он держал.
“Нина, иконка меня не спасла”, —
мне перед смертью сказал.

Непредсказуемы Божьи пути,
неугасима война.
— Мама, — твержу я сквозь годы, — прости. —
Держит иконку она.

НА ВЕЛИКОЙ ВОЙНЕ

Спаси, Господь, от зимней службы,
ночёвок на снегу,
заиндевевшего оружия
и маршей сквозь пургу.

Броня в морозы не спасала:
так холодна была,
что кожу с пальцев отрывала,
насквозь ладони жгла.

Отец рассказывал, что ночью
они из танка — прочь,
солярку заливали в бочку
и жались к ней всю ночь.

Или под днище танка лезли
и возле костерка
дымились в копоти железной,
не рассветёт пока.

А рассветёт — тогда в атаку,
Сминая всё подряд.
В бою согреются, однако.
Или совсем сгорят.

ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ

Живём в Ленинграде, в “Латинском квартале” —
на улице Серпуховской,
здесь издавна койки студентам сдавали;
в Париже квартал есть такой.

Отец поступил в Академию тыла,
подвальную комнату снял,
которую мать называла “могила”,
а старший мой брат одобрял.

Там были такие дворы проходные,
такие глухие места,
такие сараи, такие пивные,
что даже Москве не чета.

Отец и в “могиле” учился ночами,
отличником стал, но грустил:
ведь он же танкист, ведь война за плечами,
а медики выслали в тыл.

Ну, ранен, горел, ну, немного контужен,
но разве же он тыловик?
И был Ленинград ему вовсе не нужен —
он к танковым боксам привык.

Ни мама, ни брат его не понимали,
а я, потому что был мал,
вдруг сам разлюбил столь мне милый вначале
жестокий “Латинский квартал”.

“ПРИМА”

Закурю я солдатскую “Приму”,
вспомню армию, службу, войну —
то, что строчками невыразимо,
что мне критики ставят в вину.

— Человек не рождён для убийства, —
говорят они. — Плюнь и забудь. —
Для чего ж он рождён? Для витийства,
для словес, разрывающих грудь?

Но людей разрывает не слово,
а снарядная сталь и свинец.
Это с осени сорок второго
понял и передал мне отец.

Нет, порой и слова разрывают,
если в них обнажается связь
с тем, кого на войне убивают...
Вот и “Прима” моя порвалась.

ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ

Господи Боже, на что мы похожи,
как мы слабы и смешны.
Вроде бы не виноваты, а всё же
сдали страну без войны.

Да, мы не трусили в Афганистане,
не отступили в Чечне,
но прогорели на телеэкране
в грязном эфирном огне.

С чем обратимся, отцы-командиры,
к бывшим родимым полкам?
Что, покидая земные квартиры,
скажем фронтовикам?

Армии, дескать, не место на сцене
переворотов дурных...
Господи, не обвини нас в измене —
честных, наивных, смешных.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



УБИЙСТВО ГОРОДОВ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Он всплывал из сна, как подводная лодка из тёмных глубин. В этой зыбкой тьме клубились видения, проплывали земли, струились лица, размытые, как в тусклых зеркалах. И каждое рождало страх, или нежность, или раскаяние, или влечение, и они тут же забывались, уносились потоками сна. Вся ночь превращалась в череду непрерывных свиданий. Встречи с любимыми прерывались появлением незнакомцев, иногда столь живых и уродливых, что он просыпался со стоном.

На этот раз среди бесчисленных встреч состоялось свидание с женой, из той восхитительной поры, когда она в своём свежем ликующем материнстве предстала в белизне то ли ночной рубахи, то ли прозрачной занавески, за которой, невидимый, цвёл куст жасмина, и играли дети.

Дмитрий Фёдорович Кольчугин поднимал с кровати своё старое тело, приводя в движение каждую мышцу отдельно. Усилием воли заставлял двигаться ноги, спину, затёкшие плечи, вспоминая, как в молодости одним счастливым толчком выбрасывал себя из кровати, перемещаясь из сна в сверкающий мир.

Он спустил босые ноги на пол, и перед ним возник кабинет, в котором он спал на диване. Два окна, полные зелени солнечного утреннего сада.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната", "Человек звезды", "Время золотое". Живет в Москве.

Книжная полка, сплошь уставленная написанными им книгами. В скромных переплётах — из советских, пуританских времён, когда избегали яркого цвета. И нарядные, помпезные — последних лет, с красочными корешками, которые должны были привлекать покупателей, как цветы привлекают пчёл. Вся его огромная жизнь уместилась в книгах с описанием войн, переворотов и революций, среди которых он жадно и страстно творил летопись отпущенных ему “временных лет”. Верил, что Господь удерживает его на земле ради этой вменённой ему работы.

Стол с компьютером был аскетически строг, без бумаг, безделушек. Компьютер давно не включался. В нём хранился случайно залетевший туда отрывок текста. Так в кусок янтаря залетает случайный пузырёк воздуха, чтобы остаться там навсегда.

Во всю стену в пятнах солнца сиял иконостас, составленный из икон, которые он собирал в молодости, путешествуя по северным деревням в поисках утраченного русского рая. Среди алых и голубых плащей, смуглых лиц и золотых нимбов отыскал образ Димитрия Солунского, своего небесного покровителя. Помолится ему бессловесной молитвой, отворил сердце и выпустил в него лучезарного воина.

Отдельно стояла полка, уставленная трофеями его былых походов. Афганские вазы из лазурита и яшмы. Африканские маски из чёрного дерева, инкрустированные перламутром. Эфиопский крест, напоминавший медные кружева. Чучело никарагуанского крокодила с зубастой пастью. Всё это было покрыто пылью, ибо в доме не было женской руки, оберегающей сокровища прошлого.

Он принял душ, промывая складки тяжёлого полного тела, и долго растирался мохнатым полотенцем, желая вернуть бесчувственной коже розовый жар. Стоял перед зеркалом, недовольно разглядывая свои пепельные волосы, сумрачно сжатые брови, узкие, с тусклым светом глаза. В горьких морщинах у носа и рта, как в желобах, текли реки разочарования и иронии. И сквозь это выцветшее лицо вдруг брызнул его молодой лик, счастливый и пылкий. Так иногда в лучах вечернего солнца загорается на церковной стене чудом уцелевшая фреска.

Он вскипятит чайник и пил кофе, глядя на большую фотографию жены. Жена внимательно, нежно, с лёгким состраданием наблюдала его одинокий завтрак. Снимок был сделан перед самой её болезнью, и в ней ещё сохранялась благородная женственность, поздняя красота и несломленное болезнью достоинство. На её открытой белой шее красовалось фамильное гранатовое кольцо, словно брызги тёмно-алого сока.

Он не мог слишком долго смотреть на портрет, ибо сердце начинало стонать, и приближались рыдания.

Сегодня был государственный праздник, День России, и он был зван в Кремль на торжественный приём. Предстояло выбрать чистую рубашку из стопки, что пригодила дочь. Извлечь из шкафа парадный костюм. Начистить до блеска туфли. Всё то, в чём прежде помогала жена и что теперь давалось ему с трудом.

Над столом висели большие часы с бегущей секундной стрелкой. Приближалось время утренних новостей, и он пошёл включать телевизор.

Экран глянцевитый, чёрный, как ночное озеро. Пульт с маленькой красной кнопкой. Кольчугин боялся её нажать. Боялся зажечь экран, испытывая страдание, какое испытывает пациент при виде скальпеля. Будущий порез начинал болеть, и плоть трепетала, предчувствуя прикосновение стали. Так трепетала его душа, ожидая разноцветного изображения на экране.

Это была пытка, которой он себя подвергал каждое утро, когда смотрел новости с юго-востока Украины. Нажал кнопку, словно лёг на операцию без наркоза.

Журналист с утомлённым лицом обречённо сжимал микрофон с надписью “Россия”. Показывал последствия артолёта на жилой квартал Донца: проломы в стене, искорёженная арматура, воронка в асфальте.

Кольчугин, сидя перед телевизором, вдруг ощутил знакомое жжение в ноздрях от едкой гари, услышал хруст стеклянных осколков, на которые

наступала нога. Осторожно обходил воронку и липкую, начинавшую густеть лужу крови. Украинский вертолёт, как каракатица, выпускал дымные трассы, и Кольчугин слышал железный скрежет снарядов, скребущих землю, видел польхнувший взрыв, сметающий дома. Ополченец в казачьей папахе бил из амбразуры по невидимой цели, и Кольчугин видел фонтанчики гильз, которые скакали по паркету его комнаты. Латунная гильза ударила его в щеку и обожгла.

Шли кадры, на которых двигался железнодорожный состав, уставленный украинскими танками. Их туманная вереница вызывала ломоту в зубах, стальная мощь танков была нацелена на папаху ополченца, на его постукивающий автомат, на его обречённую жизнь.

Показывали беженцев, прибывших в Россию из разбитых городов. Молодых женщин с голыми плечами в летних сарафанах, солнечных младенцев с белокурыми головками. И снова танки, пикирующие штурмовики.

Кольчугин не мог слышать очередное заявление министра иностранных дел, который требовал от Киева прекратить кровопролитие, осуждал бесчеловечный режим. Негодование Кольчугина вызывал не столько бесчеловечный украинский режим, сколько пресные, изо дня в день повторяемые увещевания министра, под укоризны которого убивали людей Донбасса. Много дней подряд, танками, гаубицами, установками залпового огня убивали беззащитных жителей города.

Кольчугин выключил телевизор. Лежал обморочно в кресле, слыша, как кувыркается сердце, готовое сорваться в жестокую аритмию.

Он не мог разгадать смысл операции, которую осуществляли центральные телеканалы, изо дня в день показывая гражданам убийства русских, сопровождая эти убийства неискренними вялыми заявлениями МИДа о защите русских в любой части света и любыми средствами. Бойня русских проходила по соседству с Россией, в Донбассе. Детские гробы и надгробные рыдания рвали сердце. Но не было ввода российских войск, громивших убийц. Не было точечных ракетных ударов, уничтожающих украинские гаубицы и “Грады”. Не было “бесполётной зоны” над Донецком и Луганском, когда каждый бомбящий города штурмовик, каждый атакующий вертолёт сбивались бы огнём ПВО.

Всё это копил в народе ненависть и разочарование. Ненависть к предателям “русского мира”. Разочарование и унылую злобу, в которых меркло лучезарное солнце Крыма, воссиявшее в каждой русской душе и теперь потускневшее.

Кольчугин смотрел на чёрный экран, в котором погасли ядовитые пятна. И его душа стремилась вслед за исчезнувшим изображением. Хотела слиться с электронной волной, бестелесно промчатся в эфире и вновь облечься в плоть. Очутиться рядом с ополченцем в казачьей папахе, увидеть его потное усатое лицо, латунные россыпи гильз на полу.

Там, в этих убиваемых городах, было его место. Там продолжалась череда войн и революций, свидетелем которых он был всю свою долгую жизнь. Писал их жестокую хронику. Составлял летописный свод. Там, в Донбассе, надлежало ему продолжить труд летописца. Труд портретиста, который пишет предсмертные портреты убиваемых городов.

Его порыв, страстный, стремительный, был остановлен ударом в грудь, где больно набухло сердце и бессильно опало. Душа ударилась о чёрный экран телевизора, как ударяется о стекло залетевшая в комнату птица.

Он был немощен, стар. Его плоть была изъедена хворьями. Он больше не мог, согнувшись, перебегать под обстрелом. Не мог протискиваться в узкие люки бронемашин. Не мог спать без таблеток. Не мог без них одолевать головокружение и боли в груди. Его время прошло. Прежде он был писателем “поля боя”, но теперь ему не было места в сражении. В городах, которые погибали, не было художника, и их смерть в потоке времён будет забыта.

Он смотрел на портрет жены. Как бы она сейчас рыдала и убивалась, глядя на жестокий экран... Как бы молилась в церкви! Как бы ходила по дворам, собирая вещи для беженцев...

“Милая, милая!” — шептал он, глядя на фотографию.

Теперь, когда его жизнь завершалась, ему следовало укротить клочущую страсть, остановить погону за ускользающим временем. Ибо мир изнурительно повторяет себя в непрерывных войнах, восстаниях, крушениях царств. Среди этих взрывов и скрежетов, которыми наполнилось его творчество, не слышна была тихая молитва, робкое упование, кроткое смирение. Но теперь, на исходе жизни, к этим тонким звукам и потаённым шёпотам должна была обратиться душа перед тем, как унесётся с земли.

Он старался вспомнить недавний сон. Чистая летняя комната. Белая занавеска волнуется от сладкого ветра. За окном — благоухающий куст жасмина. И жена — молодая, прекрасная, обнимает детей.

Кольчугин поднялся. Приблизился к портрету жены. Поцеловал ей глаза.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Его приглашали в Кремль на государственные празднества, инаугурации, торжественные выступления президента. И это после долгой опалы, когда он, “певец красной страны”, отверг власть, погубившую государство. Он стал непримиримым оппозиционером. Оставил писание романов и в хлёстких, беспощадных статьях клеймил отступников, совершивших четвертование Родины. Его исключили из числа именитых персон. Подвергли гонениям. Предали анафеме его книги. Назвали личностью, которой не подадут руки. Его утончённо и искусно убивали, объявив бездарью, окружив его имя глухим молчанием.

Однако в Кремле поменялись хозяева. В их лицах, изуродованных революционным взрывом, начинали проступать черты исконной власти, призванной управлять континентом Россия. Новый президент, балансируя среди враждующих групп, на руинах разгромленной страны стал строить новое государство.

Кольчугин приветствовал это строительство. Содействовал ему своими статьями. Пророчил соединение разъятых пространств, союз разрозненных народов. Постепенно вернул себе репутацию “певца государства”. Недавние кумиры, желавшие ему смерти, были отодвинуты, и на освободившиеся места возвращали опальных.

В роковом 93-м, когда в Москве стреляли и горел Дом Советов, Кольчугин бежал в леса, спасаясь от ареста. Он был баррикадник, соратник восставших вождей. И пока их отлавливали и свозили в тюрьму, Кольчугин жил у друга среди осенних лесов. Они горевали, пили злую водку, пели русские горючие песни, ожидая, когда в избу постучат каратели.

Казалось, это было недавно. Теперь же Кольчугин ехал в Кремль как гость президента.

Шофёр предьявлял пропуск постовым, те отдавали честь. Кольчугин надеялся среди звона бокалов, картинных, напоказ, объятий и поцелуев услышать речь президента. Найти в этой речи ответ: что станет с восставшими городами Донбасса? Забыют ли их до смерти на глазах онемевшей России? Зачем телевидение пытается народ, показывая, как калечат и пытаются русских, ставят на колени среди площадей? И когда настанет конец этой пытке, русские танки ворвутся на Крещатик, и обугленные города Донбасса избегнут смерти?

За этим ехал в Кремль Кольчугин, испытывая ноющую боль, словно в груди двигался крохотный осколок, медленно подбираясь к сердцу.

Он приехал в Кремль раньше, до сбора гостей. Тяжело поднимался вверх от Кутафьей башни, неуверенно, слепо ставил ноги на брусчатку, чёрную, как чугунные отливки. Среди дворцов и соборов были поставлены белые островерхие шатры. Дымилась жаровня, сверкало стекло, расхаживали служители в белых сюртуках и перчатках. Но доступ к шатрам был ещё перекрыт, и Кольчугин, минуя табор, вышел на Ивановскую площадь. Чешуйчатую, как солнечная застывшая рябь, её обступали белоснежные соборы, похожие на ледяные громады. Казалось, купола в серебре и золоте чуть колышутся, как воздушные шары, готовые взмыть в синеву.

Всякий раз, с малолетства, глядя на Кремль, Кольчугин чувствовал, как у него замирает дыхание. Не от восторга, не от благоговения — от ощущения чего-то незбылемого, искомого, как аксиома о параллельных прямых, которые не пересекаются в бесконечности. Кремль не подлежал переменам, находился в глубине всех явлений, обладал неподвижностью ядра, вокруг которого на разных скоростях и расстояниях вращается множество событий, люди, исторические времена, цари и вожди. И он сам влетел в сверкание куполов, чтобы промелькнуть в их волшебном сиянии и исчезнуть.

Он стоял на брусчатке перед белым Архангельским собором, наслаждаясь одиночеством. Старался точнее выразить свои ощущения. Возник образ молока в кувшине, сберегающем прохладу и белизну среди раскалённого пекла.

Увидел, как через площадь приближается человек. Маленький, в чёрном костюме, прихрамывая, скосив к плечу продолговатую голову. Макушку прикрывала тёмная кипа. Кольчугин узнал раввина Карулевича, с которым встречался иногда на приёмах и в общественных собраниях.

Карулевич приблизился, затоптался на месте большими башмаками, поднимая глаза к золотым куполам.

— Что я вам скажу. Здесь, в Кремле я чувствую себя русским. Вы мне ответьте, разве я, еврей, не могу чувствовать себя русским?

— Наверное, в Кремле каждый чувствует себя русским, — Кольчугин глядел на коричневое, болезненное лицо раввина, на котором бегали измученные глаза.

— Нет, вы мне скажите, почему я плачу, когда вижу по телевизору, как в Донбассе убивают русских? Разве мало было еврейского холокоста, чтобы теперь устраивать холокост русских?

— Украинские олигархи, насколько мне известно, в своём большинстве евреи. Они объединились с бандеровцами и их руками убивают русских Донбасса.

— Это не евреи, не думайте так говорить. Они не помнят, что в Киеве есть Бабий Яр. Они делают всё, чтобы снова в мире убивали евреев — и в Киеве, и в Берлине, и в Каире. Русские те, кто погасил печи Освенцима, и евреи благодарны русским. А те, кто убивает русских в Донбассе, не евреи и никогда ими не были. Может быть, они ходят в синагогу, но они не евреи.

Карулевич озирался на соборы, на их белоснежную красоту, словно хотел убедить их в искренности своего страдания. Золотые купола сияли над маленькой бархатной кипой, и казалось, внимали ему.

— Нет, вы мне скажите другое. Разве наш президент не русский? Разве он не плачет, когда видит, как в Донбассе убивают людей? Разве у него железное сердце? Почему я, простой раввин, хочу увидеть русских солдат на улицах Донецка? Почему он не хочет? Вы мне можете это сказать?

— Не могу, — ответил Кольчугин.

— И я не могу.

Карулевич горестно вздохнул, тоскливо посмотрел на золотые купола и засеменял, зашаркал по брусчатке к белым шатрам, где уже начинали пускать гостей. Словно там ожидал услышать слова утешения.

На входе в табор стояла рамка металлоискателя. Гости послушно выкладывали на подносики мобильные телефоны, очки, связки ключей. Кругом белели шатры, словно в центре Кремля кочевое племя разбило стойбище. Дымилась жаровня, румянились шашлыки. Служители в белых колпаках накладывали на тарелки рыбу, парное мясо, бараньи ребра. Под острый нож попадали фиолетовые щупальца осьминога, розовая мякоть лобстера. Официанты разносили шампанское. Другие предлагали водку, коньяк, вино. Гости устремлялись к жаровням, жадно и весело расхватывали снедь, глотали напитки. Усаживались за столики под матерчатými зонтиками.

Дым, запах мяса, гомон, смех. Возбуждённые лица депутатов, сенаторов, объятия, поцелуи.

Отдельно от столиков под белым балдахином был накрыт стол для президента, премьер-министра, спикеров Совета Федерации и Государственной Думы, Патриарха Всея Руси. Пространство перед столом пустовало. Его обе-

регали молодые люди в туго застёгнутых пиджаках с выющимися проводками на бритых затылках.

Кольчугин, чувствуя слабость в ногах, уселся за столик, поставив перед собой бокал шампанского. Наблюдал вязкое кружение жующих, гомонящих гостей. Они переносили от столика к столику слухи, сплетни, весёлые анекдоты и злые шутки, среди которых каждый хотел уловить важную для себя новость, полезный намёк, опасное для карьеры веяние. Все исподволь взглядывали на балдахин, ожидая появления президента, его торжественной речи.

Кольчугин, как и все, ждал этой речи. Полагал услышать в ней объяснение чудовищному промедлению России, допускающей убийство русских в Донбассе.

Мимо прошёл, окружённый свитой соратников, лидер коммунистов. Вальяжный, загорелый, источая благодушие, одаривая всех открытой улыбкой, готовый к дружескому общению. Его взгляд метнулся в сторону балдахина, обрёл на мгновение тревожную зоркость, вопрошающее нетерпение.

Прошёл лидер либеральных демократов. Крутил во все стороны подвижной головой, играл язвительной улыбкой, мерцал цепкими ястребиными глазами. Глаза скользнули вдоль балдахина, на секунду пугливо остекленев.

Кольчугин смотрел, как проходят мимо губернаторы, главы корпораций, олимпийские чемпионы, генералы в мундирах. Появились величественные митрополиты с драгоценными панагиями, муфтии в рыхлых белых чалмах, хасиды в чёрных шляпах, с горделивыми бородами. Известный детский врач приобнял своего друга, знаменитого кардиолога. Учёные и директора заводов, музыканты и народные артисты.

Это был цвет государства, его оплот и опора, объединённые вокруг президента. Того, чью речь они так спешили услышать. Того, кому искренно и верно служили. До той поры, пока вдруг не ослабнет их кумир, ни сместится центр власти. И рядом не возникнет другой, набирающий силу кумир. И тогда все они начнут метаться, перебегать от одного центра к другому, оставляя недавнего повелителя в одиночестве. Обрекут его на гибель, торопясь прильнуть к новому благодетелю.

За столик Кольчугина один за другим подсади художник Узоров, политолог Лар, журналист Флагов, историк Муравин — все именитые, отмеченные заслугами, умеренные патриоты. Забыли то время, когда шарахались от Кольчугина, чураясь его оппозиционных воззрений. Они принесли с собой рюмяное мясо, зелень, рюмки с вином и водкой.

— Потесним Дмитрия Фёдоровича в его гордом одиночестве, — политолог Лар угощал Кольчугина шашлыком — простодушный, курносый, похожий на дворового мопса. И только глазки, умные и пронзительные, буравили Кольчугина.

— Прекрасная ваша статья о русском языке, Дмитрий Федорович, — Узоров в рубашке с бантом, длинноволосый и смуглолицый, поднял в честь Кольчугина бокал с вином. — Вы сказали, что русский язык — это тот, на котором каждый прочтёт на камне своё имя, дату своего рождения и смерти. Прямо мурашки побежали!

— Рано ещё писать имя на камне, Дмитрий Фёдорович, — бодро заметил Флагов. — Хочу прочесть ваше имя на обложке новой книги. Над чем сейчас работаете?

— Романы Дмитрия Фёдоровича — это хроника новейшей истории. Должно быть, уже начали роман о событиях в Донбассе? — Муравин, с полным, сдобным лицом, позволил себе лёгкую иронию, хотя был автором хвалебной рецензии, в которой разбирал роман Кольчугина о чеченской войне.

— Чёрт знает, что творится в Донбассе, — Узоров обжегал всех взглядом, желая убедиться, что находится в кругу друзей, разделяющих его недоумение. — Русского Ивана бьют, дупят по башке. Бомбят почём зря эти укры чёртовы — откуда только взялись? А мы сопли вытираем. Пальчиком грозим. Плохие мальчики, перестаньте! Был бы Сталин — в два часа танки до Киева! А то и до Львова! А то и до Варшавы! Сколько можно русским плевки терпеть? Вести войска!

— Рассуждаете пылко, эмоционально. Как и следует живописцу, — Лар снисходительно, хотя и с симпатией, возразил Узорову. — А ядерную войну

не хотите в ответ на танки? С Америкой воевать готовы, которая в тысячу раз нас сильнее? От ваших картин одни угольки останутся. — Лар направил на Узорова сведённые к переносице глаза, нацелил заострённый нос и стал похож на дятла, который выбирает на дереве место, куда вонзить серию долбящих ударов.

— Не надо пугать атомной бомбой! Ядерную кнопку никто не нажмёт, ни они, ни мы, — раздражённо возразил Муравин, кольхнув двойным подбородком. — Хуже другое. Каждый убитый в Донбассе русский гасит солнце Крыма, которое возшло над Россией. Гасит солнце президента. Как бы не пошатнулась его популярность! Общественное мнение, знаете ли, ветрено, вероломно. Сегодня его называют Великим Русским, повенчавшим Крым с Россией. А завтра начнут шептать, что он предал русских, — последние слова Муравин произнёс шёпотом, вжав голову в плечи, опасливо оглядываясь на проходящих гостей. — Но ведь мы-то с вами так не считаем! Мы-то понимаем мотивы президента, — тем же пугливым взглядом Муравин обвёл собеседников, поспешив запить неосторожные слова французским вином.

— Мотивы одни, господа, — лицо Флагова, когда-то красивое и порочное, блиставшее на телеэкранах, теперь испитое и тусклое, напоминало мертвенную осеннюю луну. — Если мы вслед за Крымом присоединим ещё и Донбасс, наша экономика лопнет, как гнилой баллон. Мы не потянем, пупок разорвётся. Не сможем кормить миллионы оголодавших безработных шахтёров, которые, чуть что, начинают стучать касками. А ведь теперь у ополченцев не отбойные молотки, а “калашниковы”. Их больше не загонишь в шахты, они выставляют блокпосты на Арбате. Правильно я говорю, Дмитрий Фёдорович? — он воззрился на Кольчугина, и на его выцветшем лице, словно его потёрли бархоткой, проступили черты порока.

— Если мы допустим, что их убьют, то их кровь будет на нас, — глухо ответил Кольчугин, чувствуя, как боль тонкими струйками течёт от сердца в другие части тела. Так по небу струятся волокна близкой грозы, невидимой за лесами.

“Президент откроет смысл операции, вдохнёт надежду, развеет тягостные подозрения”, — так думал Кольчугин, связывавший с президентом свои надежды, свою репутацию и доброе имя.

— Напрасно, господа, мы ждём от президента решительных действий, как в случае с Крымом, — журналист Флагов неряшливо оттопырил фиолетовую губу. — Президент остановлен. Его остановило ближайшее окружение, которое сядет сейчас вместе с ним за стол. Мы же знаем, что оно молится на Америку и говорит президенту: “Не рыпайся, а то споткнёшься”. Вы посмотрите внимательно: зреет заговор. Он чувствует себя в западне.

Кольчугин ждал появления президента. Ждал его речи, в которой найдётся ответ на мучительную загадку. Желал увидеть его лицо, ещё недавно сиявшее в Георгиевском зале среди хрустальных люстр и беломраморных плит с золотыми именами гвардейских полков. И зал вставал, бушевали аплодисменты. Он говорил, что Крым вернулся навеки в родную русскую гавань. Что русские своих не бросают. И все обожали его озарённое лицо.

— Он все ещё хочет понравиться Западу, — Флагов сморщился, словно в рот ему попала горькая ягода. — Он хочет задобрить Америку, но ему уже вынесли приговор. Если он даст слабинку, его уничтожат, как уничтожили Милошевича и Каддафи. Только вперёд! Наступать, наступать! Иначе он покойник, да и мы вместе с ним!

— Не спешите с выводами, мой друг, — с загадочным видом произнёс историк Муравин. — История умнее нас. Русская история умнее, чем НАТО. Мы ещё увидим разный удар президента.

В воздухе что-то щёлкнуло, и металлический голос нараспев возвестил среди шатров и золотых куполов:

— Президент Российской Федерации...

И все отвлеклись от переполненных яствами тарелок, винных бокалов. Как подсолнухи, обратились все в одну сторону — к белому балдахину. Там уже стоял президент, окружённый сподвижниками.

Кольчугин неясно различал лицо президента. Сжатые брови, узкие, напряжённые губы, заострённый подбородок и скулы. То знакомое выражение,

когда страсть и энергия рвались наружу металлическим звоном слов, искрящим блеском глаз. Тогда его речь разносилась по миру, как манифест государства, которое преодолевает ещё один рубеж становления, сбрасывает ветхую кожу, сияет доспехом. Сейчас государство вновь оказалось перед грозной чертой. Возвращало себе отторгнутые территории. Обретало веру в неодолимую русскую силу.

Кольчугин ждал манифеста. Ждал слов, подтверждающих эту веру.

— Дорогие друзья, соотечественники, — раздался знакомый голос. Кольчугин вслушивался, стараясь выделить живые биения из мегафонных шелестов. — Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём России.

Произнесённые тусклым голосом слова обесценивали значение праздника, делали бесцветным слово “Россия”. Не было восторженного металлического звона, искромётного взлёта. Сухое, пергаментное, блеклое слово обессилило Кольчугина. Кремль с золотыми куполами и медовыми дворцами казался нарисованным на картоне.

— Наша Родина создавалась многими поколениями наших предков. Создавалась великими усилиями и жертвами. В создании Российского государства принимали участие все народы нашей страны.

Слова были обыденные, потерявшие цвет, как стиранное много раз полотенце. Их использовали для рутинных выступлений и казённых речей. Переносили из одной речи в другую. Помещали в заранее отведённые места, как детали на конвейере серийных изделий. Кольчугин болезненно слушал.

— В нашей жизни бывает много трудностей, но и много свершений, побед. И трудности, и победы объединяют нас, и мы дорожим нашим единством.

Шелестящий легковесный сор сыпался на голову Кольчугина, сострадавшего ужасам и страданиям Донбасса. Под грохот гаубиц. Среди красных гробов. Истошно кричащих женщин. Русских пленных, которых ставили на колени среди поверженных площадей. И от этих зрелищ, неустанно поставляемых телевидением, рыдала вся Россия. Умоляла и кляла президента.

— Мы верим в наше будущее, в наши моральные ценности, в наше единство, в процветание нашей России.

Кольчугина поражала ничтожность слов, мертвенность языка, вялость интонаций. Словно президент находился под гипнозом и повторял внушённый ему мертвенный текст.

— С праздником, друзья! За Россию!

Все аплодировали, взволнованно поднимали бокалы. Некоторые приближались к балдахину настолько, насколько позволяла охрана. Там были генералы, знакомые Кольчугину по чеченским войнам. Дипломаты, с которыми он встречался на международных форумах. Артисты, приглашавшие его на свои спектакли. Все кружились, сталкивались, перетекали один в другого, словно жидкое стекло.

Кольчугин качнулся. В его горле начинался крик, который перешёл в хриплый клёкот, в жалобный стон. Он обмяк на стуле. В грудь его словно кинули раскалённый булыжник.

За столом никого уже не было. Его недавние собеседники кружили в людских водоворотах, с кем-то обнимались, насмешничали. Судили и рядили, попутно решая свои суетные дела. Никто не замечал красоты кремлёвских куполов. Никто не смотрел в небеса. Никто не старался разгадать тайну русской истории, реющую среди узорных крестов. Золотые купола беззвучно хохотали над теми, кого завтра сметёт без следа загадочный русский вихрь. Они бесславно исчезнут, так и не успев прочесть поднебесную надпись на колокольне Ивана Великого.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Кольчугин вернулся в свой загородный коттедж, в который уж десять лет как переехал из фешенебельной московской квартиры. Они с женой радовались тишине, окрестным дубравам, водохранилищам, от которых ветер при-

носил запах воды, тихие туманы и белых крикливых чаек. Они перенесли в свое загородное жилище фетиши прожитой жизни. Иконы, которые собирали, путешествуя по северным деревням. Глиняные и деревянные игрушки народных мастеров и затейников. Разноцветный фонарь, под которым протекло его детство и собиралась многочисленная, теперь уже канувшая в небытие родня. И конечно, книги, эти хранилища, в которых, превращённая в романы, сберегалась прожитая им жизнь.

Их дети обзавелись семьями, разъехались по своим домам. И этот загородный коттедж был прибежищем их старости, приютом последнего, отпущенного им срока.

Кольчугин вернулся из Кремля изнурённый. Своей одинокой усталой волей он был не властен повлиять на чудовищную лавину событий, под которой погребалась эпоха. Рушились города, скрежетали границы, маячила мировая катастрофа.

Он вернулся в свой дом, где всё было внятно, проверено, сопоставимо с прожитой жизнью, с тихой болью воспоминаний.

Ходил по дому, приближаясь к предметам, которые вызывали мысли о жене. В первое время после её смерти эти прикосновения причиняли нестерпимую боль, сотрясали рыданиями. Но, мучаясь, он нуждался в этих страданиях, вызывал рыдания. Рыдания прорывали глухую стену, за которой скрылась жена. Он прорывался к ней, захлёбываясь болью, и они на несколько мгновений оказывались вместе.

Постепенно рыдания сменились ноющей мукой. Жена присутствовала в доме, пробуждая позднее раскаяние, неутолимую тоску. Но постепенно, года через три, тоска превратилась в тихую печаль, сладостное обожание, терпеливое ожидание встречи.

Он приблизился к дивану, на котором лежала маленькая, шитая золотой нитью подушка. Её когда-то положила жена, и он помнил, как её голова касалась подушки. Он провёл рукой над золотым шитьём, словно погладил жену по голове. “Милая!” — произнёс он беззвучно.

На камине стоял кованный подсвечник с остатками розового воска, с той последней новогодней ночи, когда жена, уже больная, вышла к столу, и они чокнулись бокалами шампанского, и взгляд жены был умоляющий, словно она знала о неизбежной разлуке. Кольчугин тронул застывшую каплю воска. “С Новым годом, родная!” — произнёс он, чувствуя, как начинают дрожать губы.

На стене, укреплённое булавкой, красовалось ястребиное перо, серо-коричневое, рябое. Жена нашла его на лесной дороге, принесла домой и прикрепила над дверью. Он посмеивался над её привычкой засушивать в книжках полевые цветочки, собирать на память шишки, речные ракушки, разноцветные камешки. “Ты, как сорока, всё тащишь в своё гнездо!” Теперь, коснувшись пера, подумал, что перелистает томики Пушкина, Тютчева и Есенина, в которых таятся выцветшие колокольчики, анютины глазки, розовые гераньки, и зазвучит её родной голос.

Ему казалось, что жена появляется в доме в его отсутствие. Кто-то невидимый перекладывал в его кабинете очки, листы бумаги. Кто-то перевешивал пиджак с одной вешалки на другую. Кто-то клал на его рабочий стол садовый цветок. Комнату жены, где она умерла, он боялся открывать, чтобы в ней сохранилось её дыхание. Плед, которым была покрыта широкая кровать, шкаф с её платьями и платками, японская ваза с драконом, иконы в углу, фотография, где они с маленькими детьми сидят на берегу пруда, — от всего этого исходило тихое тепло, словно жена ненадолго вышла из комнаты и скоро вернётся.

Он услышал телефонный звонок. Бархатный, исполненный почтения голос принадлежал Виталию Пискунову, важной персоне центрального телевизионного канала.

— Дорогой Дмитрий Фёдорович, как себя чувствуете? Не отрываю ли вас от письменного стола? Очень соскучился.

— Чувствую себя по годам моим. Держусь на ногах. Но пора обзаводиться клюкой.

— Ну, что вы, Дмитрий Фёдорович! Молодым за вами не угнаться! Из каждого вашего слова, из каждой строки так и брызжет энергия.

— Я так не думаю, — сдержанно ответил Кольчугин.

Когда-то Пискунов был подающим надежды писателем. Показывал Кольчугину свои первые рассказы о русской деревне, о деревенских старухах, доживающих одиноко свой век среди осенних дождей. Кольчугин благосклонно отозвался о рассказах, отмечал в них тонкое знание деревенского быта, присущее русским писателям сострадание. Но Пискунов не пошёл по литературной стезе — его поглотило телевидение, это стоцветное тысячеглавое чудовище. Пропустило сквозь свое хлопотное утро. Изжевало, переварило. Из застенчивого литератора, размышляющего о горькой русской судьбе, он превратился в преуспевающего дельца, циничного исполнителя. В ловкого манипулятора, создающего на экране мнимую картину мира, удобную властям.

Обо всём этом подумал Кольчугин, слушая мягкий, сытый голос Пискунова.

— Я хочу пригласить вас, Дмитрий Фёдорович, в нашу программу “Аналитика”. Мы обсуждаем кризис на Украине, и ваше мнение для нас бесценно.

— У меня нет мнения. Одни впечатления, которые рождает во мне ваша телевизионная картинка. Я вижу, как убивают русских людей в Донбассе, как штурмовики бомбят цветущие города, и во мне тоска и смутнение.

— Нам очень важны ваши впечатления, Дмитрий Фёдорович.

Пискунов говорил вкрадчиво и настойчиво, как человек, которому редко отказывают. Он просил Кольчугина об одолжении, но его просьба была завуалированным требованием. Телевидение, которое представлял Пискунов, властвовало над умами и репутациями, и Кольчугин, которого почитали властителем дум, был многим обязан экрану.

— В этот сложный политический момент, Дмитрий Фёдорович, народ хочет услышать ваш голос. Без вас, без ваших эмоциональных и искренних слов наша передача будет неполной.

— Нет, Виталий, не настаивайте. Я не приду. Вам нужна аналитика, а я издам лишь беспомощный вопль.

— Вы сильнее любого военного аналитика. За вашими плечами столько войн! Ваши романы — это история батальон последних пятидесяти лет. Мы вас ждём с нетерпением.

— Не настаивайте, Виталий, я не приду.

— Ну, хорошо, Дмитрий Фёдорович, сейчас вы устали. Позвольте мне позвонить ещё раз вечером. Подумайте, это очень важная передача. Её будут смотреть в Кремле.

Кольчугин отложил телефон, в котором меркли кнопки, и угасал голос Пискунова, как гул отлетающего шмеля. Смотрел на книжную полку с беззвучными рядами книг, в которых не был слышен грохот убиваемых городов.

Он видел, как убивают Герат, гончарный, коричневый, клетчатый, в который вонзались снаряды “Ураганов”, прорубая в воздухе свистящие, полные огня туннели. Над городом поднимались жирные шары дыма, превращались в тёмных великанов, которые шатались на тонких ногах, покачивали турбанами.

Он видел убитый Вуковар, растёртый в мелкую крошку. Дымились фундаменты, пахло горелым мясом. Чёрные деревья с обрубками ветвей, с дырами в стволах были похожи на пленных, поставленных на колени, молящихся перед расстрелом. В церкви снаряд впился в голову Ангела, и мимо мчалась обезумевшая танкетка.

Он стоял на мосту через Савву, где тысячи сербов живым щитом заслоняли Белград. Цвели пасхальные вишни, в церквях шли службы. Крылатые ракеты неслись над городом, взрывали дома, выгрызали хрустящие ломти фасадов. А люди, и он вместе с ними, взявшись за руки, мерно раскачивались и пели молитвенную слёзную песню: “Тамо, далеко...”

Грозный был страшен, казался котлом с кипящим варом. Танки били прямой наводкой, обрушивая здания вместе с гнёздами снайперов. За Сунджей отряды чеченцев прорывались из города, попадая на минные поля,

под кинжальный огонь пулемётов. Дворец Дудаева, иссеченный осколками, казался обугленной вафлей. Из окон во все стороны валил дым. Высоко над кровлей трепетал Андреевский стяг, укрепленный бойцами морской пехоты. Из разорванного газопровода вырывалось шумное пламя. В горячем воздухе, среди растаявших снегов, разбуженная теплом, расцвела вишня.

Он проник в сектор Газа из Египта через тесный туннель в тот момент, когда начался налёт авиации. Израильские самолёты подлетали к городу, выпуская ракеты, и одно за другим с жутким грохотом рушились высотные здания. С диким воем неслась по улице “скорая помощь”, разбрасывая лиловые вёшпки. На операционном столе лежала девочка с оторванными руками, остатки рук дрожали, как красные стебельки. И летели в небо сотни “Касамов”, оставляя курчавые трассы.

Он нёсся в боевой машине пехоты по улицам сирийской Дерайи, слыша, как чавкают по броне пули. Город осел, провалился, словно зверь, у которого подрезали поджилки. Пустые окна зияли, и из каждого по фасаду тянулся язык копоти. На асфальте лежал мертвец в долгополой одежде, с отвалившейся белой чалмой. Боевые машины пехоты, не успевая отвернуть, наезжали на мертвеца, расплющивая его гусеницами.

Его книги были надгробьями, под которыми лежали убитые города. Названия поманов звучали эпитафиями на могильных плитах. Тексты были надгробными рыданиями. Он стремился в эти города, чтобы закрыть им глаза. Услышать их предсмертные стоны. Но, стремясь в эти дымящие руины, уклоняясь от пуль и разрывов, он испытывал странное влечение, мучительное любопытство, как патологоанатом, рассекающий скальпелем мёртвые сухожилия, проникающий в тёмное чрево, берущий в руки остановившееся сердце. Он создал в своих книгах эстетику разрушения, научился изображать смерть людей, железных машин и каменных городов. И он чувствовал греховность в своём стремлении изображать смерть вещей и явлений.

Кольчугин вышел из дома в сад. На яблонях, которые когда-то посадила жена, теперь наливались плоды. Их было так много, что ветки согнулись и могли обломиться.

Вдоль забора, скрывая изгородь, росли берёзы, дубы, орешник, посаженные женой, пожелавшей, чтобы дом был окружён лесом. Деревья разрослись, напоминали лесные опушки из той бесконечно далёкой поры, когда он, исполненный молодых мечтаний, в предчувствии творчества и любви, уехал из Москвы в деревню и работал лесником в подмосковном лесничестве. Без устали шагал по лесным дорогам и просекам, фантазировал и мечтал. Теперь рукотворный лес вокруг дома напоминал ему опушки, и ему казалось, что жена, посадившая лес, уже тогда предвидела его одиночество. Окружила драгоценными воспоминаниями, которые рождали деревья.

Он сел за стол, над которым распустила ветки рябина. Ягоды начинали созревать. Когда они нальются красным соком, прилетят дрозды, шумно, стрекоча и звеня, усядутся на рябину. Станут обклёвывать ягоды, сорить на стол, вспыхивая в ветвях стеклянными крыльями. И утром, выходя в сад, он увидит усыпанный ягодами стол и рябое пёрышко, прицепившееся к столу.

Кольчугин смотрел на рябину, на её смуглые ветви, резные листья, багровеющие гроздья. Образ жены тайно присутствовал в дереве. Жена перенеслась в рябину, покидая дом в дождливый сентябрьский день, усыпанная осенними хризантемами и астрами в длинном гробу. Её неживое тело покинуло дом навсегда, но душа не последовала за рыдающей роднёй, а перелетела в рябину. И Кольчугин в солнечные январские дни, в апрельские туманы, в шумные летние ливни подходил к рябине и целовал её. Целовал свою ненаглядную, обожал её поздней горькой любовью.

В эти мучительные грозные дни, когда убивали города Донбасса, когда Донецк и Луганск, Краматорск и Славянск, Мариуполь и Красный Лиман оставляли в его душе кровавые ожоги, он стремился туда, к ополченцам. Чтобы вместе они отражали атаки самолётов и танков. Ополченцы — переносными зенитно-ракетными комплексами и гранатомётами. А он — своей ненавидящей волей, своим мистическим даром останавливать в воздухе снаряды и пули, сбивать самолёты, превращая их в дымные вёшпки.

Его душа раздваивалась, стремилась в разные стороны. В убиваемые города, чтобы закрыть им глаза, услышать их предсмертные стоны. И в восхитительное прошлое, где его изнурённая, прожившая жизнь душа отыщет любимых и близких. Последует вслед за ними туда, где “нести болезней и печалей”.

Зазвонил телефон. Любезный, бархатный голос Виталия Пискунова повторил приглашение на телепрограмму. Кольчугин вновь наотрез отказался.

Он должен отвернуться от этого ужасного, невыносимого мира. Заслониться от него непроницаемой завесой. Обратиться душой к драгоценному прошлому, где столько чудесного, загадочного и волшебного. Молитвенной мыслью коснуться этого прошлого, которое откликнется любимыми голосами. Устремится к ним, и они уведут его туда, где нет смерти, где божественные сады, и его земная завершённая жизнь получит неземное продолжение. “В этом задача. В этом искусство завершить бытие”.

Ему казалось, что, если превратить свои мысли в молитву, сбросить утомлённую плоть, свить свои чувства в лучистый пучок и метнуться в рябину, в её листву, в её красные гроздья, в серебристое сияние ветвей, то случится чудо: он обнимет жену, она подхватит его в объятия, и, омытые древесными соками, они умчатся в юность, в восхитительное время, когда он жил в деревне, писал свои первые рассказы, и она приезжала к нему — ещё не жена, невеста, — в его тесную избушку, в светёлку с русской печкой.

Ночное оконце в инее, в пернатых морозных листьях. Колочая тень шиповника на белёной печи. Под потолком качается голубая беличья шкурка. Он читает свой наивный рассказ, отрывается от листа и смотрит, как она лежит на кровати под стёганым красным одеялом. Её восхищённые, обожающие глаза... Ей нравится описание коня, зимней дороги, слюдяного следа из-под санных полозьев.

Они играют в карты. На столе — россыпь дам и валетов. Она огорчается, когда проигрывает, на глазах её выступают слёзы. Он поддаётся, и она, выигрывая, целует его. За оконцем, по морозной солнечной улице кто-то идёт в тудупчике, в разноцветном платке.

Они бегут на лыжах по огромному снежному полю. Их лыжи наезжают на сухие, торчащие из-под снега цветы. Ломают, осыпают лёгкие семена. Солнце, если сжать ресницы, превращается в пушистый радужный крест. Они влетают в лес, в прохладные синие тени. И лось, сиреневый, выбрасывая из ноздрей букеты пара, смотрит на них фиолетовыми глазами.

С лесниками на поляне он грузит на трактор сосновые брёвна. Подхватывают в несколько рук, закидывают на тележку. Сизые от мороза лица, запах пиленого леса, крики, хохот. Она в стороне следит за его работой, и он, подхватывая золотое бревно, любит её среди солнечных сосен, знает, что им суждена огромная неразлучная жизнь.

Из натопленной жаркой избы они вышли в морозную ночь. Хрустела дорога. Над избами пышными хвостами стояли думы. Слабо светились окна. Дорога вела за деревню, в гору, в открытое поле, и они, взявшись за руки, шли под звёздами, запрокинув лица к мерцающему необъятному небу. Сквозь варежку он чувствовал её тонкие пальцы. Они разжали руки, она отстала. Он слышал, как хрустывает под её торопливыми шагами дорога. Она едва поспевала за ним. А его подхватила ликующая сила, стремительно повлекла. Глядя на звёзды, он шагал быстро, мощно и радостно. Зимняя дорога вела в таинственные поля. Глаза туманили морозные слёзы. Звёзды сливались в сверкающую струю, которая мчала его в бескрайнее будущее. Там, в этом сверкании, его ждали великие откровения, немислимые приключения, небывалое творчество. Он вдруг понял, что идёт один. Остановился, переводя дыхание, вглядываясь в морозную мглу. Она появилась, медленно подошла:

— Знаешь, о чём я подумала?

— О чём, моя милая?

— Эта дорога — как наша жизнь. Сначала мы пойдём по ней, взявшись за руки. Потом ты отпустишь мою руку, но мы будем идти рядом. Потом ты прибавишь шаг, и я отстану. Потом ты потеряешь меня из виду, я пропаду, и ты будешь идти один. И потом вдруг очнёшься на этой дороге, а меня нигде уже нет.

Позже, потеряв жену, он поразился предчувствию, которое посетило её на зимней дороге, когда ничто не предвещало разлуку, и они были безмятежно счастливы.

Теперь от этого воспоминания подступили рыдания. Кольчугин, сгорбившись, сидел под рябиной, и ему казалось, что жена из листвы смотрит на него с состраданием.

В сумерках он вернулся в дом, в его пустоту. Побродил. Посидел на диване. Перемыл тарелки и чашки. Не желал включать телевизор, чтобы не видеть охваченных огнём городов, багровых, как ожоги. Не сумел совладать с собой — включил.

Украинский штурмовик пикировал на предместье Донецка, и красные шары взрывов катились среди садов. Из окон многоэтажного дома валил жирный дым, и две старухи, помогая друг другу, семенили по улице. Ополченцы с угрюмыми закопченными лицами на блокпосту проверяли машины, и у одного на голом плече синела татуировка цветка. Танк Т-34, снятый с постамента, украшенный гвардейскими лентами, катил на передовую, где его поджидали сотни украинских танков. Лобастое, с тяжёлыми надбровными дугами лицо министра иностранных дел, который устало, снова и снова осуждал Украину за применение силы, и его слова казались безвольным лепетом.

Кольчугин, тоскуя, выключил телевизор. Города, охваченные пожаром, звали его. Каждый взрыв, каждый рухнувший дом был криком о помощи. Там, в городах Донбасса, было его место.

Кольчугин нашёл телефон и набрал номер Пискунова.

— Я согласен. Завтра приеду.

— Вот и прекрасно, Дмитрий Фёдорович, вот и прекрасно!

Кольчугин слушал, как беспокойно, с переборами, стучит сердце.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

На следующий день он вызвал шофёра и отправился на телевидение. Проезжал сквозь подмосковные леса и посёлки, которые сменялись супермаркетами, автосалонами, товарными складами. Москва приближалась туманным железным облаком. Кольцевая дорога казалась вольтовой дугой, которая дымилась, мерцала и плавилась. Автомобиль, въехав в Москву, увяз в липком месиве, с трудом продвигался сквозь изнурительный вязкий кисель. Истошно стонали кареты “скорой помощи”, выли милицейские машины, и их вой внезапно переходил в утиное кряканье.

Кольчугин угрюмо нахохлился на заднем сидении. И оживился, когда впереди, словно серебряный слиток, возник монумент Рабочему и Колхознице. Два ангела в буре света летели над туманной Москвой, продолжая трубить о великом исчезающем веке.

Останкинская башня казалась луковицей, из которой вознесся одинокий громадный стебель. Исчезал в лазури. Источал бесцветные стеклянные вихри. Вид башни вызвал в нём отторжение, не исчезающее с тех пор, как у её подножья пулемёты стреляли в толпу. Он помнил, как, разбрасывая бортами людей, мчался безумный БТР. Из люка, не управляя машиной, смотрел ошалевший механик-водитель, и Кольчугин кинул ему вслед бутылку с бензином. Промохнулся, и бензин потёк на асфальт. В парке, окружавшем башню, в дубах застреляли пули тех кровавых дней.

Здание телецентра — огромный, уныло застеклённый брусок — было мясорубкой, вырабатывающей человеческий фарш, кухней, где дни и ночи готовилось душное варево, которым питали народ. Кухня нуждалась в громадном количестве телевизионного мяса, едких приправ и наркотических специй. По коридорам двигались бесконечные толпы. Детские коллективы. Спортивные команды. Вереницы бестолковых, понукаемых помрежем пенсионеров. Скользили, как ящерицы, гибкие, с хвостами девичьи. Проскакивали длинноволосые юноши с серьгами, переговариваясь по рации. Всё это чавкало, хрустело, пускало соки, в которые подмешивались пряности, вкусовые добавки. Гуща процеживалась, обесцвечивалась, превращалась в бесплотный

пар, в мираж, который возгонялся в трубчатый стебель телебашни и улетал в беспредельность.

“И я, и я телевизионное мясо”? — ворчливо думал Кольчугин, едва поспевая за длинноногой девицей.

Его встретил Пискунов. Когда-то худенький юноша, с провинциальной застенчивостью внимавший поучениям московских знаменитостей, теперь он был округлый, упитанный, с рыжеватой лысеющей головой. Его мясистые, чуть оттопыренные губы выражали мягкую иронию пресыщенного, выдавшего виды дельца. От него зависело множество репутаций и судеб, включая и тех, кто когда-то числился среди его покровителей. Большие деньги, близость к власти, искушённость в интригах сделали Пискунова барственно-мягким, утомлённым и снисходительным.

— Дорогой Дмитрий Фёдорович, я ваш должник. Я и до этого ваш вечный должник, но теперь особенно. Требуйте, чего хотите.

— Вы не могли обойтись без меня? Почему такая экстренность?

— Я не мог вам сказать по телефону. Эту передачу будет смотреть президент.

— У него есть для этого время?

— Вы видите, что творится. Мы накануне войны. Президент перед трудным решением, быть может, роковым. Он хочет знать, что думают лидеры общественного мнения. А вы несомненный лидер.

— Я буду говорить резкие вещи.

— Это и нужно, Дмитрий Фёдорович, это и нужно! Сегодня у нас собрались посредственные, пресные люди. Ни рыба, ни мясо. На вас вся надежда! — он мял в своих тёплых руках костистую руку Кольчугина, провожая его до гримерной.

Сидя перед зеркалом, Кольчугин не смотрел на своё отражение. Закрыл глаза, чувствуя убаюкивающие прикосновения молодой женщины, желая, чтобы эти женственные касания длились дольше.

Его отвели в гостевую комнату, где уже собрались участники шоу. Все были знакомы по прежним представлениям, встречались за круглыми столами, на политических форумах. Все были приближены к власти, находясь на разном от неё удалении. Пользовались её покровительством, её благами. Составляли обширный круг политологов, политиков, общественных деятелей, которые тонко навязывали обществу рекомендации власти. Их суждения, иногда блистательные, не были самостоятельными. Они напоминали раствор, в который кремлёвский аптекарь капал из пипетки свой концентрированный препарат. Среди них не было тех, кто пребывал в ссоре с властью, составляя едкую оппозицию, кто отслоился от власти, хотя в прежние годы слыл кремлёвским баловнем, законодателем политических мод, трубадуром Кремля.

Кольчугин раскланялся. Ему предложили кофе. Он принадлежал к их кругу, хотя и держался особняком. За ним тянулся шлейф непримиримого протестанта, яростного противника режима, “проповедника красных смыслов”. Этот шлейф не таял и теперь, когда Кремль, заполучив в свои чертоги нового президента, стал ратовать за сильное государство, приблизил к себе Кольчугина, пользовался его репутацией патриота, государственника, поборника “русской идеи”.

— Наши либералы совсем обнаглели. Вы слышали? Они завтра устраивают шествие в поддержку киевских властей. Вторят Киеву, называя ополченцев Донбасса террористами. Призывают бомбить и бомбить. Они что, сошли с ума? Ведь среди них есть приличные люди! — это произнёс Коловойтов, главный редактор журнала, приближенного к Кремлю. Рослый, вальяжный, барственный, он источал благодушие преуспевающего, ни разу не проигравшего человека, поскольку умел маневрировать среди политических рифов и отмелей. — Неужели либералы так уверены в своей скорой победе? — Коловойтов был мягкий либерал и не хотел, чтобы его отождествляли с радикальными либеральными вождями, с которыми у него сохранялись неясные отношения.

— Президент справедливо называет их “пятой колонной” и “национал-предателями”, — депутат Круглых сделал грозное лицо, и его язвительная

улыбка была обращена к Коловойтову, который своей дружбой с либеральными оппозиционерами вполне мог прослыть “национал-предателем”. — Пора с ними разобраться.

— Мы же понимаем, кто стоит за их спиной. Вашингтонский обком. Они обложили президента со всех сторон. Ох, и не сладко нашему президенту! Похудел, нервный, глаза запали. Сегодня он нуждается в поддержке, как никогда, — юрист Чаржевский оглядел всех быстрым тревожным взглядом, словно хотел убедиться, не сказал ли он лишнего, не допустил ли неосторожных суждений.

— Но вы заметили, что телеканалы смягчили риторику в отношении Киева? То “бандеро-фашисты”, то “кровавый режим”, то “руссофобы”. Теперь этого нет и в помине. “Киевские власти. Президент Украины”. Может быть, мы дистанцируемся от Новороссии? — сказала Лапунова, близкая к Кремлю активистка, устроительница патриотических митингов. Она была с чёлкой, с едва заметными морщинками у глаз, которые не удалось победить многочисленными массажами и втираниями. — Этого нельзя допустить. Мы не должны предавать Новороссию. Я созываю большой митинг с участием патриотических организаций. Мы выступим в поддержку Донбасса.

— Всё это хорошо, — хмуро произнёс военный эксперт Родин. — Но Донбассу нужны не митинги в Москве, а танки и установки “Град” в Донецке и Луганске.

Все умолкли. Попивали кофе.

— А вы как считаете, Дмитрий Фёдорович? — обратился к Кольчугину Коловойтов. — Вы наш мудрец, наш гуру.

— Если раздавят Новороссию на глазах у нас, русских, значит, русские перестали быть народом, — глухо произнёс Кольчугин. И молчание продолжилось, лишь позвякивали кофейные чашечки.

Появились ловкие молодые люди и стали оснащать гостей микрофонами. Кольчугин покорно подставлял голову, грудь, позволял опутывать себя проводами. Теперь он становился частью огромной электронной системы, был соединён с телебашней, орбитальными спутниками, с миллионами телеэкранов. Его эмоции, мысли, его голос и образ отбирались у него, становились собственностью этой системы, которая с их помощью управляла сознанием огромного измученного народа. Направляла это сознание в удобную государству сторону.

Барышня, приставленная к Кольчугину, помогла ему пройти в студию, провела сквозь чёрные кулисы, сгустки кабелей, перекрёстья конструкций. Он оказался среди яркого света, дразнящих всплешек, шумных оваций, которыми встретили его сидящие на трибунах статисты. Им вменялось создавать ощущение зрелища, подбадривать овациями участников телешоу.

Каждому гостю отводилась стойка. Все уже были на местах. В центре оставалось пустое пространство для ведущего. Шоу в прямом эфире транслировалось на Дальний Восток, где уже наступил поздний вечер. Затем, в записи, зрелище перемещалось на запад, накрывая разноцветным шатром Сибирь, Урал и, наконец, Европейскую часть страны и Москву. Москвичи увидят передачу сегодня вечером. Кольчугин к тому времени вернётся домой, устроится в кресле перед телевизором и оценит со стороны своё участие в телешоу.

Аплодисменты зазвучали особенно громогласно. В студии появился ведущий Веронов. Белые манжеты сверкали на запястьях. Блестели в улыбке белоснежные зубы. Большое, с крупным носом лицо, обработанное гримом, было властным, как у полководца. Он минуту упивался аплодисментами, сиянием студии, обращёнными на него взорами, словно позировал. Обошёл гостей, пожимая им руки.

— Я очень, очень рад видеть вас в моей программе, Дмитрий Фёдорович, — сказал он Кольчугину. — Вы бесподобны. Я рассчитываю на вашу публицистику, всегда яростную и честную. — Эти слова Веронов произнёс негромко, чтобы их не услышали и не взривовали другие гости.

Веронов был отдалённым отпрыском Пушкина, гордился своей родословной. Однако в родовой плавильный котел было брошено столько примесей, влито столько разных кровей, что бесследно исчезли родовые черты поэта,

и вместо африканских пушкинских губ и курчавых волос появились монголоидные скулы и светлые арийские волосы.

— Минута до эфира! — возгласил взволнованный голос. Все замерли. Грянула бравурная музыка. Засверкали вспышки. Ведущий Веронов картинно развёл руки, словно принимая весь мир в объятия, и сочно, зычно произнёс:

— Начинаем нашу программу “Аналитика”! Самые жгучие вопросы! Самые яркие умы! Самые смелые прогнозы! Смотрим в будущее, чтобы не проиграть настоящее!

На мгновение умолк, давая время отгреметь аплодисментам. Двинул бровью, прерывая их шквал.

— События на Юго-Востоке Украины приобретают черты гражданской войны. Киев, заручившись поддержкой Америки, развязал себе руки и обстреливает города из тяжёлой артиллерии. Множатся жертвы среди мирного населения. Растёт ожесточение схватки. Куда ведёт нас война на Украине? Как мы в России можем предотвратить жестокие бомбардировки, гибель детей и женщин? На это ответят наши уважаемые эксперты.

Он повернулся к Коловойтову, приглашая начать дискуссию:

— Вы часто публикуете в своём журнале материалы о “Русском мире”, уникальной “Русской цивилизации”. Скажите, можно ли теперь, когда украинцы убивают русских, а русские — украинцев, можно ли говорить о “Русском мире”?

— Видите ли, — Коловойтов в манере кафедрального профессора получающее поднял палец. — “Русский мир” — явление не сиюминутное. Это историческая данность, создаваемая русскими, украинцами и белорусами на протяжении столетий. И в этом созидании были провалы, междоусобицы, которые, однако, преодолевались глубиной общности. Это общая для нас православная вера, даровавшая нашим народам общие райские смыслы. Это общие пространства, среди которых развивались наши народы. И это общий враг, который хотел нас поработить. И сегодня повторяется извечный западный проект “Дранг нах остен”. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить единство наших народов. Уверен, “Русский мир” не разрушат крупнокалиберные гаубицы украинских нацистов.

Коловойтов величаво и удовлетворённо умолк. Грохнули аплодисменты. А Кольчугин испытал едкое разочарование. Витиеватость слов не объясняла, как прекратить убийство городов, истребление русских, надгробные рыдания Донбасса.

— А как вам, юристу-международнику, видятся действия украинских властей? — Веронов указал на Чаржевского, приглашая вступить в дискуссию.

— Как известно, киевские правители пришли к власти путём переворота. Поэтому эта власть нелегитимна, и все её действия априори нелегитимны. — Чаржевский говорил сочно, с наслаждением ставя одно слово подле другого, как мастер красиво и плотно кладёт кирпичи, возводя искусную кладку. — Наше юридическое сообщество рассматривает возможность создания общественного трибунала с привлечением европейских коллег для осуждения военных преступлений Киева. Это будет второй Нюрнберг, на котором перед судом предстанут киевские политики, военные и, надеюсь, их вдохновители из европейского и американского истеблишмента.

На его губах играла тонкая улыбка презрения к киевским безумцам, не ведающим своей будущей судьбы — судьбы вождей Третьего рейха.

Студия по приказу невидимого дирижера взорвалась аплодисментами. А у Кольчугина начался гневный спазм от непонимания того, как эти витийства правоведа спасут убиваемые города, остановят потоки гробов.

— Но не кажется ли вам, — обратился Веронов к депутату Круглых, — что Европа по-прежнему живёт двойными стандартами? Разве не нарушают права человека тяжёлые гаубицы, стреляющие по Донецку и Луганску?

Круглых был невысокий, плечистый, с глазами навывкате, в которых трепетали отражённые рубиновые огоньки. Он походил на рассерженного бычка, готового бодаться.

— Я был в Страсбурге! Я им прямо сказал: “Господа, разве мы не подарили вам Восточную Германию? Не объединили разделённый немецкий

народ? Почему же вы не хотите объединения русских? Мы, русские, объединимся, даже если вы каждому русскому запретите въезд в Европу. Мы без Европы проживём, а вот проживёт ли без нас Европа?

Статисты дружно хлопали, и депутат Круглых воспринимал аплодисменты как свидетельство своего ораторского мастерства. Кольчугин не понимал, почему они все уклоняются от страшного вопроса: доколе Россия, её президент, её армия будут медлить, отдавая русских Донбасса на погибель? Этих солнечных младенцев. Этих восхитительных молодых славянок. Этих утомлённых мужиков, почерневших от угольной пыли. Где русские полки? Где отважный десант? Где “истребители пятого поколения”, сбивающие преступных пилотов?

— Позвольте! — он потянул руку, желая, чтобы Веронов дал ему слово. Но тот остановил его властным жестом и обратился к военному эксперту Родину:

— Каковы возможности украинской армии продолжать боевые операции?

Седой, с ястребиным носом и стальным блеском в глазах эксперт по-военному вытянулся за стойкой.

— Докладываю. Украинская армия почти не боеспособна. Личный состав не обучен. Командирский корпус не укомплектован. Боевой дух низок. На вооружении находится техника советских времен, которая долго не ремонтировалась и не пригодна к применению. Но это не значит, что армия не воюет. Воюет, причём зверскими методами, которым ополченцы Донбасса могут противопоставить только методы партизанской войны.

Эксперт Родин говорил о соотношении сил, о марках танков и гаубиц, о количестве вертолётов. Кольчугин чувствовал, как его душит презрение к этим благополучным, обеспеченным людям, не смеющим произнести вслух жестокую правду: Россия бросает русских в страшной беде. Русские офицеры, оставаясь в казармах, покрывают себя позором. И все они, находящиеся в этой бутафорской студии, напыщенные и вальяжные, являют собой пример безнравственности.

Шумели аплодисменты. Веронов господствовал над умами, направлял дискуссию то в одно, то в другое русло. Был музыкантом, нажимающим кнопки послушной флейты.

Повернулся к общественной активистке Лапуновой. Та нетерпеливо трепетала за стойкой, как попавший в паутину мотылёк.

— А почему, скажите на милость, молчит российская общественность? Где митинги в защиту Новороссии? Где демонстрации, подобные тем, что проходили в дни присоединения Крыма?

— Ну, как же вы говорите, что мы бездействуем! Мы вовсе не бездействуем! Идёт сбор гуманитарной помощи, идет сбор средств. Мы обратились к общественным организациям мира. Устраиваем выставки, изобличающие зверства украинских воюк. Через два дня в Москве намечен митинг в поддержку Донбасса, в котором примут участие все патриотические организации. Кстати, пользуясь случаем, обращаюсь к вам, Дмитрий Фёдорович: приходите на митинг! Люди ждут вашего слова. Люди культуры за мир в Новороссии!

Статисты аплодировали. Веронов артистично повернулся на каблучках, обращаясь к Кольчугину:

— Вы принимаете приглашение. Дмитрий Фёдорович? Что бы вы сказали народу с трибуны?

Кольчугин почувствовал, как жаркая волна хлынула в глаза. Бурно вздохнул, стараясь пробить удушающий спазм боли.

— Я скажу, я скажу! — почти выкрикнул он. Увидел, как изменилось лицо Веронова. И от испуга в нём вдруг проснулся дремлющий пушкинский ген: обозначились африканские губы, полыхнул в глазах фиолетовый эфиопский огонь. — Я скажу! Сидя в креслах, мы смотрим, как девочке в Славянске отрывают ручку, и она машет кровавым обручком! Смотрим, как снаряд взрывает Дом престарелых в Горловке. Инвалиды вылезают из развалин на инвалидных колясках, а навстречу им движутся танки! Нам показывают,

как убивают самых лучших русских людей, а мы пьём кофе! Очнитесь, господин президент! Введите войска! Введите десантников! Сбивайте проклятые самолёты! Спасите русских! Их кровь на нас! Вы слышите меня, господин президент!

Он захлебнулся и умолк. Загрохотали овации. Эфиопские глаза ведущего безумно смотрели на него.

— Мы уходим на рекламу! Оставайтесь с нами! — Веронов сбросил с себя образ факира, как сбрасывают плащ. Подошёл к Кольчугину:

— Благодарю, Дмитрий Фёдорович. Вы великолепны. Подняли уровень передачи своей эмоциональностью. Не сомневаюсь, президент вас услышит.

— Извините, я плохо себя почувствовал. Не сердитесь, но я вас покину, — слабо отозвался Кольчугин.

В машине он откинулся на сиденье, слыша, как бьётся сердце.

Дома дрожащей рукой накапал сердечное зелье, выпил мутноватый настой и лёг на диван. Он только что совершил поход в убиваемые города, который стоил ему сердечного приступа. Реальный поход, с преодолением границы, с уклонением от постов украинской армии, с перебежками под обстрелом, — такой поход был ему не под силу. Но он выполнил свой долг. Ударил в набат на всю страну, и страна всколыхнётся, и президент, наконец, очнётся.

Сердечный приступ отшвырнул его от замысла книги, которая так и не будет написана. Война в Новороссии останется без своего летописца. Время снаряжаться в другой поход. Ему предстояло странствие, которое он совершит, нырнув в листву и красные грозди рябины. И там, среди листвы, обнимет свою ненаглядную.

После свадьбы в деревенской избушке, где с лесниками пили красное вино, закусывая скудными конфетками из кулька, их повлекло в восхитительные путешествия. Страна была необъятной, а жизнь бесконечной. И теперь, спустя столько лет, он помнил каждую росинку на утренних каргопольских лугах, каждую перламутровую ракушку на отмели Белого моря.

Её прозрачное на солнце платье, в котором струится чудное тело, черничную ягоду на её лиловых от сока губах.

В Туве, на берегу Енисея, где ночью сияла огромная золотая луна, а днём неслись по воде гремучие остроносые лодки, у них в головах распустился волшебный цветок — розовый дикий пион марьино коренье. И теперь, в старости, он целовал его дивные лепестки.

В каргопольской деревне бабка Ульяна лепила из глины игрушки. Добродушных и милых львов, весёлых наездников, лошадей с человеческими лицами. И она, его милая, подражая деревенской колдунье, лепила смешную лошадку. По сей день та коняшка стоит на камине, храня тепло её пальцев. Тронь, и коснёшься её руки...

Они шли вдоль Оки, и стадо коров, изнурённых жарой, сошло к водопою. Немой голубоглазый пастух играл на певучей дудке. От пьющих коров по Оке уплывали круги, и она сказала: “Запомни всё это, мой милый. Как о воде протекшей, будешь вспоминать”.

На Белом море с рыбаками они осматривали сети. Он помогал ей сестре в поморский карбас, танцующий на мелкой воде. Удары тяжёлых вёсел. Поплавки, похожие на белых чаек. Рыбак цепляет багром уходящую вглубь бечеву. Тянут в четыре руки — и из воды появляется обруч, обтянутый сетью. Блестит яеча, мотается клок травы, извивается розовая морская звезда. Кольцо за кольцом, обруч за обручем. Кажется, из моря поднимается подводный дракон, огромный чешуйчатый змей. И она, его милая, испуганно смотрит на морское чудовище, среди плеска солнечных вод. Кулаки рыбаков мокрые, изрезанные бичевой. Жилы напрягаются на запястьях, когда они затаскивают в карбас огромный кошель. И море взрывается оглушительным треском, слепящим огненным взрывом. Огромные рыбины, сияющие, как зеркала, рушатся в карбас.

Танцуют на головах, брызжут солнечной слизью. Рыбаки укрощают рыббин ударами колотушек. Громадная сёмга, дрожа хвостом, трепещет в руках рыбака.

Ночью, под негасимой зарей целуя её шею и грудь, он увидел у неё в волосах рыбку чешуйку.

— Я чувствую, что зачала, — сказала она. — Теперь у нас будет ребёнок.

Дочь, которая у них родилась, в глубинах своих сновидений, в невнятной туманной памяти хранит этих солнечных рыбин, оленя, переплывающего синий залив, рыбаков с загорелыми лицами, их песни про коней и орлов.

День завершился. Стемнело. Кольчугин не включал телевизор, чтобы не видеть свирепых сюжетов. И только когда пришло время ток-шоу “Аналитика”, он удобно уселся в кресло, чтобы посмотреть передачу.

С нетерпением дождался, когда Веронов обратился к нему:

— Дмитрий Фёдорович! Что бы вы сказали народу с трибуны?

На экране было видно, как Кольчугин молчит, задыхается, пробивает жарким дыханием ком в горле. А потом, страстно, с клёкотом, выкрикивает:

— Я скажу! Я скажу!

На этом его крик оборвался. Возникло лицо Веронова, на котором полыхнули фиолетовые глаза эфиопа, и пошла реклама последней марки “Нисана”.

Кольчугин сидел, ошеломлённый. Его страстный монолог, его обращение к президенту были вырезаны. Его порыв в Новороссию был остановлен. Его рот был запечатан, в него воткнули кляп. Его седины, его горькая проповедь, его молитвенный вопль были осквернены и попорнены.

Он кинулся к телефону. Набрал Виталия Пискунова:

— Что произошло? Почему все мои слова вырезали?

— Пришлось это сделать, Дмитрий Фёдорович. Возникли обстоятельства, — тон Пискунова был печален и терпелив, словно он говорил с пациентом.

— Но как вы посмели? Без моего согласия! Вы уговаривали, умоляли меня прийти и обошлись со мной оскорбительно!

— Изменились обстоятельства, Дмитрий Фёдорович. Мы работаем на государственном канале. Обстоятельства диктуют политику.

— Я больше никогда не приду!

— Мне очень жаль, Дмитрий Фёдорович, — устало и холодно отозвался Пискунов.

Кольчугин сидел в темноте одинокого дома. Сгорбился в кресле, несчастный, немощный, никому не нужный. Его время прошло. Он больше не опасен ни власти, ни врагам-либералам. Он никчёмный старик, наказанный за свою неуёмную гордыню, свою назойливую суетность.

Он сидел в тишине, один на всём белом свете, не нужный ни врагам, ни друзьям. И вдруг в тишине пустой тёмной комнаты услышал голос жены:

— Дима!

Голос был явный, с её глубокими, искренними интонациями, в которых звучало сострадание, утешение, словно она подошла и встала у него за спиной.

Он оглянулся, страшась и надеясь увидеть её, в синем домашнем платье с большими пуговицами, которое она надевала, отправляясь в церковь.

Оглянулся — жены не было. Слабо светилось окно, за которым угасала заря. Но голос был её, в нём было сердечное сострадание, нежность и жалость к нему.

Кольчугин обходил комнаты, суеверно надеясь увидеть жену, которая не умерла, а лишь покинула дом, и теперь, через два года, вернулась. Остановился перед дверью, ведущей в комнату жены. Там, за дверью, она стоит, высокая, тихая, с белым лунным лицом и чудесными карими глазами, которые он любил целовать. Они увидят друг друга, и он обнимет её, прижмёт к груди её любимое лицо.

Кольчугин открыл дверь. Тёмная комната дохнула ему в лицо своей пустотой. И в этой пустоте что-то слабо светилось, словно кто-то, дорогой и любимый, недавно побывал здесь.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Утром он долго не мог подняться. Был сломлен, раздавлен. Был разгромлен. Его стремление сквозь кольцо окружения в осаждённые города было остановлено. Он вёл караваны с оружием, отряды добровольцев, колонны танков, расчёты самоходных орудий... Но был остановлен ударом в спину: “пятая колонна” разгромила его боевую колонну. Оплывший жиром, лживый Пискунов расстрелял его на подходах к Донецку. Веронов, виртуозный жонглёр и обманщик, посадил его на минное поле в районе Луганска. И теперь он лежал на одре, собирая из клочков своё растерзанное тело.

Кольчугин не включал телевизор, боясь увидеть зрелище убиваемых городов, которые так и не дождались его помощи. Ополченцев, стреляющих из автоматов по пикирующим штурмовикам. Солнечных младенцев, дрожащих от страха в подвалах. Убитых старух с уродливыми ногами, лежащих на мостовой.

Он включил компьютер и в интернете стал просматривать блоги тех, кто составлял “пятую колонну” врага.

Едкий, как перец, Шутник со свойственной ему вульгарной насмешливостью и весёлой ненавистью писал:

“Вы, донецкие вахляки с неумытыми рожками! Повылезали, как крысы, из своих вонючих шахт и сражаетесь за “русское дело”? Насиловать украинских красавиц всей своей вшивой ордой — это “русское дело”? Грабить магазины и лавки беззащитных торговцев — это “русское дело”? Мучить пленных солдат, вырезая у них на спинах украинский трезубец — это “русское дело”? Да, соглашаюсь, — это вековечное “русское дело”. Вы, русские, бремя для всех народов, отбросы истории, тупик эволюции. Если бы вас не было на земле, человечество давно бы жило в раю. Нет никакой Новороссии, а есть Крысороссия. И, слава Богу, что вас травят, как крыс”!

Скептический и печальный Мизантроп рассуждал:

“Казалось, что животный русский инстинкт, лежащий в основании русской имперской истории, навсегда подавлен. Россия ступила на путь цивилизованных стран, для которых демократия, уважение прав отдельных людей или целых народов есть незыблемый принцип. Оказалось, не так. Глубинная патология русской души вновь рождает чудовищ. Новороссия — чудовище русского сознания. Эту патологию не излечить гомеопатическими средствами. Её приходится врачевать танками, бомбами и, не исключая, стерилизацией тех, кто агрессивно именует себя русскими, объявляя войну всему человечеству”.

Исторический блогер Русак рвал на себе рубаху:

“Дорогие украинские братья! Мне стыдно, что я русский! Стыдно находиться в одной компании с таким президентом, как наш, или с такими маразматиками, как псевдописатель Кольчугин. Я вступаю в ваш “Правый сектор” и вместе с вашими мужественными бойцами буду сражаться в Донбассе. В ваших рядах победным маршем пройду по улицам поверженного Донецка. А потом мы пойдём на Москву. На Тверской будем вешать на фонарях всю русскую сволочь, которая посягнула на свободу и независимость Украины. Пою вместе с вами любимую песню Степана Бандеры: “Де побачив кацапуру, там и риж”!

Неистовая Валькирия взывала:

“Все, кто чувствует у себя на горле когтистую лапу русского шовинизма, все вместе с нами на Шествие! Сегодня! В четырнадцать! От площади шовиниста Пушкина до памятника интернационалисту Абаю! Наденьте украинские рубахи! Пойте украинские песни! С нами Европа! С нами Америка! С нами “морские коттики”, которые задушат кремлёвскую мышь! Если ты русский и едешь добровольцем в Донбасс, лучше удавись! Верёвки продаются по адресу: “Киев. Майдан”! Слава героям!”

Кольчугин обессилел. Интернет напоминал сосуд, наполненный ядовитым раствором. В нём вскипали злые кислоты. Бурлили зловонные пузыри. Кипела отравы. Это была химия ненависти, происхождение которой было неясным. Эта ненависть гуляла по улицам, наполняла университеты, бурлила в концертных залах. Интернет служил реактором, в котором вырабатывалась

ненависть. Ненавидящая рука сыпала в этот реактор смертоносные химикаты. Раствор менял цвет. Переливался злыми радугами. В нём выпадали осадки. Плавала жёлтая пена. На поверхность всплывали уродливые утопленники, смердящие мертвецы.

Кольчугин выключил компьютер. Вышел в сад. Там уже зацвели белые флоксы — любимые цветы жены. Вдыхал чудесный аромат, погрузив лицо в душистые соцветья.

Вдруг вспомнил призыв “Валькирии”. Марш русофобов скоро двинется по Страстному бульвару. “Пятая колонна” врагов пойдёт добывать многострадальные города, и только он может остановить это жестокое шествие.

Кольчугин поспешно вызвал шофёра и двинулся в пылающую жаром Москву.

Он оставил машину в Каретном ряду и мимо “Эрмитажа”, где играла легкомысленная эстрадная музыка, спустился по Петровке к бульвару. Перегораживая улицу, патрульные машины разбрасывали тревожные вспышки. Полицейское оцепление процеживало редких прохожих. Страстной бульвар был пуст, без фланирующей толпы, и Кольчугин, оказавшись под деревьями у памятника Высоцкому, чувствовал пугающую пустоту. Казалось, воздух улетучился, и стало трудно дышать. Деревья бессильно поникли ветвями, а букетик цветов у подножия памятника исчез от палящего жара. Такая удручающая пустота случается перед началом грозы или в канун землетрясения, когда замирают звуки, и собаки трусливо прижимают уши, улавливая подземные гулы.

Кольчугин смотрел вдоль бульвара и видел туманную тьму, железную дымку, в которой что-то мерцало, шевелилось, перекачивалось. Казалось, движется вулканическая лава, окружённая металлической гарью. Он чувствовал тупое давление, которое передавалось через пустое пространство.

Показалась колонна демонстрантов. Её змеиная голова отливала воронёной сталью, шипела, жгла, польхала прозрачным пламенем. Воздух сторал, испарялся. Колонна казалась гибкой, упруго пульсировала, но Кольчугин чувствовал её металлический стержень — сверхпрочный, броневой сердечник. Она шла, чтобы крушить неприступные стены, пронзять стальные преграды. В ней была реликтовая, накопленная веками энергия, сокрушающая народы и царя царя.

Впереди колонны шла когорта атлетов в тёмных блестящих рубашках. Они маршировали, чеканили шаг. Вскидывали руки, восклицая: “Слава Украине!” Другие, с тем же взмахом руки, откликались: “Героям слава!” Над колонной колыхался огромный жёлто-голубой флаг с витиеватым украинским трезубцем, и качался портрет Бандеры — короткая стрижка, упрямые жестокие губы, хмурые, глядящие исподлобья глаза.

Следом за атлетами шагали девушки в белых рубашках с алой, словно огненной вышивкой. Одни были в венках из васильков и ромашек. Другие несли свежие ветки берёзы.

Кольчугин чувствовал аромат берёзовых листьев, свежесть и силу девичьих тел. И его пугала эта сила и молодость, направленные против него, отвергавшие его слабость и дряхлость.

Стальной наконечник протыкал Москву. Как игла, тянул за собой разношерстную нить шествия.

То и дело взлетали руки, и множество голосов азартно и весело скандировало: “Бандера придёт — порядок наведёт! Бандера придёт — порядок наведёт!”

Эти дразнящие возгласы, безнаказанно звучащие в центре Москвы, пугали Кольчугина, говорили о бессилии власти, сулили расправу, готовили страшный реванш. Из безымянных могил, из разрушенных схронов вставляли бандеровцы и шли в свой мстительный победный поход.

Тонконогие девушки с хохотом, взявшись за руки, подпрыгивали, озорно выкрикивая: “Кто не скачет, тот москаль! Кто не скачет, тот москаль!” Вся колонна, молодые и пожилые, начинала подпрыгивать, словно скакало по Москве яростное стадо кенгуру. И Кольчугину казалось, что его сейчас затопчут.

Он узнавал в толпе тех, кто два года назад наполнял Болотную площадь кипящей лавой. На время они исчезли, укрылись в своих конторах и офисах, стали невидимы. И вновь появились в пугающем множестве, с неизрасходованной страстью и яростью.

“Майдан, Майдан! Бандера, Бандера!” — катилось вдоль колонны. Казалось, у огромной змеи начинает блестеть чешуя, и Кольчугин чувствовал едкий запах струящегося мускулистого туловища.

Он различал в колонне давних врагов, с кем сражался на страницах газет, у микрофонов на митингах, в телеэфире. Здесь были гневные и насмешливые полемисты, ненавидящие государство политики, язвительные русофобы. Здесь был художник, несущий рисунок отвратительного карлика с надписью: “Наш президент”. Здесь был Шутник с седеющей копной волос, из-под которой мерцали жёлтые совиные глаза; и Мизантроп с вислым носом и голубоватым, как кладбищенская луна, лицом; и Русак с курчавыми пейсами и мокрыми, неутомимо говорящими губами. Здесь был известный поэт, который катился, как шар, не имеющий ни рук, ни ног, весь в прозрачных складках жира; и Валькирия со смертельно бледным лицом и рыжими волосами, напоминающими хвост кометы.

Колонна струилась, взбухала, сжималась, растягивалась, как возбуждённая кишка. Проталкивала сквозь себя лишние комья ненависти.

Кольчугин чувствовал её страшную силу, её неотвратимый удар, направленный на розовые стены Кремля, на фрески Грановитой палаты, на хрустальные солнца Георгиевского зала, на обессиленного, брошенного всеми президента. На беззащитную страну, которая опять становилась добычей врагов. И никто — ни оробевшие, стыдливо понурые полицейские, ни чиновники, разбежавшиеся врассыпную, ни грозные силовики, побросавшие свои ордена и мундиры, — никто не остановит этот страшный таран, не встанет на пути стенобитной машины, не закроет грудью золотые надписи с именами гвардейских полков. Только он, Кольчугин.

Красная муть хлынула ему в глаза. Он вытянул руки и кинулся на колонну, желая схватить змею, сжать в кулаках её скользкое тело:

— Назад! Не смей! Не пуцуй!

Он кого-то схватил за рубаху, кого-то толкнул. На него удивленно смотрели. Его узнавали:

— Кремлёвский холуй! Денщик президента! Старый маразматик! — кричали они ему, смеялись в лицо, отталкивали. Какой-то молодой человек больно его пихнул. Какая-то девушка нацепила ему на голову веночек ромашек. Какой-то демонстрант в расшитой рубахе плеснул в него зелёной. Жидкость обожгла щеку, полилась на рубаху, испачкала её ядовитым изумрудом.

Кольчугин охнул, отшатнулся. Колонна, шелестя и звеня, проструилась мимо. Стекла вниз по бульвару к Трубной, исчезая в железной дымке.

Вернувшись домой, Кольчугин долго бродил по квартире. Наконец, усеся в кресло, вспомнил, как однажды, холодной осенью, жена подошла и накрыла ему ноги тёплым пледом. Прилёг на диван и вспомнил, как дремал на этом диване и сквозь дрему слышал звяканье посуды на кухне, запах малинового варенья. Жена поставила на плиту алюминиевый таз, в котором кипела алая сладкая гуща.

Он вдруг подумал, что почти не помнит своих детей. Не помнит, как они выросли. Не помнит драгоценных переливов, когда каждый день дарит что-то новое, восхитительное, и память удерживает первый детский лепет, первые шаги, первое произнесённое слово. Жена, уже во время болезни, умиленно вспоминала множество случаев, смешных и милых, связанных с детством сына и дочери. Казалось, она держит перед глазами невидимую раковину в переливах перламутра и любит её. Ей хотелось вовлечь в эти воспоминания Кольчугина, но он ничего не помнил. Дети росли без него. А он, одержимый странствиями, погоней за впечатлениями, уносился из дома, упиваясь видом свежего газетного листа, где был напечатан его очерк о военных учениях, о стратегических бомбардировщиках, летящих к полюсу, об атомных подводных лодках, уходящих в автономное плаванье. И этот

свежий, пахнувший типографской краской газетный лист заслонял от него играющих на ковре детей, жену, прекрасную в своём материнстве, её бессонные ночи, когда дети болели, её бесконечные труды, когда она стирала, мыла, лечила, утешала, ставила детские спектакли, устраивала новогодние ёлки.

Но нет, он помнил несколько случаев, связанных с маленькими детьми!

Рождение дочери в тёплый апрельский день, когда деревья были в зелёном тумане, и он ждал жену у родильного дома с букетом цветов в счастливом недоумении. Он, отец, сейчас увидит своего первенца, и что это изменит в его судьбе? Медсестра с румяным лицом, похожая на кустодиевскую купчиху, вынесла белый кокон, перевязанный розовыми лентами. И следом — жена, бледная, с огромными сияющими глазами, в которых было обожание, умиление и мольба. Словно молила этот огромный город, этот грозный роко-чущий мир принять её чадо, сберечь, полюбить, не причинить страданий. Он вложил в пухлую руку медсестры конверт с дарением и принял лёгкий свёрток, в котором среди белоснежных материй, в глубине что-то таинственно светилось, дышало — живое, почти невесомое — его дочь. Он старался понять своё чувство к ней, пережить своё отцовство. Но испытывал лишь весёлое недоумение, неловкость движений, боясь уронить или неосторожно сжать лёгкий кокон.

Дома их ждала родня: бабушка, мама, тёща. Был накрыт стол, сияли умытые окна. Он положил драгоценный свёрток на кровать, и жена любовно и бережно развязала ленты, раскрыла его. И обнаружилось маленькое розоватое тельце с приподнятыми ножками, хрупкими, как стебельки, ручками. Кольчугина поразили крохотные нежно-розовые ноготки на шевелящихся пальчиках рук. Жена показывала сотворённое ею чудо, и на её прекрасном лице были гордость и восхищение. Она призывала всех восхищаться.

Бабушка подошла, прилегла на кровать, приблизила к младенцу своё сморщенное, коричневое лицо и молча, долго смотрела на свою правнучку. На её перламутровое тельце, которое слабо вздрагивало от таинственных биений. Бабушкины карие глаза, почти невидящие, замерли, не моргая. Казалось, между ней и ребёнком установилась незримая связь, прозрачный световод, по которому бабушка переливала в правнучку все родовые преданья, всё родовое наследие. Готовясь покинуть мир, она вдыхала в правнучку свою исчезающую жизнь, продлевая существование рода, направляя его в бесконечность. Кольчугин благоговейно созерцал это таинство. Чувствовал линию жизни, на которой они все поместились.

Это воспоминание умиротворило его. Свой день он завершил тихо, успокоившись от дневного потрясения. Не включал телевизор. Чёрный прямоугольник таил в своей глубине зрелища убиваемых городов, и он не позволял этим зрелищам всплыть на поверхность.

Он достал из шкафа клетчатый плед. Сел в кресло и укрыл себе ноги, как это сделала когда-то жена.

“Спасибо, милая”, — произнёс он неслышно. Сидел в долгих сумерках, глядя на гаснущий за окном сад.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Утром ему позвонила активистка Лапунова, та, что участвовала в ток-шоу “Аналитика”. Её энергичный, требовательный голос с первых же слов вызвал у Кольчугина едкую неприязнь. Воскресил недавнее унижение, отвращение к лживому телеканалу, который устроил ему ловушку, вырезав его страстное обращение к президенту. И он ответил Лапуновой решительным отказом ехать на митинг в Останкино.

Он полил цветы на окнах, те, что раньше поливала жена. Хотел вернуть себе вчерашние чувства, когда память, блуждая в прошлом, отыскивала среди ошеломляющих зрелищ, военных походов и государственных переворотов драгоценные воспоминания о детях, о кратких мгновениях, когда все они собирались вместе.

Вот они с маленьким сыном идут через поле картошки. Сын едва возвышается над ботвой, цепляется за стебли, семенит в борозде, боясь отстать. А в нём такая острая нежность, любовь к его круглой голове, маленькому торопливому телу. Сын страстно стремится не отстать, не потеряться в огромном поле, в огромном мире, где ему опорой служит отец, его сила, доброта и любовь.

В осенней деревенской избе они всей семьёй собрались у горящей печки. Красные язычки на стене. Жена прижала к себе детей, а он кочерёжкой шевелит дрова, окружая их красными искрами. Захлопнув дверцу, продолжает рассказывать бесконечную сказку, которую тут же выдумывает. Про волшебных муравьев-канатоходцев, про злобных карликов и добрых лилипутов, про птицу Ночь, которая летает над заснувшей деревней. И в детях — такое страстное внимание, нетерпение, и сама жена, как дитя, внимает его фантазиям.

Они вышли на берег ледяного ночного озера, над которым стояла огромная голубая луна. Он подобрал прозрачные ледышки, раздал детям, жене, и они сквозь ледяные линзы смотрели на луну. Лица дочери, сына, жены в голубых таинственных отсветах. Он зачарован огромным волшебным миром, в который они явились и где теперь неразлучны навеки.

— А на Луне люди водятся? — спросила дочь.

— Мы с вами лунные люди, — сказала жена.

— Лунные люди, — заморожено повторил сын.

Жена кинула на озёрный лёд ледяное стёклышко, и оно зазвенело, покатилося, мерцая, исчезая в сумерках.

Кольчугин вслушивался, ловил тот далёкий звон.

Опять раздался звонок. Он услышал требовательный, возбуждённый голос Лапуновой:

— Дмитрий Фёдорович, включите телевизор! Посмотрите, посмотрите, с кем “мастера культуры”! А вы не хотите идти на митинг!

Раздражённый, повинувшись бесцеремонному требованию, Кольчугин включил телевизор.

Известный рок-музыкант Халевич пел свою бравурную песню о лазурной птице, приносящей победу и счастье. Он пел её в расположении украинских войск в районе покорённого Славянска. В парке с поломанными деревьями, среди разрушенных стен сидели на земле солдаты. Гремел и танцевал на месте ударник. Саксофонист раскачивал из стороны в сторону саксофон. Патлатый пианист вонзал длинные пальцы в синтезатор. Халевич, со своим характерным лицом смеющейся белки, двигал плечами и бёдрами, исполняя гремучую песню. Солдаты хлопали, свистели, раскачивались. На коленях лежали автоматы. Лица были исхудалые, загорелые, опалённые боями.

Кольчугин чувствовал, как его истощённые мышцы начинают крепнуть от ненависти. Скулы сводила судорога отвращения, слезящиеся глаза наполнились злым блеском.

Перед ним был враг — беспощадный, неистребимый, бессмертный, возникший из тьмы веков, чтобы терзать его родную землю. Эта песня была ритуальным псалмом, накликающим смерть на Россию. Птица, о которой он пел, была синей смертью, которая выклёвывала глаза младенцам. Победа и счастье, о которых он пел, были победой над русскими, счастьем увидеть их поражение. Солдаты, опьянев от ядовитой огненной музыки, шли к своим гаубицам и “Градам”, продолжая стирать с земли города Донбасса. Эту музыку слышали в застенках пленные ополченцы, у которых битами ломали кости. Колдун с лицом хохочущей белки глумился над Кольчугиным, над его бессилием и немощью.

И вид этого ненавистного, с беличьими резцами лица распечатал в нём потаённый ключ страсти и ярости. Он снова был боец, был в строю. Торопливо собрался, вызвал шофёра и отправился на митинг.

Митинг собирался в Парке культуры, на берегу Москвы-реки, в месте, отведённом властями под всевозможные сходки и собрания, которыми кипело недовольное общество. Кольчугин оказался среди многолюдья, которое стекалось, сплалось в сгустки. Кружилось в водоворотах, образуя сложную

смесь партий и групп, со своими вождями, стягами, патриотическими листовками. Некоторые явились в футболках с эмблемами своих организаций. Другие навязчиво раздавали крохотные газетки и воззвания. Были заметны странные персонажи — длинноволосые, бородатые, то ли в рясах, то ли в долгополых рубахах, словно явились на митинг из восточных монастырей, из колдовских урочищ, с языческих богомолий.

Кольчугину была знакома эта патриотическая толпа, в которой, наряду с коммунистами, монархистами, евразийцами и националистами, появлялись эти загадочные *посланцы древней Руси* — колдуны, волхвы и попы-расстриги.

Было солнечно, жарко. По реке среди солнечных бликов плыли трамвайчики. В стороне плескалась музыка аттракционов, раскачивались огромные качели, звенели “американские горки”. Крымский мост парил над рекой, словно отлитый из голубого стекла, в котором струились прозрачные энергии света. Кольчугин любовался этим световодом, соединившим Крым и Россию, а Россию — с небесной бесконечностью, из которой в русскую душу проливался фаворский свет.

Среди клубящейся толпы была установлена невысокая трибуна, стояли громкоговорители. Кольчугин не спешил к трибуне, останавливался то у одной, то у другой группы. Прислушивался к молве. Повсюду говорили о Новороссии.

— Слушайте меня, одна женщина сказала, что эта война через двадцать дней сама собой разрешится. Как руками разведут, — это говорила остроносая особа с бойкими сорочьими глазами, какие бывают у разносчиц слухов. — Эта женщина ехала в автобусе и сказала вдруг, что война сама собой рассосётся. “Не верите мне? — говорит. — Так вот, смотрите. Сейчас остановка. Я сойду, войдёт милиционер и сядет на моё место”. На остановке она выходит, заходит милиционер и садится на её место. Хотите — верьте, хотите — нет! — Особа блеснула круглыми сорочьими глазами и заспешила к соседней группе, чтобы там повторить свою историю.

— Это наши специально бомбежку устроили. Люди бегут в Россию, селятся, работу получают. Нам рабочие руки нужны, а то в России русских совсем не осталось. Для того и бомбят. — Суровый мужчина с мучительной морщиной на лбу был из тех тугодумов, кому вдруг открывается неожиданный морщина, и они упрямо носят её в своей тёмной одинокой морщине.

— Вы говорите, почему это президент войска не вводит? А я отвечу. Ему американские генералы показали карту, на которой видно, что нам войны не выиграть. Ихние ракеты все наши шахты, самолёты и лодки в первые полчаса сожгут. Мы и пальнуть не успеем. И его секретное убежище им тоже известно. Его там специальной ракетой достанут. Вот наш-то и испугался. А как же? Своя жизнь дороже! — Это говорил едкий маленький человечек, насмешливо оглядывая собравшихся. В его глазах светилось всеведение, превосходство над непосвящёнными собеседниками.

— Им, ребятам донецким, кое-чем помогают, что здесь не нужно. Какое-никакое оружие сунут, которым ни танк, ни самолёт не побить. Вот и пусть сражаются, пока их всех не перебьют. Они, в Донбассе, своих богатеев к стенке поставили, красный флаг повесили, а нашим богатым это никак не нравится. Вот и подставляют под бомбы, чтобы всех перебили. — Человек в красной футболке с советским гербом обвёл всех покрасневшими глазами, словно его мучила бессонница с неотступной тоской.

— В Киеве хазары власть захватили. Была Украина, а теперь Хазария. Они в Донбассе русских добьют и за Крым возьмутся. Мы с мужиками едем в Донбасс с хазарами биться. — Это произнёс молодой парень в чёрной футболке, на которой красовался белый череп и надпись: “Православие или смерть”.

— А что я вам скажу, люди добрые. В монастырях за войну молятся, чтобы быстрее случилась. Война всю дрянь спалит, народ очистит. Много в народе дряни развелось, — бородатый, с жёлтым лицом мужичок в линялом подряснике и стоптанных башмаках паломника перекрестился и пошёл дальше. Он пробирался среди разноцветных футболок, красных стягов, геор-

гиевских лент. И над всеми, сотканный из голубых лучей, парил Крымский мост, источал бестелесную энергию света.

— Дмитрий Фёдорович, что же вы не идёте? Мы начинаем! — из толпы возникла взволнованная Лапунова со своей кокетливой чёлкой и потащила Кольчугина к трибуне.

Первым выступал священник, степенный и благообразный. Смирненным голосом проповедника он призывал к миру народ, охваченный междоусобной бранью, ратовал за скорейшее прекращение боевых действий и за мир на многострадальной украинской земле.

Площадь отозвалась недовольством, глухим ропотом, даже свистом. Никто не хотел примирения — все хотели сражаться и побеждать. Кольчугин видел, как был смущён священник, который ушёл с трибуны и стал выбираться из толпы, покидая площадь.

Нещадно пекло. Над Москвой-рекой стояла пепельная туча с оплавленным краем. Вода казалась кипящим свинцом, по которому плыли трамвайчики.

Выступал лидер евразийцев — рыжебородый, с огромным сияющим лбом, манерами кафедрального профессора, который неистово отстаивает свою теорию.

— Битва за Новороссию — это битва за Евразию! Кто владеет Новороссией, владеет Евразией! Атлантисты, ведомые англосаксами, посягнули на великие пространства бассейнов Дона и Волги, стремясь прорваться к Уралу и в Среднюю Азию! Они посягнули на храм Василия Блаженного, на пагоды Тибета, на мечети Ирана! Началась битва миров! Ополченцы Донбасса — это витязи Евразии! Они истекают кровью на блокпостах Донецка и Луганска, и надо немедленно ввести русские войска для отражения атлантистов! Русские танки должны пройти по улицам Львова и Киева, а если надо, то и по улицам Варшавы и Берлина! Пусть не пугают нас ядерной войной! Рабство страшнее любой войны! Наш президент, глубинный евразиец, окружен атлантистами! Они взяли в плен его душу и разум! Поэтому он медлит с вводом войск! Освободим от атлантистов президента! Освободим от атлантистов Новороссию! Слава Евразии и её славным витязям!

Выступал предводитель партии “Великая Русь” — невысокий, точёный, изящный.

— Войска не вводить! Россия не выдержит большой европейской войны! Совокупный военный и экономический потенциал НАТО превышает возможности России в сто раз! Кто призывает к войне, тот провокатор и враг президента! Новороссию поддержим добровольцами и негласными поставками оружия! Люди нашей партии сражаются на блокпостах Донецка, в то время как другие загорают на пляжах Евразии! Берегите президента! Без него у России отберут Крым, а потом Урал и Сибирь! Государство нельзя доверять истеричным профессорам и политическим безумцам!

Кольчугину казалось, что он сейчас рухнет. Больше не было воздуха, и он задыхался в безвоздушном пространстве раскалённого города. Вода в реке почернела, и кораблик плыл, сражаясь с ядовитыми волнами. Крымский мост казался свитым из чёрных и синих жил, набряк, как сведённый судорогой мускул. Дико, безумно звенели в стороне аттракционы.

— Дмитрий Фёдорович, теперь вам! — Лапунова подтолкнула его к микрофону.

Кольчугин почувствовал, как его колыхнуло. Хотел ухватиться за хрупкий штатив микрофона, но удержался и некоторое время стоял, видя вместо площади разноцветный туман. Туча высилась над головой, похожая на огромного быка. Часть города ещё сверкала на солнце, но другая уже была во мраке. И он подумал, что мир явил ему картину вечного сражения, битву света и тьмы, и его смертная жизнь таинственным образом включена в эту схватку.

— Что мне вам сказать, люди русские? — Его голос в микрофоне дрожал, предвещая рыдания. — Я не знаю, что чувствует президент, видя, как в детских гробиках лежат убитые дети. Как цветущие города, построенные нашим великим народом, разрушаются бомбами и ракетами. У президента есть совесть, есть боль, есть тысячи неизвестных мне обстоятельств, побуж-

дающих его действовать так, как он действует. Что я могу, русский писатель, проживший долгую жизнь? У меня нет воздушных армий, нет танковых колонн, нет установок залпового огня. У меня есть мои книги, те, что написаны, и та, что ещё не написана. Книга о городах-мучениках, которые убивают у всех на глазах. Я поеду в Новороссию и напишу эту книгу. И я хочу, чтобы это была книга любви, книга ненависти, книга возмездия!

Над головой в чёрной туче пророкотало, словно в ней провернули тяжёлый вал, и мрачно сверкнули колёса, растворяющие тяжкие створы ворот. Дунул холодный ветер, ударили острые, как пули, капли.

Отталкивая Кольчугина от микрофона, выскочил бородатый, с безумными глазами человек в рваной рубахе, под которой виднелись какие-то железные цепи и скобы:

— Все вы бесы проклятые! В Россию бесы слетелись! Опять Россию кровью умоют!

Треснуло в небесах. Из трещины упал ослепительный белый огонь. И этот слепящий блеск, и рваный грохот, и истошные крики бородатого безумца кольхнули толпу, и она превратилась в яростные клубки. В ненависти схватились “красные” и “чёрные”, “жёлтые” и “белые”. Дрались, рвали друг на друге одежду, на них падал гремящий ливень, топил, глушил, и они, продолжая драться, покидали площадь.

Кольчугин один стоял на трибуне среди громящей воды. Всё вокруг было непроглядным, размытым. И только Крымский мост был похож на железный ковчег, плывущий среди потопа.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Прежде в походы его собирала жена. Её проводы, её напутствия вдохновляли его, избавляли от дурных предчувствий, и теперь он нуждался в этих утешениях и напутствиях. Так когда-то его мать провожала на войну отца. Тот ушёл и больше не вернулся. Его бранные кости лежат в Сталинградской степи в безвестной могиле.

Кольчугин решил отправиться в церковь, которую посещала жена. Там же в осенний солнечный день она лежала в гробу, усыпанная астрами и хризантемами.

Церковь была стройной и светлой, с каменными наличниками, высокой золочёной главкой и аркой, сквозь которую шли прихожане. Внутри было прохладно, сладко пахло ладаном, в пятнах солнца бледно горели свечи. Золотились иконы, и священник отец Владимир, в золочёных ризах, с золотой бородкой, сам казался ожившей иконой. Кольчугин купил три свечи, приблизился к образу Богородицы, перед которым сиял подсвечник. Попытался зажечь свечу, подносил её к огоньку горевшей свечи. Глаза не видели, руки дрожали, и он всё время промахивался.

Кольчугин прислушивался к хору, в котором когда-то пела жена. Его чуткий слух в суеверной надежде ожидал услышать родной голос, и его отсутствие ещё сильнее напоминало о жене, которая так любила этот храм. Возвращаясь домой, она всегда приносила то розовый прутик вербы, то крашеное яйцо, то увядшую, тонко пахнущую веточку троичной берёзы.

Он выбрал место в церкви, где три года назад стоял гроб жены. Теперь это место пустовало. Он встал туда, где стоял в день отпевания, близко к изголовью, откуда был виден белый выпуклый лоб жены, её строгие тёмные брови и сжатые губы. На мгновенье он почувствовал горячую волну близких слёз, но не пустил их. Смотрел туда, где таинственно и прозрачно витал образ жены, и снова видел множество роз, хризантем и лилий, уложенных поверх её недвижимого тела.

Он пришёл в храм, чтобы повидаться с женой. Получить от неё напутствие перед тем, как отправиться на свою очередную войну.

“Провожать тебя я выйду, ты махнешь рукой”, — печально говорила она, отпуская его в Афганистан или в Анголу, или в Эфиопию. Подводила к чёрной “Волге”, которая уносила его в аэропорт. И некоторое время, по-

ка самолёт резал крылом синеву, образ жены следовал за самолётом, её лицо прижималось к иллюминатору, а потом исчезало. В стреляющих горах или джунглях он почти не вспоминал о ней, окружённый солдатскими паннами, хлюпающей сельвой, красными бинтами лазаретов.

Но, Боже, как прекрасно было её лицо, когда он возвращался домой! Звонил в квартиру. Дверь распахивалась. И, казалось, распахивается её лицо, полное изумления, восхищения, лучезарного света. Он влетал в этот свет, купался в нём. Очищался от копоти, жестокой ярости, болезненной страсти, заставлявшей его двигаться в военных колонах, созерцать гибнущие континенты.

Шла служба. Появлялся и исчезал отец Владимир. Развешивал синий дым, плыл в золочёном облачении, не касаясь земли. Хор в своих песнопениях тянул бесконечную пряжу, завораживал. Таинственный язык, на котором шло богослужение, был понятен Кольчугину не словами, а восхитительной музыкой этих слов. Они постигались не разумом, а печальным и любящим сердцем.

Синие волнистые горы с гаснущей зарёй, и он сидит в ночном саду незнакомой виллы. Вокруг него зелёные светлячки танцуют бесшумный танец. И назавтра с отрядом сандинистов он уйдёт в стреляющую сельву, неся на плече трубу миномёта.

Марлевый полог в номере придорожной гостиницы и огромная, как желтый лимон, луна. Её отсвет на стволе автомата, на стакане с водой, на сподяных крыльях летающих муравьёв, покрывших стол дрожащей чешуей. Наутро с колонной вьетнамцев, преследующих отряды Пол Пота, он углубится в душные джунгли. Алебастровый слон, иссечённый осколками, мелькнёт на обочине.

Коричневые минареты Герата. Вертолёты, скользя между ними, идут на удары, выпускают чёрные остроконечные вихри. Боевые машины пехоты втискиваются в тесные улицы, поливая огнём глинобитные стены. Он вцепился в кромку раскрытого люка и успел разглядеть раздавленный гусеницами куст красных роз.

Кольчугин слушал хор, в котором голоса струились, как тихие стебли, и в них недоставало лишь одного, бесконечно любимого голоса.

Вера жены, которая тихо, год от года, расцветала в ней, её хождения в храм, книжицы и жития, с которыми она возвращалась оттуда, её иконки, которыми она увешивала стены своей комнаты, её посты, паломнические поездки — всё это было связано с ним, с его военными походами — она молилась о нём.

Однажды ночью она сказала:

— Ты чувствуешь, как я молюсь о тебе? Чувствуешь, как моя молитва тебя заслоняет?

Тогда, в их московской квартире, в ночи с отсветами ночных фонарей, он ничего ей не ответил, только поцеловал её тёплую шею. Теперь же, в церкви, он ясно, с поздним обожанием и слёзной любовью стал вспоминать военные случаи, когда к нему приближалась смерть и промахивалась, отведённая её молитвой.

Их вертолёт летел в Эритрее над руслом сухой реки. Изнывающие от жажды животные сошлись к липкой луже: коричневые антилопы, седые косули и два тощих, ободранных волка. Из чахлах деревьев хлестнул пулемёт и пронзил обшивку у его виска. Он видел, как светится пулевое отверстие, чувствовал, как дует сквознячок промахнувшейся смерти.

Под Кандагаром, у кишлака Таджикиан он сел на броню БТРа. Почему-то не того, что прошёл вперёд с группой сапёров, а второго, где сидел горбоносый прапорщик, протянувший ему руку с брони. Головной БТР взорвался, наскочив на фугас, и рыжий сапёр, отброшенный взрывом, лежал на обочине. Взрыв, поразивший сапёра, предназначался ему, но чья-то неслышная воля заставила его пропустить головную машину.

В Анголе он пробирался на юг, к границе с Намибией, где партизаны уходили в рейды, взрывали водоводы, высоковольтные вышки. Возвращались на базу, неся на плечах убитых и раненых. На двух машинах они про-

двигались по пустому шоссе. Где-то горели леса, пахло дымом. Толпы жуков, рогатых, с лиловыми панцирями, перетекали шоссе, хрустели под колесами. После краткого отдыха командир, чернолицый и белозубый, с косой бородой, напоминавший Толстого, попросил его пересесть в другую машину. Сам же сел в первую и помчался вперёд. Низко над шоссе, вслед ушедшей машине, пролетела “Импала” — лёгкий бомбардировщик буров. Вдали прогремел глухой взрыв. Через час они тронулись в путь и увидели уничтоженную бомбой машину. Чернолицый командир лежал у колеса с обугленной бородой, и белозубый рот был полон крови.

Служба кончилась. Отец Владимир вышел с крестом. Прихожане смиренной вереницей потянулись к кресту. И вдруг среди женщин, среди их платков и долгополых платьев, он угадал жену — в повороте головы, в сходстве приподнятых плеч. Понимал, что ошибся, что появление её невозможно, но испытал потрясение. Всё путалось, менялось местами. Время утратило свою последовательность и сложилось в невозможный, немислимый ряд. Молодая жена с голыми плечами кормит грудью младенца, и тут же лежит в гробу с чёрной мукой в бровях. Колонна БТРов идёт в горах с лимонной зарёй... Бабушка несёт в его детскую спальню чашку с настоем шиповника... Мамина акварель на стене, он видит её отражение в зеркале, а по Луганску бьют гаубицы, выкальывая квартал за кварталом.

Голова кружилась, словно он попал на карусель, и вокруг, среди свечей и лампад, проносились лица и зрелища. Этот вихрь однажды подхватил его, поместил на огромное “колесо обозрения”, вознёс до неба, показал континенты и страны, одарил несказанным счастьем и теперь опускает вниз, в тихие сумерки, где ему предстоит исчезнуть.

Он стоял, охваченный паникой непонимания жизни. Подошёл к кресту, поцеловал распятие и белую руку священника.

— Помолитесь обо мне, отец Владимир.

— Помолюсь, — тихо ответил тот.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Кольчугин знал человека, который здесь, в Москве, помогал ополченцам Донбасса: принимал на банковский счёт пожертвования, отправлял в горящие города гуманитарную помощь, тайно отсылал добровольцев, которые ехали в Ростов и оттуда, секретными переходами и тропами проникали в Донецк и Луганск. Человека звали Новицкий Игорь Константинович. Он был подполковник запаса, а познакомился с ним Кольчугин на Второй чеченской, когда тот, в звании капитана, был приставлен к Кольчугину, чтобы опекать его на войне. Вместе они на измытанном БТРе катили в предгорьях Кавказа, и толстые колёса машины выдавливали из земли вязкую зелёную нефть. Вместе мчались по безлюдному Грозному среди закопченных развалин, в резиденции Масхадова на полу валялись окровавленные бинты и простреленный синий глобус. Вместе на вертолёте летели над Сунджей, повторяя путь Басаева, который выводил свой отряд из Грозного и попал на минное поле. Вдоль чёрной, с остатками льда реки тянулась бахрама разноцветного мусора: цветные одеяла, расколотые санки, тела убитых. Словно вдоль берега проехал огромный мусоровоз, роняя по пути рыхлую поклажу. В Ханкале, поджидая борт на Моздок, шли из фляжки водку, глядя, как возвращаются с задания вертолётные пары.

Теперь они встретились, и в этом полном лысеющем человеке Кольчугин едва узнал худого подвижного офицера.

Кольчугин вдруг остро подумал, что его сборы в Новороссию проходят без участия жены. Без её хлопот, волнений, тайных слёз, покорного взгляда, ночных стояний перед домашним киотом с малиновой лампадкой. Истощение её сил, увядание её красоты, надрыв её души были связаны с этими постоянными проходами.

Тот проклятый 91-й, когда завершалась безумная “перестройка”, эта дрящящая годами истерика. Истирались в труху все столпы и основы страны,

и Кольчугин в ярости, в раскалённой ненависти сражался с губителями Родины. Статьи, выступления, обращения к народу, встречи с генералами, партийцами, директорами военных заводов. С теми, кто позднее составил заговор с целью спасти государство.

Жена трепетала в предчувствии беды, страшилась за него и детей. Слышала, как на их хрупкий очаг надвигается грохочущая тьма. Те дни, когда в город вошли войска, под окнами их квартиры на улице Горького шли танки, и синяя гарь долетала до распахнутых окон. А потом броня непобедимых машин расплавилась, как пластилин, и ликующие толпы вал за валом катились по улице, неся трёхцветное полотнище Ельцина. На Лубянке сносили памятник. Сбивали золочёные буквы с партийных зданий. Шли аресты заговорщиков. Телевидение называло имена организаторов и идеологов путча, и среди них — имя Кольчугина. Его грозились повесить на фонаре, требовали его ареста. Либеральный литератор Вигельновский предлагал сжечь его книги, а его самого в клетке возить по Москве. Ему казалось, что духи тьмы, нетопыри, летучие чудища реют над Москвой, выискивая его, хлещут крыльями по стёклам окон.

Та страшная ночь в ожидании ареста. Под окнами стучали молотки — готовили эстраду для выступления музыканта Халевича, затеянного в честь победы демократии. А ему казалось, что внизу строят эшафот, и утром его поведут на казнь. Жена сидела рядом, обняв его.

— Положись на волю Господа. Ты всё делал правильно, я горжусь тобой. Я сейчас разбужу детей.

Она привела в кабинет сонных, полуодетых детей, и они сидели, обнявшись, своим маленьким тесным мирком среди грозного жестокого мира, где рушились царства, начинали дымиться материки. Под окнами стучали топоры, выкатывали плаху, и с первым рассветным лучом их разлучат. Его поведут на казнь, а она и дети станут смотреть, как кладут на колоду его голову, которую когда-то она целовала в зимней избушке.

— Я тебя люблю. Как тогда, в наши чудные дни.

Сидя в квартире у Новицкого, Кольчугин не вслушивался, как тот обсуждает с какими-то людьми возможность отправки Кольчугина в Новороссию. Он старался не потерять возникший в душе звук, мучительный и прекрасный. Не отпустить от себя образ жены, просиявший сквозь мглостное время.

Тот чудовищный 93-й, когда в Доме Советов собирались при свечах депутаты, баррикадники волокли пучки арматуры, гнилые доски, глыбы асфальта, громоздили у подъездов колючие ворохи. Кольчугин с балкона призывал в микрофон к восстанию, двигался в чёрной толпе среди красных знамён, катил в грузовике к “Останкино”, где грохотали пулемёты, вырывая из толпы кровавые клочья. И жутко, чадно горел белоснежный дворец, весь в языке жирной копоти, а танки с моста всё били и били, и на белой стене отекала страшная клякса. Кольчугин бежал из Москвы и в глухой рязанской деревне слушал по радио вести о разгроме восстания, об арестах народных лидеров. В перечне убитых находился и он. Не мог сообщить жене, что жив, тосковал, глушил с хозяином водку. Надрывно и горько пел песню о степных пожарах, о грае чёрного ворона, заклевавшего ясного сокола. Через неделю, когда отменили военное положение, он вернулся домой. Жена встретила его на пороге, обугленная, с провалившимися глазами. Рыдала, кидалась ему на грудь, обморочно оседала на пол. И снова рыдала, хватая его за руки, боясь, что он снова уйдёт.

— Господи, Боже мой! За что же всем нам такое!

С этих пор в ней поселилась болезнь. Исчез чёрный стеклянный блеск волос, и густо, серым пеплом выступила седина. Томила бессонница. Она часто плакала. Зачастаила в церковь. Он с детьми старался её утешить, замечая, как в ней иссякает сияющее жизнелюбие, очаровательная женственность, восторженная поэтичность.

— Дима, посмотри, какая я некрасивая.

Он обнимал её, и она тихо плакала у него в объятьях.

Наконец, Новицкий закончил переговоры с людьми и посмотрел на Кольчугина долгим взглядом, каким смотрят на огонь или текущую воду.

— Хорошо, Дмитрий Фёдорович. Подождите несколько дней. Я свяжусь с Ростовом. Узнаю, когда группа добровольцев пересекает границу. Вас там примут.

— Спасибо, брат.

— А помните, Дмитрий Фёдорович, в Ханкале мы встретили бойцов спецназа, которые летели на задание? У одного на спине была надпись. “Нам нужен мир. Весь мир”.

— Должно быть, он был писатель.

Они обнялись, и Кольчугин покинул комнату.

Дома он сидел в саду, глядя на рябину. Гроздья начинали краснеть. Резные листья светились тихим серебром. Это светилась жена, поселившаяся в дереве. Кольчугин подошёл к рябине. Отщипнул ягоду и положил в рот. Вкус был горький, печальный, как поцелуй жены.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

К нему в гости приехали дети, внуки, зять. Привезли торт, бутылку вина. Поставили под деревьями три автомобиля. Наполнили тихий дом хохотом, громкими голосами. Разбрелись по комнатам, стучали по деревянным лестницам.

Дочь Вера в вольном голубом сарафане, темноглазая, с сочными малиновыми губами, напоминала Кольчугину покойную жену. Она накрывала стол в саду. На яблонях обильно висели яблоки, и ветки под их тяжестью начинали клониться. Сын Юрий в элегантном летнем пиджаке, с красивой бородкой, отдалённо, своим высоким лбом и бородкой напоминал одного из дедов Кольчугина. Он открывал бутылку вина. Его сын Фёдор, студент, с округлым милым лицом и тонкой шеей, слушал своего двоюродного брата Кирилла, который только что вернулся с Красного моря, где плавал с аквалангом, любуясь подводным царством кораллов. Его сестра Катя, школьница, очаровательная, белозубая, восхищённо слушала брата, и в её обожающих глазах отражался сад, золотистые яблоки, лиловые флоксы. И вся она светила девичьей прелестью и доверием к прекрасному миру, в котором её окружали любимые люди. Зять Тимофей Тимофеевич, в семейном кругу Тим, резал торт, погружая нож в пышные кремовые розы.

Кольчугин из кресла наблюдал эти счастливые приготовления. Выбирал минуту, когда можно будет объявить о намерении ехать в Донбасс.

К нему подошёл сын Юрий. Потёрся о его щёку своей жёсткой бородкой, и Кольчугина тронула эта сыновья нежность. Вот кому он откроет свой план “донецкого похода”.

— Ну, как ты, папочка?

— Всё слава Богу. Как твои успехи?

Сын издавал новомодный журнал “Волшебная роза”, в котором печатались философские и литературные эссе, репортажи о художественных выставках, этюды о знаменитостях из мира политики, науки и культуры, а также рассказы восходящих литературных звёзд. Журнал приобретал популярность, был привлекателен своими яркими иллюстрациями, изысканным языком.

— Над чем ты сейчас работаешь, папа? Не хотел бы опубликовать отрывок из нового романа в моём журнале?

— Не думаю, чтобы это украсило бы твой журнал.

— Тебя знаешь, как называют молодые литераторы? “Прикольный динозавр”.

— Ты прав, моя литературная традиция берёт начало в Юрском периоде.

— Мне принесли прелестную маленькую повесть в стиле фэнтези. Герой отыскал на Северном Урале неизвестную страну, где люди общаются без слов, от сердца к сердцу. Это прообраз будущей цивилизации.

— Прообразом будущей цивилизации является Новороссия. Там, под бомбами, рождается новый мир, Новая Россия. Оттуда прозвучит новое слово жизни.

— Ну, нет, папа. Оттуда прозвучат только хриплые матерные слова. Это дурной эпизод современной истории. О нём скоро забудут.

Кольчугин испуганно умолк, словно между ним и сыном провели рытвину. Незаметно, год от года сын от него отдалялся, окружённый людьми, интересами, хлопотами, которые были чужды Кольчугину. Бесконечно далёкой казалась та лунная ночь, когда они всей семьёй вышли к замерзшему озеру, и сын сквозь ломтик льда заворожённо смотрел на луну, и по его детскому лицу скользил голубой лунный след.

К ним подошёл Федя, сын Юрия. Он был почти одного роста с отцом, но узок в плечах, с хрупкой шеей, на которой голова держалась, как бутон на стебле.

— Вот Федя с матерью только что вернулись из Штатов, — произнёс Юрий, приобняв сына. — Расскажи деду, что тебе там понравилось?

— Понравились люди. Они такие вежливые, приветливые.

— Чем ты там занимался? — Кольчугин всматривался в свежее, ещё не знающее бритвы, с лёгким пушком лицо внука, поражаясь тому, как быстро тот вырос. Из смешного, чувствительного ребёнка, проливавшего слёзы над хромым котёнком, он превратился в студента архитектурного института, склонного к глубокомысленным размышлениям. — Где побывал в Нью-Йорке?

— Я изучал небоскрёбы, фотографировал их. Смотрел на Бродвее мюзикл “Кошки”. Был в музее Гутенхайма и в музее космонавтики. Хочу написать курсовую работу “Стиль “Америка”. Мне кажется, в архитектуре, музыке, живописи, в достижениях науки и техники воплотилось то, что зовётся “Американской мечтой”.

— А ты бы не хотел написать работу на тему “Русская мечта”? Исследовать древнерусское искусство и русский авангард? — Кольчугин подумал, что мало общался с внуками, всё своё время посвящая книгам, путешествиям и политике. С внуками общалась жена, они обожали её, и он помнил, как рыдал Фёдор, когда узнал о её смерти. — Ты будешь архитектором, и города, которые ты станешь проектировать, должны выражать образ будущей России, “Русскую мечту”, как она дышала в русских сказках, в философии, в концепции “Москва — Третий Рим”, в поэзии Пушкина, в деяниях Сталина, в триумфе Победы. Попробуй написать такую работу.

— У меня для этого мало знаний, — смутился Фёдор.

— В Новороссии русские люди воюют за будущее, за “Русскую мечту”. Там разрушаются и горят города. Но война кончится, и надо будет строить новые города. Ты поедешь в Донбасс и построишь новые прекрасные города.

— Я боюсь войны, — сказал Фёдор и тихо отошёл туда, где его двоюродные брат и сестра играли в пинг-понг.

Сели за стол. Зять Тим-Тим раскладывал торт по тарелкам. Внук Кирилл разливал по бокалам красное вино и делал это умело, артистично, приподнимая горло бутылки, чтобы капли не упали на скатерть. Его красивое лицо покрывал чудесный загар, глаза светились мужской силой и благодушием счастливого человека, вкушающего радости жизни. Кольчугин считал его лоботрясом. Внук бросил институт, мотался без дела. Путешествовал, играл на саксофоне, проводил время в компаниях друзей, находясь на содержании у отца. Сам же Тим-Тим занимался недвижимостью, имел несколько квартир, в том числе в Болгарии, и не выглядел человеком, который надрывается на работе.

— Так что там, на курортах Египта? — спросил Кольчугин со стариковской язвительностью.

— Дедуль, на курортах прекрасно, — ответил внук, не обращая внимания на иронию деда. — Я там видел рыбу-молот. Это такая акула. Мы смотрели друг на друга, и представляешь, она не выдержала моего взгляда и уплыла.

— У Кирилла знаете, какой взгляд? — Катя обняла брата тонкой рукой, и тот перехватил её руку и поцеловал в ладонь. — Его взгляда никто не выдерживает. У Кирилла была подруга Нина, и он так на неё смотрел, что она ушла и больше не приходит.

— Она выходит замуж и приглашает на свадьбу, — засмеялся Кирилл.

Кольчугин устыдился своей иронии и своих стариковских претензий к этим счастливым людям. Они не желали разделять его страхи и горести. Эти были самые дорогие и близкие ему люди, и он был счастлив тем, что они навестили его.

— Дед, — Тим-Тим поднялся, держа бокал. — Я хочу выпить за твоё здоровье. Ты знай, что все мы тебя очень любим. Ты наш пращур. Мы жёлуди, выросшие на твоих ветвях. Ты для нас эталон. И не только для нас. Тебя любит народ. Твои книги стоят на полках миллионов людей. Желаем тебе крепости духовной и телесной. За тебя!

Все чокались с Кольчугиным, и он подумал, что сейчас самое время оповестить семью о своём намерении ехать в Донбасс. Но дочь Вера спросила:

— Папа, я недавно рассматривала фамильный альбом, и действительно, наш Юра очень похож на прадеда Михаила: та же борода, те же глаза. Он даже пиджак себе подобрал того же покроя. Что он за человек был, наш прадед Михаил?

Сын тонко усмехнулся и тронул бородку. Кольчугина вновь поразило это родовое сходство, которое волной передавалось из поколения в поколение. Возник образ деда, которого он помнил уже стариком, жёлчным, язвительным, всем и вся недовольным. Под старость его снедала губительная тоска.

— Дед Михаил — от сохи, из нашего молоканского рода. Отец его, Тит Алексеевич, был неграмотный, но крупно разбогател и всем своим детям дал превосходное образование: одного послал в Германию, в университет Гейдельберга; другого сделал инженером. Дочку отдал на Бестужевские курсы, и она впоследствии раскапывала Помпею. Дед Михаил стал химиком, но при этом увлекался живописью. Дружил с художниками “Мира искусства”. В его квартире на Страстном висели полотна Головина, Судейкина, Зиги Валишевского. — Кольчугин представил ту исчезнувшую комнату, где стоял рояль, стол украшала фарфоровая лампа под шёлковым абажуром, на стене висели картины с зарослями сирени, циркачами и клоунами, поражавшими его детское воображение. Капляющий дед всё курил и курил, окутываясь сизым дымом. — Когда началась очередная Русско-турецкая война, он ушёл в армию, командовал батареей горных орудий, которые в разобранном виде навьючивались на лошадей. Однажды под Карсом, в горах, отряд нашей пехоты попал под обстрел турок. Началась паника. Дед не растерялся, приказал развьючить и собрать орудия и прямой наводкой расстрелял турецкие цепи. За это он был награждён золотым оружием. Когда в Тифлисе ему вручали награду, при награждении присутствовал маленький цесаревич Алексей. Дед так разволновался, так был тронут видом хрупкого мальчика, что, в нарушение этикета, подошёл и поцеловал его. — Кольчугин испытал головокружение, какое бывает, когда смотришь в перевёрнутый бинокль, когда все предметы бесконечно удаляются, словно их уносит в даль. Этой далью было его детство. Дед Михаил в пыжиковой шапке, в худом пальто шёл по улице в московской метели. — Потом он попал в лагеря и работал на севере, на лесоповале. Как-то сказал мне: “Жалею, что не пошёл добровольцем в Белую армию”.

Кольчугин умолк. Дети и внуки молчали, задумавшись. Кольчугин подумал, что его память удерживает множество образов, доставшихся ему по наследству из времён, ему не принадлежащих. Сейчас он зачерпнул из прошлого ковшик воспоминаний, перенёс сюда и одарил этими воспоминаниями всех, собравшихся в семейном застолье. Быть может, когда-нибудь, когда его уже не станет, внуки поведают своим детям это семейное предание.

— Катя, принеси из дома гитару, — попросила дочь. Та ушла в дом и вернулась с гитарой — смуглой, медовой, инкрустированной перламутром. Гитара тихо забренчала в руках у дочери. Жена играла на этой гитаре и, даже когда болела, тихо пела свои чудесные песни, пленявшие его в первые месяцы их любви.

— “Мой друг рисует горы, далёкие, как сон, зелёные озёра да чёрточки лесов”, — дочь перебирала струны, прислушиваясь к рокошущим звукам. Она выбрала эту давнюю песню, романтическую усладу туристов, которая звучала в доме в её детстве. Кольчугин испугался забытых слов, которые пе-

ла ему жена в самые первые их чудесные дни. Они сидели вдвоём в комнате, окна выходили к железной дороге, и в сумерках бежали огоньки электричек, мерцающие бусинки. Она пела, поднимая на него глаза, и он восхищался золотыми переливами её любящих карих глаз.

Дочь тряхнула головой, ударив по струнам с той же озорной весёлостью, как делала это жена. Она была на неё похожа выгнутыми бровями, карими глазами, малиновым ртом, изгибом кисти, которой накрывала струны.

— “Бирюзовые да зóлоты колечики, // эх, да расплескались да по лужку. // Ты ушла, и твои плечики // скрылись в ночную мглу”, — дочь смотрела на него, словно стараясь, чтобы он вспомнил эту цыганскую песню.

Ах, как пела жена, с какой огненной страстью, с пьянящей женственностью! И гости, наполнявшие их дом, начинали прищёлкивать пальцами, дрожать плечами, словно готовы были пуститься в лихой пляс. Он восхищался, гордился, любовался её красотой.

— “Когда ещё не пил я слёз // из чаши бытия, зачем тогда в венке из роз // к теням не отбыл я”? — этот романс на стихи Дельвига жена пела в сумерках осеннего дома, когда уже начиналась её болезнь. Не подходя к ней, из соседней комнаты он слушал её ослабевший голос и был готов рыдаться.

Теперь эти рыдания вновь подступили. Он вдруг ослабел и сник.

— Вы посидите, а я пойду в беседку, полежу, — Кольчугин покинул застолье, которое продолжало петь и смеяться.

Кольчугин прилёт в беседке, укрывшись пледом. Смотрел, как ветер дует в круглую осину, и дерево, словно огромная одноногая птица, раздувает перья, готовое взлететь. Но ветер стихал, и зелёные перья опускались, осина стихала.

Болезнь вышивала из жены соки. Жена теряла силы, худела. Беспомощно и печально зывали её тёмные большие глаза:

— Неужели я скоро умру?

Кольчугину было невыносимо чувствовать на себе её умоляющий взгляд. Она лечилась, сопротивлялась. Он доставал самые редкие, дорогие лекарства, возил её на приёмы к медицинским светилам. Она ездила в монастыри, прикладывалась к мощам, пила святую воду. Но постепенно надежда на выздоровление гасла в ней, она равнодушно, нехотя принимала лекарства и всей душой предавалась молитвам. Не об исцелении, а о том, чтобы Господь принял её к себе. Кольчугин видел, как она удаляется от него. Удаляется из жизни, словно её подхватил невидимый тёмный поток и уносит. И он не в силах её удержать.

— Господи, как я устала! — сказала она однажды.

Когда ей стало совсем невозможно, и она почти не вставала, у них в доме поселилась монашка Клавдия Сидоровна, маленькая, худенькая, как птичка, умильная и услужливая. Она всё время проводила с больной. Когда он заглядывал в комнату жены, то видел, что монашка стоит на коленях у её изголовья, читает молитвослов, а жена, в белом платочке, с неподвижными глазами слушает Покаянный канон.

Жену увезли в больницу, и пока её не было, он с Клавдией Сидоровной вечерами совершал вокруг дома крестный ход, нёс образ Спасителя, а Клавдия Сидоровна держала у груди икону Богородицы. Она пела тихим взволнованным голосом, а он послушно исполнял её указания и страстно молился об исцелении жены, троекратно крестил иконой вход в дом. Сквозь яблони светила большая осенняя луна.

— Дедуль, мы поехали, — в беседку вошла внучка Катя, нежно прижалась к нему.

— Дед, ты лежи, не вставай, — Тим-Тим протянул ему руку. Пришли прощаться внуки, сын и дочь.

— Ты звони. Если что, я сразу приеду, — дочь поцеловала его тёплыми губами, и её сходство с женой почти исчезло.

Кольчугин подумал, что сейчас сообщит им о своём намерении ехать в Донбасс, но промолчал. Он смотрел, как отъезжают одна за другой легковые машины.

Вечером позвонил подполковник Новицкий:

— Дмитрий Фёдорович, вас будут ждать в Ростове. Вылет через три дня. Вам обеспечат переход границы и доставят в Донецк.

— “Не бойся идти в Египет”, — сказал Кольчугин.

— Что, что? — не понял Новицкий.

— Это из Священного Писания. “Не бойся идти в Донбасс...”

Перед сном он подошёл к рябине, тронул её прохладную ветку. Поведал ей о своём скором отъезде. И вдруг жена вышла из рябины — высокая, статная, восхитительная, какой была в пору своего женского цветения. Её тёмные волосы стеклянно блестели. На белой шее, как драгоценные брызги, краснело фамильное гранатовое кольцо. Кольчугин благоговейно любовался ею.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Вначале это предчувствие, томление. Туман, в котором что-то плавает, возникает и исчезает. Не роман, а сон о романе. Роман уже где-то присутствует, быть может, уже написан. Но не тобой, а на небесах. И ты своими колдовскими предчувствиями сводишь роман с небес. Это и есть непорочное зачатие. Первое дуновение романа. Из этих предчувствий, из мимолётных мечтаний вдруг возникает образ романа, его зыбкий контур. Так из тумана внезапно появляется дерево, или дом, или колокольня — всё размыто, невнятно, готово исчезнуть. Но ты не отпускаешь образ. В этом образе уже уловлена жизнь, её бесчисленные проявления. Они утрачивают случайность, складываются в метафору, в которую готово поместиться множество явлений, характеров, судеб. Эта метафора объёмлет собой часть бурлящего бытия — театр военных действий или всплеск реальной истории, или родовую коллизию, или всё вместе. Ты устремляешься в эту метафору, превращаешь её в сюжет, отыскиваешь в ней своих будущих героев, выхватываешь множество драгоценных подробностей. Это может быть лишняя кабульская улица, где лежит убитый брадобрей, рядом с ним — пластмассовая чашечка с пеной, поблёскивает лезвие бритвы, а мимо, швыряя в брадобрея тяжёлыми брызгами, идут БТРы. Или горный ручей в окрестностях Сан Педро-дель Норте, синие цветы, пчелочка солдат осторожно перебредает ручей, и колеблются от их движений цветы.

— Зачатье состоялось. Роман, как дух, вошёл в тебя и поселился под сердцем. Ты переполнен будущим романом, всё твоё естество, вся твоя духовная и материальная суть обращены на крохотный, возникший в тебе эмбрион.

Вторжение в роман было подобно вторжению света в чёрную холодную гору, когда утренний луч медленно проникает в гранит, и гора, чувствуя проникновение света, начинает стонать и петь.

Первые недели работы — счастливые и мощные, когда душа, полная непочатых сил, строит роман, как своё подобие. Люди, голоса, обожание, поцелуи и ненависть. Ты создаёшь своих героев, переселяясь в них, становишься женщиной, бегущим медведем, лазурной мечетью, взорванным танком. Переливаешься в роман, как Создатель переливался в мир в первые дни творенья.

Первые месяцы ежедневной работы, мощной, уверенной, с виртуозным мастерством, когда, послушные твоей воле, возникают герои, влетают в канву романа, как разноцветные ленты влетают в половики. И движется, растёт красочная ткань. Домашняя жизнь, дети, жена, литературные встречи, ужины в шумных литературных компаниях — всё кажется мнимыми. А истинная жизнь, истинное пространство и время находятся там, в романе. И ты проживаешь эту вымышленную жизнь, как подлинную.

Роман наполовину написан. И сил почти не осталось. Истощён ум, истощена плоть... И наступают надрывные часы, когда принуждаешь себя садиться за стол. Ты уже не любишь свою работу, не любишь роман. Роман враждебен тебе. Так бурлак тащит по мелям грузённую баржу, слыша скрип донных камней, не в силах затянуть свою хриплую песню, кровеная плечо бичевой. Стол с машинкой кажется местом пытки. И находятся сотни поводов, чтобы не сесть за стол, не тронуть клавиши, не услышать металлический стрёкот.

Ты просыпаешься утром и смотришь на рабочий стол так, словно тебе предстоит вылить в ненавистный роман очередной стакан крови.

И последние дни — ужасные, как бред. Так схватываются в рукопашной. Так поднимают на деревянную рогатину свирепого зверя. Так бегут от разъярённой толпы. Каждый абзац, каждая фраза, каждая буква причиняют страдание. Роман ревьёт, словно поезд, несущийся сквозь туннель. И вот во тьме возникает круг света. Поезд выносятся из туннеля и удаляется. Роман завершён. Роды состоялись. Бессильно откинувшись, чувствуя, как болит опустевшее лоно, ты смотришь велед удаляющемуся роману. И тебе хочется зарыдать.

Всё это Кольчугин рассказывал Веронике Яблонской, которая писала о нём литературоведческую книгу и приехала побеседовать.

Кольчугин вдруг замолчал, на диктофоне краснел огонек, похожий на ягоду рябины.

— Я хотела ещё вас спросить, — робко произнесла Вероника. Кольчугин кивнул. — Ваши женские образы в самых ранних повестях и рассказах, вплоть до недавних романов, — в них угадывается одна и та же женщина. Её портрет вы пишете всю жизнь. Её чертами вы наделяете молодых невест, печальных вдов, глубоких старух, вспоминающих о своей юности. Жена рыбака, получившая в подарок разноцветное платье. Возлюбленная офицера, погибшего в Доме Советов. Балерина, потерявшая рассудок после террористического взрыва... Эта женщина, кочующая из произведения в произведение, — ваша жена?

Кольчугин смотрел на полки, где неподвижно и тесно стояли его книги. И в каждой, как забытый цветок, присутствовал образ жены. Её лицо, молодое и дивное, или туманно печальное, или рыдающее, или глядящее вдаль, за околицу, на дорогу, по которой кто-то удаляется в горячую степь... Это он уходит с котомкой в своё дальней странствие, и в осеннем дожде летит над дорогой сорока.

— Я подумала, что все ваши романы о войнах, о крушении государств, о крошечных исторических схватках — это одна, единая книга, посвящённая вашей жене. Какая же, должно быть, прекрасная была это женщина, если заслужила любовь такого человека, как вы! Ведь всё ваше творчество, — это поклонение жене.

Кольчугин видел, как дрожат её губы, умоляюще смотрят глаза. Как приподнялись в страдании её мягкие брови, хотя и не мог он понять природу её страдания. И вдруг испытал к ней нежность, мучительное обожание, благодарность за её сочувствие, доверие к ней. Ему захотелось рассказать ей о своём скором отъезде, увидеть, как потемнеют её глаза, услышать её дрожащий голос. Станет ли она думать, молиться о нём? Ждать его возвращения? А он в своём одиноком походе вспомнит ли её лицо, на котором лежит золотистый свет близкой осени? И её молитва о нём сбережёт ли его? Ответит шальную пулю и крошечный взрыв?

— Мне очень дорог ваш приезд. Рад, что мои откровения помогут вам завершить книгу. Через несколько дней я уезжаю в Донбасс. Быть может, вернувшись, я опишу эту войну, и вы добавите в вашу книгу несколько страниц.

— Боже мой, зачем вам ехать? Это безумие! Вы столько раз всё это видели. Я не пущу вас! — Это вырвалось у неё, и она спохватилась. Прижала пальцы к губам. — Простите, я не имею права. Это не мой дом. Здесь присутствует ваша жена. Простите, мне надо уехать!

Он не удерживал её. Она быстро собралась. Из окна он видел, как она спустилась в сад, села в машину. Её серебристый “Пежо” покинул стоянку под клёнами и исчез в воротах. Диктофон с ягодкой красной рябины остался лежать на столе.

Он чувствовал, что совершил грех и винился перед женой. Всё это время, что он говорил с Вероникой, жена была рядом, горько внимала его исповеди.

Он ждал сообщений от подполковника Новицкого. Надо было приготовить вещи, дорожную обувь, куртку, запас лекарств. Походный баул хранился где-то в шкафу. И надо спросить жену, куда она его закинула. “Господи, что это я”!

Сидел в кресле, слыша, как громко ухает сердце.

Болезнь снедала её. Она больше не вставала. Её мучили приступы кашля, и ему была страшно слышать, как она рвёт себе грудь, а потом без сил, с закрытыми глазами, лежит в своей комнате, прижимая к груди большую голубоватую ладонь. Дети не оставляли её. Сын купил кислородный аппарат, надевал ей маску, и она силно, жадно дышала. Монашка Клавдия Сидорова не отходила от неё. Читала акафисты и каноны, даже когда жена дремала. Несколько раз в дом приходил отец Владимир, соборовал её, и Кольчугин смотрел, как в головах жены горит тонкая свечка.

Он видел, что жена угасает, близится развязка. Неумолимая сила, поселившаяся в их доме, уводит её. И он должен кинуться к ней, обнять, удерживать, вырвать из тьмы, которая её обступает. Но он страшился этой тьмы, знал, что тьма неодолима, что нежности, слёз, молитв не хватит, чтобы удерживать её. Он словно оцепенел. На него навалился камень, который придавил его чувства, запечатал слёзы и молитвы.

В Москве открывалась книжная ярмарка. На ней было представлено собрание его сочинений — пятнадцать строгих томов в тёмно-малиновых переплётках с золотым тиснением. Презентация сопровождалась действием с участием известного художника-авангардиста. Его магические приёмы, мистерия воды и огня, кликушеские вопли колдуны должны были рассказать зрителям, как рождается художественное произведение.

Кольчугин не мог не пойти. Это был его триумф. Его ждали издатели и поклонники. К тому же жене с утра стало лучше, её отпустило удущье, и он увидел на её губах слабую улыбку. Он поцеловал жену и поехал на ярмарку.

Презентация прошла успешно. Маэстро, полуголый, с лисьим хвостом, с пылающей между ног газовой горелкой, скакал, шаманил, издавал рык. Гнал перед собой обнажённую рыжую дьяволицу, которая брызгала водой и била в бубен. И все это, к восхищению публики, символизировало рождение священных текстов. Кольчугин пил шампанское, подписывал книги, фотографировался, давал интервью.

Когда вечером он вернулся домой, жена страшно кашляла. Дети поднимали её из постели, усаживали, надевали маску. В белой ночной рубашке, она сотрясалась и задыхалась. Он подсел к ней, обнял трясущиеся плечи, и она булькающим голосом, последними, с трудом дававшимися ей словами, сказала: “Мы все должны пройти этот путь”. Он задохнулся от боли, от любви к ней. Она, умирая, утешала его, просила не убиваться. И он, чтобы не видеть его слёз, ушёл в кабинет.

Когда он снова вернулся, она лежала, закрыв глаза. Услышала, что он подошёл. Протянула к нему руки, и он вложил в них свою ладонь. Она слабо её сжала, и этим пожатием попрощалась с ним.

Они сидели молча, их руки ласкали друг друга. И в этих прощальных касаниях воскресала та зимняя звёздная ночь, когда они шли по ледяной дороге, и те серебряные рыбы, похожие на солнечные зеркала, чудесный жасминовый куст, под которым лежала их новорожденная дочь, все поцелуи и шёпоты, все отпущенные им восхитительные мгновения.

Так они сидели, а потом она разжала ладони, и он ушёл.

Ночью он услышал, как открылась дверь кабинета. Вспыхнул свет. Дочь вплыла в кабинет, не касаясь пола, глядя отрешённо, сказала:

— Мама нас покинула.

И потом два дня он провёл, как во сне. В этом сне он видел жену, лежавшую внизу, под белым покрывалом, и монашка читала над ней Псалтирь. Во сне он видел, как жену клали в гроб и несли в сад, ставили на ступля под рябиной, чтобы она могла проститься со своим домом. Во сне он видел, как отец Владимир раскачивает над её лбом с белой перевязью дымящее кадило. Тяжёлая земля грохотала по гробовой крышке, и он смотрел на последний не засыпанный землёй алый краешек гроба, а потом и тот исчез.

Поминки в ресторане. Он пил водку, глядя на её чудесную фотографию, где она с гранатовым колье, во всей своей зрелой женственности, очаровательная, с едва заметной улыбкой, смотрела на него, как живая.

Он пришёл домой и, блуждая по комнатам, увидел висящий на спинке стула её платок. Потянулся к нему и вдруг страшно зарыдал, громко, с хрипом и клёкотом, словно кто-то отвалил камень, и хлынуло скопившееся под этим камнем горе, тоска, непонимание жизни, непонимание этого мира, в который его привели, окружили любимыми, близкими, чтобы одного за другим отнимать, обрекая его на неутешное одиночество.

Раздался телефонный звонок. Вкрадчивый, вежливый голос произнёс:

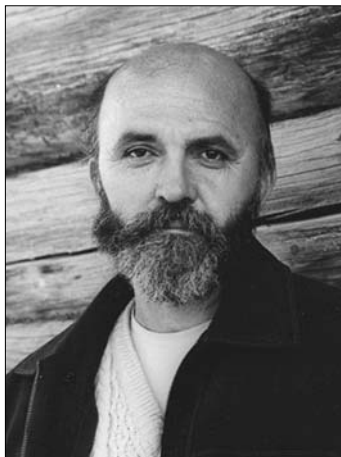
— Дмитрий Фёдорович, вас беспокоят из администрации президента. Завтра в шестнадцать часов, в резиденции Ново-Огарёво вас ждёт президент. Пропуск на вас заказан.

— Меня? Президент?

— Ну, да, вы же хотели, чтобы он вас услышал. Он вас услышал и приглашает к себе.

(Окончание следует)

НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ



Я ВЗЯЛ В СОПУТНИКИ ХРИСТА...

УКРАИНЕ

Пусть кулачки от злости сжаты,
Пусть грязи на меня ушаты
Ты льёшь, но я сказать хочу:
“Зачем тебя, сестрёнка, Штаты
Так нежно треплют по плечу?”

И что бы там ни голосили,
Поймёт любой, коль не дурак:
На самом деле, у России
И Украины — общий враг.

10.09.2014

* * *

Не пишу об Украине
По одной простой причине:
Я с ума сойти боюсь
И молюсь, молюсь, молюсь.

ЗИНОВЬЕВ Николай Александрович родился в 1960 году в городе Кореновске на Кубани, учился в ПТУ, станкостроительном техникуме, в университете на филфаке. Член Союза писателей России, автор шести поэтических книг. В 2005 году ему была присуждена Большая литературная премия России. Живёт в Краснодарском крае.

Вот бы Бог меня услышал!
И сейчас — не через год! —
Чтобы дух нечистый вышел
Изо всех, в ком он живёт.

ОБЛАКА

Стою, слежу за облаками:
Вон то — похожее на замок,
А вон — точь-в-точь арба с быками,
А то — как след в снегу от санок.

А вон — как в белой бурке горец,
А вон — похожее на льдину.
А вон — как Ангел-миротворец,
Мелькая тенью вдоль околиц,
Спеша, летит на Украину.

* * *

Вот грибочки, вот капуста,
Наливай полней, аскет,
За мгновение до пуска
Баллистических ракет.

Может, мы ещё успеем,
Опьянев, обняться братски,
А потом горячим пеплом
Разлетимся, кто куда:

Кто-то в ад, а кто-то в рай.
Не чеши так долго темя,
Поскорее выбирай,
Есть пока в запасе время.

* * *

Я, может быть, и не злодей,
Но и не Иов на гноище.
Я знаю множество людей
Душой меня намного чище.

И пусть они не пишут книг,
Но дом их выстроен на камне.
А как меня спасёт мой стих,
Не представляется пока мне.

* * *

За границу предлагает
Друг поехать. Не хочу.
Друг, конечно, полагает,
Что я лгу. А я ворчу:
“Всё старо в Бордо и в Ницце,
Если что и ново —

Это только за границей
Бытия земного.
Но туда спешить не надо,
Скажут нам, когда пора”.
После этого расклада
Друг задумался. Ура...

* * *

Плывут года. Всё ближе к устью.
Тем слаще каждая верста.
Я по реке плыву не с грустью —
Я взял в спутники Христа.

Крепчает власть метаморфозы,
И даль ясна, а не туманна.
И на лице моём не слёзы
Блестят, а брызги океана...

СУДЬБА

Равнодушен стал я к миру,
Ничего мне в нём не светит.
Может, стоит бросить лиру?
Ведь никто и не заметит.

Пусть лежит она во прахе,
Онемевши навсегда,
Но не хватит сил в монахи
Мне уйти — вот в чём беда.

НАТАЛЬЯ РОМАНОВА



ШЛОССБЕРГ

ПОВЕСТЬ

— Хорошее место... — Молодой человек повернулся к старику, сидящему на противоположном конце скамьи. Тот понимающе кивнул. — Так сидел бы себе и сидел, но... — Юноша тяжело выдохнув, встал с насиженного места и быстро зашагал в сторону ратуши.

Старик тоже выдохнул, но с облегчением. Он сдвинулся на середину, сел нога на ногу и раскинул худые жилистые руки по спинке скамьи, состоявшей из одной деревянной доски. В утреннее время в сквере было немногочисленно. Лавочки, за редким исключением, пустовали. Фонтан уже работал, но как-то нехотя, лениво выбрасывая жалкие струи воды.

Старик не первый год изо дня в день приходил сюда, на Am Eisernen Tor — площадь у Железных Ворот. Никаких железных ворот здесь давно не существовало, но название сохранилось.

По обыкновению, удобно расположившись, он сначала внимательно прочитывал газету, а потом, когда округа оживала, наблюдал за происходящим.

РОМАНОВА Наталья Владимировна (Сегень) родилась в Сибири. В 1998 году окончила Уральский Государственный педагогический университет. Специалист по социальной работе, по второму образованию — учитель экологии. С 1998 года проживала в Великом Новгороде, работала в психотерапевтическом центре, а также внештатным экскурсоводом Новгородского государственного музея-заповедника. Училась в Литинституте им. А. М. Горького (семинар И. И. Ростовцевой). Член Союза писателей России. Автор сборников прозы и романа “Гефсиманский сад” о великой княгине Елизавете Фёдоровне. Лауреат литературных премий “Русский позитив” Российского Фонда мира, “Патриот России” Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, премии им. Л. М. Леонова (за публикацию цикла рассказов “Бегущая через жизнь” в “Нашем современнике”).

Его родной Грац, столица Штирии, привлекал туристов. А как же! По количеству достопримечательностей Грацу нет равных в Австрии, ну, если только в самой Вене... К тому же город издавна был студенческим. В общем, жизнь здесь бурлила, в том числе и здесь, в уютном сквере неподалёку от Главной площади.

Сложив вчетверо “Kronen Zeitung”, старик стал с неприязнью думать об авторе одной из только что прочитанных статей, в которой тот пылко призывал как можно больше уделять внимание несчастным старикам, которые, видите ли, страдают от того, что им не с кем поговорить и даже поспорить. Почему-то этот болван считает одиночество несчастьем. Вот он в свои девяносто очень рад, что никто не лезет к нему с глупой болтовней и спорами. Пролетевший рядом трамвай “семёрка” отвлек его от высоких дум об одиночестве, про которое так хорошо писал Рильке. Старик вспоминалось, как раньше трамваи грохотали. И, собственно говоря, ему даже не хватает сейчас того грохота. Новые трамваи, знаете ли, бесшумны. А бесшумно, как известно, действуют самые коварные убийцы.

День набирал обороты. Солнце только-только начинало припекать, а позолоченная статуя Девы Марии, стоявшая на высокой колонне спиной к старику, уже вовсю сияла, притягивая взгляды. Старик смотрел на статую, пока не заслезилась глаза. Он достал из кармана аккуратно выглаженный синий квадрат платка и вытер набежавшие слёзы.

— Не помешаю? — услышал он женский голос.

Старик взглянул на просительницу. Перед ним стояла в лёгком коричневом плаще женщина примерно его лет.

— Нет, не мешаете, — приветливо ответил “хозяин”, скрывая лёгкую досаду.

Незнакомка присела на край скамьи. Старик исподволь с любопытством поглядывал на неё. Её плащ в разгар лета нисколько не смутил старика: он и сам частенько мёрз в солнечные дни.

— Сегодня дождь обещали. — Незнакомка словно услышала его мысли о плаще.

— Разве?

— Причём в первой половине дня.

— Что-то я про это не знаю. — Поскольку завязывалась беседа, старик теперь мог открыто смотреть на неё. — Может, вы слушали прогноз на завтра?

— Нет. Именно на сегодня. — Женщина поджала ярко накрашенные губы так, что их стало почти не видно.

— Ну, хорошо, сегодня, сегодня, — рассмеялся старик, — только губы верните на место.

— Что?

— Ничего, простите. — Старик перестал смеяться, хотя это далось ему с трудом.

— Пожалуй, мне пора. — Незнакомка, опершись рукой на перекладину для спины, попыталась встать с места.

— Я не хотел вас обидеть! — В голосе старика сквозила тревога.

— Нет, нет, что вы. Вы ничем не обидели меня. Мне действительно пора. До свидания!

— До свидания...

“Позволить себе такие вольности! Болван!” — корил он себя, глядя на медленно уходящую незнакомку.

На следующее утро, к удивлению старика, его, можно сказать, личная скамья была занята. Но удивление вызвал не тот факт, что на ней уже кто-то сидел, такое случалось и раньше, а то, что на скамейке, робко так, на самом краешке, сидела его вчерашняя собеседница. Захотелось подойти и дерзко пошутить: “Не меня ли ты ждёшь, девица?” Но он, разумеется, сдержался.

— Позвольте присесть? — спросил “законный владелец” из вежливости.

— Да, да, — залепетала старушка. — Здравствуйте... Вчера не было дождя, вы были правы, я перепутала прогнозы.

— Вы специально пришли мне сказать об этом?

— Нет. Откуда мне знать, что вы будете здесь?

— Я в это время всегда здесь.

— Каждый день?

— Да, каждый, — с гордостью ответил старик. — За редким исключением. Уже пятнадцать лет.

Пожилая фрау округлила глаза, получились маленькие центики, посколькуну и так-то глаза-то у неё были небольшие. Старик так и прыснул, успев однако подставить ладошку ко рту. Получилось, будто бы он чихнул. Отчего-то выражения лица этой особы смешили его.

Старик сел и, покрутив в руках газету, отложил её.

— “Krone”?

Старик кивнул. Фрау хмыкнула.

— Придерживаетесь левых взглядов в экономической сфере? — она пытливно взглянула на собеседника. Но тот лишь усмехнулся.

— Где ваш плащ? — спросил он. — Сегодня ведь дождь обещали.

— А! — фрау махнула рукой. И это получилось у неё так легко и беззаботно, что старик снова невольно улыбнулся.

— А вы зазорная! — сказал он и, чуть помедлив, протянул ей сухую ладонь. — Генрих.

— Джульетта, — пожилая фрау на удивление старика ответила весьма крепким рукопожатием.

— Красивейшее имя! — воскликнул Генрих.

Соседка по скамье задумчиво посмотрела на проходящую мимо женщину с ребёнком в коляске.

— Знаете, а мне моё имя никогда не нравилось.

— Правда? И мне моё!

— Вот совпадение!

— А вам-то чего ваше не нравится? Джульетта — очень красивое имя! Шекспировское.

— Латинское. А вам чего не нравится ваше?

— Ну, согласитесь, дурацкое имя Доминик.

— Доминик? А при чём тут Доминик?

— Ну... Ну... — старик растерялся. — Вообще-то моё имя Доминик... Но я же говорю: мне оно не нравится!

— Поэтому вы Генрих? — Джульетта исподлобья взглянула на Доминика-Генриха. Не жулик ли этот тип? Старику даже показалась, будто она отодвинулась как можно дальше от своего собеседника, хотя и так сидела почти на самом краю. — По-моему, Доминик — прекрасное мужское имя. Чем оно вам так не угодило? Стыдно должно быть!

И старику стало стыдно. Запылали щеки, как в детстве, когда его отчитывали за провинности.

— Давайте по новой знакомиться, — неожиданно предложил он и тотчас протянул руку: — Итак, стало быть, я не Генрих. Я Доминик.

— На сей раз без вранья?

— Без какого-либо.

Джульетта выждала небольшую паузу. Тем временем рука Доминика несколько секунд висела в воздухе над скамейкой, пока ей навстречу не выплыла женская ладонь.

— Тереза, — негромко произнесла недавняя Джульетта.

А дождя так и не было ни через день, ни через неделю. Стоял необычайно жаркий июнь, поэтому Доминик решил нарушить свой неизменный график и приходить пораньше. Хотя, что кривить душой, его очень даже устраивало возвращаться домой после прогулки перед самым обедом, да и солнце в прошлые годы палило не меньше. Но... Тереза, как он выяснил, не жаловала солнечные ванны, да и к двенадцати ей надо было на процедуры в поликлинику. Поэтому, приходя в начале двенадцатого, она через минут пятнадцать срывалась к врачам. Доминику этих пятнадцати минут совершенно не хватало для общения со своей новой знакомой. А она была ему

интересна. Вот потому-то он и предложил Терезе приходить в сквер на час раньше.

— Но... — Тереза не знала, что ответить. — А зачем?

— Зачем, зачем... Затем! — вспыхнул он, но тотчас взял себя в руки и ответил более вежливо: — Я давно не встречал такого увлекательного собеседника. Умного, эрудированного.

— Когда это вы все успели во мне разглядеть? Мы с вами виделись несколько раз, да и то минут по пять.

— Поэтому и хотелось бы узнать о вас побольше. Вы ведь недавно поселились в Граце?

— Да, недавно переехала в Грац к внуку. Из Линца.

— Верхняя Австрия. А ваш муж?

— О, с ним я давно в разводе. Даже не знаю, жив ли он. А ваша супруга?

— Вдовец.

— Дети?

— Нет. И не было. Пожалуй, достаточно биографических сведений. Как вам наш Грац?

На следующее утро Тереза пришла, как и договаривались, пораньше. Доминик уже поджидал её на скамейке.

— А! Пришли-таки! — заулыбался он.

— Нас так мало осталось, стариков, — вздохнула Тереза, — а молодым мы не интересны, да и нам не все молодые интересны...

— Старики! — хмыкнул Доминик. — Во-первых, в Европе каждый третий — старик. Во-вторых, я себя стариком не чувствую.

— Ого? Сколько же вам лет, юноша?

— Скоро девяносто.

— Весна жизни!

— А вам сколько?

— Разве это не бестактно — спрашивать женщину...

— Ах, оставьте. Это в пятьдесят, в шестьдесят бестактно, а в наши годы...

— Вы думаете, мне тоже под девяносто?

— Полагаю, да. Но выглядите вы изумительно. Понятие “старость” к вам не относится никоим образом. — Он разглядывал её бледно-зелёное платье с белым воротничком. — Вы такая красавица! И вкус ваш сдержан, безупречен.

— Вкус молчит, кричит безвкусица. — Тереза, довольная своей находчивостью, присела на скамью. — Вы правы, мне тоже далеко за восемьдесят.

— Как ваши мальши? — Доминику вновь хотелось услышать какую-нибудь историю о правнуках Терезы. Вчера, рассказывая о них, она стала необычайно весёлой, смешливой и какой-то по-детски непосредственной.

— Ох, мальши, мальши, — захохотала Тереза. — Вот так хочу вам что-то рассказать, а не могу.

— Почему же?

— Не совсем прилично...

— Тем более рассказывайте немедленно!

— Хорошо. — Тереза прищурилась, а потом снова зашлась в хохоте.

— Да рассказывайте же! Уже смешно!

— Лукас вчера такое выдал!

— Лукас — который старший? Которому четыре?

— Да, совершенно верно.

— И что он?

— Мой внук, отец Лукаса, на стажировке в Америке. Так вот. Вчера Лукас и говорит своей матери, жене внука: “У меня есть братик, пора бы сестричку”. А новость ему в ответ: “Без папы никак. Папу подождать надо”. “Зачем? — удивился Лукас. — Папа придет, а мы ему: “Сюрприз!”

Доминик смеялся от души, даже газету выронил:

— “Сюрприз!” Молодец какой!

Вдоволь насмеявшись, старик надолго замолчал.

— Простите, — Тереза с печалью в глазах посмотрела на Доминика. — Зря я вам про детей рассказываю... Не стоит больше мне этого делать.

Доминик продолжал молчать. Тереза огорчённо поглядывала то на него, то на золотую Богородицу. Наконец, старик заговорил:

— У меня жена не могла иметь детей, простыла в войну, болела сильно. — Он смотрел в сторону соседней скамейки, на которой сидели родители с двумя маленькими детьми. Младшего кормили из бутылочки с соской, и он, причмокивая, лежал смиренно, в то время как старшему ни за что не хотелось оставаться на месте. Его влекли неведомые дали, поэтому он всё время пытался вырваться из рук отца и сигануть по дорожке куда глаза глядят. Родитель держал его крепко, потому малыш и куксился.

— Жаль. Но на всё Божья воля. — Тереза попыталась приободрить Доминика. — Значит, так должно было быть. Вы же знаете, ни один волос...

Старик кивнул.

— Тереза, этого я никому никогда не говорил, но с вами мне хочется быть откровенным. — Доминик снова посмотрел на семью на соседней лавочке. — Я жену свою очень любил, никогда не изменял ей. Но когда её не стало, мне все чаще стала приходить в голову мысль о том, что зря я не стал отцом...

— То есть?

— Ну, были женщины, сослуживицы и не только, которые намекали или явно говорили о том, чтобы...

— Чтобы вы стали отцом их детей?

— Да. Но я был верен жене! Хотя и хотелось детей, конечно. Эх, надо было бы... Даже не для того, чтобы приходили со мной сюсюкались в старости, для продолжения рода хотя бы.

— И что за жизнь бы вас ожидала? — Тереза вскинула голову. — Тогда надо было бы от жены уходить или врать ей постоянно. Или бы вы сказали ей о ребёнке на стороне?

— Нет. Наверное, нет.

— Вот видите...

Старики помолчали.

— А что, было много предложений? — Тереза лукаво взглянула на Доминика. Тот кивнул.

— Много? — переспросила она.

— Да.

Тереза откинулась на спинку, чуть отвернувшись от Доминика.

— Ага! Вы ревнуете! — улыбнулся старик.

— С чего вы взяли? С какой стати мне вас ревновать?

— Ревнуете, ревнуете! По вам видно.

— Не вижу смысла продолжать этот бессмысленный разговор. — И Тереза вновь поджала губы так, что они исчезли с её лица.

— Понимаете, — начал извиняющимся тоном Доминик, — время ведь было такое. Да что мне вам объяснять! Вы и сами всё помните. — Он тоже откинулся на спинку скамьи и посмотрел в небо долгим взглядом. — Война, — старик резко наклонился вперёд, — будь она неладна! Выкосила целый пласт народу и в основном мужиков. А сколько калек да дурных, контуженных пришло с фронта! От кого женщинам рожать-то было? Нет, не из-за похоти на меня бабы кидались.

— Прямо уж и кидались, — пробурчала Тереза, но Доминик не обратил внимания.

— Я был недурён собой, молод, — старик посмотрел на свои голые руки, усыпанные “старческой гречкой”, — полон сил. Одним словом, завидный кавалер. Хотя и меня война потрепала изрядно. Но, как вы знаете, среди слепых и одноглазый — король, поэтому... чего греха таить, были многочисленные предложения, были.

— И даже женатому?

— Как раз-таки женатому! Я ведь с Магдаленой познакомился ещё до войны.

— Она австрийка?

— Да. Из Граца. Это я берлинец. В Берлине мы и познакомились, и поженились. Когда началась война, я ушёл на фронт, она осталась в Берлине. Телефонисткой работала. Ждала меня. А после войны мы переехали в её родной Грац.

— Не жалеете, что вы, немец, всю жизнь прожили в Австрии?

— А чего жалеть-то? — пожал плечами Доминик. — Ни родных, ни дома в Берлине у меня не осталось — всё погибло под бомбёжками. Да и нравится мне Грац. — Старик посмотрел в одну сторону, потом в другую и остановил свой взгляд на колонне с золотой Богородицей. — Я счастлив, что именно здесь прожил свою жизнь. Да ещё и с замечательной женщиной.

— Я рада за вас, — искренне сказала Тереза. — Не каждому так повезёт со спутником.

— Да, да, Магда была очень хорошей. Я все годы нашей совместной жизни вспоминаю с благодарностью. Она была заботливой, обходительной. Ну, куда я от такой на сторону? Жили душа в душу. Спокойно, размеренно. Всё у нас было спланировано, всё продумано, всё по режиму. Никаких ссор, скандалов, потрясений. Соседи, друзья умилялись нам. То есть всё у нас было идеально. А потом... а потом она ушла от меня, — Доминик неожиданно стукнул ладонью по скамейке.

— Как ушла? — не поняла Тереза. — Куда ушла?

— В землю. — Старик сжал газету. — В лучший, так сказать, мир. Сволочь!

Тереза, часто моргая ресницами, с испугом смотрела на Доминика, но потом вдруг рассмеялась. Старик с недоумением взглянул на хохочущую спутницу.

— Вы чего?

— А ведь и вправду сволочь! Ну, кто так делает? — смеялась Тереза. — Надо же! Взяла и померла. Ну, не сволочь ли?

Доминик молчал, опустив голову.

— Да, смерть ещё ни про кого не забыла, — отсмеявшись, сказала Тереза. — Однако забавный вы, Доминик!

Старик по-прежнему молчал. Пожилая фрау посмотрела на маленькие часики с коричневым циферблатом — в тон её старческой, как и у Доминика, усыпанной “гречкой” руке.

— А вы любите шоколадный цвет, — сказал старик. — И плащ, и часы, и туфли...

— Всё, мне пора на процедуры. — Тереза достала из сумочки бумажный платочек и промокнула им лоб, а затем оглянулась в поисках урны.

— Я вас провожу.

— Нет, нет! Спасибо.

— Вы всегда отказываетесь, чтобы я провожал вас. Почему?

— Так в наших встречах больше таинственности.

Тереза ушла, а Доминик ещё немного посидел в сквере, думая о детях и вспоминая рассказы Терезы о правнуках. Вспомнилась недавняя информация: большинство жителей Австрии — старики, а показатели австрийской рождаемости — самые низкие в мире...

— О-хо-хо! — Доминик встал со скамьи и отправился восвояси.

На следующий день Тереза выглядела усталой. Появились мешки под глазами, их раньше не было. “Сколько, она говорила, ей лет? Восемьдесят восемь? На все девяносто выглядит”, — Доминик озабоченно смотрел на Терезу.

— С вами все в порядке? — он помог присесть ей на скамейку.

— Выгляжу так, будто месяц назад померла?

— Месяц не месяц, но неделю точно!

— Ну, знаете, — хотела насушиться старуха, но передумала. — Не беспокойтесь, со мной все в порядке. Просто очень плохо спалось. Всю ночь кошмары снились.

— Война?

Доминик попал в точку.

— И мне она часто снится. Раньше так почти каждую ночь. Теперь пореже. Но все равно часто.

Возле фонтана резвились подростки, брызгая друг на друга водой.

— Вот и мы так, постоянно в брызгах войны, хоть она и кончилась давно, — задумчиво сказал Доминик.

— Иногда после таких снов я плачу. — Тереза, не отрываясь, смотрела на молодёжь.

Доминик положил свою ладонь на её и чуть сжал.

— Знаете, Тереза, я сражался под Сталинградом. Недавно побывал там, впервые с того времени. Было семьдесят лет Сталинградской битвы. На Мамаевом кургане я не сдержался. Расплакался. Ужас войны, как никогда, стоял перед глазами. Нет более сильного врага, чем русские. Тереза, самый страшный кошмар в моей жизни — это Сталинград. — Доминик закрыл лицо руками. — О чём можно говорить, если пятьдесят восемь дней мы штурмовали один-единственный дом! И все напрасно... Так вот. Стою я на Мамаевом кургане, рыдаю. Идёт мимо русский, весь в наградах. Увидел меня, остановился, пальцем тычет и что-то яростно так мне говорит. А потом махнул рукой и дальше пошёл. Я попросил сопровождающего перевести. “Плачешь? — говорил русский. — Да ты радоваться должен, что я тебя не убил в сорок третьем! Радуйся!”

Доминик и Тереза одновременно посмотрели на золотую статую.

— Святая Мария, Мать Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь, — прошептала Тереза.

Они сидели молча до тех пор, пока к ним не подошла молодая пара туристов с вопросом, как пройти к самой старой в Граце аптеке, открытой аж в 1534 году.

— Кому как не нам задавать вопрос про аптеки, больницы да кладбища, — проворчал старик.

— Они из туристических соображений, — заступилась за пару Тереза. — А по вам издалека видно, что вы знаток города.

Ветер пригнал к их ногам красочную обёртку, возможно, от мороженого. Доминик прижал её ботинком к земле, наклонился, поднял и бросил в урну. Это он проделал с нескрываемым раздражением.

— Всю жизнь мне изъедала нутро горечь поражения. Такая, знаете, не проходящая изжога. — Доминик дотронулся до живота. — Я постоянно чувствовал себя проигравшим. Лучше бы погибнуть, как мой смелый друг Герих, думалось мне порой, чем всё время жить с чувством унижения.

Тереза слушала старого солдата вермахта, а перед глазами у неё всплывали картины тех невыносимых месяцев войны.

— Вы были в плену? — спросила она.

— Мы сдались в плен 2 февраля 1943-го. Девяносто тысяч немцев! А домой вернулись шесть тысяч. И я в их числе. — Доминик ударил себя по груди.

— Всего шесть тысяч... Какая бесчеловечность!

— Русские здесь ни при чём. Знаете, какими попали в плен наши солдаты и офицеры? Десять процентов были безнадежными, ещё семьдесят — больны дистрофией, и у большинства — обморожения с осложнениями в виде гангрены и сепсиса. Взятые в плен под Сталинградом погибли от недоедания, холода и болезней. Советские доктора пытались нас спасти. Медсестры и врачи сами заражались от больных пленных и умирали. Вы читали Гельмута Вельца? А Вильгельма Адама?

— Увы, ни того, ни другого.

— “Солдаты, которых предали” и “Воспоминания адъютанта Паулуса”. Это написано теми людьми, которые побывали в Сталинградском котле, поэтому в их книгах — суцная правда.

— Прав тот русский ветеран, — вздохнула Тереза. — Повезло вам — пройти жернова войны и остаться зёрнышком. Он прав. Радоваться этому надо. Радоваться!

— А может, отметить сей факт? — Доминик подмигнул собеседнице.

— Вы приглашаете меня...

— Приглашаю отобедать в уютном ресторанчике, — не дал договорить Терезе Доминик.

— Но мне на процедуры.

— Милая девушка, — засмеялся Доминик, — сегодня выходной.
— Но я... Но... — Тереза выглядела смущённой. — Давайте в следующий раз.

— Почему?

— Как я вам скажу, что губы не намажаны, а помада дома. И наряд не подходящий. Да и мешки под глазами, наверное, ещё на месте. Нет, сегодня исключается.

— Бросьте! Вы чудно выглядите! Соглашайтесь. Кутнём! Есть повод — жив остался.

— Спасибо, — сказала фрау, дав понять, что разговор на эту тему исчерпан.

Утро следующего дня у Доминика получилось суматошным. Пришёл волонтер из Красного Креста читать книгу и поиграть в настольные игры. Доминик удивился, потому как не заказывал ничего подобного и вообще не ожидал гостей. Оказалось, это сосед ошибочно назвал вместо своего жилья номер квартиры Доминика. Когда все выяснилось, волонтер отправился к соседу, а тот без сознания. Пришлось помогать волонтеру госпитализировать соседа.

Разумеется, к десяти Доминик опоздал и пришёл гораздо позже. Не пришёл, а почти прибежал. Неподальку от сквера он остановился, отдышался и направился к скамейке бодрым шагом. Ещё издали он увидел Терезу и обрадовался ей. Однако радость была недолгой. Рядом с ней на его месте нагло восседал какой-то другой старик в шляпе и, как показалось “владельцу скамьи”, весьма близко к фрау.

— Утро доброе! — Доминик чуть склонился в поклоне.

Незнакомец нехотя приподнял шляпу, а Тереза, выглядевшая отчего-то сегодня привлекательнее обычного, кокетливо улыбнулась и, скользнув взглядом по Доминику, что-то спросила у сидящего рядом с ней старика.

— Вот так так! — Доминика аж передёрнуло. — Не могли ли бы вы подвинуться? — обратился он к незнакомцу. Тот недоуменно посмотрел на нависающую фигуру Доминика, а потом на пустующую часть скамьи, говоря взглядом — садись, место же есть.

— Подвиньтесь, — настаивал Доминик.

— Не могу, поскольку мне через вас будет неудобно разговаривать с фрау. Присаживайтесь с этого конца скамьи. — Незнакомец слегка хлопнул ладонью по пустующему месту.

— Так и мне через вас будет неудобно разговаривать с фрау, — не отступал Доминик. — Подвиньтесь!

— По какому праву? — прищурился незнакомец. — Я раньше вас пришел сюда, поэтому вправе сидеть, где хочу.

— Но это моя скамья!

— Что значит ваша? На ней что, написано? Или у вас есть соответствующий документ?

— Говорю вам, моя. Вон сколько пустующих! Идите на любую!

— Ну уж, нет! Чего это я стану бегать по скамейкам? Сами идите или садитесь здесь на свободное место.

Тереза молча наблюдала за происходящим. Её и огорчала ссора мужчин, и смешила одновременно.

— Доминик, не упрямитесь, садитесь, места же всем хватит.

— Так, Тереза, мы идём на другую скамью, — приказал Доминик, пытаясь взять её за руку.

— Ну, вот ещё! — Тереза убрала руку за спину. — И здесь хорошо. Садитесь, Доминик!

— Считаю до трёх. — Лицо Доминика становилось багровым. — Если этот ваш знакомый не переседет с моего места, я выкину его вот за эту перекладину. — Он кивнул на спинку скамьи.

— Прошу вас, — обратилась Тереза к незнакомцу, — отодвиньтесь. Он не шутит.

В это время мимо них шёл мужчина с собакой, тоже завсегдатай утренних скамеек. Доминик, поздоровавшись с хозяином, ухватился за морду со-

баки, тем самым поприветствовав и её. Собака в наморднике гавкнула в ответ. По интонации было не понять, то ли она рада Доминику, то ли возмущается его выходке. А Доминик вновь вернулся к своей битве.

— Давно по морде не получал? — спросил он у настырного соперника.

— Обратно к неандертальцам катимся. — Старик в шляпе встал со скамьи. — Дичаем, однако.

— Вали, вали! — Доминик уже устраивался поудобнее на своём законном месте. — Смотри, в следующий раз кости переломая!

Тереза смотрела вслед уходящему, покачивая головой. Взгляд её наполнился укоризной.

— Как так можно? Взять и прогнать человека.

— А чего он...

— Вы как ребёнок. Мой Лукас — и то умнее вас будет.

— А чего он? — повторил Доминик.

— Чего, чего... Я не желаю с вами разговаривать после вашей выходки!

Доминик насутился.

— Конечно, ей больше по душе этот трусливый франт, ведь он в шляпе. Даже не спросила, почему я опоздал. Ей вообще нет до меня никакого дела!

Теперь развеселилась Тереза.

— А вы молодец!

Доминик недоверчиво посмотрел на смеющуюся Терезу.

— На самом деле молодец! Боевой такой! Мне вы даже очень понравились. Терпеть не могу толерантных.

— Вы это серьёзно? — спросил он у хохочущей фрау. Но та в ответ лишь смеялась, обмахиваясь газетой. — Я действительно не толерантен. А скажите, кто вы по профессии? Где работали?

Тереза улыбнулась. Сегодня ее губы были чуть тронуты розовым.

— Не скажу.

— Это ещё почему?

— Не хочу. Догадайтесь.

— Хорошо, не говорите! Я дома хорошенько подумаю и составлю список ваших предполагаемых профессий.

— Это будет любопытно.

На следующий день Доминик первым делом достал из кармана сложенный листок со списком. Развернул его и надел очки.

— Интересно. — Тереза попыталась заглянуть в бумагу, но Доминик увернулся. — И что вы там напредполагали...

Старик пробежался глазами по списку, в котором значилось всего пять позиций:

— Итак, кто вы по профессии, на мой скромный взгляд...

— Зачитывайте уже, не томите! Первая в списке...

— Дрессировщица.

— Тигров?

— Ну, не знаю... Просто дрессировщица.

— Э, нет, так не пойдёт! Давайте с конкретикой.

— Какая разница, кого дрессировать. Я просто предположил, что вы можете быть дрессировщицей, а уж кого — морских свинок или бегемотов — это детали.

— Хорошо, продолжайте.

— Я думаю, вы бы могли быть каскадёршей.

— Кем-кем? — Тереза так и прыснула. — Каскадёршей? Да вы в своём уме? Какая я каскадёрша? Или вы никогда на меня не смотрели?

— Отчего же, смотрел. Вы очень ладная.

— Благодарю за комплимент. Давайте дальше. Жуть как интересно!

— На третьем месте у меня вы — скалолазка.

Терезе уже было неудобно смеяться, поэтому она закатила глаза.

— Экстраординарно!

— Я так и вижу, как вы кончиками пальцев хватаетесь за горный выступ.

— Вы находите меня героической женщиной? — вскинула бровь Тереза.
— Не то чтобы героической... — Доминик задумался. — Авантюрной, быть может.

Возле соседней скамейки залаяла собака. Хозяин похлопал её по спине и улыбнулся Доминику с Терезой.

— Интересно, что за порода собаки у нашего соседа Грабнера? — старик изучающе смотрел на подвижное крепкое животное. — Симпатяга.

— Вы говорили, Грабнер тоже давно здесь обитает. Почему же было не спросить?

Доминик пожал плечами: мол, и сам не знаю почему.

— Я и клички-то собаки не знаю, — признался он, — не то что породы.

— Австрийский брудастый бракк.

— Как?

— Бракк, — повторила Тереза. — Или штирийская гончая.

— А откуда вам это известно?

Тереза не ответила.

— Грабнер, должно быть охотник? Австрийский бракк вообще-то охотничья собака, работает по мелкому зверю. Вы не видите, какого цвета у неё глаза?

— Нет. А что?

— Обычно они коричневые, но бывают и жёлтые, правда, очень редко.

— Придётся мне кое-что поменять в списке, — вздохнул Доминик, — на четвёртое место, пожалуй, я поставлю ветеринара или кинолога.

— Думаете, я породы собак выводила? — усмехнулась Тереза. — Ничего не меняйте в своём списке. У отца когда-то была такая собака.

— Ах, вот оно что... Тогда позвольте продолжить. Далее в моём списке идёт наездница.

Тереза задумалась.

— Анри де Тулуз-Лотрек приходит на ум со своей картиной “Наездница в цирке Фернандо”, знаете такую?

— В той картине, по-моему, мало романтизма. Да и вообще его нет. Что наездница, что мужик с хлыстом в каком-то карикатурном виде.

— Зато скорость хорошо передана.

— Зато нет шляпы с пером.

— А наездница обязательно должна быть в бархатном костюме и со шляпой?

— О да! Обязательно. Гарцующая наездница — так романтично!

— Всё с вами ясно. Влюблялись в наездниц.

Доминик, поёрзав на скамье, признался, что да, было дело. Но совсем в юном возрасте!..

— А у героев картины Тулуз-Лотрека необычная история, как раз-таки романтическая. Художнику позировала всадница, молодая женщина, причём из богатой семьи. Она влюбилась в преподавателя верховой езды и ушла от мужа, занялась вольтижировкой, стала лихой наездницей.

— Не знал. Но раз уж речь зашла о картинах и художниках, мне тоже хочется блеснуть знаниями на эту тему. Был такой живописец. Врубель. — Доминик испытующе посмотрел на собеседницу.

— Как же, знаю, — мгновенно ответила та. — Русский. “Демон”, что же ещё? — Тереза задумалась. — Сейчас вспомню.

— В Киеве гастролировал знаменитый берлинский цирк Шумана. — Доминик не стал дожидаться, пока Тереза вспомнит названия картин русского художника. — Врубель пришёл на представление и влюбился в наездницу. Звали её Анна Гаппе, она остановилась возле ложи, где сидел художник. Врубель увидел её вблизи и был сражён красотой.

— И шляпой с пером, — съязвила Тереза.

— Кажется, всадница была в цилиндре, обвитом по тулье газовым шарфом.

— Скажите, какие детали вам известны!

— Я читал про это. И вообще много читал, особенно как остался один. Так вот. Михаил Врубель влюбился. Но Анна Гаппе была замужем. Кстати,

за артистом того же цирка. А Врубель тогда расписывал храм. Возглавлял работы художник, как же его звали... Известный довольно... Э...

— Русский?

Доминик кивнул.

— Шишкин, Брюллов, — принялась перечислять Тереза фамилии, но Доминик, наморщив лоб, отмахнулся.

— Нет, не вспомнить. Значит, пришёл Врубель в собор, и вдруг его как захлестнуло желанием нарисовать Анну. Чистых холстов не было. Тогда он схватил написанную им “Богоматерь” и стал закрашивать изображение белым. А потом на нем стал рисовать Анну.

— Поверх Богоматери? — ужаснулась Тереза.

— Да! Поверх Девы Марии.

Тереза, сложив кисти рук, повернулась к колонне с золотым изваянием.

— Как же можно... — прошептала она.

— А тот, который главный, очень восхищался картиной, даже кого-то привёл посмотреть на неё. Но картину он не нашёл. А когда понял, что на изображении Девы Марии нарисован цирк, то разозлился.

— Ещё бы!

— Но это не всё. Врубель написал картину “Моление о чаше”, причем писал её долго. Сумел выгодно продать, и за ней со дня на день должен был приехать покупатель. Но Врубель, обуреваемый страстью к Анне, и на этой картине вновь нарисовал свою наездницу.

— Какой кошмар, — прошептала Тереза, — какой кошмар.

— Не кошмар, а любовь, — назидательно ответил Доминик.

— Значит ли это, что и вам подобным образом сносило голову от любви к всаднице?

— Я рисовать не умею, — пробурчал старик.

Повисла пауза. Тереза размышляла над рассказом Доминика, то и дело обращая взор к золотой Богородице. Её собеседник же, наоборот, смотрел в противоположную сторону — на соседа и его собаку, которую, как оказалось, звали Арчи.

— А какова пятая позиция? — Тереза прервала свои размышления.

Доминик замешкался.

— Так кто же?

— Спасатель береговой охраны.

— Ктоо???

— Спасатель береговой охраны, — робко повторил старик.

— Ну, и фантазия у вас, — покачала головой Тереза. — Каскадёрша, спасательница, скалолазка...

— А что плохого в спасательнице? Я так и вижу взмахи ваших рук над водой и горячее желание прийти на помощь утопающему.

— А при чём тут авантюризм? Профессия самая что ни на есть героическая.

— Все героические профессии граничат с авантюризмом.

— Интересная теория, — усмехнулась Тереза.

— Я раскрыл вам свой список. Теперь вы откройте же мне, наконец, кто вы по профессии, чем занимались, кем работали? — Доминик свернул листок и убрал в карман рубашки.

— Боюсь, что разочарую вас. У меня самая заурядная профессия. Но этот только на первый взгляд! В ней есть нечто мистическое, потайное. Магия чисел меня всегда завораживала.

— Вы нумеролог?

— Нет, я бухгалтер.

— Бухгалтер? — не поверил Доминик. — Чтобы вы и — бухгалтер?

— А почему бы и нет? И что плохого в этой профессии? — Тереза сложила “в замок” руки на груди. Её взгляд стал холодным, даже безжалостным.

— Нет, ничего дурного в профессии бухгалтера нет. Просто я ду- мал... — Старик почесал затылок. — Мда.

— У вас тоже профессия довольно обычная. Юрист. Так чего же вы от других хотите?

Старик молчал. А потом глянул на Терезу лукаво и, потирая руки, медленно произнёс:

— Я знал, что вы бухгалтер!

— А список?

— Это я нарочно. Дурачился. Нет, вы действительно вылитый бухгалтер. Пунктуальная, опрятная. И вообще...

— Обманываете! Вы понятия не имели, что я бухгалтер!

— Имел, имел! Ещё как имел! Ну, какая из вас каскадёриша или скалолазка?

— Да уж действительно, — развела руками Тереза.

— Я сразу понял — вы бухгалтер! Но мне уж очень хотелось позабавить вас!

— И впрямь позабавили. К тому же вы оказались правы.

— Ну вот, что я говорил! — ликовал Доминик. — Уж поверьте моему опыту и интуиции.

Тереза кивнула.

— Вы оказались правы, — повторила она, — только я не бухгалтер.

— То есть?

— Не бухгалтер. Моя профессия в вашем списке значится на первом месте.

Доминик спешно достал листок бумаги и развернул его. На первом месте значилась дрессировщица. Он недоуменно посмотрел на Терезу.

— Она самая. Дрессировщица, — подтвердила фрау.

Старик хихикнул.

— Не вижу ничего смешного. Очень интересная, достойная профессия.

— Что-то у меня не вяжется она с вами.

— И тем не менее.

— И кого вы дрессировали? Неужто львов?

— Нет, не львов. Дельфинов.

— Надо было мне догадаться, когда вы про собак рассказывали. — Доминик хлопнул себя по ноге. — Значит, вы имели дело с животными? Интересно, интересно. Расскажите!

— Обязательно, но в следующий раз. Нет, нет, как всегда, провозжать не нужно. — Тереза остановила Доминика рукой.

— Таинственность... Просто боитесь, видно, что родня увидит, будет смеяться, какую развалину-ухажера вы себе нашли.

— Не без этого! — улыбнулась Тереза и, махнув рукой на прощание, пошла вдоль фонтана к одному из выходов сквера.

Доминик смотрел ей вслед и думал, где же она ему нашла: про бухгалтера или дрессировщицу?

— Доброе утро, дрессировщица! — с ехидцей в голосе поприветствовал Доминик свою знакомую. — Я забыл, кого вы там тренировали? Медуз?

— По-прежнему не верите? А вот это вас обязательно убедит! — Тереза достала из сумки пачку фотографий.

— Как вы безнадежно отстали, милая фрау...

— То есть?

— Я лично давно пользуюсь планшетом. Вы хоть слышали об этом предмете?

— Не умничайте, мой друг. Держать фотоснимки в руках — особое ощущение, и оно гораздо приятнее того, чем когда рассматриваешь их на компьютере.

Доминик пожал плечами, полез в карман, достал очки и, взяв несколько фотографий, стал внимательно их разглядывать. Черно-белые снимки чередовались с цветными, на большинстве которых были запечатлены дельфины.

— Каким ветром вас занесло в дельфинарий? — Доминик изучающе рассматривал фотографии.

— Придётся рассказывать по порядку, с самого начала. Родилась я в Линце, в городе, где Гитлер провел детство и юность, отчего и считал его своим родным. Но мы не любили Гитлера, и в тридцать восьмом, после при-

соединения Австрии к Германии, наша семья эмигрировала в Штаты. Мы обосновались в Сент-Огастине.

— Это где такой?

— Штат Флорида. И в том же тридцать восьмом, представляете, в Сент-Огастине был открыт первый в мире дельфинарий. Ну, поначалу это был океанариум, и назывался он “Морская студия”. Там собирались держать разные виды морских животных, но один из дельфинов проявил такую смекалку и такие способности! Это и положило начало дельфиньему цирку. И я, как и многие, “заболела” дельфинами. После войны мы вернулись обратно. Я не переставляла бредить морскими животными. В середине пятидесятых был настоящий бум дельфинариев. К тому времени я уже всю занималась дрессировкой этих чудных животных и выступала на публике. Работала во многих местах Европы.

Доминик, отложив остальные фотографии на скамью, пристально вглядывался в один снимок. На дельфине стояла молодая девушка в обтягивающем костюме.

— Это ведь вы?

Тереза кивнула.

— Я был на одном из ваших представлений.

— Вот как?

— Вы — Тереза Перлькопф.

Фрау посмотрела на собеседника с удивлением.

— Я хорошо помню вас. — Доминик отдал фотографию Терезе.

— Отчего же вы меня хорошо запомнили?

— От возмущения. Ездили на дельфинах, как на горных лыжах. Я тогда первый и последний раз посещал дельфинарий. Да и вообще бы туда и не пошёл, если б не жена. Ей кто-то посоветовал чаще бывать там, где гуляют дети. Смотреть на их смеющиеся, радующиеся мордашки.

— Вот видите: смеющиеся, радующиеся! Дети всегда приходят в восторг от общения с дельфинами.

— В восторг? — Доминик возмущённо посмотрел на Терезу. — А сколько было загублено дельфинов ради этого восторга? Не считали?

— Ну, знаете, — задыхнулась Тереза от негодования. — Ну, знаете!

Из милой очаровательной старушечки она вмиг превратилась в разъярённую гарпию. Доминик даже выпалил вслух:

— Сейчас вы способны наводить ужас на людей!..

— А вы, знаете ли, не смейте мне такое заявлять! — Тереза тяжело дышала.

— Но гуманно ли держать дельфинов в неволе? — Доминик уже был не рад затейному разговору, потому его речь звучала не так резко.

— А собак? — Тереза кивнула головой в сторону Арчи.

— Это не довод. — Доминик нервно отстукивал узловатыми пальцами по деревянной скамье.

— Я знаю, много сломано копий в дискуссиях на эту общественно-значимую тему. Но послушайте меня... Все начинается с долгой адаптации дельфина к жизни в неволе. Животное длительное время находится на карантине. — Тереза встала и принялась ходить вдоль скамейки.

— Но на воле они проплывают сто с лишним километров в день. А в бассейне сколько? Разве они могут это проделать в каком-то искусственном корыте? — Старик начинал терять терпение. — А хлорированная вода? Да у них кожа слезает! — Доминика аж передёрнуло от нарисованной им в воображении картины. — А продолжительность жизни в неволе? И не питаются они на морских просторах мёртвой рыбой. Вам ли этого не знать? Нет, англичане молодцы! Все дельфинарии закрыли из-за общественного протеста.

— Дайте же сказать, наконец! Да будет вам известно, в любом дельфинарии тщательно следят за солевым составом воды и меняют её регулярно! К тому же температура поддерживается соответствующая. И заставить животное что-то делать помимо его воли — невозможно! Не-воз-мож-но! А дельфины с радостью и тренируются, и выступают! Им нравится общаться с человеком.

— Это они вам сами сказали? — Доминик наполнил грудь воздухом и громко выдохнул.

— И что за бред, что жизнь в неволе укорачивает животным жизнь? В Германии живёт дельфин, не знаю, правда, на сегодня он жив или нет, но еще недавно был жив. Ему пятьдесят два года! Почти половина дельфинов и в море, и в дельфинарии гибнет, не дожив до двух лет. Они очень чувствительны к заболеваниям. А в природе ещё и разные напасти. Шторма, например. Сколько дельфинов гибнет в море! Что-то об этом не больно трубят. — Тереза вновь села на скамью.

— Я понимаю, — Доминик ласково погладил Терезу по плечу, — это ваша работа, которой вы посвятили жизнь. Простите меня за мою резкость. Тогда, много лет назад, увидев вас, я был сражён вашей красотой, грацией, ловкостью, но мне казалось недопустимым и тогда, и сейчас... Я даже ваше имя запомнил. Такое мне показалось несоответствие между вашей красотой и...

— Всё ясно. Наши взгляды слишком разнятся. Отдавайте мне мои фотографии и прощайте!

— Нет, не отдам! — Доминик схватил пачку, лежащую с его стороны.

— Как это не отдадите?

— А вот так. Я ещё не досмотрел до конца.

— Но мне надо идти!

— Идите. Завтра придёте, и я их вам верну.

— Но я завтра не собираюсь приходить! — Тереза топнула ногой в туфле на широком маленьком каблучке.

— А придётся. — Доминик крепче сжал фотоснимки. — До завтра. И по обычаю не провожаю вас.

Придя в сквер чуть раньше обычного, Доминик застал на своей скамейке пару, по его понятиям, весьма молодую. Мужчина лет пятидесяти и женщина лет сорока сидели, держась за руки, разглядывая округу. Старик, подойдя, нехотя кивнул им, в ответ они дружелюбно улыбнулись и отодвинулись с середины скамьи на самый край.

Доминика в это утро раздражало всё: и солнце, колющее глаза, и сквер, наполняющийся людьми, и парочка подле него, которую вовсе не было желания рассматривать. Но больше всего старик негодовал, думая о том, что если и придёт нынче Тереза, то только за фотографиями. Он её вчера обидел, и вряд ли она захочет теперь с ним общаться. Но что поделать, если он и вправду так считает: не место животным в неволе! А Тереза... Ну, как она могла не понимать этого? Но он готов был ей простить её прошлое. Это ведь было до него. Вряд ли она работала бы дрессировщицей, если бы была его женой. От этой мысли Доминик вздрогнул. Женой... А ведь она тогда запала ему в душу. И он часто вспоминал яркую и задорную дрессировщицу с ледяными линиями тела.

Фотографии Доминик нарочно оставил дома, решив сослаться на свою забывчивость. К тому же он испытывал особую радость, перебирая их вчерашним вечером, словно проскальзывая в чужую судьбу с помощью старых карточек. Снимки он, конечно же, отсканировал, но ещё раз подержать в руках карточки Терезы, пусть и с дельфинами, будь они неладны! — ему хотелось.

Парочка рядом разглядывала сияющую Мадонну. Их головы были задраны вверх, к небу, застыв в одной точке. В такой позе ему доводилось порой видеть многих туристов, поскольку колонна, на которой стояла Дева Мария, была достаточно высокой. Это был тоже своего рода поклон, только в высь.

Доминик, глядя на благоговейные лица соседей, усмехнулся. Пока они ни разу не произнесли ни слова, только глядели по сторонам. Но, только успев подумать об этом, старик услышал:

— Здорово! Я так рад, что мы сюда заехали.

Доминик вздрогнул — русские! Уж эту речь он не спутает ни с какой другой... На душе у него стало как-то сразу нехорошо, хотя и до этого было досадно, но тут словно её обмакнули в кислый раствор. Если бы не Тереза, Доминик непременно ушёл бы. Не то чтобы у него сохранялась ненависть

к русским, но и любовью там не пахло, и даже симпатией. Где-то в глубине сидел страх, а на поверхности — осторожность.

Доминик взглянул на русских. Они о чём-то тихо беседовали, не переставая держаться за руки. Нет, никакой агрессии от них не исходило, наоборот, со стороны поглядеть — милейшие люди! Но пусть бы эти милейшие люди шли дальше, что, в Граце посмотреть больше нечего?! А точно ли это русские? Мужчина был одет, как заправский европеец: ярко-голубая рубашка в крупную клетку, светлые джинсы; его спутница — в изысканном летнем наряде. Хотя теперь и русские утратили свою особинку в манере одеваться, не то, что было раньше, когда у них там правили коммунисты, и бедняги приезжали в Европу за джинсами.

Речь самая что ни на есть русская. Какая ещё речь звучит так мускулисто? Однажды где-то Доминик вычитал: “Русский язык — это пара знакомых слов, затерянных в полном лингвистическом хаосе неприятных на слух звуков”. Лучше и не скажешь.

Доминик достал газету, раскрыл её на странице с прогнозом погоды и стал анализировать, какая погода будет в ближайшую неделю. Он взял красный фломастер и подчёркивал солнечные дни.

— Зачем он что-то подчёркивает? — удивилась русская.

— Кроссворд, может, отгадывает. — Мужчина чуть вытянулся, чтобы подглядеть.

— Нет, он в прогнозе погоды что-то помечает.

За годы плена Доминик неплохо усвоил русские слова, мог наполовину понимать то, о чём говорят русские. Мужчина и женщина ещё немного понаблюдали за странностями старика, затем переключились и стали смотреть совсем в другую сторону. О чём-то переговариваясь, улыбались. Что они там увидели? Доминик наклонился вперёд и сразу узнал в идущей пожилой женщине Терезу. Русская пара явно говорила о ней, но в голосах чувствовалась теплота, словно речь шла об их давней знакомой. Чудо, как она была хороша! Доминик, наблюдая за Терезой, откинулся на спинку скамьи. Такой элегантный шаг. Такая значимая, но при этом совершенно невесомая походка. Русские, несомненно, восхищались величием старости австрийской женщины. Это было Доминику неожиданно приятно.

Тереза подошла к скамье и, хотя места было предостаточно, русские подвинулись. Они обменялись любезными взглядами, после чего Тереза села, но почему-то стала интересоваться его здоровьем и тем, что он ел на завтрак.

— Сегодня день неблагоприятный, находиться на солнце много нельзя. Скажите, вы измеряли сегодня давление?

— Дорогая моя Тереза! Я старый солдат, о каком давлении может идти речь?

— Вот именно, что старый! — усмехнулась Тереза.

— Да я за свою жизнь не кашлянул ни разу! Не чихнул!

— А вот чихи сдерживать нельзя. — Тон Терезы вдруг стал правоучительным. — Можно повредить барабанную перепонку или глотательное горло. Чихайте себе на здоровье! Ну, чихайте же!

— Да я не хочу!

Русские мирно беседовали на противоположном конце скамьи.

— Чехи? Поляки?

— Нет, русские.

— Русские? — Тереза с большим интересом стала поглядывать мужчину и женщину. — Я, признаться, не часто встречала русских туристов.

— Разве? А по-моему, их теперь всюду полно, как блох.

— Хорошая пара, — вынесла свой вердикт Тереза, немного понаблюдав за соседями по скамье.

Доминик не ответил.

— Ещё целый час можно посидеть здесь, — сказала молодая женщина, глядя на большие часы на стене здания. — Место просто магическое.

— Вы понимаете, о чём они говорят? — обратилась Тереза к Доминику.

— Подслушивать чужие разговоры нехорошо, — пробурчал он.

— Так скажите, что нет!

— Мне до них вообще никакого дела нет! Нечего тут торчать. Шли бы себе потихоньку.

В этот момент русский внимательно посмотрел на старика.

— Мы помешали вам? — спросил он по-немецки.

— Нет, что вы! — воскликнула Тереза и с укором посмотрела на старика, немного сконфуженного таким поворотом дела.

Русский улыбнулся и всё своё внимание направил на спутницу.

Тереза в негодовании сверлила Доминика глазами. Тот явно чувствовал за собой вину, но, судя по его нахохленному виду, признавать её не собирался.

— Как вам не стыдно! — прошептала Тереза, склоняясь к Доминику. — Ваша неприязнь так и бьёт, как струи этого фонтана!

— А вы хотели, чтобы я, не сворачивая, стремительно нёсся к святости?

Тереза взглянула на Богородицу.

— Вы бессердечный солдафон! Война давно закончилась, снимите же, наконец, свою форму.

— Не хочу, не могу и не буду. — Доминик помог себе руками закинуть одну ногу на другую.

— Старая сталинградская развалина! — Тереза с вызовом посмотрела на собеседника. — Которая никак не успокоится.

Доминик хотел сказать, что беспокойных развалин не бывает, но закашлялся. Русская тотчас же протянула Терезе бутылочку с водой, показывая, что надо передать её Доминику, но фрау вместо того, чтобы открыть пластиковую бутылку, как дала со всей силы ею по спине старика! А потом вернула её обратно, кивнув женщине в знак благодарности.

Доминик кашлять перестал. Насушенный, он молча наблюдал за округой. Терезе же явно хотелось общения.

— Вы первый раз здесь? — обратилась она к паре по соседству.

— Я во второй, а моя жена впервые, — ответил мужчина на хорошем немецком.

— Нравится?

— Сказочный город! Сказочный.

— Вы давно здесь? Надолго?

— До вечера. А приехали утром. С туристической группой.

— А где остальные?

— Все пошли с гидом, а мы с женой решили побродить самостоятельно. Через полтора часа у нас запланирован с группой поход в музей оружия. Говорят, он здесь бесподобный. А вы живёте в Граце?

Тереза дважды кивнула.

По скверу шли четыре девушки и юноша. В руках они несли большие квадратные коробки, вероятно, с пиццей. Свободная скамейка находилась аккуратно напротив русской и немецкой пар, только за фонтаном. Там молодёжь и пристроилась.

— Нам говорили, здесь много студентов, — сказал русский.

— О да! Здесь четыре университета. Четыре? — переспросила Тереза у Доминика.

— Да, именно четыре. Не три и не пять. — Доминик был рад, что Тереза обратилась к нему с вопросом. — Медицинский, технический, актёрский и самый известный — имени Карла и Франца. Да будет вам известно, он дал миру семь Нобелевских лауреатов, если мне не изменяет память.

Русский перевёл жене фразу Доминика, та покачала головой от удивления.

— Ваша жена не знает немецкого? — что-то неуловимо-презрительное промелькнуло в вопросе старика.

Но русский не остался в долгу.

— Нет, не знает. Впрочем, как и вы с супругой не знаете русского, — улыбнулся он.

При слове “супруга” Тереза и Доминик многозначительно переглянулись.

— Я понимаю совсем чуть-чуть, — приврал старик и показал пальцами, насколько мало он понимает по-русски. — Самое простое: “Нина шила, Нонна мыла, наши косы малы”, — произнёс он, коверкая русские слова и за-

смеялся. Следом за ним рассмеялись и русские. — Это из букваря тридцать седьмого года.

— А как он к вам попал? — удивился русский, но вопрос остался без ответа.

Студенты напротив уминали пищу. И это получалось у них слаженно, словно отрепетированно. Раз — поднесли пищу ко рту, два — откусили, три — опустили руки, жуют, четыре — проглотили. И снова — раз, два, три, четыре. Длинный верзила сидел посреди скамейки, а справа и слева от него — по две девушки.

— Смешные и трогательные, — русская кивнула на студентов. — Этот Ганс окружил себя сразу четырьмя Гретхен.

Ещё немного понаблюдав за этим “раз-два-три-четыре”, немцы и русские вернулись к разговору.

— А вы откуда из России? — спросила Тереза.

— Из Волгограда.

— Из Волгограда? — опешил старик. Русский так запросто произнёс название этого города...

— Волгоград, Волгоград, — закивала жена русского.

Доминику вдруг стало нехорошо. Навалилась такая жара, словно на него сейчас светили десятки солнц. Волгоград, Сталинград...

Старик уставился в одну точку напротив скамейки, а именно — на студентов с пищей.

— Походная кухня привозила по вечерам еду. “Зингеры”, так мы называли русские бишланы, потому что они стучали, как швейные машины, летали над нами и сбрасывали осколочные бомбы...

— Вы воевали во Вторую мировую?

— Да. Я был в Сталинграде.

Русский хотел перевести это жене, но она остановила его:

— Он был в Сталинграде, я поняла.

— Я был в Сталинграде, — повторил старик по-русски и снова перешёл на немецкий: — Не приведи Господь никому быть участником этого. Военизированные бал сатаны.

— Как вы сказали? — не понял русский, но немец не стал повторять.

Лицо Доминика изменилось, будто он надел чужую маску. Морщины внезапно стали горестными. Он стал легонько раскачиваться, словно собирался взлететь, но при этом крепко держался обеими руками за лавку. Тереза погладила старика по спине, от этих прикосновений он вздрогнул, повернул голову и посмотрел на Терезу совершенно пустыми глазами.

— Он что, ждёт от нас сочувствия? — нервно спросил русский у жены, видя состояние немца. — Мы их не звали!

— Андрей, не надо на эту тему...

— Я разве начал?

— Ну, и не поддерживай. Переведи разговор на что-нибудь другое или вообще пойдём отсюда.

Старый немец примерно понял, о чём они говорят, но отрешённо смотрел на золотую Деву Марию, стоящую спиной к ним.

— Вот и тогда она повернулась к нам спиной. Целая армия превратилась в труху. Подумать только — целая армия!

— А что вы хотели? — неожиданно повысил голос русский. — Вы пришли на нашу землю с оружием и хотели, чтоб мы плясали перед вами? — Его глаза гневно смотрели на немца. — Избитая фраза, но всё же я произнесу её: “Кто вас звал?” Вот вы живы-здоровы, сколько вам лет? За восемьдесят? А моему деду так и осталось двадцать пять! Навсегда! Он погиб под Сталинградом.

Жена Андрея в тревоге положила ему руку на колено и сжала его.

— Под Сталинградом? — Доминик взглянул на русского.

— Под Сталинградом, — устало выдохнул Андрей.

— Вы были в Берлине? — включилась в разговор Тереза.

— Да.

— А в церкви памяти кайзера Вильгельма?

Русский замялся.

— Там Сталинградская Мадонна.

— Да, были, — осыпая, ответил Андрей, его жена тоже кивнула. — Это в Синей церкви. Вернее, там стёкла синего цвета. Сталинградская Мадонна нарисована на обратной стороне географической карты. Военным врачом.

— В отличие от Врубеля, который рисовал поверх Богородицы... — тихо пробормотал Доминик.

— Вокруг Мадонны надпись: “Свет. Жизнь. Любовь...” — Тереза посмотрела на переливающуюся в лучах вечного солнца статую Девы Марии, и следом за ней все подняли головы вверх. — Наказ человечеству от человека, побывавшего в Сталинградском котле. Его звали Курт Ройбер.

— У нас в Волгограде в храме святителя Николая есть копия Сталинградской Мадонны. — Андрей, не отрываясь, смотрел на Богородицу. — Называется икона “Дева Мария Примирения”.

— Правда? Я этого не знала.

— Вы многого не хотите о нас знать.

— Я прошу прощения, не спросила, как вас зовут. — Тереза чуть улыбнулась.

— Андрей. Супругу Ксения.

— Очень приятно. Меня Тереза.

— Доминик, — представился старик.

— Скажите, Андрей, вы так хорошо владеете немецким. Где вы его учили?

— В основном, сам.

— Да? — не поверила Тереза. — Сам?

— Да. Хотелось в подлинниках читать вашу великую литературу.

— И вы можете оценить сочность немецкой поэзии? — недоверчиво спросил Доминик.

— Думаю, да. Мы все в состоянии понимать друг друга, если по-настоящему захотим. Весь вопрос в открытости к другим культурам и готовности их воспринимать. — Андрей встал со скамьи, следом за ним поднялась жена. — К сожалению, нам пора. Перед музеем мы ещё хотим подняться на Шлоссберг.

Андрей протянул Доминику руку:

— Всего хорошего вам!

Немец растерялся, но вдруг, как пружина, вскочил, выпрямился и с достоинством воина пожал ладонь русского.

— Я также желаю вам счастья!

Когда русские ушли, какое-то время старики молчали.

— Шлоссберг... — проворчал Доминик. — У них остался час. На целый Шлоссберг! Хорошо иметь молодые ноги.

— Я давно хочу туда подняться, — вздохнула Тереза. — Причём по ступеням, а не на лифте или фуникулере. Как когда-то давно, много лет назад. Наследникам станет плохо, если они узнают об этом желании.

— Может, они только и мечтают, чтобы вы туда забрались и отдали концы. Не надо долго ждать наследства.

— Зря вы о них так думаете, злой старик!

— Да я в шутку, что вы, не понимаете? Кстати, а почему вы не требуете свои фотографии? А я их дома забыл!

— Оставьте себе, — беспечно заявила Тереза. — Любуйтесь!

— Я обратил внимание, у вас совершенно нет украшений, — огорошил Доминик Терезу на следующий день в середине разговора.

Пожилая фрау, не мигая, смотрела на старика и размышляла над его вопросом. Что он опять затеял?

— И что, что нет? — наконец, молвила она. — Вам-то что?

— Вы их не любите? — не унимался Доминик.

— Да что вы пристали?

— Нет, скажите, почему на вас никогда нет украшений?

— Потому что вы не дарите! — язвительно ответила Тереза.

— Ах, если только дело за этим! — Доминик вальяжно раскинулся по скамье. — Я-то думал, может, у вас аллергия на металлы...

— Нет у меня никакой аллергии!

— А дело-то, оказывается, в том, что это я их вам не дарю. — С этими словами старик склонился над пакетом и достал оттуда бархатную коробочку цвета бургунди. — Прошу принять!

— Что это? — спросила Тереза, принимая подарок. — А что там?

— Ну, что там может быть? Кусок курицы, конечно.

— Я серьёзно!

— Откройте да посмотрите! И чего спрашивать!

Но Тереза не спешила открывать коробочку, видя, что солдафону не терпится, когда она это делает. Она для начала повертела её в руках, словно в поисках каких-нибудь надписей, потом пару раз взглянула на Доминика и только после этого приподняла крышку.

— Наконец-то добрались до содержимого, — деланно вздохнул старик. — А то я думал, что прокиснет.

— Это брошь? — отчего-то спросила Тереза, глядя на украшение и понимая, что это брошь.

— Нет, кузнечик молодой!

— А кому эта брошь?

— Ну, не Грабнеру же! И не его брудастому бракку. Голубушка, ну что за странные вопросы! Вам! Кому же ещё?

Тереза выглядела очень растерянной.

— Не понравилось? — заволновался Доминик. — Вы достаньте её, разглядите лучше. Она красивая.

Брошь была очень хороша: созданная мастером в виде стройного цветка из белого золота, она немного напоминала арфу или даже морскую волну, набегающую на берег. Лепестки, усеянные мелкими камешками, сверкали на солнце. Три соцветия из голубого топаза были того же цвета, что и глаза Терезы.

— Это правда мне? — руки Терезы дрожали.

— Да! — с гордостью выдохнул Доминик.

— Она такая, такая... лирическая.

— А вы думали, солдафон не способен...

— Ничего я не думала. А почему вы мне подарили это неземной красоты украшение? — медленно произнесла Тереза.

— Как почему? — растерялся старик. Вот те на! — Как это почему? Сами-то не догадываетесь?

Фрау сделала вид, что, мол, понятия не имеет — почему, хотя в её глазах блеснули искорки явного понимания.

— Почему, почему... — проворчал старый солдат. — Потому что вы мне нравитесь! — отчеканил он сердито.

На другое утро народу в сквере было больше обычного. Скамеек на всех не хватало, поэтому многие присаживались на бортики фонтана.

— А меня отругали за ваш подарок, — потупив взор, молвила Тереза.

— Кто? Почему?

— Наследники. Сказали, негоже принимать такие дорогие подарки от незнакомого мужчины. Велели вернуть.

— Вы им рассказали обо мне? — Доминик был рад.

— Так, в общих чертах.

— В общих чертах! — Радость старика сменилась недовольством. — О Доминике Кунстшлере, лучшем юрисконсульте Граца шестидесятых и семидесятых годов! Как это в общих чертах? Что это за общие черты?

— Ну, не занудствуйте, пожалуйста!

В этот момент к скамье подошёл грузный парень, и Доминику пришлось вплотную пододвинуться к Терезе, поскольку тот втиснулся между ним и ещё одним отдыхающим. От такой неожиданной близости и Доминик и Тереза оробели. Старик несколько раз громко сглотнул, а пожилая фрау закопошилась в сумочке.

— Вы горячая, — шепнул ей Доминик на ухо.

— В каком смысле? — Тереза насколько возможно отклонилась в сторону от своего собеседника.

Старик вместо ответа подмигнул.

Следующие несколько минут прошли в молчании.

— Я тут подумал и решил, — тихо, не глядя на Терезу, произнёс Доминик. — Хватит бояться! Нам обязательно нужно сделать это.

У Терезы как-то сама собой, непроизвольно, рука легла на грудь.

— Что — “это”? — с трудом выдавила она из себя, как остатки пасты из зубного тюбика.

— То самое, о чём мы оба втайне мечтаем.

Тереза покраснела и оглянулась по сторонам.

— Вы что, с ума сошли?

— Почему? И мне, и вам этого очень хочется.

На бортике фонтана спиной к ним сидела молодая женщина. На её коленях лежала маленькая девочка, которая, наклонившись, забавлялась с водой. Время от времени, пока мать не видит, она украдкой попивала эту водичку.

— Смотрите, она пьёт воду прямо из фонтана! — воскликнула Тереза. — Надо обратить внимание её матери. Ребёнок может получить отравление.

— Наплевать на ребёнка! Я вам говорю совершенно о другом.

— Что значит наплевать на ребёнка!..

— Во время войны мы охотно, бывало, пили из лужи. А уж из фонтана...

— Наплевать мне на вашу войну! И о чём таком вы мне там говорите? Это что, второй шаг после подарка? После броши? Невестка моя была права! Не следовало мне... — Тереза открыла сумочку. — Вот, возьмите! — Она протянула Доминику бархатный футляр.

Брови старика взлетели.

— Что это значит?

— А то и значит! Я женщина порядочная и не желаю из-за украшения соглашаться на это!

У Доминика от напряжения покраснели глаза.

— На что на это?

— На что... на что... На то, на что вы мне намекаете!

— Я не намекаю, а открыто говорю.

— Ну, знаете! — Тереза стукнула сумочкой Доминика. — Бессовестный!

— Да что тут бессовестного! Я же не постель вам предлагаю. Я задумал вместе с вами взобраться на Шлоссберг! — вскричал Доминик. Люди на скамье с нескрываемым интересом смотрели на старика. — Хотя, можно подумать, в близости есть что-то бессовестное, если она по любви. — Доминик вновь заговорил тихо.

— Так вы, — растерялась Тереза, — имели в виду Шлоссберг?

— Ну, да. А вы что имели в виду?

— Я? — Тереза поправила волосы. — Так и я Шлоссберг.

Взятие Шлоссберга — горы, возвышающейся над Грацем прямо в центре города, — было назначено на субботу, до которой оставалось два дня. В эти дни старики решили основательно подготовиться к штурму.

— Наверное, будут нужны перчатки. — Тереза посмотрела на свои морщинистые руки с маникюром.

— Да, и альпеншток, — саркастически улыбнулся Доминик. — А также страховочные верёвки, каски, ледорубы и запас провизии на неделю. Ну, а если серьёзно, главное вам не форсить, обувь на каблуке не надевать. Одежда должна быть лёгкой. На всякий случай возьмём с собой куртки — вдруг на горе ветер. Пару бутылок воды. Если проголодаемся, наверху есть кафе.

— Как вы думаете, кондотьер, сколько времени у нас займёт подъём?

— Дайте подумать. — Доминик закрыл глаза и что-то принялся высчитывать. — Ступеньки идут зигзагом, часто поворачивают. Всё это делает

подъём нелёгким и достаточно долгим. Может, мадам предпочитает на лифте? — Он внимательно взгляделся в лицо Терезы.

— Ни за что! Какой тогда смысл! Только пешком!

— Ступеней примерно триста, не так много, но они высокие, — продолжал рассуждать Доминик. — Будем отдыхать через каждые тридцать.

— Лучше на каждом новом этапе. — Тереза задумалась. — Эти ступени вырублены в скале ещё в Первую мировую.

— Работа русских пленных.

Тереза кивнула, сморщив щеку, — мол, это общеизвестный факт.

— Утром перед восхождением много не ешьте, но и не идите голодной, — наставлял Доминик, — не забудьте покрыть голову, чтобы не напекло. Сегодня и завтра нужно поменьше двигаться, так мы сэкономим силы. Хорошо выспаться. Что ещё? С внуками поменьше нянчитесь, это тоже отбирает энергию. Так, про это я сказал, про головной убор тоже... Что же ещё? Не забыть бы... — бормотал он.

— Фотоаппарат или камеру, — подсказала Тереза.

— Это само собой. Это я беру на себя. А! Ещё зонты обязательно. Вы запомнили, что я вам сказал?

Тереза кивнула.

— Может, всё же, запишете?

— Ну, Доминик!

— Что Доминик? Подниматься на такую гору!

— Уж как-нибудь с Божьей помощью осилим. — Тереза долгим взглядом посмотрела на золотую Богородицу.

Субботнее утро выдалось хмурым. В назначенное время заговорщики встретились на Шлюсбергплатц у фонтана с тремя птицами. Причём Тереза пришла первой.

— Наследники не знают? — спросил Доминик после приветствия.

— Я бы тогда здесь не стояла.

— Не передумали?

— Вот ещё! — фыркнула Тереза. — Может, это вы хотите дать задний ход? На целых две минуты опоздали к назначенному часу икс!

Доминик пропустил это мимо ушей. Он с интересом смотрел на новую Терезу. Да, такой она её ещё не видел. На сей раз она была налегке, в спортивном костюме оливкового цвета, который очень молодил её.

— Командуйте, кондотьер! — Тереза выпрямилась, ожидая указаний.

— Вперёд! — коротко приказал старый солдат и выставил впереди себя зонтик, но, выкидывая его, случайно нажал на кнопку. Зонт, раздвигая пространство, автоматически раскрылся, чем вызвал смех Терезы.

— Очень красиво! — отсмеявшись, она окинула взглядом скалу со ступенями.

Возле основания лестницы находился вход, ведущий в систему штолен. Там, в глубине, располагался стеклянный лифт.

— Во время войны здесь было бомбоубежище. — Доминик кивнул на вход, ведущий вглубь горы.

Тереза, ничего не ответив, прошагала мимо, к лестнице.

— Я первый! — Доминик опередил Терезу. — Следовать строго за мной.

Он, опираясь на ограждение, твёрдо встал на первую каменную ступень. Когда он поднялся на четвёртую, Тереза начала свой путь.

— Вы знаете легенду, связанную с этой горой? — Доминик через плечо посмотрел на Терезу.

— Смотря какую.

— Дьявол заключил сделку с местными жителями: в обмен на их души пообещал создать в центре города возвышенность. И чем выше будет гора, тем больше душ он получит. Договорился и улетел за скалой в Африку. Выбрал высокую. Тащил, корячился, сволочь. А когда вернулся обратно, видит: жители Крестным ходом идут, Пасху встречают. А как известно, в Пасху он не имеет права забирать души — власти над людьми не имеет. Рассердился

сатана и бросил эту скалу посреди селения. Вот по ней мы сейчас и поднимаемся.

— Да знаю я эту дурацкую легенду. Зачем они вообще с ним сделку заключали? — возмутилась Тереза.

— Вы бы поменьше говорили, — осадил её Доминик. — Силы не тратьте. Это ведь только начало виливающей лестницы.

— Сами же тратите силы на пересказ глупых басен.

Желающих подняться на гору пешком было немного. Но те, кто выбрал этот путь, проскальзывали мимо стариков быстро и бесшумно.

— Люди-то соколами, а мы черепахами, — усмехнулась Тереза.

— В нашем возрасте и черепахой в радость, — проворчал Доминик.

Всё выше поднимались они, всё ниже оставалась земля. Местами скала была одета растительностью, кое-где значились самодеятельные стандартные надписи — тот плюс эта равняется сердечку. На каждом изгибе лестницы были установлены фонари. Повсюду сновали чёрные дрозды. Они словно спрашивали стариков:

— Вы что, совсем тю-тю? — но без ехидства, а даже с неким восхищением.

Тереза остановилась на одной из маленьких смотровых площадок, оборудованных по всей длине лестницы.

— Устали? — обернулся Доминик.

— Нет. Даже наоборот, взбодрилась. Вы не считали ступени?

— Не догадался.

— Я поначалу забыла вести им счёт. Когда вспомнила, мы уже сколько-то прошли.

Некоторое время старики шли молча, ненадолго останавливаясь. Доминик то и дело доставал из сумки воду со стаканчиками.

— У вас не кружится голова? — спросил он во время очередной передышки.

— Нет.

— А у меня да.

— Вам плохо?

— Нет. Мне очень хорошо. От того и голова кружится. — Доминик долгим взглядом посмотрел на Терезу.

— Сколько людей прошло по этим серым ступеням... — Тереза поднялась на очередную.

— И каких разных. Блёклых и ярких, — принял философскую эстафету Доминик, — злых и добрых.

В середине пути они уже не хорохорились. У Доминика сильно разболелась спина, однако он старался не подавать виду. У Терезы скрывать боль получалось хуже: совершенно невозможно было ступить на правую ногу. Старик взглянул на Терезу. Она шла с потемневшим лицом, закусив губу. Даже её оливковый спортивный костюм, казалось, пожух, утратил яркость цвета.

— Что делать? — спросил Доминик.

— Это я виновата, что увлекла вас своей дурацкой идеей, — сказала Тереза.

Они остановились. Кроме боли, ещё одно обстоятельство делало поход невыносимым — свирепая жара.

— Проклятые метеорологи! — воскликнул Доминик. — Я нарочно назначил на сегодня, потому что они обещали прохладный день. И на тебе! Сволочи!

С Доминика рекой тёк пот, с Терезы — ручьём. Доминик расстегнул рубашку, выставив напоказ серебристую грудь. При виде его полубнаженного торса Тереза заметно взбодрилась.

— Снимите совсем, — властно сказала она, но тут же сконфузилась. — Я к тому, что жарко очень. Разденьтесь, не страдайте.

— Как-то неудобно идти голым. — Доминик поспешно стал застегивать пуговицы.

— Зачем? Ну, зачем же? Зачем вы застёгиваете? Тепловой удар захотели? — И она судорожно принялась расстёгивать ему пуговицы, которые он успел только что застегнуть.

— А вы? Почему такая закупоренная? — Он посмотрел на молнию костюма, пересекающую всю курточку.

— Мне холодно! — отступила на шаг Тереза. — Знобит меня.

Доминик удивлённо взглянул на свою спутницу:

— Что-то не похоже, чтобы вам было холодно.

— Но не могу же я вам сказать, что надела куртку поверх лифчика.

— Тогда понятно.

— Застрали мы тут с вами между землёй и небом.

— Да уж... — Доминик глянул вниз. — Ровно посередине. Придётся спускаться, — вздохнул он.

— Ни шагу назад!

— Да, но ваша нога...

— У меня их две.

— Я возьму вас на руки.

— С вашей-то спиной? Нет уж! Как-нибудь сама доковыляю.

— Смотрите, дважды предлагать не буду.

— Кондотьер, хватит болтать. Командуйте.

— А вы не указывайте мне! — Доминик выпрямился. — Что ж, вперёд, к небесам! А вась ещё летаем...

На развилке внимание стариков привлекла табличка с указателями: к альпийским растениям — стрелка налево, к Часовой башне — стрелка направо. Мнения в команде разделились. Тереза настаивала на первом варианте:

— Умереть, так среди альпийских растений.

Доминик строго возражал:

— Отставить меланхолию! Не умереть, а победить и прийти к башне!

В итоге он убедил свою спутницу. Часовая башня Уртурм была символом города. Огромный циферблат, на котором почему-то большая стрелка показывала часы, а маленькая — минуты, был виден издалека.

Чем меньше оставалось до верха, тем сложнее давался каждый шаг.

— А какая ваша любимая актриса? — вдруг спросил Доминик.

— Роми Шнайдер.

— Почему?

— Она австрийка, как и я.

— Ну, у вас и критерии отбора! А актер, надо полагать, — Шварценеггер, потому что он родом из Граца. Если я немец, то мне должно нравиться только немецкое? И женщины — только немки?

— Но вы же давно живёте в Австрии. — Тереза перевела дух. — Значит, и австрийские женщины тоже могут нравиться вам.

— Логика у женщин — вне всякого разума. — Доминик не знал, то ли рассердиться, то ли рассмеяться. Он в очередной раз вытер лоб влажной салфеткой.

— Когда же будет обильной тени парадиз? — Тереза тоже промокнула лоб платком.

— Мы сами выбрали этот путь. Пусть он тернистый, но наш.

— Сколько пафоса! — рассмеялась Тереза. — А вы когда-нибудь взбились на Шлоссберг подобным образом?

— Что я, дурак, по-вашему? Нет, только вот так. — Доминик кивнул на трассу фуникулера. В этом месте она была особенно близко расположена к пешему пути наверх.

— Я тоже.

— А почему у вас возникла такая странная мечта — подняться на вершину пешком?

— А я желание когда-то загадала. — Тереза тяжело дышала и слова ей давались с трудом. — Да и была-то я здесь, в Граце, на этой горе всего единоразы.

— Ну да, вы ведь не местная. А что за желание?

— Так я вам его и сказала, — грустно вздохнула Тереза, но тут же прокла строки:

*Беги, беги от мишуры обманной,
Расстанься с непотребной красотой
И ты достигнешь пристани желанной,
Где неразрывны вечность с красотой.*

— Вы что, карабкаетесь на вершину помирать? — с ужасом спросил Доминик, перегородив ей дорогу.

— А почему бы и нет?

— А ну, поворачиваем назад! Какие-то шальные мысли бродят в вашей идиотской голове с седыми буклями! А ну, немедленно! — Взволнованный не на шутку, старик крепко схватил Терезу за руку. — И не сопротивляйтесь, иначе я вас просто скину с лестницы.

— Отпустите же! Отпустите! Ну, отпустите же меня, наконец. — Тереза, бросив все запасы сил на освобождение, вырывалась из рук Доминика. — Да сколько же мощи в вас! Кому говорят, отпустите! Не то я вас покусая! Я серьёзно! Я новые зубы вставила. Зачем, думаете, я ходила в поликлинику?

— Вы новые зубы вставили? — старик ослабил хватку. — Я и не заметил...

— Простите, что не продемонстрировала!

— Значит, вы не собирались умирать на вершине, раз только-только зубы вставили.

— Да как бы я там умерла? Вы в своём уме? Или думаете, у меня с Богом договор? Кто знает минуту своей кончины?

— Ну, я думал... — замямлил Доминик, доставая одну салфетку за другой и непрестанно вытираясь ими, — может, у вас мечта такая: достигнуть вершины и погибнуть.

— Как?

— Спрыгнуть, например...

Тереза закрыла лицо руками.

— Тереза, простите! Я что-то не так понял. Дурак, дурак, дурак, старый дурак! Просто я после ваших стихов...

— Это Христиан Гофмансвальдау.

Удручённый Доминик не знал, какие слова найти в своё оправдание.

— Знаете что! — неожиданно резко заявил он, стукнув ладонью по ограждению. — Стихи нужно знать соответствующие!

— Соответствующие чему? — Тереза присела на ступень спиной к Доминику.

— Чему, чему... Я тоже знаю стихи! — старик вытянулся, одёрнул рубашку, вытер уголки губ и начал декламировать:

— Туда! Туда!..

Но вдруг передумал.

— Ну, дальше, — потребовала Тереза.

— Достаточно.

— Это из Гёте, что ли?

— Кажется.

Тереза встала со ступеней. Не говоря ни слова, она протянула влажную ладонь Доминику. Он взял её и, подержав несколько секунд в своей, сжал.

Так, взявшись за руки, они и преодолевали оставшуюся часть пути.

— Вот она, колыбель Граца! — воскликнул запыхавшийся Доминик, едва они достигли башни Уртурм. Сердце колотилось так громко, словно внутри него забивали сваи.

— Кондотьер! Мы победили! — Тереза вскинула руки вверх. — Мы поднялись на гору!

С высоты открывался восхитительный вид на весь старинный город и его окрестности.

— Плачете? — Тереза положила руку на плечо Доминика.

— Вы в своём уме? Чтобы я плакал... — Старик коснулся глаз платком. — Добрались-таки, старые черепахи...

Он молча смотрел на красную черепицу домов, на возвышающиеся древние башенки, на современные небоскрёбы.

— Ну что, вы довольны, старый солдат? — Тереза тоже не сводила взгляд с великолепной картины города.

— Как спокойно и тихо... — Он помолчал. — И какое счастье, что нет войны.

Они ещё долго стояли на одном месте скалистого горного выступа, прижавшись к друг другу, и смотрели вдаль, на край земли.

— А знаете, почему я привёл вас к Часовой башне? — Доминик поглядел на Терезу. Она в ответ покачала головой, всё ещё созерцая даль.

— Потому что здесь парень впервые целует девушку. Вы ж не местная, откуда вам знать? — И Доминик жадно припал к Терезиным губам. — Если вы намереваетесь сбросить меня с горы, то знайте: никому я без вас не полечу, — первое, что сказал он, когда поцелуй закончился.

— Похоже, что здесь вместе вот с этим плещом, — Тереза указала на зелень, — вьются многочисленные любовные истории. — И она, достав из кармана брошь, приколотла её к куртке цвета оливы.

— Отныне это ваша медаль за взятие Шлоссберга! — Радостный Доминик чуть поправил украшение на груди Терезы.

Вернувшись домой после операции “Взятие Шлоссберга”, вечером Доминик начал хандрить. Тело ломило, как при высокой температуре. Однако градусник показывал нормальную.

— Что за хрень? — бормотал старый солдат. — Неужто такая мелочь — подняться на пятьсот метров — выбила меня из колеи? Может, я начал стареть?

Воспоминание о поцелуе на вершине Шлоссберга утешало его, наполняло его сердце гордостью. Много лет назад Доминик приготовился к смерти, к желанной, ожидаемой, неминуемой. В ледово-адакском Сталинграде. В другой раз это было в семидесятые, когда он боролся с тяжёлой болезнью. В третий — после смерти Магды. Но сейчас, несмотря на свой почти девяностолетний возраст, он не готов был вот так взять и умереть. Сейчас, когда любовь появилась, как неожиданный дождь в пустыне, где так уже всё устоялось в своём однообразии, сейчас, когда касание плечом будоражит, словно в юности, сейчас, когда пришла женщина, которая, может быть, нужна была ему всю его прежнюю жизнь, его смерть явилась бы самым большим грехом в его жизни. Он хотел быть с ней, и не час, не день, а месяцы и годы. Он хотел совершать безумные поступки, носить её на руках, нянчить её правнуков. И жить, жить, жить! Так сильно хочется жить, как никогда раньше. Но только с ней! Иначе к чему всё это?

Доминик открыл старый скрипучий шкафчик, налил рюмку виски, выпил и повторил ещё, после чего лег в постель. Как она там? Как себя чувствует? Думает ли о нём? Ему хотелось, чтобы Тереза, где-нибудь уединившись, предавалась воспоминаниям сегодняшнего знаменательного дня. Пусть она не выпускает из самых красивых на свете морщинистых рук его брошь, лобуетя ей и непрестанно думает о Доминике и о завтрашней встрече с ним. С такими радужными мыслями старик погрузился в сон.

Но ночь не принесла ему безмятежности, наоборот, снились кошмары. Тереза во всем белом махала ему рукой и исчезала в розовой дымке. Вновь появлялась и уплывала, стоя на спинах дельфинов, и он слышал её возглас:

— Прощайте, мой кондотьер!

Утром Доминик первым делом бросился к фотографиям Терезы — ему захотелось увидеть её, весёлую и озорную. Но старые потрескавшиеся снимки, как казалось Доминику, не давали тепла.

Он заставил себя позавтракать и, едва дождавшись половины десятого, вышел из дома.

— Проклятые метеорологи! — проворчал старик, потому что прохлада, обещанная ими вчера, пришла сегодня.

Доминик спохватился, что ни разу вчера не фотографировал — фотоаппарат так и пролежал в сумке. От взятия Шлоссберга не останется у него запечатленных счастливых моментов. Да, но они будут в памяти...

По пути к скверу Доминик по обыкновению купил “Kroner Zeitung”. Усевшись на скамью, дабы отвлечься от тяжёлых предчувствий, он принялся читать. Но то и дело налетал ветер, пытаясь вырвать газету из рук старика.

— Может, тебе по морде дать? — сказал Доминик ветру. — Чего привязался!

Он прочёл пару страниц, перед тем как свернуть газетный номер, но спроси старика про написанное — не ответил бы. Глаза его блуждали мимо строк, поскольку все мысли были только о Терезе.

— Лежит себе сейчас, руки на груди, мордочка ангельская. Наследники радуются. А мне как дальше жить?!

Доминик поднял голову к Деве Марии.

— Ты отвернулась от нас в Сталинграде. Ладно, согласен, русский прав, нас туда никто не звал. И мы получили по заслугам. Но теперь-то!..

Ветер чуть утих, а потом снова встрепенулся со страшной силой. Полетел вверх тормашками мусор. Мелкий, незатейливый, словно извиняющийся дождь мужал и креп. Вот уже и барабанная дробь слышна по деревянной скамье. Сквер понемногу пустел. Соседи с лавок нехотя поднимались и, теряясь в сомнениях, смотрели в небо. Правильно ли, что уходят, вдруг постучит дождь, постучит, да и солнце покажется. Но солнце и не думало появляться.

Доминик, обняв себя руками, сидел, не шевелясь. Никого уже поблизости не было, но это его мало волновало. Деревья за спиной скрипели и стонали. Чёрная туча зависла над всей округой — над деревьями, фонтаном, Домиником, золотой Богородицей.

Старик закрыл глаза. Больше он сюда уже не придёт, даже если проживёт ещё не один год...

— Простите, я, кажется, немного опоздала...

Доминик открыл глаза. Перед ним под большим зонтом стояла Тереза в коричневом плаще. Живая. Довольная. И даже вполне здоровая. Его брошь светилась у неё на груди. И он с какой-то особой пронзительностью увидел, какие небесные у неё глаза. Хоть и маленькие.

— Знаете что! Убить вас мало!

Тереза в ответ расхохоталась.

— Чему, чему вы радуетесь? — Доминик был вне себя от злости.

— Как чему? Вам, дождю, снова вам.

— Перестаньте хохотать! Почему вы опоздали? Вам было плохо?

— Мне было хорошо, как никогда в жизни.

— Правда? — Доминик недоверчиво оглядел Терезу. Капли дождя стекали с его взъерошенных мокрых волос.

— А почему мне должно было быть плохо? Может, это вам было плохо, кондотьер?

— Почему же тогда вы опоздали?

— Да проспала я! Что, женщине нельзя проспать и прийти на свидание чуть позже? Всю ночь не могла заснуть. Думала. Как вы думаете, о ком?.. Вот и проспала. Ой, какой вы мокрый и смешной! Вставайте под зонт, вставайте же!

Доминик подчинился её приказу. Они стояли лицом к лицу, близко-близко, и казалось, что выдох одного был вдохом другого.

— Какая вы красивая! — Доминик не мог оторваться от Терезы. А затем, не сдерживаясь, стал покрывать её лицо поцелуями так же бешено, как неистовый дождь стучал по их укрытию.

— Наконец-то и плащ пригодился, — чтобы скрыть смущение, сказала Тереза, когда шквал его поцелуев несколько стих.

— А теперь скажите, что у вас была за мечта? Что вы загадали, думая о взятии Шлюсберга?

— Мечта? — Тереза приподняла зонт и посмотрела на небо. — Мечта? Так она уже осуществилась.

— Уже осуществилась? Прекрасно! Значит, у вас всё в порядке, и вы полностью здоровы? Ну, тогда вперед — к новым испытаниям и победам!

ЮРИЙ ПЕРМИНОВ



ВЕСТЬ БЛАГАЯ

* * *

В чужом дворе — ни деревца, ни пня,
но мне слышна — как песня — весть благая
о том, что кроме сумрачного дня
и ночи, есть

действительность другая,
когда выходит солнце из-за туч,
чтоб насладиться радостью короткой
раскрытых окон...

Ветер здесь колюч
и грозен, как сержант из околотка.

Ненастье — беспризорная пора...

Пусть не узнать мне, чья вина-обида —
пустынный двор, без этого двора
неполной будет города планида.

А то, что пусто нынче во дворе...
Так не скупа сибирской жизни проза
на чудеса: вот как на пустыре —
на самом дальнем — выросла берёза?..

ПЕРМИНОВ Юрий Петрович родился в 1961 году в Омске. Главный редактор историко-культурологического, литературно-художественного альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Член Высшего творческого совета Союза писателей России. Лауреат Всероссийских литературных премий. Автор 12 книг и многих публикаций (стихи, эссе).

* * *

Метель по всем приметам — на “подходе”:
она могла не радовать меня,
но... вызревает в нынешней погоде
большое солнце завтрашнего дня...

И вот оно — Природы вечной буйство!
Но я — один из смертных на земле —
лелею в сердце солнечное чувство
необъяснимой нежности к зиме.

* * *

Чуть колеблется тьма от дрожания лунной блесны,
а вокруг — ни звезды... Вот и стала сердечной потреба
ожидания утра, ожидания новой весны
под тяжёлым крылом предрассветного зимнего неба.

Каждый выдох и вдох человечества спящего — свят,
что ж потом происходит с Господними чадами — с нами?..
Спят соседи мои. Слава Богу, безоблачно спят,
друг на друга дыша бессловесными тёплыми снами.

Кто там глухо скребётся — в безмолвном пространстве двора,
словно пришлая тень басурманина в единоверце
неизбывно моём?..

Утешаю тревогой с утра —
за соседей своих к небесам обращённое сердце.

* * *

Пока не знаю, что к утру останется
от ночи еле тёплой...

Во дворе
ругаются окраинные пьяницы;
ворочается месяц в конуре
Вселенной...

В нашем доме пятирусном
нет звукоизоляции — слабы
панели в этом смысле,

если яростно
сигналит ночью джип Али-Бабы —
хозяина базарчика ближайшего, —
собака лает с джипом заодно...

Отсутствие порядка надлежащего
спать не мешает гражданам давно:
машины рёв, ночные вопли шальные,
нетрезвых происшествий череда...

Хочу я, чтоб ничто не помешало им
проснуться — добрым людям, — как всегда.

Увы, не знаю каждого по имени —
ни их, ни обитателей двора,
и даже врать не буду, что ни злыми, ни
похмельными не видел их с утра...

Есть в нашем доме “белые” и “красные”,
Но не про нас ни драки, ни война...
Причина есть, хотя мы люди разные:
Над нами крыша всё-таки одна.

* * *

Ни ора, ни разбойничьего свиста:
былым теплом здесь дышат голоса,
и — никакого националиста
в шалмане под названием “Самса”,
где братья по Советскому Союзу,
вражду забыв, братаются навек...

Стакан вина, как шар бильярдный в лузу,
одним глотком загнал в себя абрек —
лицо национальности кавказской.
Ну, так и я — не мальчик для битья,
не потому ли хмуро и с опаской
он исподлобья смотрит на меня?

Товарищ, верь! — Нам ссориться негоже.
Товарищ, понимаю, что не все
мы братья, но по сути — я такой же,
как ты, но — русский. Тутешний. В “Самсе”.

* * *

Так иногда происходит — а где-то и чаще — в любом
доме, когда не хватает нетленного слова былого...

С мамой — белеющей мамой — листаю семейный альбом,
с мамой — светлеющей мамой — смотрю на отца молодого.

Вечер как вечер... Зима беззлобно ворчит за окном,
а на окне — января таинственные монограммы...

За что я живу в этот час? — За счастье услышать о том,
как мы похожи с отцом... О том и услышал от мамы.

Мглой наливается небо хмурого января,
ждушего вьюгу, а мы переживём и ненастье —
в нашем взаимном тепле мы счастливы, не говоря
ни о каком вообще, ни о сегодняшнем счастье.

* * *

Время утицей белой плывёт
на рассвете далёкого мая...
Колыбельную мама поёт,
молодую себя вспоминая...
Это там, где идёт шестьдесят
первый год, где бабусина липа
расцвела, где закаты гостят
над домами барачного типа,
где читается сердцем строка
горизонта родного — веками,

инвалиду войны сорока
нет ещё — из квартиры над нами...

...Наш окраинный мир во дворе
без вражды умещался под вечер,
а потом — на бессмертной заре —
шёл доверчиво небу навстречу...

Месяц — тёплый, как хлеба ломоть.
Звёзды — пышки из райских пекарен.

С неба слушают маму Господь,
Молодой мой отец и Гагарин.

* * *

Просёлком пыльным, кладбищем, потом
окошком, где легко дышать с устатку...

Церквушка. Дом...

Для престарелых — дом,
живущий по скупому распорядку,
где жизнь во веки медленных веков
пьёт белый свет из солнечной кадушки,
где влюблены в забытых стариков
такие же забытые старушки.
В больных глазах — ни страха, ни тщеты:
чем ближе тьма, тем к солнышку — добрее...
И хочется угадывать черты
родных кровинок в здешнем иерее...

АЛЕКСАНДР КЕРДАН



МУНДИР

РАССКАЗ

Начальник штаба окружного полка связи майор Анатолий Борисович Тихонов в конце дня собрал офицеров для зачитки приказов. И первый же приказ — приказ начальника гарнизона генерал-лейтенанта Челубеева, известного под прозвищем “Шпицрутен”, — ошаршил не только всех собравшихся, но и самого Анатолия Борисовича, в спешке не успевшего ознакомиться с приказом до собрания.

Генерал-лейтенант Челубеев, этот Шпицрутен, приказом рекомендовал (вы только вдумайтесь — приказом и... рекомендовал!) офицерам прибывать к месту службы и убывать с места службы к месту жительства в гражданской одежде.

Много всяких приказов, касающихся формы одежды, за время службы видел Анатолий Борисович. Молодым лейтенантом застал он время, когда офицерам было положено в парадном мундире отбывать даже в отпуск. Потом вышел приказ, напротив, запрещающий офицерам в военной форме посещать увеселительные заведения типа кафе, ресторанов, а также концертов и театральных представлений.

Совсем недавно новый министр обороны СССР, генерал-армии, в первый же день своего пребывания в должности выдал: “Всем офицерам армии и флота без исключения надеть строевую форму одежды”, — то есть надеть кители, галифе, португепи и сапоги... Если учесть, что первый день пребывания его на посту министра совпал с аномальной жарой на всей территории

КЕРДАН Александр Борисович родился в 1957 году в г. Коркино Челябинской области. Полковник запаса. Доктор культурологии. Сопредседатель правления Союза писателей России, координатор Ассоциации писателей Урала. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат Большой литературной премии России, международных и всероссийских премий. Живёт в Екатеринбурге.

страны, то можно представить, что именно подумали о нём подчинённые, особенно те, кто отродясь сапог не нашивал: авиаторы, моряки, преподаватели военных училищ, сотрудники военных институтов... Тут накрепко и прицепилась к министру кличка “Сапог”, которую даже последующая информация о генерале как о бывшем фронтовике, человеке, в общем-то, неглупом и на удивление знающем наизусть массу стихов, отменить уже не смогла...

Но одно дело — “Сапог”, и совсем другое дело — “Шпицрутен”. Челубеев за словом в карман, пардон, под португалею, не полезет — отбреет, не оглянется. Звонит он на коммутатор:

— Говорит генерал Челубеев. Девушка, дайте мне командира полка!

Той бы не ерепениться, а сразу связать вышестоящего с нижестоящим. Так нет, решила характер проявить:

— Я, товарищ генерал, не даю, а соединяю! — прокудахтала.

Челубеев смолчал, с комполка переговорил. Та курица, то есть телефонистка, спрашивает:

— Вы кончили, товарищ генерал?

— Кончил! Уже ширинку застёгиваю! — гавкнул Челубеев.

Или приезжает Челубеев в проектный институт стройуправления округа и сходу устраивает разнос:

— У вас здесь не военное учреждение, а тульский леспромхоз!

Начальник института, естественно, глаза выпучил, принял давно забытую строевую стойку:

— Не понял вас, товарищ генерал!

Челубеев, походя, роняет:

— А что тут непонятного? Что ни начальник, то — дуб, что ни зам, то — пень, что ни секретарша, то — ягодка!

И таких перлов у начальника гарнизона не перечсть. Но нынешний приказ — всем перлам перл! Анатолий Борисович даже перечитал его вслух:

— Ввиду участвовавших случаев нападения гражданских лиц на офицерский состав, унижения достоинства офицеров и прапорщиков, глумления над их формой одежды, настоятельно рекомендовать поименованным категориям военнослужащих прибывать к месту службы и убывать к месту жительства в гражданской одежде!

Прочитав, Анатолий Борисович окинул офицеров полка значительным взглядом и, хотя сам ничего не понял, спросил:

— До всех дошло, товарищи офицеры?

— Так точно, — в разнобой отозвалось несколько голосов.

Вразнобой — у связистов допустимо. Отношения у них между собой более демократичные, чем в других родах войск, — как-никак, а военная элита, инженеры, светлые головы.

Но на то и кот, чтобы мыши не дремали. Анатолий Борисович уже десять лет, как начальник штаба, и знает, что воли личному составу давать нельзя, особенно светлым головам и так называемой элите.

— Не понял... — набылчился он. — Разве так, товарищи офицеры, на вопрос старшего начальника отвечают? Сейчас устроим зачёт по знанию Устава внутренней службы!

— Не надо зачёта, товарищ подполковник... — скорчил жалобную физиономию капитан, начальник строевого отдела.

Анатолий Борисович с высоты своего наполеоновского роста вперил в подчинённого пронзительно-уничжительный взор светло-серых, с жёлтыми краплениями глаз и снова задал вопрос всем присутствующим:

— Понятен приказ начальника гарнизона, товарищи офицеры?

— Так точно, товарищ подполковник, — в один голос выдохнули офицеры полка.

— Тогда свободны, — отпустил подчинённых Анатолий Борисович, но сам себя свободным не почувствовал. Рекомендация начальника гарнизона всё взбаламутила в его душе.

Военную форму одежды Анатолий Борисович, можно сказать, обожал и почитал. Можно даже сказать, что именно форма была тем самым манком, который определил когда-то его судьбу, то есть поступление в военное училище и дальнейшую офицерскую карьеру. Все эти шевроны, петлички,

погоны, ремни и ремешки, блеск сапог, кокарды, звёздочки, эмблемы, отлично подогнанные китель и шинель для него всегда были не просто атрибутами внешнего вида, но высокой символикой принадлежности к чему-то большому, могучему, овеянному славой прошлых побед. И что тут скрывать, военная форма придавала значимость самому Анатолию Борисовичу, делала его самого словно бы выше ростом, сильнее, превращала отдельно взятого индивидуума в неотрывную часть большого, могучего, овеянного славой и уважением, организованного и регламентированного до мелочей организма.

Да, Анатолий Борисович любил и почитал военную форму. С нею, с формой, было связано столько эмоциональных воспоминаний, которые даже трудно выразить словами. Например, как передать запах шинели после дождя или первого снега, или как выразить ощущение прикосновения ладони к её колючему ворсу?.. В этот ворс так любила утыкаться носом Алла, его жена, ещё в ту пору, когда была не жена ему, а простая девчонка с соседней улицы, и он, курсантом, приезжал в отпуск и бродил с ней по заснеженному городу. Она и сейчас нет-нет — да и уткнётся в его офицерскую шинель, вспоминая те счастливые времена, даже несмотря на то, что офицерская шинель скроена из другого сукна — она мягче наощупь, и с нею связаны иные волнующие моменты...

Вот первый. Примерка первого офицерского наряда за два месяца до выпуска. Ты — ещё курсант, а тебе уже шьются мундир и шинель, и ротный командир отпускает тебя в гарнизонное ателье. Там, как воплощение своих юношеских мечтаний, ты видишь в зеркале молодого лейтенанта, у которого твоё лицо и фигура, но он как будто уже не ты, а некто другой, наделённый правом командовать, принимать решения не только за себя, но и за других... И старый суетливый портной, оглядывая тебя со всех сторон, восторженно прищёлкивает языком и говорит, грассируя:

— Пр-ректрасно, пр-ректрасно, молодой человек! Все софочки нашего гар-рнизона таки теперь будут ващи, таки да, вам везёт... Зай гезунд! Очень приятно! Ах, мне бы двадцать, мне бы ващи погоны...

И не только этот портной. Любовь к человеку в военной форме в те, послевоенные годы была словно разлита в воздухе. И в магазине пропустят без очереди, если спешить, и на любом празднике ты самый желанный гость, не говоря уже об учениях, когда на улицы сёл и городков, по которым проходит колонна военной техники или строй мотострелков, высыпают все от мала до велика, угощают яблоками, пирожками, машут платками и кепками. А папанва лихо марширует сзади, словно примеряя на себя военную судьбу...

Всё это мгновенно пронеслось в голове Анатолия Борисовича, пока из лекционного зала он поднимался в свой кабинет.

— Тоже мне рекомендация, — позволил он мысленно не согласиться с генералом Челубеевым. — Лучше бы разрешили табельное оружие с собой носить и дать право применять для защиты чести и личного достоинства. Ведь было же такое после войны... Попробовал бы кто-то тогда офицера оскорбить!

Но время было не послевоенное. Было время перестройки и гласности. И в это время кто только и что только про армию не писал! И то, что все генералы — казнокрады. И что все офицеры — дураки, бездельники, сволочи и эксплуататоры солдатского труда, укрыватели неуставных взаимоотношений. И что государство слишком много денег тратит на содержание огромной армии. И что тогда, когда в магазинах шаром покати, в военторгах — полный коммунизм, разве что птичьего молока нет! Какое уж тут табельное оружие! Как раз тут только вот это шпионское переодевание!

Сам Анатолий Борисович в “шпионов” играть не собирался. Не боялся он никогда форму носить и решил, что и сейчас не убоится. А случись что, за себя постоять сумеет — всё-таки КМС — кандидат в мастера спорта по боевому самбо. За себя решил, но и приказ начальника гарнизона понял: не все себя защитит способны. Сам Челубеев недавно ему, Анатолию Борисовичу, рассказал о трёх случаях в течение недели, когда избили офицеров.

— Даже на военные патрули нападают. На днях у солдат отняли штык-ножи, а начальник патруля едва не лишился пистолета. Его спас только подоспевший наряд милиции! — сказал Челубеев.

Вспомнив этот рассказ, вздохнул едва не по-бабы Анатолий Борисович и решил, что обязан пример подчинённым подать. Коль рекомендовано убывать со службы не по форме, надо так и сделать. Благо в кабинете оказались куртка и гражданский костюм, оставшийся ещё с новогоднего праздника в части, когда их, в самый разгар застолья, подняли по тревоге. Пришлось срочно переодеться в полевую форму и убывать к месту развёртывания ЗКП*... Отвезти потом единственный костюм домой всё руки не доходили. Вот и пригодился.

Злясь и на себя самого, такого исполнительного, и на Челубеева с его настоятельной рекомендацией, а более всего на ситуацию с армией, приведшую к необходимости этой рекомендации следовать, Анатолий Борисович переоделся и, дав последние указания дежурному по полку, вышел за ворота.

Трамвай, как всегда в час пик, был переполнен. Анатолий Борисович едва сумел втиснуться на заднюю площадку, наступив при этом на ногу какому-то толстому мужику, и получил в ответ локтём в бок. Анатолий Борисович поморщился, но от ответного удара удержался. Трамвай с трудом закрыл за ним двери и тронулся с места. Несколько минут пассажиры молчали, счастливые тем, что внутри и что уже едут, а после, когда утряслось и стало чуть посвободнее дышать, загалдели.

- Мужчина, вы что толкаетесь! Как слон в посудной лавке...
- Да ты сама — корова, мне все ботинки оттоптала!
- Это я корова?
- На газель не похожа...

Слушать такие перебранки Анатолию Борисовичу доводилось каждый день, утром и вечером, когда он не мог на службу и домой на дежурном “уазике” уехать. Да и что ещё от трамвайной публики услышишь в уральской глубинке, где в трамвае обычный рабочий люд едет, ну, там продавщицы, редкие интеллигенты да несколько вояк...

Как раз один из таких военных, не успевших выполнить рекомендации начальника гарнизона, вызвал в трамвае очередной скандал:

— Эй вы, военный, что вы так ко мне прилипли, я вам не жена! — услышал Анатолий Борисович истеричный женский возглас у кабины водителя трамвая. — Да вы мне своими коленками продукты все подавите! Не видите, сетка у меня!

— Да не давяю я на ваши продукты! — глухо огрызнулся невидимый Анатолию Борисовичу военный. — На меня на самого насаждают. Не нравится, поезжайте на такси!

— Тоже мне, советчик выискался! Сам на такси едь! Сказал тоже, такси... У нас таких денег нет! Это вам за то, что воздух пинаете, сотни рублей платют!

— Какие там сотни! Тыщи!

— Сколько же вас развелось на нашу шею, дармоеды! — мгновенно вскипел разногласо трамвай, а кто-то вообще пригрозил: — Ты сейчас, офицер, вылетитесь на следующей остановке, чтобы женщинам не хамил!

— Точно! Вылетишь, — подержал трамвай.

За офицера заступилась какая-то старушка:

— Люди, что вы делаете! Он же — наш защитник!

— Знаем мы этих защитников: им бы только водку жрать да над сыновьями нашими глумиться! Дедовщину развели! — не унимался трамвай.

Взвизгнула тётка, похожая на рыночную торговку:

— Они, офицера, и развели эту дедовщину, чтобы самим не работать!

— А ты откуда знаешь? У тебя самой-то сын служил? — спросил кто-то.

— Я чо, дура что ли! Военному на лапу дала и отмазала! — огрызнулась тётка.

Офицера из трамвая всё-таки не выставили. До своей остановки, которая оказалась перед остановкой Анатолия Борисовича, он всё-таки доехал.

Анатолий Борисович увидел его, когда трамвай продолжил движение. Он долго топтался на месте, одёргивая плащ-пальто, поправляя пояс и фуражку а потом как-то скукоженно пошёл дальше.

* Запасной командный пункт.

Так же скукоженно чувствовал себя и Анатолий Борисович. Выходило, что генерал Челубеев был прав, рекомендуя ездить в городском транспорте в штатском. И сам Анатолий Борисович не вступился за своего брата-офицера, за армию, не заставил крикунов замолчать, проявить уважение, если не к человеку, так к форме. Ибо форма — принадлежность армии, а армия — принадлежность страны. Страну же, в которой ты живёшь и которой служит армия, надо уважать, хочешь ты этого или не хочешь. Иначе останешься и без страны, и без армии, и станешь кормить и обслуживать солдат армии чужой... Это не нами придумано и по-другому не бывает.

В унылом настроении подошёл Анатолий Борисович к своему дому на улице Блюхера. Дом в народе именовался “пиллой”, а ещё — “зигзагом удачи”. Он состоял из трёх секций, под углом примыкающих друг к другу. В дальней секции на четвёртом этаже и проживал Анатолий Борисович с семьёй. В небольшой по квадратуре “трёшке” обитали они с супругой Аллой, их дочь Александра, зять Володя — капитан, служивший в штабе тыла округа, — и Владик, трёхлетний единственный и обожаемый внук. Жили тесно, но дружно. Ибо Анатолий Борисович привык служебные невзгоды оставлять за порогом квартиры, и домочадцев своих к этому приучил.

Но сегодня, вопреки традиции, совладать с плохим настроением у Анатолия Борисовича не получилось. Он не стал звонить и открыл дверь своим ключом. Сделал это так тихо, что жена и дочь, чьи возбуждённые голоса раздавались с кухни, не заметили его. И Владик привычно не выбежал деду навстречу со своим вечным вопросом: “Деда, а что ты мне принёс?”

Сняв форменные башмаки, Анатолий Борисович повесил куртку и прислушался. Из большой комнаты раздавались непонятные звуки: как будто кто-то там шаршился и пыхтел.

Анатолий Борисович тихонько подошёл к двери и заглянул.

Посередине комнаты в ворохе отцовской полевой формы барахтался внук. Полностью утонув в ней, он пытался обуть десантные ботинки с высокими голенищами и сложной шнуровкой. Рукава куртки мешали. Штаны свалились. Один ботинок оказался носком вперёд, а второй развернулся в обратную сторону. Внук попытался подтянуть штаны и одновременно попытаться шагнуть. Но вместо этого он растянулся по полу.

Первым порывом Анатолия Борисовича было тотчас ринуться ему на помощь. Но он удержался. Внук попытался встать на ноги. Ему это почти удалось, но он снова упал. И снова начал вставать.

— Нинивилиллити... — послышалось Анатолию Борисовичу.

Он напряг слух и вдруг услышал.

— Невилиятно тижилё, а служить надо! — говорил себе внук.

Слёзы сами собой навернулись на глаза Анатолия Борисовича. Он снова подавил попытку помочь внуку, сглотнул комок в горле и так же тихо, стараясь не шуметь, прошёл на кухню.

— Ой, Толя, а мы и не слышали, когда ты вошёл! — сказала жена.

Дочь поцеловала его в щёку и обескуражила новостью:

— Пап, знаешь, а Володька рапорт написал!

— Какой рапорт? — всё ещё продолжая думать о внуке, вскинулся Анатолий Борисович.

— Он увольняться собрался из армии. Совсем!

— Зачем увольняться? — не понял Анатолий Борисович.

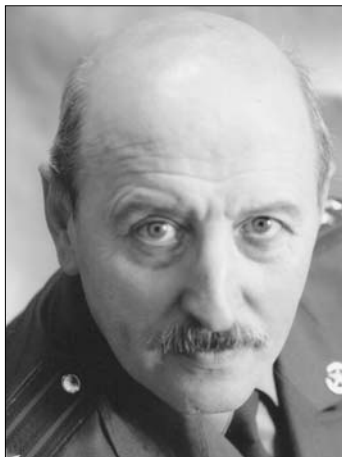
— Вот и я говорю ей, Толя! — поддержала его жена.

— Да что вы понимаете? Что в вашей армии сейчас делать? Ну, вот что? — дочь с каким-то превосходством стала загибать свои красивые пальцы. — Жильё давать перестали. Перспектив никаких... А на гражданке бизнесом можно заняться. У Володьки, знаете, сколько связей? Он и магазин свой продовольственный открыть сможет, и цех по пошиву джинсов... Сейчас индивидуальное предпринимательство очень поощряется!

“А Родину-то кто защищать будет!” — едва не вскричал Анатолий Борисович, но вместо этого вдруг сказал мало понятную этим двум дорогим ему женщинам фразу:

— Невероятно тяжело, а служить надо!

ЕВГЕНИЙ АРТЮХОВ



СРЕДИ КАМНЕЙ И ТРАВ...

БЕССМЕРТНИК

Солдата нет в живых давно.
Давно с другим жена,
и поминальное вино
давно не пьёт она.

Ну что ж, не вечно горевать —
кто ж вечно слёзы льёт...
Лишь позабыть не может мать
и ждать не устаёт.

Всё снится сон ей: будто он
во вражеском плену.
И через вражеский кордон
душа летит к нему —

на зов его кровавых ран,
на звон его оков.
И осыпается зиндан,
и зарастает ров.

И говорит в стране чужой
ей смуглый командир:

АРТЮХОВ Евгений Анатольевич родился в подмосковном городе Реутово. Окончил Саратовское высшее военное командное училище и Литературный институт им. А. М. Горького. Член Союза писателей России. В "Нашем современнике" печатается с 1994 года. Автор нескольких стихотворных книг.

— Зачем славянскою душой
ты мой тревожишь мир?

Что ждёте вы от мусульман,
наделав столько зла?
Неверным мстить велит Коран.
Ступай, пока цела!

— Но у тебя ведь тоже мать:
что ни случись с тобой,
а сердце будет опекать
по камень гробовой.

Во имя матери своей
мне помоги, сынок...
— Ступай!.. Как выйдешь из дверей,
сорви любой цветок.

Покуда не увянет он,
ищи, где твой юнец,
а не найдёшь — тебе вдогон
отправится свинец.

...И ходит мать который год
в далёком далеке.
И сорванный цветок живёт
в старушечьей руке.

Он не померк и не завял —
любви не обороть.
Его бессмертником назвал,
наверно, сам Господь.

* * *

Кем стать бы я хотел, когда б не человеком
впустил меня Господь в свой своенравный мир?
Скорей всего — тропой, пробитой древним греком
среди камней и трав куда-то за Памир.

Чтоб, одолев снега, петлять среди аулов,
бродить по кишлакам в колючках и шерсти
и смешивать песок горячих Кара-Кумов
и шёлковую пыль Великого пути;

чтоб видеть, как века заваливают прахом
деяния людей, что конно да пешком
прошли, назвав меня степным ковыльным шляхом,
кандальным трактом и чумазым большаком.

Ну что ж, они правы. Я сторонюсь Европы:
мне тяжек гнёт её брусчатки площадной,
кюветов, что точь-в-точь похожи на окопы,
и дроби каблуков, подкованных войной.

По мне — грузовичок, с горы ползущий юзом
в изношенных цепях на каждом колесе;
по мне мужик хмельной в тулупчике кургузом,
распластанный обочь во всей дурной красе.

Ведь я и сам такой: вихляющий, разбитый,
исползавший края, откуда брал разбег,
где травы шелестят: “Господь, не дай бандитам
нас закатать в асфальт в бандитский этот век”.

* * *

Я теперь не столько вижу,
сколько чувствую до дрожи:
мир с годами только ближе,
ненадёжностью дороже.

Больно видеть зверя в клетке,
птиц, подбитых для забавы,
и поломанные ветки,
и истоптанные травы.

А цветок порой осенней
иль приبلудный пёс голодный
для душевных потрясений
как ведро воды холодной.

Кончен бег за птицей Синею,
закипают слёзы в кружке...
Правда, сделались красивой
все окрестные дурнушки.

Никакая не загадка,
Никакого в том подвоха:
просто думается сладко,
если чувствуется плохо.

ПЛАЧ 1953 ГОДА

Керогазы, керосинки,
огонёк через слюду;
бурки, чёсанки, ботинки
на лендлизовском ходу;

перешитый из шинели
не сюртук и не пиджак;
пуль отметины на теле,
не смываемы никак

ни горячей, ни холодной,
ни “наркомовской” водой;
горький плач общенародный
над свалившейся бедой.

Та слеза — другим не ровня —
до сих пор во мне течёт:
до неё себя не помню,
от неё — веду отсчёт.

И хоть было мне три года,
в душу врезалось мою,
как средь горького народа
весь зарёванный стою;

со стены из чёрной рамы
на меня глядит усач,
и во взрослом плаче мамы
тонет мой ребячий плач.

* * *

Лежалое сено схватила верёвка,
и медленно воз покатила лошадка.
Я рядом с возницей пристроился ловко
и тоже орал на неё для порядка:

— Но, сонная! Но, растудит тебя в дышло!
Ловил голоса, долетавшие сверху:
— Испортят мальчика... Да срамней бы не вышло...
Домой возвратится... Тоды не до смеху...

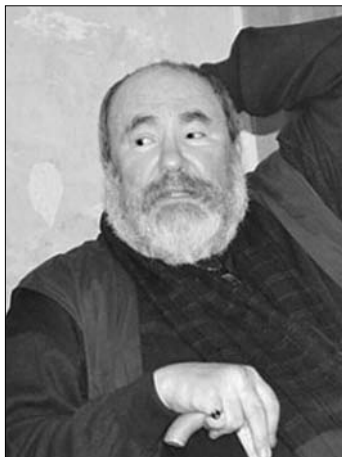
Колёса поют, и цикады стрекочут,
звенит комарё, и кусается овод,
и стебли сухие лопатки щекочут,
и колются остро, и лезут за ворот.

То полем, то лесом блукает дорога.
То детство, то молодость — бабою с воза.
И вот недалёкое бремя итога
в глаза уже смотрит мертво и тверёзо.

Истёртые вожжи всучил мне возница
и сгинул неведомо в ту же минуту...
По правую руку — жирует столица.
Земля по другую — раздета-разута.

И ходит, как маятник, хвост лошадиный,
пахучие клубни о землю стучатся.
И тает деревня оторванной льдиной —
уже не добраться
и не докричаться...

АНТОН ВАСИЛЬЕВ-МАКАРЕНКО



МИЛАЯ МАРИЯ,
ДОРОГОЙ ИВАН

ПОВЕСТЬ В ПИСЬМАХ

Милая Мария!

Пишу тебе уже почти в полночь, скоро на кухне по радио зазвучит наш замечательный гимн, и я пойду его вырубать. Сейчас вернулся с Патриарших прудов, где власти организовали настоящую вакханалию под портретом Булгакова. Дело в том, что позвонил мне один старый знакомый бич, прозябающий ныне в церковном каком-то модном хоре, и пригласил посмотреть на него в подрачнике. Они тоже там выступать должны были. Но не выступали, или я опоздал, или не дождался. Но я больше не мог. Казалось, что вот-вот вспыхнет драка, и все начнут колотить друг дружку без разбора, обезумевши, или лучше сказать — взбесившись от бессмысленности всего происходящего. Причём ведь не пьяные все, а такие злые — странно. Не хлопают, а только свистят. И мне кажется, что знают цену и эстраде, и властям, которые заигрывают с населением, демонстрируя свою демократичность. Всю траву повьютптали вокруг воды, девицы то и дело визжат, но динамики их заглушают. Ансамбль “Бим-Бом” пел “Широка страна моя родная”, переме-

ВАСИЛЬЕВ-МАКАРЕНКО Антон Сергеевич родился в 1953 году в Москве. В 1975 году окончил ВГИК. Российский режиссёр, сценарист, поэт, публицист. Автор кинофильмов “Блажной”, “Красиво жить не запретишь”, “По траве босиком” и многих других. Фильм “Москва-река”, снятый на студии Н. С. Михалкова, был признан лучшим на фестивале экологических фильмов “Зелёный взгляд”. Всего на счету А. С. Васильева-Макаренко более десятка документальных и публицистических фильмов, затрагивающих насущные проблемы экологии. С 1998 года он преподаёт режиссуру художественного кино во ВГИКе. Живёт в Москве.

жая возгласами: “Америка! Америка!” Так что у них получилось что-то вроде: “Америка-Америка, другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!” А стражи порядка ходят по двое, словно большие по коридору прогуливаются, скучные такие, даже жалко их.

Я шёл домой, а над пустой узкой улицей в честь Дня города взрывались огромные красные хлопья салюта и кровью стекали с тёмных стен, посверкивающих стёклами окон. И всё те же визги преследовали меня из подворотен, словно черти там на помойках орут. Вот тебе и Патриаршие с Булгаковым. Вот тебе и подрысники!

Милая Мария! Спокойной тебе ночи, и пиши почаще. Теперь я живу один, и некому, кроме меня, твои письма брать из ящика, и тем более — уничтожать. Но обратный адрес свой не пиши, на всякий случай.

Твой Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуйте. Я так была рада получить Ваше письмо, и так благодарна Вам за добрую память о нашем скромном житье-бытье, что, наверное, не выражу это словами, а только скажу, что весь день носила письмо с собой и перечитывала, и никак не могла понять, что там в нём, собственно, есть написанного.

Знайте, что моё отношение к Вам самое доброе, я всё помню, что Вы говорили в тот вечер, помните? Или Вы уже забыли за бурной сменой Ваших впечатлений? Смотрю в окно на чистое голубое небо, на голую крону клёна, чьи ветки раскачиваются во все стороны и, освещённая солнцем, она как чья-то бесшабашная разлохмаченная головушка, и — не знаю, как выразить Вам своё теперешнее состояние? Я снова без работы, уволилась из гостиницы. Сказать, почему — стыдно и горько. Нет, Вы не подумайте чего плохого, просто я не могла там больше оставаться. Куда теперь — не знаю. Только знаю, что не в петлю. Если б могла, я бы, наверное, воровала. Но я не могу, не умею и не хочу воровать. Неужели жить честно невозможно? У меня ничего не получается. Если сказать правду, я в отчаянии и не знаю, что делать. Это не крик о помощи, это так есть на самом деле, и всё.

Простите, Иван Осипович, я напишу Вам в другой раз ещё.

Ваша Мария Иноземцева.

Милая Мария!

Сегодня воскресенье, да и дождь к тому же, на улице совсем пусто. Так бывает и у нас в столице, но не повсюду, конечно, а в тех переулках, где я обитаю. Нынче пошёл за сахаром, реализовать оставшиеся талоны за октябрь, чтобы не пропали. Даст Бог, может, привезу излишки и в вашу “деревню”. Памятуя твой наказ, зашёл в церковь. При входе один мужик, деклассированный малый, вымолил у меня двугривенный. Так и сказал: “Дай, друг, московскому бродяге копеечку!” Интересно, не придётся ли и мне когда в будущем повторить эти слова? Стоя в храме, думал об аде: неужели он есть, неужели мучиться вечность целую в огне будем? Тогда бы, конечно, самое время покаяться. Тебе, наверное, милая Мария, это не страшно, а нам, грешным, что прикажешь? Поглядел я на своих верующих соотечественников, поиспытывал сочувствие и отправился дальше. Купил пачку сигарет в киоске — на всякий случай, для гостей. Сигареты тоже стали исчезать. Скоро будет совсем, как в Польше. И на что нам тогда вся эта гласность?

Милая Мария! Так скучно и пусто! Ложусь спать после чаю, может, приспишься ты.

Твой Иван.

Дорогой Иван!

Надо жить в вечности. Иначе просто можно сойти с ума от быстротечности времени, от того, как уходит в безвозвратную пропасть молодость и все наивные, но такие прекрасные, дававшие силу жить надежды и мечты.

Печка моя совсем развалилась, в ту щель, которую Вы мне замазывали глиной и при этом так хорошо смеялись, теперь видно огонь.

Это очень хорошо, что Вы заходите в храм, подаёте копеечку и размышляете об аде. Только этого мало. Я вовсе не хочу Вас поучать, просто мне очень хочется... Зачем Вы пугаете меня, говоря в письме о какой-то особой своей грешности не в пример нашей святости? Откуда Вы знаете, кто больше свят? Главное — это не согрешать в мыслях. А в моём тихом омуте такие мысли водятся, что лучше о них и не вспоминать.

Вчера моя сестра уехала к Вам в Москву и на три дня поселила у меня Олю. Как Вы понимаете, я этому очень рада. Сейчас она спит, а я люблю её улыбающимся личиком, слушаю её дыхание, радуюсь, что я не одна, и боюсь лишний раз пошевелиться, чтобы не разбудить её невзначай. Из-за всего этого я стала чутче ко всем звукам в доме, и слышу с половины соседей всё то, что обычно привыкла не замечать: их перебранку, отдельные слова даже и особенно телевизор, который у меня, слава Богу, с лета не работает.

Опять ничего не написала по существу, но уже время позднее, вернее — раннее, надо вставать, отводить мою единственную любимую в нелюбимую ею школу. Она-то ещё не ведает, что то, “что пройдёт, то будет мило”.

Мария.

Милая Мария!

Не потому вовсе я обращаюсь к тебе “милая”, что ты прошла, а потому, что мила ты моему сердцу, — и ты, и твой утопающий в антоновских яблонях городок, и твои ближние, ваши песни и ваши причуды, все эти “так-то вот”, и потому, что сама ты милостивая и родная. Никогда в жизни моей мне уже не забыть, как стоял я в ночи у открытого окна поезда, мчавшего меня к тебе, как вдыхал я всей грудью напоённый цветением трав июньский воздух, который ласкал мне лицо и руки, и вместе — саму душу. В те минуты я верил, что сама судьба несёт меня, как на невидимых крыльях, навстречу счастью, навстречу новой долгой жизни, которой не было, да и не может быть в нашей славной столице, потому что всё в ней не настоящее, а выдуманное, а там у вас всё настоящее, как животворящий чернозём, как прозрачные воды множества родников, бьющихся в высоком берегу под каждым домом. И сам я себе казался настоящим, могущим бросить всю ложь, всю условность моего прежнего существования. И уже я видел, как мы вместе затапливаем твою печь и как звучит чудесная музыка с твоей вечно кружащейся старой пластинки, и как во сне улыбаются и племянница твоя Оля, и наш пока ещё не родившийся первенец, и... не знаю теперь, что было за этим “и”? Что было за этим “и” в моём воображении, потому что то, что было затем в реальности, так же хорошо известно нам обоим, как и мало, в общем-то, походит на мечты, слетевшие ко мне тогда с лунным светом в открытое окно плацкартного вагона. Но почему-то всё кажется ещё возможным. Вокзал недалеко от меня — три остановки на метро, билет — в кассе, чай — у проводницы или проводника... Но утро... Утро, вот в чём проблема! Боюсь я, оказывается, утра, тёмная, полночная личность. Вот где омут!

Вчера днём выхожу на Пушкинской и вижу флаг, вернее — толпу, а над ней развевается, нет, раскачивается из стороны в сторону государственный триколор Российской империи, под которым и Добровольческая армия Деникина ходила в гражданскую на Москву, и Русская освободительная армия генерала Власова... И — до боли уже ставший знакомый тембр товарища Новодворской. Она и так-то непонятно чего говорит, когда говорит, а тут ещё, прости, Господи, в матюгальник пытается своё вложить. Но народу и того достаточно, что отдельные только слова, полужазы и междометия до него долетают: “мразь.. свобода.. горбатиться... дерьмо... демокра.. мышление.. ура.. долой... даздр...” Может, оно даже и сильнее производит впечатление на слушающих, когда в таком контексте, чем если бы слушали товарища Новодворскую обстоятельно, не теряя ни единого слова. А флаг-то всё из стороны в сторону чьиими-то борцовскими руками раскачивается на металлическом таком пустотелом древке, как на спортивных парадах носят. Наверное, подумалось мне, на этом древке или “Динамо” голубело, или краснел “Спар-

так”. Мне даже больно стало: всё, думаю, поздно, перехватили наш флаг они.

Что с работой, на что Вы живёте? Простите за нескромный вопрос, но Вы ничего не пишете об этом. Неужели совсем край? Пишите всё.
Ваш Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуйте, всё же. В первых строках моего гневного письма (я знаю, что слов моих Вы всё равно не боитесь) я хочу поблагодарить Вас за присланные Вами через сестру подарки: бутылку французского вина, которого мы непременно отведаем с Вами вместе, и Ваше драгоценное фото, на котором Вы изображены почему-то не одни, а в окружении двух очаровательных дамочек. Конечно, я уже научилась, кажется, понимать Ваш тонкий юмор, но не могу не признаться, что Вы меня заинтриговали, мой дорогой и незабвенный Иван, который по мере удаления во времени всё более превращается в легенду, миф и уже порой во снах и наяву начинает смешиваться в моей бедной головушке с другими образами и воспоминаниями. Не слишком ли я гневна?

Мечтам и снам не верь, они от лукавого. О работе напишу в другой раз, её всё равно нет. Береги себя, ты хороший.

Маша.

Милая Мария, здравствуй!

Сегодня весь день с утра идёт снег. Почему-то мне видится, что он засыпает и твой двор, покрывает крышу, мешается с белым дымком из трубы, облепляет калитку и ещё не успевшие опасть жёлтые осенние цветы. Ты выходишь на крылечко, смотришь на падающий снег, улыбаешься от лёгкого прикосновения снежинок к разгорячённым от жара затопленной печи щекам. Дальше порога ты не идёшь, потому что ты в домашних тапочках на босу ногу. Звуки с улицы и с соседних дворов приглушены падающей стеной белого волшебства, воздух свеж, всё чисто, дышится свободно, и на сердце весело и спокойно.

У моих друзей или, лучше сказать, товарищей снова проблемы с партией. Раньше они не знали, как договориться с совестью, чтобы туда вступить, теперь не знают, как поизящней выйти. Помню, как-то стоял я возле кабинета парторга, почти случайно или по какому-то чисто хозяйственному вопросу, а некто Н-ко пришёл подавать заявление о приёме. Увидел меня и смутился. Ему, так ярко декадентствующему ещё с института, любившему рассказывать антисоветские анекдоты и петь полузапрещённые песенки русскоязычных бардов под шестиструнку при стеариновых свечах из скобяного магазина, было неловко, что я вижу у него в руках дрожащий этот проклятый листок, дающий ему пропуск к безбедной или более сытой, или ещё какой, как ему мнилось, жизни. “А ты... тоже?” — спросил он с очень неясной улыбкой. Зачем-то я кивнул головой утвердительно. Со мной это бывает: впадение в бытовое юродство. Тут он потерял контроль над лицом, потому что моя с ним солидарность была для него чем-то невероятным. Он по-настоящему расстроился, что пришёл с этим позже даже И. О. Лозового. Я же встал со стула, сплюнул и вышел из приёмной, и даже ушёл совсем по длинному коридору домой, ни разу не оглянувшись.

Теперь они советуются — выходить ли, терять ли билет, сниматься ли с учёта или просто перестать платить взносы и лечь на дно?.. “Если хочешь себя уважать, не делай этого”, — сказал я одному. Но ведь он всё равно выйдет, когда станут выходить один за другим все конъюнктурщики и конформисты, и вся сволочь по приказу каких-нибудь свыше или сниже, и меня же будет клясть, что я посоветовал ему неправильно.

Не все таковы. Дочь одного знакомого композитора, натура художественная, искренняя и впечатлительная, шепнула мне в уголке застолья, что её подмывают одновременно два желания: вступить в партию и креститься. Я это очень хорошо понимаю, особенно в её положении, в её воспитании. Это, конечно, много лучше тех — по совести. Конечно, в партию она не

вступит, конечно, крестится когда-нибудь, а жить ей будет нелегко, как всем зыскующим правды Небесного града.

Грядёт новый хам на место старого, простая смена поколений. Пересматриваются, голубчики, перестраиваются, стратеги, перестраиваются те, у кого никогда не было личности внутри себя самого. С Горбачёвым, кажется, уже всем стало ясно. Как и обещали знающие его люди, заболтал всех, всю страну заговорил. Теперь обольщаются Ельциным. Грешен, и сам я хотел поверить, что бывают чудеса и, промыслом Божьим, затесался в собачью свору благородный волчара. “Он такой удивительный, непохожий на них на всех во всём, даже в мелочах”, — твердили мне те немногие, кому я верил, и я вольно или невольно увлекался, то есть переставал думать.

Я стою перед портретом Бориса Николаевича в мастерской художника Линёва. Хорошо знакомое нам всем по наборам фотографий на стендах, по массовой агитации непроницаемое “лицо” кандидата в члены Политбюро здесь, на холсте, максимально облагорожено, просветлено, в его морщинках и складках едва ли не есенинская скорбь, а в центре поясного портрета — обнажённое сердце, открытое для множества вражеских стрел, которые, как паучьи нити, идут от мелких бесов, чёрных чертенят, скорпионов, свиношек и гадюшек, ползающих вокруг ясного чела, вдоль рамы, выглядывающих из-за отворотов пиджака, из-под небрежно так ослабленного узла строгого галстука и, наконец, копошащихся в глубокоуважаемой седине.

Мы молча смотрим на картину, вздыхаем, хвалим, не очень-то смотрим в глаза друг другу, а глаза портрета в эту минуту словно начинают смеяться надо мной. И снова моё малодушие не даёт сказать художнику и приведшим меня сюда, в подпольную мастерскую художника, друзьям, что всё не так, “всё не так, ребята!” Но штука-то в том, что надоела эта самокритика, всем хочется дела, хочется хотя бы обмануться на пять минут не водкою, а делом. Вот и обманываемся снова. Ох, и дорого этот самообман будет стоить!

А что делать? Бросать проклятую столицу, распахивать широким жестом заснеженные калитки, мять жёлтые цветы, оставляя чёрные следы на дворе прекрасных Ярославен?

Прости меня, Мария. Ты знаешь, что ты у меня одна друг, одна мой заветный собеседник.

С наступающим медленно, но верно Новым годом! Вдруг встретим его вместе — чем чёрт не шутит?

Твой Ив. Лозовой.

Дорогой Иван!

Видела тебя по телевизору, крупным портретом, на митинге, не поняла — каком, поздно включила. Увидела и обрадовалась, такое оказалось родное лицо, знакомый взгляд. Я даже не ожидала, что так остро почувствую. На экране уже всё сменилось, что-то говорил диктор, а я всё смотрела на экран, не видя и не слыша, для меня всё продолжался тот кадр. Очнулась только тогда, как стали говорить о погоде в Москве.

А у нас мороз. На несколько дней я оставила свой дом, чтоб выморозить тараканов. У нас такая договорённость с соседями, они тоже; иначе насекомые все переползают на тёплую половину. А так уходят, куда — не знаю. Живу у сестры. Сейчас все ушли, я села у замёрзшего, покрытого ледяными узорами окна и решила написать. Вдруг, думаю, и моему другу несладко, он получит моё письмишко, обрадуется. Может, решит на масленицу к нам погостить? На улице скрип да скрип. Не слышно ни собак, ни птиц, только в вентиляционных трубах голуби воркуют себе, как весной.

Твой любимый пивной ларёк наконец-то закрылся — нет желающих. В небольшой квартире блочного дома хрущобы холодно. Хорошо ещё, что есть горячая вода, иногда еле тёплая, я набрала полную ванну, от неё тепло идёт вместе с паром, и с кухни, где горят все газовые горелки. Не то, что на юге, где если холодно в комнате, то надо что? Открыть окно! Скоро придёт из школы Олюня.

Вчера вечером я шла пешком от своего дома под звёздным небом и подумала, что их днём не видно, а они всё равно есть над нами так же точно.

Не так ли и жизнь после смерти, бессмертие души, или наоборот — ад где-то под ногами. Ведь глубоко под этим снегом, в земле горит, как солнце, огонь, а мы не знаем, не помним об этом. Где-то есть ты, совсем недалеко, в ту же минуту дышишь тем же воздухом, и бьётся твоё сердечко. А вот сейчас ты читаешь мои строки, и в ответ стучит моё сердце, шепчет тебе: приезжай, я жду!

Твоя Мария.

Милая моя Мария! Здравствуй!

Странные вещи происходят у нас в государстве вместе с гласностью и неизвестно чего ускорением, всё более обвал напоминающим. Вроде бы так долго мы желали свободы, а когда она вроде бы приходит, то с нею приходит тревога. Знакомый депутат, лётчик военный, рассказывал, как взрывали в Капустином Яре под Астраханью ракеты, и как америкашки смеялись при этом от восторга, а наши дяди плакали. А чего плакать-то? Они ещё, того и гляди, стреляться начнут, вместо того, чтобы стрелять. Горбачёв — это же волк позорный в овечьей шкуре. Неужели купили?

Наверное — зашантажировали, нельзя же свою страну, свой народ так продавать! Никогда я не верил этим комсомольским перевёртышам, нет у них ничего за душой. Тогда уж мне, милая Мария, больше по душе какой-нибудь Джугашвили, запрещающий аборты.

Пишу тебе из города Нефтекамска, это Башкирия, а как ныне тут говорят — Башкортостан. Местный партийный босс выдал сентенцию: “У нас тут треугольник — русские, башкиры и татары, а у треугольника все углы острые”. Если это он вчера придумал, то хорошо, а если повторяет, как попугай, то пошло, конечно, потому, что советская общность людей существует в виде российского этноса со своим особым, общим для всех в чём-то мировоззрением. Вот, например, ночью, до сна, мы ходили к пикетчикам на рельсы. Пикетируют строительство атомной станции, жгут костры, пьют водку и поют песни — татарские, башкирские и русские. И это ладно.

Но вот накануне мы были на фундаменте этой самой АЭС. На бетонных блоках кровавой аэрозолью крупными буквами: “КРОЕМ МАТОМ МИРНЫЙ АТОМ!” Смешно. Но у меня вопрос: кто разрешает пускать таких разгильдяев, как я сотоварищи, на объект? Ничего ведь не стоит в нынешнем положении дел подложить бомбочку с часовым механизмом лет этак на пять, когда не один, а уже парочка реакторов будут раскручены на всю катушку? И что тогда? Вот уж где, воистину, треугольнички! И не смешно. Рядом уже построен посёлок, почти город. Обречён на прозябание в безработице и нищете. Перепрофилировать станцию, кажется, невозможно. На улицах полно детей, играют в свои игры, пока мамы стоят в долгих очередях за едой. Мужики слоняются, шатаются трезвые, но с обезумевшими глазами: куда идти, что делать? Вокруг в непаханных полях, которые они никогда не учились обрабатывать, там и сям стоят и кланяются мамоне в пояс без усталости нефтяные качки на скважинах.

А рядом село Николо-Берёзовское, на самом берегу красавицы Камы, в которую, по местным представлениям, впадает Волга. Как чудо, вдруг из-за холма, из-за поворота появляется в два ряда улица ладных крепышей, кирпичик к кирпичику, купецких особняков, грустно темнеющих глазами-окнами, беззвучно поющими или кричащими без звука отверстыми ртами дверных проёмов.

Никогда я не говорил, что Россия пропала или погибла, она погибнет не раньше конца света, то есть вместе со всеми лилипутами и мышами.

Один художник, он умер прошлым летом, любил, помнится, приговаривать: не надо никакой войны, никаких нейтронных бомб, они нас джинсами забомбят. Тогда появилась пепси-кола. Честно говоря, люблю джинсы, всегда любил, добротная крестьянская одежда. Да и я в ней себя как-то увереннее чувствую, стройнее. И ничуть не сомневаюсь, что когда-то её изобрели в России, а те удачно переняли со свойственной им коммерческой жилкой. В одном столичном вузе преподаватель гражданской обороны, отставник, сделал внушение студенту, пришедшему на занятия в джинсах: “Почему вы,

студент Сидоров, являетесь на занятия по ГО в штанах потенциального противника?”

Есть в Господине Великом Новгороде писатель Дмитрий Иванович Балашов, одевающийся всегда по-русски, в льняную красную рубаху и сапоги, и ничего. Говорят, что ему это идёт, а я считаю, что нет, не это, а он их всех сделал, победил то есть, прежде себя самого победив, и неважно, что он такой один, это всё равно на бесконечное количество порядков больше нуля.

Вернувшись вечером вчера в гостиницу, мы узнали, что в наше отсутствие из наших двух номеров “полулюкс” наши вещи были взяты без всякого уведомления и перенесены в самый худший четырёхместный номер в полу-подвале, где и были свалены в одну кучу на полу. Объясняю, что действие происходит в самой лучшей закрытой гостинице города, гостинице райкома и райсовета. Это при том, что на столах обоих полулюксов были разложены наши бумаги, деньги, документы и прочее, не считая бытовых мелочей.

Сознаюсь, мы были немного “на взводе” после братания с пикетчиками на подъездных путях к АЭС. Естественно, стали возмущаться, глаза закатывать и руки заламывать. Консьержка, здоровая молодая бабища, как будто только этого и ждала. Заплакав с лёгкостью необыкновенной, она заявила, что вызовет охрану, и заперлась от нас в своей каморке за стойкой, где оказался городской или местный телефон. Ждали ментов, приехали бандиты. Нас трое, их не меньше двенадцати на трёх “девятках”, разношёрстные, но все чистые урки, один даже ещё не оброс после того, как откинулся с зоны. Он с ходу раскровянил губу одному из наших. Всем вывернули руки, при этом этажность мата была выше казарменной. Консьержка, жаловавшаяся тут же им на то, что мы оскорбили её нежный слух, при звуках их мата сияла, как новенький рубль. Это прелюдия к чувству нового. Скромненько так в ту же каморку за стойкой выпыл человек, и нас, которые не окривленные, пригласил туда же. Он, правда, сидел на единственном стуле, а мы стояли. И, путая надежи, спросил, зачем мы шумели? Мы объяснили.

— Я купил эту гостиницу, — сказал он.

В его лице при этом ничего не изменилось, то есть он не интересовался нашей реакцией, он ждал, пока до нас дойдёт. В этом было главное: пробил их час; награбленное, накопленное в процентах золотишко теперь можно было потихоньку обнажать, как клыки, прикрытые фиксами. Надо было совершить все революции, войны и перестройки, чтобы физически изничтожить всех своих и привести к власти такого уroda. Мы проиграли этот век, Мария. И может быть, это справедливо, ведь царство Его не от мира сего.

Абсолютно не верю ни единому слову Горбачёва, и если хочешь знать, то и Ельцина. Это яблоки с одной яблони. Подожди немного, и ты всё увидишь. Пройдёт десять лет, и ты всё так же будешь топить сырым хворостом свою разваливающуюся печку и копать картошку на задах огорода, и получать мои длинные письма несостоявшегося террориста. Почему у нас, русских, совсем мало террористов в истории? Вот у Ленина брат был террорист, и поэтому маменькин сынок Володя истопил нам кровавую баню.

На Каме прошёл ледоход. На Руси великой Великий пост, я ем хлеб и молдавскую кабачковую икру из стеклянных банок. Пишут, что у них все поля заражены пестицидами. Когда мы с тобой будем жить вместе, ты будешь жарить мне картошку с луком на постном масле на чугунной сковородке, которая досталась тебе от бабушки в качестве всего наследства. Потом наш дом подожгут урки, купленные за ящик портвейна, и мы с тобой отправимся к праотцу Аврааму.

По поводу митинга. На митинги не хожу, но мы попали в кадр в ДК Горбунова на вечере против пьянства. Докладываю: вечер был шибко патриотический, на сценическом заднике — зелёный змий пожирал Георгия вместе с конём. Профессор Углов говорил, что славянских детей приучают к алкоголю через кефир. Затем выступил совсем древний старичок академик Черкасский, сказавший, что надо ввести сухой закон, как это сделал царь. Под бурную овацию он чуть не упал, сходя со сцены, и попал в руки чекистов. Им он чистосердечно признался, что от волнения оговорился, а хотел сказать вместо “царь” — Ленин: “как это сделал Ленин”. Пока они объяс-

нялись, некто Васильев из “Памяти” показывал слайды генплана Москвы, на которых доказывал, что столицу России превращают в плане в шестиконечную звезду Давида. Тогда некто с балкона взвизгнул: “Васильев, вы фашист, и скоро будете вешать детей!” — после чего невидимые ножки затоптали по балкону у нас над головой, как копытца. Говорят, его задержали, ничего не видел, ничего не знаю, не состоялся.

Твой Лозовой.

P.S. Мне так нравится твоя фамилия Иноземцева, особенно даже не смысл, а звук. А это “з” в твоей фамилии и в моей — словно родные. И “ц” очень волнует, целую.

Здравствуй, дорогой Иван!

Я не сгорела, не угорела и не растаяла, хотя эти дни было так солнечно и тепло, что казалось, моя избушка поплывёт, как лодка, в поле. Теперь у меня начинаются огородные заботы. Возможно, соберусь в Москву за сенами, только, пожалуйста, не остри по этому поводу, я в прямом смысле слова.

В подвале стоит вода на полтора метра, никогда ещё такой не было. Видимо, из-за того, что рядом построили новый тюремный корпус, производственный, и перерезали в земле какую-нибудь водяную жилу. Капуста, картошка, морковка — почти всё погибло, даже не могу найти с фонариком заветную бутылку французского, только этикетка плавает. Так я этикетку высушила и приклеила к стенке.

Вместе с тем задумала хорошее дело. Я решила научиться плести кружева, у нас, если помнишь, этот традиционный народный промысел очень ещё распространён. О летнюю пору можно видеть, как женщины, в основном, конечно, бабушки, сидят в своих двориках у своих дверей или окошек первого этажа в окружении цветов палисадника и сосредоточенно перебирают пальцами, переставляя булабочки на большом валике-подставке, и весело так постукивают деревянными коклюшками. Да ты же сам знаешь, я только напомним, скоро уж почитай год, как не был у нас.

Сегодня уже Страстная, будем говеть и готовиться к Пасхе. Надо всё помыть: и пол, и окна, — повешу новые занавески, испеку в печке кулич.

Жду, М.

Милая моя Мария!

Дошёл до Берлина. Причём не пишу — до какого, потому что был в обоих. Во-первых, привёз тебе подарки: карманный аудиоплеер с наушниками и косметический набор всяких мазилок, на большее фантазии не хватило, зато явлюсь к тебе весь в белом. Меня командировали в Восточный, но ситуация в Германии такая фантастическая, что там на месте мне сделали визу в Западный. Граница сейчас представляет собой нечто вроде турникета московского метро в час пик, в обе стороны валит восторженная толпа, и честные немцы-пограничники даже ленятся толком посмотреть в паспорт и сличить твою физиономию с фотографией.

Мой западный друг Фриц, когда-то представлявшийся мне журналистом, не пользующимся автомобилем из принципа, оказался нищим вечным студентом, у которого дома отключили телефон за неуплату. В метро он ездит “зайцем”, стоя всю дорогу у дверей, и на остановках по-собачьи внимательно высматривает контролёров. Вход в западноберлинском метро свободный, а штрафы очень велики. При этом ситуация такова, что в Восточном на цену билета западного метро мой бедный Фриц может пообедать от пуза в кафе или ресторане. Жаль, если скоро ГДР станет ФРГ, ибо если бы эта ситуация продлилась сколько-нибудь долго, они все бы сагитировались своими желудками за социализм.

Бетонную стену сломали кое-где, но мне ещё досталось, причём бесплатно, на сувениры то, что на Александрицац продаётся как огурцы: три больших или пять маленьких — за 5 марок. Фриц сказал (мы общаемся на ужасном английском), что в первые недели “свободы” девушки из восточной части отдавались за те же злосчастные 5 ДМ. Я, говорит, не могу их понять, как это можно? Мол, пять — это мало очень. При всём его благородстве получает-

ся, что просто цена маленькая... В самом неожиданном месте можно встретить русскую икону, за 5–7 тысяч ДМ. Думаю, это средняя цена. Однажды видел образ Казанской в витрине... продовольственного магазина. Мне кажется, что это даже юридически некорректно. Хотя в стране, где рядом настежь распахнуты двери “клуба” для геев...

Со мной будет беседа на местном ТВ, и они по этому случаю даже решили меня постричь и одеть на свой вкус: немцы! Ко мне приставлен переводчик. Он боится, что новые власти посадят его за сотрудничество с КГБ. Горбачёв, сказал он мне, сдал Хоннекера, и многие офицеры и просто “честные люди” стреляются уже. Процесс пошёл. Интересно, спрашивает, хватит ли ума у Шеварднадзе взять с Запада компенсацию за вывод войск и стратегическое разоружение? Как будто тут в уме дело! И не от ума-то ли горе, отвечаю, совести-то если нет?.. Ломать — не строить. Не понимает.

Как твои занятия с кружевками? Нашлась ли бутылка французского? Когда к нам в первопрестольную? С боевым приветом, старшина запаса Иван Лозовой.

Здравствуй, Иван!

Как тяжело жить без любви! Хуже, чем без веры и надежды, ведь Бог — это любовь, правда? Помнишь, как ты толковал мне об этом на берегу Сосны? Я всё время плачу, даже в солнце, а когда идёт дождь, то просто реву, и лить слёзы вместе с дождём, смотреть, как стекают по стеклу его чистые капельки, — мне много легче.

Вчера я была свидетелем разговора трёх пожилых людей у водопроводной колонки. Я шла другой стороной улицы, но нарочно остановилась послушать их разговор о жизни в немецкой оккупации — ведь ты знаешь, Ваня, что тут были немцы? Они говорили об этом так, будто это было вчера. Вспоминали, как детьми были голодные, ели лебеду (ты, наверное, не знаешь, что такое лебеда?), и как голодные дети пошли, отчаявшись, искать хоть какой еды, и случайно напоролись на военный объект, и их там схватили, и — дальше было плохо слышно из-за шума воды и вёдер и из-за того, что они все трое говорили одновременно. Их, кажется, нескольких расстреляли после... Что ж, я тоже хочу из западной части нашего города в восточную (ибо на оба конца требуется не больше часу) в поисках лучшей жизни. Хоть бы меня кто арестовал и посадил за тунеядство или, ещё лучше, расстрелял.

Кружевные мои дела потихоньку подвигаются, но медленно. Кстати, валик, на котором плетётся кружево, по-старинному называли здесь кутузом, а фамилия одного бывшего афганца, с которым меня познакомила сестра, Кутузов. Забавно, правда? Он починил мне крыльечко, а то оно всё развалилось. Его берут работать в милицию. Гена откуда-то слышал, что Горбачёв хочет ввести в стране военное положение и поэтому собирается повысить зарплату военнослужащим вдвое. Но Гена после Афгана не хочет идти в армию, хотя с его фамилией это, конечно, более прилично, чем быть милиционером. Впрочем, если так рассуждать, то с моей фамилией мне следовало бы жить хотя бы в Шпreeвальде, да?

Храню бутылку твою и свою верность. До скорой встречи, ведь ты обещал приехать летом,

Мария.

Милая Мария!

Ты бы меня, верно, теперь не узнала. Я почернел лицом, как арап, пребывая постоянно на нещадном московском солнце, ибо теперь я уличный книготорговец в самом прямом смысле слова: стою за лотком на улице Горького и торгую моими первыми книжками. Меня сподобил на это приятель, который уехал до осени халтурить куда-то в Сибирь, а мне дал своё место. Зарабатываю неплохо и даже хорошо, наконец-то я могу кое-чем помочь семье и, возможно, тебе, если это не успеет сделать первым твой милиционер с фельдмаршальской фамилией.

Книги для продажи стараюсь подбирать не все подряд, потому что идёт много дряни вплоть до “крутой порнушки” и всякой русофобии под видом

критики режима. Черти снова перекрашиваются, ну, да мы уж говорили... Торговля книги православные, исторические, детские. Зато вокруг меня торговля наподобие той, что на Александрплац, еле сдерживаюсь, а иногда и нет... Ну, мне пора, надо успеть занять место, пока его не занял армянин с обезьяной или азер с марихуаной из-под петрушки.

Целую тебя крепко и нежно, привет бабе Насте и дяде Гене.
Твой Иван.

Дорогой Иван Осипович!

Какое это славное было время, когда мы были на "Вы"! Никогда не забуду Ваших глаз, как они смотрели на меня, то ли отражая мерцающий свет праздничных свечей в моей сумрачной горнице, то ли посверкивая внутренним огнём растревоженной Вашей души. Романтический флёр рассеялся после Вашего недавнего визита, от которого я ещё не вполне оправилась. Ты говорил такие страшные несправедливые вещи и с таким свирепым видом, так больно хватал меня за руки, что я всерьёз в те минуты опасалась за свою ли, твою ли, ещё ли чью нечаянную жизнь. Вообрази, что тогда вошёл бы кто-нибудь из гостей и стал бы спорить с тобой на одну из твоих вечных тем, которым нет уже разрешения в этом веке и на этой земле? Да ты бы просто задушил или разорвал бы его голыми руками. Честное слово, я не избалована судьбой, мне доводилось быть свидетелем самых ужасных пьяных драк и дикой поножовщины на наших плохо освещённых улочках, но это было нечто особенное.

Прости, что я напоминаю тебе об этом, но поверь, что мне действительно беспокоит о тебе, я боюсь, что ты просто погибнешь. Мне не хотелось бы услышать о тебе такую страшную новость и ещё думать, что являюсь тому невольному косвенной причиной. Ты же плакал и умолял, чтобы я родила тебе сына и немедленно, но что жить со мной ты не можешь. Ты помнишь это? И что ты вообще не можешь жить с женой семейной жизнью, и что ты вообще жить не можешь. Или что ты вообще не можешь жить с женщиной, понять что-либо толком окончательно было невозможно!

Миленький ты мой, я-то чем тебе виновата? Я так долго и терпеливо весь год ждала твоего приезда, готовилась, как могла, встретить высокого гостя, а ты свалился как снег на голову со своим ужасным, совершенно невозможным товарищем, оба пьяные, полубезумные, грязные, пролётом — как какие-то лесные звери, испортили всем праздник, сломали дверь, испугали детей. Даже собака, свирепая овчарка, сбежала, никем не замеченная, и нашлась лишь на другой день в соседнем подъезде, вся дрожащая и с вытаращенными от пережитого потрясения глазницами.

Ванечка! Остановись, я люблю тебя по-прежнему, но... уже не зову тебя, как Бог даст, как уж там по судьбе нам будет? Видно, и вправду тебе никто не нужен, и твоя бывшая жена в этом права. Кстати сказать, Геннадий Львович Кутузов — очень порядочный человек, хороший семьянин, у него прекрасная супруга, хозяйка хорошая, и очаровательная дочурка, тоже Маша. Глупо ненавидеть человека и ревновать так бешено только за то, что он починил крыльцо одинокой беспомощной женщине, и обзывать его при всех ментом поганым... Это просто чудо, что всё обошлось, и его друзья-афганцы вовремя увели вас и посадили в машину, в другой раз вам этого не простят.

Хватит о грустном, я очень надеюсь, что ты сам во всём раскаиваешься и казнишь себя. За сим прощаюсь, с уважением, Ваша Мария Ивановна Иноземцева. Пиши, и вообще — не скучай, будь мужчиной.

Милая Мария!

Так рад, так рад я всегда, когда получаю твои драгоценные моему сердцу письма, что кажется, нет в мире ничего роднее этих аккуратных строчек плетёных кружевами округлых буковок, и душа моя летит в твой славный городок, и только брэнное моё дебелие тело, отягчённое, как пудовыми гириями, смертными постыдными грехами моими, лежит, сравнявшись с грязью асфальта, бесчувственно и бессмысленно.

Мария! Спасибо тебе за добрые твои слова и за горькие, как полынный настой, но лечащие так быстро в самую точку. Прости, что не ответил тебе сразу, но поверь, долго носил письмо твоё с собой и плакал, когда перечитывал.

Я уже не продаю книги, не пишу книг, а только читаю оные, но ведь должен же быть в мире хоть один человек, который бы читал хоть что-нибудь из моря всего написанного. Мнится мне, что все прочие бегут без оглядки толпами навстречу друг другу или стоят в очередях, зловеще шурша газетами.

Ты веришь и ждёшь, что придёт принц и преподнесёт тебе — пусть не на серебряном блюде — пару волшебных туфельек, на которых можно бегать и взлетать, не касаясь разбитой колеи, но — принц даже не знает размера твоей ножки, не говоря уж о том, что у него попросту нет денег — какая проза!

Мария! Так радостно мне повторять твоё священное имя! Почему-то чувствую я, что когда-нибудь мы будем вместе, несмотря ни на какие преграды и обстоятельства, вместе совсем навек, до слияния души в одно целое! Неужели же это произойдёт только в мире ином?!

Пиши, привет старушке и Кутузову. Думаю, скоро у него будет работы не меньше, чем в Афгане. Что-то будет. Одни плачут, другие сжимают кулаки. Но ничего они с нами не удумают, фиг вам!

Целую, Иван.

Здравствуй, Иван! Высокий гость!

Поздравляю тебя со Старым Новым годом. Купила нам с тобой в подарок две китайские фарфоровые чашки для чая с крышечками, с синими драконами по белому фону, как гжель, по случаю, по 40 рублей за чашку. Откуда деньги — не спрашивай, но не за кружево. Мои первые кружевные блины пока все комом, руки не слушаются, потому, наверное, что нет на сердце покоя. Одна чашка у меня вывалилась из рук, и краешек откололся. Значит, решила я, не судьба нам и в этом году быть вместе. Мне, знаешь, очень холодно на душе, хочется просто человеческого тепла, если не счастья. Прости, но я больше уже не жду тебя. Ты — ветер, живой, но неуловимый в мои паруса. Видно, не так я мила тебе, как ты говоришь. К чему обманываться, будем друзьями. Сижу, смотрю, подперев ладонью щёку, на синего дракона на чашке и не думаю, а вижу, что людей разделяет взгляд на мир. Вот одни поклоняются дракону, а другие солнцу, например, и это вроде бы малость, но ведь от этой разницы не рождаются дети, например. Ведь так стало мало рождаться детей у нас в городе, да и по всей стране, наверное. Говорят, что из-за нищеты. Нет, из-за того, что все думают или верят по-разному.

Я взяла бы девочку из детского дома, но мне не дадут. Такие надо справки и поручительства, что мне не дадут при моём жилище и зарплате. Мой домик стоит, ты знаешь, прямо под ЛЭП; говорят, что это вредно для здоровья, что вообще не должно быть дома под ЛЭП, но ведь я-то живу.

Скажи, что это за власть такая народная, при которой, как мыши при научном эксперименте, живут люди? Сколько будут ещё ставить над нами опыты? Ненавижу всё, что сейчас делает “Огонёк”, всё это оплёвывание всех и вся элекрид, потому что это ни к чему хорошему не приведёт, но ведь и так, под электрическим полем тоже жить больше нельзя. Неужели же никогда в России не будут жить по-русски? Гласность, перестройка, ускорение, рынок, снова одни лозунги, а что лучше-то стало? Сосед дядя Егор телевизор посмотрит, выпьет и плачет, ему обидно: за что воевал? Он весь израненный, живёт хуже меня, от гуманитарной помощи из Германии отказался. Я бы не отказалась, в тюрьму бы отнесла, но я не воевала, не могу знать, что чувствует он, у него поубивали всех его сверстников из родной деревни.

И в партии были честные, и в церкви есть луны, я так думаю. Бог им всем судья. И я никого не сужу, я просто не знаю, как мне жить, сил нет у меня ни на что. Предлагают место в гостинице горничной, но ведь это позор, там сплошь один *кавказ*, мне при одной мысли дурно становится. Я бы

лучше в тюрьму пошла, не берут, смешно сказать, из-за того, что мой дом рядом с тюрьмой стоит, что я могу помочь им подкоп сделать. По инструкции, говорят, не положено. Хорошо, что кто-то меня ещё боится, что я такая могучая, способная на подвиги. Неужели у меня вид такой?

Кутузов сказал, что если ты ещё вот так появишься, как в прошлый раз, то он тебя руками разорвёт надвое. Так что ты уж лучше без предупреждения не приезжай.

Мария.

Милая Мария!

Как ты там? После последнего твоего грозного письма я и не знал, что делать: не писать тебе больше вовсе или ехать напрямую “без предупреждений”? В итоге я ввязался в новую авантюру и вместе с рок-музыкантами оказался в Чернобыле. Такой вот компот. В качестве кого, угадай? Правильно, в качестве идиота, рабочего сцены. Сбивал задники для выступлений, разгружал и устанавливал аппаратуру, снова грузил... Денег не заработал, зато хлебнул радиации (наверное). Она там как-то странно — пятнами. В Могилёве, например, улица чистая, да, а на дворе всю землю снимают и увозят, на ней всё запредельные сверхнормы, зашкаливает. После одной поездки я вообще почувствовал, что схожу с ума, понимаешь? Стал на балконе гостиницы одежду вытряхивать, но ведь это же не пыль и даже не вши. Как ты эту частицу плутония, допустим, вытряхнешь? А её, заразы, одной достаточно, если в тебя попадёт, чтоб ты инвалидом сделался. Принял душ, обсох, надо одеваться, а я не могу! Ну, там достал кое-что чистое, но ботинки-то те же, и куртка... скажи, как тут было не выпить?

Были в мёртвой деревне, в выселенной. Двери, окна — всё раскрыто настезь, на стенах фотографии. Иконки иногда дешёвенькие такие из бумаги. Вырезки из “Смены” прямо под иконками, даже кое-кого из своих знакомых увидел. Ему бы на улице подойти и в глаза заглянуть попристальнее, а крестьяне, чистые души, его аккуратно, с полями, вырезают ножничками и рядом с иконами клеят в красном углу. Застрелиться! Конечно, с таким по-детски наивным народом проще, чем с индейцами, справиться можно при умелом подходе, голыми руками! Сами будут верёвки приносить для виселицы.

Топчешься в оставленном холодном жилище, хрустишь битым стеклом, а в голове бедовой, как счётчик, щёлкает, плюсует “бэры” или миллирентгены. И ни собак, ни кошек — всё тихо. Детские игрушки, коляска там или санки. Колодец заколочен отравленный, как в войну. Несчастная эта Белоруссия, ей-то за что?

А может, и вправду — это война, только *холодная*, которая страшнее всякой *горячей*, как эта чёртова радиация страшнее всякой бомбёжки?.. Попался мне там один нормальный телеоператор на съёмках рок-концерта (а они эти концерты к пятилетнему юбилею взрыва приурочили и вроде против строительства атомных станций, хотя их музыка — это всё равно, что радиация в культуре), так он, короче, работал раньше по проблеме переброски северных рек на юг. Когда, говорит, учёные и писатели своими выступлениями добились, что “партия и правительство” вынуждены были послать проект переброски на доработку, то этот самый взрыв в Чернобыле и случился. День в день, говорит, ну, может, с разницей в неделю. Ты понимаешь, к чему он гнёт, нет? А я понимаю. Приговорили нас стоять на коленях, а когда мы разогнулись, то нас — по голове! Очень мило.

Ну, что вот они Сталина всё поносят и мажут? Ведь это они хотят всю нашу историю в 20-м веке перечеркнуть. Мол, они с коммунизмом борются. Ни черта подобного: немцы, вон, в Западном Берлине по улице Карла Маркса шастают и не обижаются. Им Россию уничтожить охота (сами-то они её от Украины и Белоруссии не отличают), им наплевать — какой тут строй, лишь бы нам плохо жилось да мало рожалось.

По Минску демонстрация идёт, на плакатах у них всё черепа, сами в противогазах, как тогда в Астрахани (перезжают они, что ли, из города в город?), и флаги белые с красным — это, значит, за отделение от нас. А из церкви ихней главной в это время пары выходят свадебные после венчания.

И вот они смешиваются с демонстрантами. Трезвон и набат. И те, и другие растеряны. Невесты чуть не режут от страха, и тем неловко, и только одни хохлы-западенцы, националистическая группка такая, стоят, ржут, чего-то там про москалей выкрикивают, как больные, честное слово, и всё свои семечки лузгают, шоб им повывлазлю!

Не туда бьёте, ребята!

Потом рок-концерт. Подростки просто отмороженные, а за кулисами, я же — представитель пролетариата, вижу: кто ширяется, кто травку курит.

Я не знаю, что дальше будет, и “до чего мы доживаем?”, как одна сказала. А другой ей в ответ: “Прижали нас до самого некуда”. Вот это точно: доживаем до самого некуда. Всё, привет Гене!

Твой Иван.

Милая моя Мария! Здравствуй!

От тебя ничего нет. Наверное, чем-то я рассердил Вас, чем? А, знаю, ты теперь не хочешь общаться с “чернобыльцем”, боишься хватануть радиации.

Кстати, я не потому не еду, что кого-то боюсь, а потому, что ты не пишешь, а мне всё недосуг. Чем занят? А пьесу пишу, трагикомедию в трёх действиях: 1) перестройка, 2) перекличка, 3) перестрелка. Название: “Ускорение”. Чего ускорение? Всякого маразма. Обложку паспорта справил себе новую, картонную, самопал с Арбата. Фон красный, а вместо герба СССР — двуглавый орёл. И ничего, даже менты не шарахаются. Скажешь, дитё я? Да. Ты бы меня усыновила, что ли? Хотя нет, я же ещё не сирота... Как твоя бабка, как твой кутуз? В смысле — кружева?

Работаю в церкви, альфрейщиком. В чём-то это сродни тому, что делал твой отец. Об этом в другой раз. Псылаю это письмо заказным. Если не ответишь — приеду. Предупреждаю, так сказать.

Можно тебя поцеловать? Ив. Лозовой.

Дорогой Иван, здравствуй!

Извини, что долго не писала, не отвечала. Я, конечно, была не права. Но мне было очень тяжело, и я не знала — как тебе объяснить всё, что со мной происходит. Но сейчас всё уже позади. Я думала почему-то, что ты сам догадаешься, ты всегда был такой чуткий.

Конечно, если хочешь и можешь, то заезжай, я буду рада видеть тебя, но мне в моём нынешнем положении будет трудно принять тебя и оказывать тебе должное внимание. Говорю обо всём спокойно, потому что я должна теперь заботиться не только о себе самой.

Кстати, если ты вдруг правда соберёшься, то буду тебе очень признательна, если захватишь хоть что-нибудь. В наших магазинах, как назло, исчезло абсолютно всё, нет даже марли, не говоря уж о ползунках, или материале на пелёнки, байки и прочего. К тому же очень у меня плохо с деньгами, совсем то есть плохо. То есть с ними хорошо — без них плохо, без проклятых.

Если тебе всё это в тягость, не переживай, всё уладится как-нибудь. Прости, что так вышло, я хотела иначе. Бабье дело, не обращай внимания, нам от этого легче.

Целую крепко, Мария.

Милая Мария!

Как ты меня чувствуешь? Я тебя чувствую плохо, потому что я и себя-то почти не чувствую. А плохо чувствую я нас потому, что я плохо чувствую весь наш народ. Ты, уже, конечно, знаешь, о чём я говорю. Теперь я брожу не от памятника к памятнику по бульварам, а от танка к танку и от БТРа к БМП. На “броню” сидят русоголовые мальчишки и без всякой охоты курят одну за другой разносортные сигаретки, которые охотно предлагает им разношерстная толпа вместе с глупыми и жестокими вопросами: “Неужели вы будете стрелять в людей?” и пр. Мальчишки ни на кого стараются не смотреть, ничего не отвечать, поэтому и курят, сосут ядовитый дым опухшими губами и сплёвывают себе на сапог, потому что больше плюнуть некуда. Метро всё оклеено отлично отредактированными и классно отпечатанными тек-

стами, которые появились чуть ли не одновременно с заявлением Комитета. Даже кажется, что это сделано демонстративно: посмотрите, кто в вашей стране хозяин и какое правительство направляет процесс. Уверен, что Горбачёв здесь замешан на одной из ролей.

Сегодня с утра проливной дождь, и я сижу дома у телевизора. Вчера вечером на Кутузовском я понял, какой я трус. Строили баррикаду поперёк проспекта перед мостом, чтобы остановить танки. Без особого любопытства я подошёл ближе, увидел всё те же, полные какого-то “вообще” энтузиазма лица соотечественников, желающих снова быть обманутыми, и повернул к Киевскому метро. В этот момент у меня за спиной раздался оглушительный хлопок, ноги подкосились в коленях, прошиб холодный пот, я с трепетом обернулся, не в силах бежать... Оказалось, упал навзничь пустой мусорный бак. Оказалось, что на героя я не готов. Пишу тебе об этом без стыда, потому что уверен, что в другой, настоящей ситуации, когда будет — за что, я не струшу, просто это такая нервная, наэлектризованная атмосфера. Может быть, работает с крыш посольств психотропное оружие?

Конечно, этот марксизм-ленинизм всем осточертел, мягко говоря, но ведь надоел-то, прежде всего, своим кощунственным обманом, а на смену ему сегодня у нас на глазах идёт такая же ложь, меняющая хамелеоном цвета.

Розанов писал, что царская Россия развалилась в два, самое большое — в три дня. Похоже, что так же разваливается и “советская”. Пишу это слово в кавычках, потому что советской, то есть народной власти в России не было и пяти минут, даже при Сталине. Но почему же они разваливаются? Потому что русский народ не верит ни в официальную церковь, ни в официальную идеологию. Он своедумен, анархичен и любит сильную власть, любит даже тогда, когда ненавидит её, только называет свою затаённую любовь уважением: “Ты меня уважаешь?..”

Ты меня уважаешь? Ты меня любишь? Я тебя — да. Не спрашиваю, кто отец ребёнка. Если родится сын, то отцом готов стать я. Если девочка, боюсь, что не смогу её правильно воспитать. Опять трус. Мария, если честно, я очень скучаю по тебе и, может быть, ещё больше — по твоему миру. Желаю вам доброго здоровья. Плюнь на всё и ешь больше яблок, ягод и огурцов.

Целую, Иван.

Дорогой Иван!

За меня сильно не переживай, я чувствую, что выдохну. Даже наоборот, в моём теперешнем “обременённом” состоянии сил прибавилось. Тебе желаю трезвости ума. Не делай лишних шагов и без дела не слоняйся, лучше посиди с книгой. Спасибо за добрые слова. Надеюсь, что будет дочь, с сыном не знаю, как справлюсь. Коммунизма мне не жаль, жаль советской власти, которой, если верить тебе, не было.

Целую, твоя М.

Милая моя Мария!

Такая стоит светлая солнечная сухая осень! У вас во дворах, наверное, пахнет всюю антоновскими яблоками, как в садах, и так хочется побыть с тобой рядом, утешить, подбодрить тебя, а главное, что я уже совсем было собрался сделать это (и сделаю скоро наверняка, не сомневайся и не улыбайся надо мной!), но — произошли события, которые задержали меня в столице (я пишу “столица” так, словно уже живу в провинции). Убит Тальков, я знал его. Помнишь, рассказывал тебе про мои связи с рок-группами, про Минск и т. д. Короче, его нет.

И всё это случилось не вдруг. Очень странная история принятия Игоря в члены сомнительного ордена, Джуна, все эти его белые рубахи (“умершу платье”, как твоя бабушка говорила).

Ой, обзавёлся бы газовым пистолетом, но это, знаешь, хорошо для подростков, или против собак, когда бежишь трусцой по Тверскому бульвару. Короче, нет его. Длиннющая очередь, общественность в оцеплении милиции,

цветы, притихшая молодёжь, студенты, школьники, дети, пенсионеры, военные. Куб Дворца молодёжи на Фрунзенской — бетонный крематорий. Ничего невозможно было узнать заранее официальным путём: где панихида, где похороны? Звонили по всем инстанциям, редакциям, информационным службам, никто — ничего! С утра ребята взяли такси и наугад стали крутить по городу. Нашли, в затемнённом зале звучат вполсилы его песни, а его нет. Вдова молодая и сын. Она с опущенной головой, лица не видно, а он, напротив, смотрит на всё живыми глазами, единственное светлое пятно во мраке, как лучик. Но что эти глаза могут сегодня понять? А мы — что можем сделать теперь (и что сможем завтра, вот главный вопрос). Зловещая стая встала возле и вертит вороньими клювами. Преступники, пришедшие на место преступления. Градский, правда, плакал, я видел. Говорят, Газманов знает, кто стрелял, но молчит. Что ж, его молчание будет щедро оплачено — славой, тиражами, загородной виллой, да и не ему одному. Все они теперь будут плясать свои “песни” (они их именно пляшут, а не поют) на костях гения. Ну, пусть не гения, а большого таланта, совестливого русского человека. Какая-то Азиза, какой-то Малахов из курганской братвы... По ТВ все тужатся доказать, что самый большой друг его был — Шляфман. При этом его только показывают. А он молчит, ни да, ни нет, лишь глазёнки бегают. Друг. Вспоминается фильм “Крёстный отец”: “Опасайся того, кто скажет тебе, что он друг”. Взяли и убили человека, средь белого дня, при всех, словно напоказ: смотрите все, чтоб неповадно было. Это же демонстрация силы!

Мария, милая Мария, прости, что сваливаю всё это на твою бедную голову. Но ты ведь сама убеждала меня, что я могу доверять тебе, как самому близкому, свои радости и печали, и что тебе это будет радостно. Не знаю, конечно, как это тебе в твоём теперешнем положении? Прости, забыл, что тебе теперь не до Талькова. Ладно, закругляюсь, про похороны не буду. Отпевали в церкви на Ваганьковском кладбище. Многие также клали цветы Высоцкому и Есенину. Да, теперь они братья навеки. “Память” и Д. Васильев делали вид, что они тут главные, пытались управлять толпой, наживали политический капитал. Говорят, что вроде бы Игорь участвовал в их последней публичной акции. Народу было очень много, и люди немного обезумели от давки. Шли по могилам. Вороны долго кружили огромной тучей над гробом и кричали, когда его опускали в могилу.

Прости!

Дорогой Иван!

Не знаю, когда бы теперь написала, если бы не Новый год. Меня отпустили на три дня домой, всё равно, говорят, никого не будет, а кто будет, то будет пьяный, уж тогда тебе лучше дома быть. Да я и сама насмотрелась на их порядки, и мне кажется, что если помирать, то лучше на своей печке. Ничего, соседи за стенкой, а если чего, до тюрьмы доползу, там круглосуточно. А не то пусть и пристрелят нас сразу, чтоб не мучиться долго.

Ты ничего лучше не мог придумать, как беременной бабе описывать убийства да похороны. Кланяюсь в пояс, хоть мне это и тяжело.

Идёт дождь, не звёздный, не серебряный, а самый обычный, тихий-тихий, будто ему самому неловко идти на предновогодний снег, что покрыл было все пути-дороги, поле до самой речки, кладбище, пограничную зону у тюрьмы, весь мой дворик, крышу и изукрасил ЛЭП, как ели, нитями-гирляндами. Да, ещё там у них в роддоме на каждом шагу надо платить. Вымогают деньги, а иначе ничего не приносят, ни еды, ни питья, ни лекарств, ни белья... Марля твоя лежит сложенная стопочкой, я всё перестирала, раскроила по-своему и прогладила утюжком, положила под ёлочку как подарок от тебя, новогодний.

Целую крепко, М.

Милая моя Мария!

Как видишь, пишу тебе с вашего почтамта. Искал тебя повсюду, кроме тюрьмы и кладбища. Ни в одном роддоме, ни в больнице, где есть родильное отделение, никаких Иноземцевых не обрёл. В милицию к Кутузову уж

не пошёл... Главное, что и соседей твоих не было, и сестры, никого, бывает же так! Вот уж никак не предполагал, что придётся уезжать восвояси ни с чем.

Столица мне стала мачеха, и жизни не даёт и от себя не отпускает... Наверное, ты где-нибудь в деревне. Наверное, уже живёт в этом мире твой ребёнок, и ты его уже любишь и называешь ласковым именем. Верю, что вы здоровы, так чувствую, молось. Ради Бога, сообщи мне на прежний адрес, мне передадут, два слова! Подарок — под крыльцом в полиэтилене в коробке. До встречи, пока!

Иван Л.

Дорогой Иван!

Спасибо за беспокойство... Как сам? Или женился, пока мы тут с Ванечкой на паперти стоим. Думаешь, шучу? Нет, в самом деле. Только ничего мне не подают, народ нищий весь стал. Нищенки посоветовали приходиться к празднику или к воскресенью хотя б. А я до воскресенья, может, и не доживу, околею с голоду, Ванюшке-то — хожу в молочную кухню, хоть и далеко, дышу свежим воздухом, после прогулки щёки полчася розовые. Короче, сначала кой-то дед шлюхой обозвал, это у церкви-то. Блаженный, наверное. Впрочем, я не обиделась, шлюха и есть, ребёнка прижила, советской властью не расписанная, демократами не венчанная. Затем подъехала мусорка; видать, Гене кто стукнул, что я тут отсвечиваю, замели и отвезли восвояси. А я уж было обрадовалась, думала — в кутузку везут, ан нет, не тут-то было, в родное стойло.

Чем ты там ещё занялся, горе моё, ехал бы уж сюда, калитку бы поправил, а я бы картошки отварила, и начали бы жизнь новую. Такого счастья, что ты в столице-мачехе ищешь, мы и тут найдём. Скажешь, пустилась баба во все тяжкие, да? А хоть бы и так. Мне всё равно, не сегодня — завтра смерть, конец приходит, худо мне, Ваня, совсем, если ещё не оженился, приезжай, а то и с молодой женой приезжай, я вам на печке постелю.

Твоя Мария.

P.S. Если можешь, пришли денег, в долг, немного, прости.

Мария, здравствуй!

Ты чего это, милая, мне такое пишешь, не пойму, всерьёз или в шутку? Ты это брось, пожалуйста. Выслал вам деньги, 500 рублей, больше на почте за раз не принимают почему-то. Завтра пошлю столько же, а там видно будет. Пишу стоя. Я в пикете у входа в “Останкино”, может, видела нас по телевизору? Никак не усвою, что у тебя его нет. Тут, правда, больше с красными флагами стоят, но я нет, я с Александром Невским стою, и надпись у меня: “Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет!” Спрашивают: при чём здесь меч? А я отвечаю: при том! И весь сказ. Вообще-то тут всяко бывает.

Вчера я был в “Макдональдсе”, пригласили, и меня знаешь, что поразило? Наглость и убожество этой интервенции, прежде всего — эстетической. Словно в насмешку здесь выставлен полный набор всяких штампов — пальмы, парусники, гребешки синих волн, облачка в синем небе, такой же кич, нет, не для детей — для дебилов, как в советских столовых рисовали картинки светлой жизни при коммунизме, только с точностью до наоборот, и еда словно синтетическая, да таковая она и есть, особенно питьё, англичанки в пепси-колу свои золотые украшения на ночь опускают, чтоб ярче блестели, а пить не пьют, это я точно знаю, из первых уст. И — “музыка”, она скоро нас всех достанет. Уверен, что её нет в таком насильственном варианте ни в одной самой паршивой забегаловке Запада, будь он проклят. Боже мой! Я вспоминаю, как году этак в 84-м заехали мы в столовую на окраине Кинешмы. Веришь, не хотелось из неё уходить, такое всё было домашнее, румяное, ароматное, свежее и дешёвое — страсть! Женщины все ласковые, улыбочивые, просто мамки.

Теперь, пока мы торчим тут под Останкинской иглой дураки-дураками, умники приватизируют всё за бесценок, всё, что было нажито народом, а мы

снова — ничего, почему это? Обратная сторона медали вчерашнего антинародного строя. Не было, ещё раз тебе скажу, никакой советской власти, разве что для рекламы. Нас с детства воспитывали быть скромными, неверующими, безвольными, непонимающими. И вот — дали свободы (множеств.), и мы снова испугались, и не знаем, что с ними делать, и хотим обратно в стойло. Кто может воровать — ворует, но ты правильно сказала: воровать не умею. И я тоже... Я в деньгах ничего не понимаю, как в картах. Тут мне надо было подарок сделать “нужному” человеку, бутылку кушить красивую, я к кассе подхожу, отсчитываю сорок рублей червонцами, кассирша на меня смотрит, ждёт, пока я очнусь к действительности. И до меня доходит, и я отсчитываю ей десять раз по столько, 400. Мы даже на этом уровне не соображаем, что с нами происходит. Но не для того же я родился, чтоб мыть иномарки, как ты думаешь?

Тебе хорошо, ты родила. Может, так и оставим ему имя Иоанн? Я вас очень люблю и жалею, и скоро приеду, честное слово, а не то вы приезжайте, хотя это, наверное, глупо приглашать вас в душный, загазованный город. Пиши, пожалуйста. Ты моя последняя надежда.

Ваш Иван.

Здравствуй, дорогой Иван!

Дорогой не потому, что прислал 500 рублей, за что тебе сердечное спасибо, ибо теперь мы с молоком и с хлебушком сладким. А потому дорогой, что пишешь нам такие смешные письма. Я их читаю и смеюсь, а Ванюшка попукивает, потому что я перечитываю ему их вслух, и он тоже приходит в “восторг”.

Спасибо, пиши, конечно, чаще, хоть бы и всякую ерунду, мы любому твоему словечку очень будем всегда рады.

У нас в огороде всё, что посеяли, растёт: петрушка, лук, чеснок твой любимый, салат, редиска, морковка. Клубника нынче плохо уродилась, отходит. Скоро уже поспеет смородина. Цветы даже некоторые размножились, и вообще летом у меня гораздо уютнее, за листвою не так видны тюрьма и кладбище, мы с Ванюшкой часто сидим теперь на дворе у крыльца, а если ты приедешь, и мы навес какой соорудим, то будем и на самом крыльце сидеть и в дождь, и на припёке кум королю, сват министру. Помнишь, “На золотом крыльце сидели...”?

Ванечку всё же записала Петенькой, но зато отчество его пока открыто по известной причине. Да и зачем нам два Ванечки, мы так рассудили, Ванечка у нас один на все времена, великий и ужасный, и которого мы любим и ждём.

Твои Мария Ивановна и Пётр Иноземцевы.

Милые мои и дорогие Мария и Пётр Иванович!

Какое роскошное, счастливое наступило лето, словно в насмешку над нашими земноводными бедами! Какие восхитительные облака стоят нынче над Подмосковьем! Сколько жизни в запахах трав и листьев после короткого и шумного грибного дождя!

Я же окончательно раздваиваюсь, четвертуюсь, режусь на восьмушки от самых противоречивых мыслей и чувств по тысяче поводов. И не с кем поделиться, кроме как с вами, потому что как только затеется у нас тут мало-мальски серьёзный разговор, так сразу споры. А святые отцы заповедали уходить из места, где спорят, ибо не в споре рождается истина. Или, по мне если, то так: в споре рождается не истина! А что рождается — судите сами. Видимо, нечто среднее, компромисс или консенсус, где нет ни лжи, ни правды, нечто тёплохладное и нужное только, не к ночи будет помянут, известно кому.

Иван Лозовой.

P.S. Кажется, меня осенило: мы строим колониализм!

Дорогой Иван!

Как жаль, что тебя нет с нами! Наступила такая летняя благодать, за которой всё-всё плохое забылось. Мы с Петенькой целый день на дворе, улы-

баемся, разговариваем, поём, только не стихами ещё, а больше пузырями, но в будущем обещаем стать красноречивыми.

И не будет никогда никакой правды. Петеньке я гляжу в его ясные синие очи, душа ангельская, да только жить-то ей на земле, среди людей, на испытание, зло, обман и болезни. Что в ней сохранится, во что обернётся? А если мамки не будет рядом, к кому попадёт, кем станет?

Прости, не могу писать больше. Приезжай, горе моё, вишня поспела.
Твоя М.

Милая Мария!

Возможно, мы увидимся прежде, чем это письмо дойдёт до твоего старого доброго почтового ящика с проволочкой вместо замка. Надо мной ясное сочинское небо, а в полста км к югу идёт война. Реку Псоу нам с приятелем пришлось переходить вброд, мост перекрыт войсками, да и все подходы к нему забиты беженцами со скарбом, детьми и домашними животными. Как в кино. Не хватает только операторского крана и режиссёра в кепочке с мятюгальником в руке и в чёрных очках. Мы же всё ещё, как муравьи, не осознаём, что происходит ныне, потому что всё ещё не осознали, что произошло год назад и раньше. Мы вообще не любим или не умеем задумываться. А дети-то плачут, а бандиты-то стреляют! Солдатами их назвать не решаюсь после того, что видел и слышал в Новом Афоне и Эшери. Боже мой, как мы, русские, всегда любили грузин, их песни, их тосты, их фильмы, их блеск!

Петру везу фрукты, ракушки, разноцветную гальку, тебе — сердце своё. Паровоз, на который нет билетов, идёт через ваш областной центр, отсюда я доберусь на попутной. Осталось только объяснить военному коменданту станции, что мы с фронта. Надеюсь, что у него под фуражкой найдётся сродни тому, что у меня под легкомысленной панамкой.

Иван.

Дорогой Иван!

Теперь я немного пришла в себя (от тебя), чувствую тебя плохо и могу писать. Кстати, ты меня, то есть нас, даже не поздравил открыткой. Впрочем, наверное, всё ещё боишься. Ладно, я тебя давно простила за всё, только не убивай никого и не убивайся.

У Виктории Токаревой (не плюйся, дослушай) есть такой рассказ, где герой рассуждает примерно так: вот у меня в жизни были две женщины, с одной мне было хорошо, и без неё хорошо, а с другой плохо, и без неё плохо, и я всё мечтаю (типа того) о такой, с которой бы мне было хорошо, а без неё плохо... А я, милый мой друг Ваня, уж боюсь, что без тебя мне хорошо, а с тобой плохо, прикидываешь? А ты ещё говоришь “нет!”, кричишь на всю нашу Красную площадь, что усыновишь моего Петю.

А ты его спросил: хочет он такого папу или нет? Не говорю уж про себя. Мне ведь деваться некуда, думаешь ты наверняка на мой счёт.

Снова дождь со снегом, и сквозь них изредка, как лучик веры, сверкает солнышко на закате. Тогда бывает очень красиво, и отпускает боль. В соседнем доме поселился художник из Ленинграда и, узнав, что я нищая и голодная, нанял меня натурщицей. Немного платит и кормит обедом (чтоб не упала), который готовит хозяйка. Я её знаю, она раньше поселилась тут из-за мужа, он сидел в нашей тюрьме. Мужа убили сокамерники, а она так и осталась. Я раздеваюсь до в чём мать родила, иногда кормлю грудью, только не понимаю — к чему всё это? Потому что у Льва Мельхиоровича на холсте, я подглядела, пока он до ветру ходил, всё одни какие-то разноцветные кубики. Но он со мной разговаривает, когда красит, спрашивает и тут же не велит отвечать, чтоб не вертелась. Чудные вы все. Но это не значит, что вам всегда всё прощительно! Глядя на него, я тоже решила тебе нарисовать что-нибудь на добрую долгую вечную память. Силь в пле: М., женщина, которую ты сделал несчастной. Прощай.

Милая Мария!

Давай дружить. Что я могу ещё сказать? Видишь, вкладываю письмо на самое доньшко новогодней, а лучше сказать — рождественской своей банде-

роли, после шоколада и орешков, и прочей ерунды, чтобы ты его не выбросила сразу. Как там: “Печку письмами топила, не подкладывала дров...” Я ем только гречку и лук, так как за прошлый год мне отдали гречкой и луку мешок. Гречка, говорят, для костей полезная, ну, а лук — от семи недугов. Луку-то у вас много, а вот гречку — скажи: выслать или привезти? Я же всю не съем, наверное. И всю дорогу снег.

Я люблю вас очень по-настоящему, Иван.

А рисунок ваш, конечно же, в рамочке и на стене, рядом с фото. И, мнится мне, он лучше, чем Льва вашего, Мельхиорыча, рыча.

Здравствуй, Ваня!

Ничего ты на наши вопросы не отвечаешь, не скажем тебе и мы — чем живём. Как бабка Настёна говаривала: поп своё, а чёрт — своё. Мы живы, и — ладно. Вмерзаем в землю. Давно такого морозища не было.

Если б я любила, как некоторые, прикладываться к “плакончику”, то с недавних дней и вовсе была бы счастлива, так как по соседству с нами часовню, могильный склеп купцов Заусайловых, что на краю старого кладбища, приватизировали и превратили в вино-водочный магазинчик “Исток”. При этом заезжие поляки такой отгрохали моднячий дизайн с неоновой витриной, что весь город потянулся глядеть, несмотря на лютый холод. Вспыхивают поочередно снаружи и внутри множество разновеликих звёзд, и народ наш молча дивится, только пар стоит над головами, да снег под валенками поскрипывает, никогда допреж такой цивилизации не видывали, чтоб вот у нас самоё. Я было попросилась у них полы мыть, да куда там, пьяницы наши за стакан и пустую посуду не то что моют, облизывают её, часовенку-то, или магазин по-теперешнему.

Мы, как ты, наверное, догадываешься, плотно перешли на гречку с луком, и решительно настроены дожить до весны и Пасхи.

С любовью к нашей великой родине, твои скромные простые друзья — Петя и Маша.

Милая моя Мария!

Почему-то больше всего люблю обращаться к тебе именно так, это звучит мягко музыкально и по-матерински. Маленькая миленькая Машенька! Я соскучился и по тебе, и по мальчику, и по вашему удивительному городку-селу. Мне кажется порою, что милая моя Москва когда-то была такою или хотя бы те её части, что прилегают к Москве-реке в центре. Я ещё помню, как мы во дворах воевали с крапивою и собирали дикую малину, в лужах водились головастики, под деревянными заборами там и сям, да и на бульваре, росли шампиньоны, а каждый магазин из разряда “Продукты” носил имя собственное, наречённое народом: “Пьяный”, “Молотовский”, “Три поросёнка”, “На ступеньках”. Рядом медленно и важно шли баржи с Волги и Оки, и на них шла семейная жизнь, сушилось бельё на верёвке, дети играли мячом, привязанным к мачте, а за бассейном “Москва” возвышались венцы Кремля, и всем было абсолютно наплевать, кто сидит под ними царьком — Хрущёв или Брежнев? Так странно, что ваш городок — ровесник Москвы, и случись что с татарами иначе, он мог бы быть столицей, а мы — деревней...

Вчера был день рождения Государя Императора Николая Александровича, и вся славная бригада художников с примкнувшим к ним альфрейщиком Лозовым, во главе с батюшкой Силуаном приняла действенное участие в молебне и крестном ходе. Собрались у закладного камня часовни в честь иконы Божией Матери “Державная” за забором разваливающегося вышеупомянутого бассейна, на месте которого стоял храм-памятник героям войны 1812 года во имя Христа-Спасителя, взорванный в 1931 году товарищем Кагановичем. Ну, ладно, не буду, всё же человек умер, и когда-то самому Сталину помогал, и неизвестно ещё, действительно ли он его отравил и говорил ли при взрыве храма, что “наконец-то мы задрали подол матушке-России”?

Жаль очень, что не было вас с Петей. Да-да, многие, нет, некоторые молодые мамы несли детишек своих — этих ангелов земных — на руках. Пи-

шу тебе это всё вследствие небольшого потрясения. Во-первых, было множество людей, причём разных, от “простых” старушек до военных в форме полковников СА и капитанов ВМФ, монархистов с портретом Георгия (это который Гогенцоллерн и живёт в Париже), казаки, конечно, много молодых людей, много хоругвей, икон и флагов, причём в пику дерьмократам ельцинско-новодворского торгового триколора не было, а несли чёрно-бело-золотой, причём у одних верхняя полоса была чёрная, а у иных — белая... Энтузиазм побеждал разум. Мне (и это во-вторых) поручили сбор средств (как в вашем бывшем хлебозаводе) на созыв земского собора и на возрождение монархии одновременно. Обклеенный белой бумагой ящичек с прорезью для денежек и верёвка на шее, как у лоточника. Сколько мне удалось собрать на возрождение — военная тайна. Пели, молились, батюшка махал кадилом, причём со Святой Земли ладан, который ещё Апостолы обоняли, может быть. И вот мы идём по набережной к Кремлю, ветерок ласковый такой, развеивает шёлк, атаманы несут портрет Государя, как икону храмовую, к нам присоединяются ещё и ещё... Так бы идти вечно, не останавливаясь, не доходя до очередного тупика!

На площадь нас не пустили, пошли закоулками позади ГУМа, вышла потасовка с ментами, чуть не драка, которой, собственно, всем немного хотелось, всё равно весело, иностранцам любопытно, молодёжь американизированная хуже иностранцев, понять ничего не может: “Кого хоронят?” — спрашивает, жвачкой своей как не подавятся? Но всё обошлось стоянием у строящегося Казанского собора, почти митингом. Нет, идти всё-таки лучше...

Идти, идти... Милая моя Мария! Зачем это я всё? Может, мне больше не писать тебе, а лишь посылать продовольствие? Всё же ведь и так ясно. Помнишь тот старый антисоветский анекдот про листовки из чистой бумаги? Но. Невозможно мне оторваться отсюда, а жить я не научусь, наверное, в ближайшие триста лет. Монах из меня вряд ли получится путёвый, знаешь лучше меня. Вот зайдёт солнце, пойдёт дождь, померещится снег, и нет надежды. Прости меня, грешного, матушка Русь!

Милый мой мальчик!

Назови хоть горшком, да только в печь не ставь. Чтобы сразу не жаловаться, начинаю думать: а что же у нас есть хорошего? Зубки режутся? Пожалуй. Клубника созрела, скоро будем молодой картофель копать, пусть ещё подрастёт немного. Колорадского жука собираем в миску с керосином, увлекательное занятие, успокаивает. При этом я не загораю, как некоторые из соседок, дабы не смущать ни конвоиров, ни заключённых. “Исток” сожгли, тоже новость хорошая. Интересно, что будет теперь в нём, в ней? “Устье”, может быть. По телевизору у сестры видала твоих гогенцоллернов. Все наши недоумевают: а чего они такие чёрные? И жирные, как мухи. Впечатление усиливаются чёрные одежды. Наверное, одели чёрное, чтоб хуже казаться, или из-за траура? Ельцин будет теперь при них регентом? А может, сразу Хазбулатова посадим на трон? Расим будет доволен. В августе, когда пойдут арбузы, он снова появится, грозил привезти мне в подарок живого барашка. Цыплят по осени считают. Когда ты приедешь, тут уже будет разгуливать по убранной ботве важный круторогий баран, да?

Ещё одна новость, не знаю — из какого разряда? В бывшем Доме пионера и школьника теперь стриптиз. Окна заклеены изнутри чёрной бумагой и сотрясаются от звуков музыки. Охраняет здание, как ты думаешь, кто? Правильно, он со товарищи. Как бывшая натурщица, имеющая опыт работы по форме одежды ноль, я бы предложила свои услуги, но боюсь, что не пройду по стандарту грудь-талия-бедро. Если уж я больше ни на что не годна... Впрочем, могу пойти на запчасти, здесь где-то ходит по городу некто, предлагает купить органы на пересадку. Пока желающих не видно, но слухи эти упорные.

В Москву ехать не хочется. Во-первых, жарко, во-вторых, страшно. Что такое альфрейка — у нас тут никто не знает, даже в соборе, где ремонт не производился с начала Первой мировой войны. Не грусти, Ванёк, прорвёмся, где наша не пропадала!

Меня обокрали, но подробности — в следующем письме. Я тебя всё равно жду и иногда скучаю. Петя бы скоро уже научился говорить “папа”, но не на кого пристреливать. Говорят, у вас теперь на вещевом рынке всего много и дёшево. Ты, если что, посмотри чего маленькому, я отбатрачу. Не сердись, что несу всякую чушь, это я так. Баба глупая, квартплату не платит, почти неграмотная (политически), чего с ней взять?

Целую, М.

Милая Мария, здравствуй!

Ты пошутила насчёт обокрали? Просто не могу представить, что они могли у тебя взять, кроме моей фотографии? Неужли часы с боем? Может быть, я шучу неудачно, прости. Жаль, что не могу теперь пригласить вас к себе, да к тому же ты боишься Москвы. Правильно, бойся. Пока всё разворачивается оптом и в розницу, в розлив и на вынос, тут творится сущая вакханалия, все эти презентации и шоу — как поминки “по самой прекрасной, по самой великой стране”. Недавно нам показали по ящику, как вывели пред камеры живую свинью, омыли в тазу, закололи на глазах у всего мира, предупредив, что эта свинья — это Россия, ни много, ни мало, затем стали резать на куски и раздавать присутствующим. Не видел бы собственными глазами, не поверил бы, как вот и ты, наверное, сейчас мне не веришь. И я отказываюсь комментировать это, не потому что мой комментарий фашисты назовут фашистским, не этого я боюсь, и не потому, что я в шоке и как оплётанный, а потому что не хочу верить, что всё это творится наяву. Впрочем, в этом унижении мы пребываем давно. Не лучше ли умереть или погибнуть — спрашиваю я, увы, у тебя. И сам отвечаю: нет, мы ещё увидим нечто иное, чего мы будем творцами. Это чувство есть в крови, как знание, как правда... И без конца эта реклама турпоездок куда-то на Канары или в Майами, к чёрту на кулички, в сторону, противоположную Воркуте и Колыме. Ясно ведь, что все, кто смотрят эту рекламу, не могут себе это позволить, а те, кто могут позволить, не нуждаются в этой рекламе. Стало быть, смысл её совсем в другом. Это, знаешь, как ещё в те года в портах нашим матросикам всучали бесплатно видеокассеты порно, или как сейчас малолеткам на дискотеках раздают наркотики. Скоро будут лить в краны отравленную воду (ты-то, слава Богу, при колодце). Неужели же, думаю я, милая Мария, все погибшие за веру, царя и Отечество, все сгинувшие в лагерях, расстрелянные в подвалах, павшие на фронте — не отмолили, не искупили революционного греха? За что Господь всё ещё гневается на нас, не прощает, не щадит ни старых, ни малых? Поневоле ноги несут в церковь, прочь от этой “реальности”. Наша жизнь человеческая это есть материализация идей... Но зачем я пишу тебе это, родная? Знаю: потому что ты единственная, кто прочтёт, услышит, запомнит, сохранит. За что мне это счастье? Спасибо тебе.

В городе, действительно, жарко, душно. Завтра мы с другом едем к его родителям в Можайск на машине покупаться, попариться в баньке. Вот бы ты была со мною! Петру — привет. Расиму — нет.

Целую, Иван.

P.S. Впрочем, если вдруг соберётесь, приезжайте, что-нибудь придумаю, перекантуемся.

Здравствуй, дорогой друг!

С праздником! Сегодня Преображение, мы впервые ходили в церковь, которую открыли в закрытом хлебозаводе. Народу было так неожиданно много, что я не стала даже пробовать войти с маленьким, а так и стояла со своими яблочками в корзинке у входа и молилась на икону Св. Троицы, что над дверями. И вот, о, чудо, молодой священник с чашей святой воды и кропилом протискивается на паперть прямо к нам и щедро так окатывает, окропляет и яблоки, и нас с Петенькой. Сын заплакал, а я прямо-таки заревела от счастья. И вокруг улыбались, смеялись, вдруг все стали такими родными, хорошими: и подростки, и старики, и женщины, все стали одинаковыми, в смысле — людьми, христианами, русскими, глаза потеплели, никто не

толкается, взгляд осмысленный, как на фресках в соборе или как на картине Иванова. Преображение, словом. И сразу резко, тот есть сильно запахла вчера ещё бывшие зелёными яблоки, запахла мёдом, зазолотились, а священник молодой всё кропит кругом и одному мужичонке аж налил за шиворот, тот довольнёшенек, и батюшка рад, что все рады. Тут и в колокола вдарили во дворе на временной деревянной звоннице, и солнце проглянуло. Смотрю я это, а в ограду-то три беленькие овечечки бегут, агнцы Божии, и откудова они взялись, ума не приложу. У многих цветы в руках, от этого мне и сладко и грустно, лето ведь проходит, утренники стали уж туманны, с прозрачным инеем на крыше, и на кустах — капельками в паутинках. Так хорошо, Ванюша, так свежо, так хочется ещё пожить и жаль, что тебя нету с нами.

А про бывшее — что ж? Есть тут у нас один по прозвищу Синичка, по фамилии, наверно. Бывший электрик, весь год ходит в резине. Он мне сам как-то раз предложил помочь по хозяйству. То замок починит, то петли, то свечи, а тут пришёл ночью во время грозы и давай требовать выпить, а у меня не было, как назло, я ему денег дала, какие были, так он, видать, и подглядел — где у меня что лежит, хоть там и нет ничего, верно ты выразился. А только от мамы осталось колечко на память, да вот ещё два ваучера. Короче, когда нас не было, он, видать, всё и вынес. Думаю — он, потому что у него, поди, и ключ должен был быть, раз уж он замок-то ставил, ничего ведь не взломано даже, и он после того случая не появляется, только мимо ходит. Я окликнула, он не оборачивается. А теперь вот и лодка пропала резиновая надувная, от отца осталась. Мы на ней за сеном ездили, бывало, на тот берег, когда козы были. Она у меня под крышей и стояла полусдувшаяся. Полезла тут траву развесить от дождя осеннего — зверобой, мяту, — а лодки нет, ни вёсел, ни насоса, всё вместе было, я ведь уже и покупателя приискала, так от него, наверно, и узнал. Заявлять я не стала, шут с ним, всё одно отпустят, он только злее ко мне будет. Ведь он и жену убил по пьянке года два уж как, вместе пили, отпустили. Она, говорит, сама удавилась. Ну, с праздничком тебя ещё раз, родной.

Пиши, твоя М.

Милая моя Мария!

Вот и осень, да вдруг такая холодная, сразу со снегом. Выпал, окаянный, ну, думаю, ща растает, навиделся я одна в Питере, как он шёл аж в июне месяце... Нет, лежит, подлец, и ещё прибывает. К чему бы это? У Белого Дома пикеты, жгут костры. Товарищи мои уж все туда сходили, да не по одному разу, а у меня ноги не идут, чувствую, что и там много всякой неправды. Меня ещё до сих пор тошнит от всех этих: станция метро “Проспект Маркса”, “Площадь Свердлова”, “Библиотека имени Ленина”... Только мы хоть от этого наваждения стали избавляться, нам снова в рожу красным тычут, не хочу. Собственно, в пикетах сидят те, кто к красному привык, а те, кто им тыкал, теперь замки строят, крепости, бункера. Всех ненавижу, а к тебе не еду яблоки грызть, почему? Чувствую, что должен я ещё здесь что-то завершить, точку поставить, не могу многоточием закончить.

Иду тут по Мытной от Данилова, смотрю, их группа направляется мрачным шагом к своему памятнику Кербеля на Октябрьской. Хотел спросить их: “А вы “Бесов” читали?” Идут, как заговорщики. Я понимаю, что Гавриил Попов и Сергей Станкевич хуже во сто крат, но так тоже нельзя. Увидел знакомого журналиста в середине колонны, хотел к нему подойти, не пускает один хлыщ: “Ты кто такой? Иди к своему Ельцину!” Неужели я на ельциноида похож? “Почему, — говорю, — вы людей от себя отталкиваете? Так у вас ничего никогда не получится”. “Ага! — возрадовался несчастный. — Ату его, ребята!” Ну, и дали мне пинка под зад, натурально.

Целую, Иван.

Дорогой Иван!

Что у вас происходит? Машины, идущие в Москву, все до единой останавливают, проверяют, подозрительных обыскивают. В тюрьму доставили

нескольких ребят, они собирались попутками на помощь “защитникам Белого Дома”. Звучит очень тревожно. Я сразу, как тот приказ опубликовали, ельцинский, почувствовала запах крови. Перед этим у меня как раз, уж признаю тебе, была полная апатия, как снег лёг на огороды, проспала трое суток кряду, а теперь не могу спать, чую, что-то будет, нехорошее. Бедой несёт, как Настя говаривала. Приезжай, милый, наколи дров на зиму, никогда не просила, сейчас молю Христом Богом: приезжай, любимый...

Твои Мария и Петрушка.

Здравствуй, Иван!

Не удивляйся, что конверт без марки и штемпеля. Я сама своей рукой опустила его тебе в почтовый ящик, что приколочен у тебя почему-то прямо на двери, хотя внизу в подъезде есть ещё один, вместе со всеми квартирами. Этот ты оставил как печаль по прошлой жизни, сознайся? Увы, этим её не воротить. Да, впрочем, её ничем не воротить, прошлую жизнь. Я одна, без Петрушки, вот и философствую. А он у сестры, разумеется. Как только всё это закончилось, весь ужас, комендантский час, я вот приехала и стою под дверью. По моргам искать тебя не буду, не надейся. *Всех телефонов твоих номера обзвонила: или не отвечают, или не знают, где ты? Ты бы хоть словечко одно кому-то, если не мне, сказал. Ты эгоист, никого не можешь любить. Почему ты такой, противный?*

Целую, Маша.

P.S. И пожалуйста, не пиши это своё дурацкое “милая”, осточертело.

Милая моя, дорогая, родная, любимая!

Не ругайся, тебе ругаться не идёт. Не сердись, прости дурака. Я, действительно, противный эгоист и всё прочее, но каюсь в этом и даже прощён и причащён. Думаю, что теперь уже можно открыться. Всё это время я жил в монастыре на острове, помнишь, я рассказывал. Сожалею, что и из тебя сделал невольную монашку, нет? Занесло нас там снегом по самое некуда, лопатой остров не шибко-то расчистишь, а он всё идёт и идёт. Уж решил, что засну в сугробе, как медведь до весны, ан нет, вот я дома и распечатываю твоё сердитое письмо, ух, аж искры сыплются! Ну, раз так, то придёт-ся всё выложить, другой раз не соберусь, ведь собирался многожды. Ты тоже не удивляйся, что письмо это получишь прямо в белые руки, а прочитав, и сожжёшь. Пообещай сейчас же, а потом читай. Ну вот, умница, дай я тебя за это поцелую, в ушко.

В тот солнечный день с утра, как все, я поехал-пошёл в церковь, а вернее сказать — в собор, в Патриарший Богоявленский, что в Елохове. Войти внутрь уже нельзя было, я встретил кое-кого у входа и потом с ними поехал вдруг за город копать картошку. Мы, видишь ли, ждали у собора, не объявит ли Патриарх анафему, и не дождались, не объявили ни тогда, ни после. Заболели и Патриарх, и аз, грешный, об этом см. ниже. Почему-то мы мало дорогой говорили о том, что происходит, а я и вовсе вопросов не задавал, мне только хотелось на воздух, на свет, на волю, в тишину. Неужели мы втуне надеялись, что всё рассосётся, или шок от наступающей беды уже наступил тогда? Интересно, если есть судьба (суд Божий), то печать смерти может чувствоваться здоровыми людьми за день, допустим, или за полдня? Мне почему-то кажется, что мы чувствовали приближение смерти, пусть даже не своей, чьей-то, поэтому и не говорили об этом. Собственно, один из той машины уже умер, сердце не выдержало...

Знал, что и без меня обойдутся, обкричатся (а мне всё было некогда), но что не останусь в стороне, когда будет стыдно не идти, оставаться в тёплом доме у телевизора. Честное слово, меня Ангел-Хранитель спас, что я живой. Я простудился сильно на ветру и заболел, но если бы во второй раз... Впрочем, нет, такого второго раза не будет, будет что-то другое, но будет обязательно. Ты не думай, я был там и остался бы до утра, а значит, и навеки, но не сложилось. Возбуждение моё было так сильно, что я не сразу понял, что заболеваю, и, добравшись до дому, переоделся очень легко, не соображая, что иду в ночь. В метро всё как обычно, только, как и в августе

91-го, расклеены повсюду проельцинские листовки с ошибками, написанные не по-русски русским шрифтом. Что-то там про красно-коричневых.

Много полупьяной не по времени, весёлой молодёжки, словно применено было (да, снова и опять!) психотропное оружие, даже нормальные граждане нервно улыбались. Что-то близкое к лёгкой вялотекущей истерии. Зато, выйдя со станции “Баррикадная” (вот уж поистине мистика, а впрочем, для них, сук, спровоцировавших первую народную кровь гражданской войны, которая, несомненно, началась за 12 лет до февраля 17-го года, это место Красной Пресни стало сакральным), я увидел всё иное, уже на эскалаторе перед выходом. Все быстрым шагом устремлены — туда! В точности, как у Хлебникова: “Все за свободой — туда!” Никакого оцепления, и это была заманка, ловушка, значит, уже решение о расстреле было принято окончательно. Жаль, что я не кинооператор, не журналист, не фотокорреспондент, мне кажется, я смог бы сделать хорошие съёмки, если бы снять всё так, как видели мои глаза! Собственно, я увидел то, что представлял себе и так. Здесь были все. Я имею в виду — те, кто сознаёт себя частью сердца русского народа. Были и другие, они-то как раз много снимали на video, то и дело меня ослепляли блицы фотокамер в упор. Но те эти, мы, русские, и это главное, — пришли сюда не убивать, а быть убитыми. Это надо понять и крепко запомнить. Пришли принести себя в жертву. Я видел только один АКМ, им потряс над головой кто-то серенький с балкона, чего-то прокричал, и ему слабо ответили. Хмурые казаки у костра, почерневшие за долгие дни и ночи от холода и пыли, не отвечали на мои вопросы. Были дети и подростки, нет, не те зомби из метро, что аплодировали наутро выстрелам на мосту, а моложе их, лет десяти, и много! То есть — поверившие родителю, а не СМИ. Старики многие надели ордена и медали. Снова уйма плакатов, лозунгов, знамён, портретов... Вынырнул И.: “Надо идти на Кремль, звать народ брать Кремль, чего тут ждать?” Но ждали команды вождей. Кого? Думаю, никто не связывал Верховного главнокомандования ни с кем конкретно, ни с Руцким, ни с Хасбулатовым, ни с Очаловым. Может быть, потому и не могло ничего получиться, что не было лидера. Мне кажется, что если бы вместо того серенького с АКМ вышел бы на балкон, ну, хотя бы Игорь Тальков, то и пошли бы, и взяли бы голыми руками. Увидев Анпилова, я бросился к нему, хотел просить его провести меня в Дом, и он бы провёл, и я бы остался внутри, но опять Промысел не пустил меня: я забыл его имя — Виктор, а по фамилии окликнуть воспитание не позволило, пока вспоминал и сомневался — три секунды, он затерялся в толпе. Стал обходить здание кругом; с фасада, как на обратной стороне луны, холод и мрак, и — никого. Вот тут-то я и почувствовал, что заболел, и что всё у меня ледяное, руки, ноги, спина, словно я в одной майке, а не в куртке...

Я злось, но горд, счастлив, что стоял в строю, и этого у меня уже не отнимешь, я был готов, я шёл на смерть за Русь святую, за её правду. Но теперь я еду домой, чтобы переодеться, наконец, по погоде, выпить горячего чаю и водки и, пока метро это ихнее треклятое не закрыто, ехать в Останкино самому. Оглядываюсь в последний раз на волны людские вокруг Дома, море, которого я минуту назад был каплей, волнуется, волнуется, но что-то не так. Нет веры, общей для всех, нет явного врага, нет и царя в голове. Будет, нет ли? Было ли?

Дома — телевизор, в телевизоре — Сорока. Ух, как же я её теперь ненавижу! И ведь всё от глупости. Предательница, да, ведь бабу-то куда как проще им обмануть. И — “куда чёрт сам не поспеет, туда бабу пошлёт”. Глаза помешанной и стеклянные, навывкате, с губ капает ненависть. Говорят, что расстрельные команды у нас любят составлять из женщин — у них психика меньше страдает. Один тут атомщик мне в вагоне рассказывал, что на станции у него все контролёры на постах — женского полу, бдительности втрое больше, а мечтательности вчетверо меньше. Боюсь я их...

Сажусь с чаем и водкой у телевизора, беру с собой на диванчик телефон, хочу ещё кому-то позвонить, но чувствую, что очень плох, не соображаю. На экране Кругов, долго не решается начать фразу, видимо, понимая, что больше одной фразы в прямом эфире сказать не дадут. Не дали и полфра-

зы. Только он: “Народ устал...” как тут же и вырубили, тёмный экран, без всяких заставок, словно нас всех накрыли медным тазом, захлопнули...

Потом я впал в забытие. Почудилось, что за окном стреляют, от этого и проснулся? Померял температуру тела — 38,5, это утром-то, что же в полночь было? Как в бреду — или в бреду? — звоню знакомой врачихе, она долго и нудно объясняет мне, как лечиться, а я вдруг бросаю трубку, потому на экране — расстрел начинается, представляешь?! Руки безвольно опускаются. Значит, это был не сон, и стёкла слегка, как осенние листья, на самом деле подрагивают от залпов орудий. Может быть, кого-то уже и убили? Всё доходит постепенно, а их-то уже убили сотни, моих-то родных, наших-то, детей и женщин, стариков и молчаливых безоружных казаков...

Милою я тебя всё равно буду звать, как ты ни сердись, потому что ты милая. Мария, что мне делать, как жить? Зарекался не жаловаться женщине, не искать у женщин помощи, не просить совета, и сейчас не это я делаю, но — ответь, ты же ведь умная, хорошая, добрая.

Милая!.. Твой И.

Родной мой!

Что тебе написать? Про Петра ты уже не спрашиваешь, с новым годом не поздравляешь, ни с Рождеством, понимаю, у тебя шок, и у меня — шок, от тебя. Где это тебя черти носят, э? По монастырям, по электричкам, я уж не говорю про твой *великий октябрь*, будем разбираться особо. Избави Боже, не подумай чего, я имею в виду, что переживала за тебя страшно. Милый, смешной дурачок, хватит воевать с ветряными мельницами! Здесь, на окраине, есть две души, которые тебя искренне любят, и у них тепло (хотя дров ты так и не наколот, а обещал!). Приезжай хоть на сколько-нибудь, я на всё согласна, всю-то ты мне уже душу истомил, уж я иной раз думаю: а есть ли Иван на свете или это его брат пишет похожим почерком: “У вас продаётся славянский шкаф?”

Мария.

Дорогой Иван!

Уже две недели как послала тебе письмо, и ответа нет, и не знаю, когда он придёт — завтра, сегодня, через месяц или год? Если б ты знал, как это тягостно, ведь у меня никого нет, ты не веришь, смеёшься...

С этой записи прошло три дня. Увидела это своё письмо как чужое, так странно, будто не я писала, хотела порвать, но вот — сохраняю.

Умираем с голоду.

Твой Мария и Петя.

Дорогой Иван, здравствуй! Петрушка болеет, поэтому я коротко. Поздравляю тебя с днём рождения, желаю, чтоб всё у тебя в жизни наладилось. Дай Бог тебе здоровья и жену хорошую, весёлую и непьющую. И чтоб ты был розовый и ласковый, как поросёнок на этой открытке.

Мария.

Милая моя Мария!

Получил твоё сердитое поздравление, спасибо тебе человеческое. Как сынуля? Надеюсь, поправился. Во что бы то ни стало должен приехать к вам, хоть кровь из носу. Только не говори, что я никому ничего не должен. Должен. Кажется, у меня появилась копейка, на днях вышлю вам небольшую бандерольку.

ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Целую крепко, ваша репка!

Дорогой Репка!

Спасибо за бандероль, которую, признаться, мы не ждали с самого начала, но, конечно, она могла и затеряться где-нибудь на просторах седьмой части суши. Спасибо за сочувствие, спасибо за советы, за оптимизм, за от-

кровенность, словом — спасибо за всё, за то, что Вы есть. Как много поводов сказать Вам спасибо, а ещё спасибо нам за то, что Вам ещё есть кому морочить голову. Очень жаль...

Написала и прочитала Пете, он смеётся, и правильно.
М.

Маша!

Короче, я днями выезжаю к вам. Ладно, Мария! Я еду! Еду! Уже билет покупаю! Ваш дорогой Иван.

Мария, Мария!

Эти дни жизни, что я прожил у тебя... я считал каждый час за счастье, каждую минуту.

Обожаю тебя!

Иван.

Милый!

Соспели антоновские яблоки. Я их на тёрку и с сахарным песком даю нашему Пете. А ты любишь печёные. В печке получаются на загляденье. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит, верно? Спасибо за признание в любви. Может, ты редактором в нашу многотиражку пойдёшь, там есть вакансии, я узнавала. В отдел рекламы. Ваня! Позвони, пожалуйста, вызовом через почту, ладно? Я беременна.

М.

От кого?

Ты знаешь, я могла бы ничего не писать, не отвечать тебе, могла бы (и это было бы правильно). Я не хочу быть злой, мелочной бабёнкой, которая во что бы то ни стало должна отомстить мужику, но, прости, я не могу доставить тебе такого удовольствия. Да, я сделала аборт, и теперь я думаю, что я сделала бы его и в том случае, как если бы ты был рад и прочее, но не переменял бы ни жизни, ни мыслей. Поступай, как хочешь, живи, как хочешь, всё это не имеет уже никакого значения. Я не проклинаю тебя, но и не жалею.

Мария.

Дорогие Мария и Пётр!

Желаю вам в новом году здоровья и мира! Пишу из Моздока, где работаю санитаром. На фото я с гранатомётом, не пугайтесь, это я так просто. Больше пока ничего сообщить не могу.

Прощайте. Иван Лозовой.

Здравствуй, Мария!

Пишу тебе из госпиталя, того же самого, где я работал по найму, а теперь сам лежу как стационарный больной. Ничего серьёзного: бандитская пуля. Если честно, по глупости ранило осколком. Больше пока написать не могу, иначе письмо не дойдёт, вся почта проверяется, и это правильно. Вообще говоря, когда я ехал сюда, мне хотелось героически пострадать, а теперь вот захотелось снова жить, тем более — весна. Что меня здесь больше всего удручает, это то, что наши солдаты, офицеры и гражданские покупают и слушают аудиокассеты с чеченскими песнями на русском языке, да ещё и везут их домой в Россию (так говорят, будто бы здесь не Россия, а Турция). Если ты мне ответишь, я напишу тебе больше. Мой адрес на конверте. А это фото Грозного, на этом месте... впрочем, ладно, потом. Как Петя? Надеюсь, вы здоровы.

Иван.

Здравствуй!

Вернее — выздоравливай. Пора, пора уже, друг мой, образумиться. Поздравляю тебя с юбилеем великой Победы. На 9 мая весь город собирается

выйти на улицу. Это будет нечто вроде мирного протеста против нынешней власти, которая, похоже, не знает одного, — кому скорее продать страну с потрохами: немцам или японцам?

Петрушка провалился на дворе в сортир, но, слава Богу, соседка услышала, и мы его быстро вытащили. Теперь он снова ходит на горшок. За стеной арестанты разучивают строевую песню: “Этот праздник со слезами на глазах”, орут во всю глотку, как ослы, не иначе с ними репетируют палкой по пяткам. И ты там скоро будешь, если не переменишься, это я тебе обещаю, не желая этого.

М.

Здравствуй, Мария!

Спасибо, что написала. Как видишь, я пишу уже из дома, жив-целёхонек, правда, открылась язва, и теперь, как велел военврач, пересматриваю философию жизни, глотаю таблетки и запиваю молоком. Надолго ли меня хватит, не знаю. Чего-то не то, как у Василия Макаровича в рассказах: “нечем заполнить вакуум”, с одним “у”. Поэтому, наверное, снова буду курить, хоть и не хочу, а надо. Иначе не успокоиться. Хожу по Москве-матушке, смотрю на дома и думаю: “А ведь придёт беда и сюда, будут гореть и взрываться эти коробки, если ничего не делать”. А в Чечне, отсюда я уже могу написать об этом, генералов наших бьют по рукам, не дают завершить начатое. И нигде никто не скажет, не вспомнит, что война-то была в Чечне гражданская с сентября по декабрь 94-го, и так же её ввозили из-за бугра, как здесь в 1905-м или в 17-м. Что русские сидят у них за каменными заборами на цепи, что женщине нельзя показаться на улице, что врываются в дом ночью и грабят, насилуют, убивают детей. Это же помешательство, психоз массовый, и это происходит на глазах у Европы, и она только рада, показывая на нас пальцем, будто в ней этого нет и не было, будто не из неё выползали все ереси и все прогрессивные гуманные идейки, разрушавшие мир, подлостью и ложью, клеветой и коварством удерживающие их власть в мире. Эх, кабы не видеть всего этого! Нет, невозможно снова стать несмышлёным ребёнком, проваливающимся в сортир. И ведь всё готовится здесь, под Кремлём! Скажи-ка, дядя, ведь недаром Склады оставлены Гайдаром? Имеются в виду склады вооружения, базы автотранспорта, техники, патроны, снаряды, ракеты, средства связи и средства защиты, медикаменты, сухое продовольствие, консервы, обмундирование, всё оставил шепелявый, земля ему пухом! И никто ведь не подойдёт и не даст ему по порослячьей рожице, даже щелчка по толоконному лбу не забубенит. Правы, правы чеченцы, бросая нам в лицо свои гневные обвинения: вы спите, вы пьёте, вы продались американцам! Да, они многие искренне думают, что воюют не с русскими, а в нашем лице с мировым злом. Их ярость — это ярость Аттилы, который говорил о себе: “Я — бич Божий”. Не будет у нас Веры, не будет Царя — ничего не будет! Не мне пророчествовать, но я всё же был там, всё же сделал попытку, а кругом миллионы равнодушных, и на кого они уповают?! Я бы согласился с одним журналистом, написавшим статью “Нам нужна победа”, если бы мы имели волю и христианское войско. Он мне так говорил на дороге в Урус-Мартан: “Мы имеем право на победу, потому что наша брань не против крови и плоти, но против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных”. Вообще-то, это Апостол Павел... Но, увы, я не вижу этого сознания у властей.

Вот Петя твой в отхожее место провалился, а я хуже весь извалился в безверии и не отмыться ни в какой бане.

Иван Л.

Иван, ты знаешь, я не знаю, — зачем мы тебе нужны, но думаю, что, наверное, прости, если я ошибаюсь, — для какой-нибудь чернушной книги, которая никогда не будет ни написана, ни издана и потом выкинута кем-то равнодушным из твоего изъеденного жучком стола, да? Этого тебе надо? Вы интересный человек, Иван, раз у Вас такие фантазии, но что же дальше? Мы бы не хотели терять Вас.

Ты знаешь, Иван, наверное, и я должна попросить прощения у тебя за всё, что случилось, ведь я тоже виновата. Только, ради всего святого, это не повод, чтоб тебе опять напиваться и драться.

Прости. Я не хочу, чтобы в самом деле из-за меня, даже косвенно, ты был бы подстрелен или посажен. Я хочу, чтобы ты всё же успокоился, остепенился, взял себя в руки. Хорошо бы тебе жениться, не знаю — на ком? Влюбился бы ты, что ли, ведь ты умеешь влюбляться! И работал бы. Займись чем-нибудь одним, ради Бога!

Вчера ходили с Петрушей на полиелей, я наклонила его под мышки прикоснуться к Евангелию, а он взял его обеими руками с аналая. Нас отругали и чуть не выгнали, а я, дура грешная, подумала, что, напротив, он к Господу тянется.

А тут ещё что: на кладбище-то нашем совсем курьёз приключился, хоть мне очевидцы говорят, а я почти не верю. Михеич, бухгалтер нашего РЭУ, схоронил сына, а на другой день выкопал из могилы, из гроба вытащил, ко кресту спиной прислонил, труп-то, достал бутылку водки, разлил по стаканам и давай с ним разговаривать, чокаться, выпивать... Его увезли в психиатрическую. Тихий такой был всегда, вежливый. У людей крыша едет от всего. Кто-то надеется на лучшее, а мне кажется, что всё только начинается самое худое. Я гляжу на всё кругом, думаю-думаю, и ничего понять не могу: что происходит?

Мария.

Дорогой Иван!

Если от тебя нет ответа, значит, ты или запил, или влюбился, или слинял в монастырь, или сел. Да? В общем, я надеюсь, что ты не в Будённовске, что у тебя не холера, что ты, может быть, решил жениться (кстати, в нашем ЗАГСе заявление для вступающих в брак стоит всего 15 (пятнадцать!) рублей). А мы с Петрушей собираем урожай.

Пиши. М.

ИНОЗЕМЦЕВОЙ МАРИИ ЖДИТЕ ЗАВТРА ПАССАЖИРСКИМ ИВАН

Дорогой Иван!

Ты уехал, и снова пусто и скучно, тем более, как ты велел, я уволилась под расчёт, забрала Петрушку из садика и сижу, курую. Первые дни было покойно и светло, осень ясная, выйдешь на двор, звёзды ярко сияют близко, на душе радостно, и ничто плохое её не смущает, а дни прошли, на улице ноне дождь, ветер, даже сына гулять меня не тянет. Спрашивает: "Где тата?" Это ты, значит. Какое-то индейское имя у тебя, племени апачи: Тата! Уж больно ему понравилось с тобой в пуговицы играть. Их же много у меня скопилось. Поди, и музейные есть, такие баские. Ваня! Что-то долго опять письма нет, как договаривались, уж я ящик-то почтовой до дыр проглядела. Ау, братец, скорее же!

Целую, твоя Маша.

Маша, милая моя Маша!

Я жив. Отседел в Лефортове тридцать суток по подозрению, больше месяца без обвинения по закону нельзя. Теперь можно об этом, но подробности при встрече. Шняга порядочная. Били кумовья каждый Божий день не по-школьному, и в печень, и по почкам, и в рыло. Сам на себя удивляюсь, но не раскололся и не сдал никого. Ну, опустить не опустили, но под шконку затолкали раза, сучары. Бог им судья. Харкаю кровью до сих пор, худ и бледен, аки гриб поганый или лорд Байрон, но опосля Чечни мне всё это ничего, то ли видели! Целый месяц скучал сильно и понял, как я к вам привязан. Спасибо за беспокойство, за письма и молитвы, я чувствовал их сквозь стену, к камням щекой прижмётся, а они как живые, аж тепло от них идёт. Вот так, родная моя! Прости за всё.

Скоро свидимся. Иван.

Ваня, ну что мне с тобой делать? Хоть бы в Африку сгинул, уехал в Израиль, к чёрту на кулички, всю-то ты мне душеньку извёл! За что мне это наказание, Боже, Боже, за что?

Привет из Сингапура!

Я в шоке, я в шоке, я впервые за тремя буграми. Везу ананасы и обезьяну. Сегодня ездил на слоне, нас с ним по улице водили. Крестиком — окно, где я живу. Жди две недели. Здесь любно вас ещё больше. Целую, не волнуйся, прорвёмся: где наша не пропадала?

Always yours — John Loz.

Иван!

Ты кто по жизни? Нет, ты мне скажи: ты, по жизни, кто? Я уже стараюсь вовсе о тебе не думать — не получается.

Вчера сосед застрелил парня, молодого мужчину, забравшегося к нему в огород. Чего он хотел найти под первым снегом — трудно сказать, но нашёл смерть. А сосед пока переместился из-за правого забора за левый, тюремный. Но говорят, что его отпустят, у него охотничий билет и его земля...

Прости, открыточку твою оставила без комментария. Приятно, конечно, только я ничего уже в толк не возьму. Сингапур так Сингапур, слон так слон.

Целую, М.

P.P.S. А изотопы в колбах не ты ли контрабандируешь? А на Шевардадзе покушение не ты организовал? Пожалуйста, лучше уж не пиши мне ничего и не рассказывай, я буду бояться спать с тобой. Иной раз и подумаешь: лучше бы он пил, как все...

Милая моя Мария!

Всё ждал такого светлого дня, когда все мои чувства войдут в меру, и я смогу спокойно выложить тебе все свои сокровенные мысли, но — увы, такого дня Господь мне не даёт. А посему — какой есть, такой есть. Как я себе надоел! Думаешь, кокетничаю? Ничуть.

Маша, нам надо расстаться, это продолжаться не может. Я занимаю место в твоей душе, даю надежду, но ничего не оправдываю из тех надежд. Брось меня, я сам не могу не думать о вас в бесплодной мечте, но нет, мне не оставить своей гнилой несчастной непутёвой безблагодатной жизни “столличной”.

Машенька, милая!

С Новым годом, дорогой наш Иван Батькович!

Человек ко всему привыкает, говорят. Мы тоже люди, тоже привыкаем, ибо живём не на солнце, на земле, и деваться нам некуда. Работы я снова лишилась, закрыли контору, в которой я мыла полы. А кушать хочется, между тем. Спасибо, Геннадий помог, не смогла отказаться. Надеюсь, на этот раз ты обойдёшься без скабрезностей, милый?

У нас нынче как-то особенно холодно, с промозглой сыростью, это тянет с реки, а за рекой болото, но ощущение такое, что с кладбища или сквозняком из тюрьмы. Наверное, нервное. Помнишь, ты читал вслух Лескова “Соборяне”: “И что это за стервы такие нервы, и почему их раньше не было?” Так что готовлюсь к смерти. Думаю, что тебе отписать в духовном завещании, не удумала, подкажи. Может, Петрушку самого? Не дождётесь!

А приезжай, ежели чего, рады будем, нам теперь всё равно.

Целую, Мария. С наступающим Рождеством!

Милая Мария!

Во-первых, спасибо тебе за письмо, я каждый раз удивляюсь, когда получаю его от тебя, потому что слишком ясно осознаю, что у тебя нет никаких обязательств, как это и должно быть в настоящей любви, которая свободна по самой своей сути. Ладно. Когда я вернусь к вам и поселюсь на огороде в заброшенном курятнике, а это произойдёт рано или поздно всё равно, то курятник этот (он же заброшен, верно?) я переделаю в крольчатник,

совершенно серьёзно, я всё обдумал, потрясающая идея, гениальная и про-стая, как колесо! Только сейчас я приехал с такого хозяйства, всё видел сам. Мария, это наше спасение, мы будем разводить кроликов, ушастиков, усатеньких, прожорливых, а их помёт весь пойдёт на первоклассный навоз для огорода. Мясо и, главное, мех мы продаём, всегда сыты и здоровы, гостям рады и сами размножаемся в геометрической прогрессии. Зверёк неприхотлив, мясо нежное, калорийное, экологически чистое, а чтоб мех был стойкий, ноский, с блеском и пр., надо знать секрет. Он в Питере у одного русака, уже есть номер телефона и адресок, он занимается этим всю жизнь, сам издал пособие с чертежами (очень важно, например, держать кролика на сухом, чтоб всё из-под них проваливалось на силос, и следить, чтоб не разлились одним вирусом, об этом после, людям этот вирус не передаётся, а жуков твоих они всех мигом сощёлкают), с видеокассетами и проч., всё в комплекте, потом он приезжает лично с инспекцией и, убедившись, что всё ладно, дораскрывает секрет, причём объявил, что только таким же русакам, и за границу патент не даёт, всё про всё стоит всего \$200 вместе с инспекцией. Заключает договор, берёт на гарантию и, в случае чего, выезжает единым духом. Я абсолютно уверен в удаче: поначалу возьмём помощника или компаньона, сторожить сами будем! Целую, люблю вас безумно, соскучилась страшно, верь мне, милая, ты самая-самая замечательная на свете женщина, лучше тебя разве что, может быть, только Солнце, и то потому только, что оно (он, она) дало тебе жизнь. Единственно, думаю, где занять баксы? Иван.

Братец Кролик!

Для того, чтобы заводить себе подобных, нужны не инструкции и клет-ки и хорошие соседи, а воля и целеустремлённость во что бы то ни стало до-вести дело если не до конца, то хотя бы до начала. Ничего этого у нас нет. Я же не собираюсь вытаскивать из-под твоих гетеросексуальных братьев, ес-ли вдруг не провалится само, ты с этим дело не имел, а я слишком хорошо знаю, и Петя не будет, он будущий астроном — любит глазеть на звёзды.

Так сказала бы я тебе, если бы ты был рядом, и если бы в этом возник-ла необходимость, но — нет! Ласковый ты мой, пушистенькой!

Устала. Мария.

Милая моя Мария!

А я сегодня видел Ельцина, вживе, на расстоянии вытянутой руки, та-кая нам выпала планида. Неужели же он снова выберется? Это живой труп. Он подряд несколько раз повторяет одно и то же, причём слово в слово, как бракованная пластинка, если бы не был свидетелем сам, не поверил бы. За-кончит фразу, обведёт всех вокруг стеклянным взглядом и говорит сначала, типа “у попа была собака”, но ведь не детские же игры играем, война идёт. А все вокруг улыбаются, ибо он ещё вроде как шутит при этом, делают вид, что так и надо, что ничего особенного, кивают, как китайские болванчики!

Не получится, говоришь, с кроликами? Не знаю, я серьёзно настроен. А как жить? Помнишь, в “Калине красной”: “Никем я не могу быть в этой жизни, только вором”? Ну, а я и вором не могу. Я скоро приеду, не могу я здесь больше. Примете? Привезу много ивановского ситцу, мне тут почти по-дарили на реализацию, почти ворованного, пересортировка или пересорти-ровщица, пересортица...

Для астронома Петра припас осколок метеорита, энергетический.
Обнимаю крепко, Иван.

Милая Мария!

Твоя фотография предо мною, а под ней — свечи огарочек. Жди меня. А я снова в Чечне, по контракту, да, поехал за рублём, а что делать? Но, в действительности, должен же мужчина время от времени совершать муже-ственные поступки. Сегодня у меня сильно разболелась спина, радикулит, сколиоз и остеохондроз, всё сразу, меня оставили. Дышать нечем, воздух грязен, как поцелуй прокажённого, какая-то смесь нефтяной гари, порохо-

вого дыма, раскалённой взвешенной пыли, и липкая вдобавок словно какая-то. Спасаясь минеральной водой “Меркурий”, а из крана пить нельзя. Ключ к пониманию того, что здесь происходит — портрет Ленина, приклеенный к стеклу автобуса изнутри на маршруте в Грозном. И никто его не думает срывать, заметь. Потому что та революция их объявила людьми первого сорта. Не то чтоб уравнивая с русскими, а поднимая выше русских в каком-то смысле. А Сталин выслал в одночасье в казахские степи, и его они, конечно, ненавидят. Я грузина спросил: как они к ним относятся? Хорошо было, говорит, пока они в Абхазии не стали воевать против нас, грузин. То есть он тоже со своей колокольни судит. На улице встретил родного брата Хазбулатова, нёс абсолютную ахинею, набор учёных слов, горе от ума, причём поток был бесконечен. Пока мы его слушали, вокруг нас собралась толпа, в основном, подростки, и вот, когда он захлебнулся, наконец, собственным черноречием, они стали дружно галдеть все одновременно, как стая галок, и с трудом можно было понять одно: вами правят евреи и Америка, а вы, как бараны, выполняете слепо чужую волю, и ничего своего у вас не осталось, вы всё предали — и веру, и царя, и Родину, ваши женщины все проститутки, а мужчины — тряпки! Признаться, жутко было и стыдно. Нас не оплевали, не побили камнями, но я шёл, как оплыванный, а дома, в лагере что: пьют, воруют друг у друга, слушают жуткую музыку западную, чеченскую и “нашу”, смотрят ТВ, слушают Миткову, Сванидзе, Познера, матерятся без конца, плюют на пол... Если есть приличный человек, то почти наверняка — сектант...

Вот, моя милая девочка, видишь — яку гарну закорюку выдала рука казачка: это рядом разорвалась мина, а один тут новенький журналистишко, пока она с визгом падала, от страха под стол нырнул, чуть не перевернул всё на нашем скромном столе. Мы-то к минам этим уже успели попривыкнуть, это чаще имитация, на испуг берут, есть такие у них страшилки турецкого производства. А то ещё собаки, или, как сосед-поляк говорит — “псы” — рвутся на растяжках. А вообще-то говоря, я не встречал ещё от мирного населения явных проявлений враждебности. Неужели же они такие все скрытные и коварные? Не верится что-то, чтобы весь народ так гениально по-мхатовски играл роль, им тоже эта война как... Но когда мы вернулись с центрального рынка живыми, то нам сказали: “Повезло...” Потому как по два-три раза на неделю на рынке убивают в толпе русских в форме. Подойдут сзади и сунут перо в бок, и искать преступника (героя) — бесполезно. А мы в первый же день по незнанию попёрлись — крем покупать от загара: тут солнце кусается нещадно, словно оно (он) ближе на несколько млн км. Я обгорел, но уши пока на месте. На сегодня, пожалуй, всё, пора отбиваться.

Вас нежно целую и желаю всем нам победы, потому что “брань наша не ко плоти и крови, а с духами злобы поднебесной” (Ап. Павел).

Обнимаю крепко, люблю, как в последний раз.

Иван Лозовой.

Милая Мария!

От тебя ни ответа, ни привета, думаю, что и ты моего письма не получила. Бойцы бают, что письмам нашим кислород в обе стороны перекрывают, если там им хоть слово не понравилось. Поэтому это пересылаю с оказией из Ростова. Я всё же хотел тебе описать, как к нам Ельцин прилетал на вертолёте. Знаешь, “и бесплатно покажет кино...” Вот он и показал кино. Бесплатно. Он же заговаривается, Маш, он же уже давно не человек, зомби, биоробот. Или ещё что. Говорит с Завгаевым (это не значит — Заведующий Гаевым, а фамилия такая, Завгаев) и рассказывает ему, как был в Правобережной станице, и точь-в-точь одну и ту же фразу дословно повторяет по два-три раза. А если это подобие шутки, и все, начиная с Завгаева, должны в ответ смеяться, то вот и смеются по два-три раза кряду. При этом взгляд у самого хитрый и умный (про “злой” я уже не говорю, он нечеловеческий, по ту сторону добра и зла). Дурит он, что ли, всех? Надо тебе признаться, что я тут смалодушничал. Когда он шёл со свитой вдоль казарм, а я затесался промеж всяких, то чётко наши взгляды перекрестились. И я про-

тив своей воли не выдержал, криво так улыбнулся и кивнул: “Здравствуйте, мол, Борис Николаевич!” Конечно, вспоминается встреча... И главное, его взгляд поплыл без запинки дальше, не споткнувшись ни на ком, ни же на мне, грешном, и для меня тут загадка. Видел ли он меня? Я-то почему кивнул и улыбнулся? Именно потому, что мог не кивать и не улыбаться вполне безнаказанно, и тем самым его унижить по-человечески, он в этой ситуации более уязвим и незащищен. А это-то, с моей стороны, и была бы самая форменная подлость. И потому я сделал это по-общечеловечески, будто бы он не президент, а я не безработный, а так мы, два человека. Это я всё ещё должен додумать, а может, ты мне скажешь, что это было, ты ведь меня иногда лучше знаешь, чем я себя сам. Верно?

Тут многие, особенно мальчишки, кричат, что будут голосовать за Дудаева, и при этом смотрят с вызовом, что, мол, скажешь — мёртвый он или убит? Но я молчу, конечно. Хотите верить, что Дудаев жив? Пожалуйста. Ленин вон тоже жив.

Считают себя арийцами.

На сегодня всё, моя хорошая, люблю тебя, скучаю. Иван.

P.S. Ну, вот, не успел письма отправить, а уж СМИ сообщили, что вся Чечня проголосовала за Ельцина, 100%. Интереснее того, если вся Россия так же. Тогда можно будет сказать, что не Чечня — это Россия, а Россия — это Чечня.

P.P.S. Принимаю командирское решение — увольняться. Это здесь теперь единственный шанс получить хоть какие-нибудь деньги.

Вольноопределяющийся Лозовой.

Дорогой мой Иван!

Лето проходит, тебя нет. Пётр уже не спрашивает, когда ты приедешь, поэтому я и портрет твой с шифоньера сняла и убрала в ящик под бельё (ну, чтоб мягко, чтоб не подавилась). Ныне урожай яблок, на Яблочный Спас в соборе стоял запах, как в саду. Интересно, если мы с тобой и все — от Адама и Евы, то все эти яблоки, они от того, которое она дала ему? Варю варенье из твоего сахара, 50 на 50. Что в Чечне-то, а? Спасибо, что сообщил через Кольо, что домой едешь, а не то бы я ещё мучилась, что ты ранен или в плену. Что ты жив, это я чувствую. Как же им не стыдно всем, особенно Лебедю? Тут у меня один знакомый, не буду называть имени, тоже контрактник, вернулся из Владикавказа из фильтрационного лагеря, говорит, что ничего не стоило их раздавить, но не дают. Это же болячка, которую замазали, а болезнь осталась, и проявит себя в другом месте, в самом неожиданном, и ещё сильнее. Это тут рядом Филипп Матвеевич живёт, бывший тюремщик, у него стал глаз гноиться, левый. Течёт из уголка слизь такая серая, все веки слиплись от ней. Дали ему софрадексу, прокапали пару раз, так гной перестал, а ухо оглохло. Пришёл давеча из поликлиники с диагнозом подострая тугоухость. Дырку заткнули, а хворь-то осталась, вылезла иначе.

Ой, Петька спит, а я пером скрябаю, он теперь со мной спит рядом. Вот я с ним лежу, и мы дышим в унисон, одним сердцем. Он мне так и сказал: “Мы с тобой, мама, одно”. Представляешь? А то он вскрикивать стал во сне, и ещё мочиться иногда. Так я на его краешке клеёночку стелю под простынь, а что ж делать? После того случая с каракуртом я думаю, что уж лучше пусть он, поганый, меня ест, чем Петьку, я девка съедобная. А правда, что нашли следы разумной жизни за пределами солнечной галактики? Филипп Матвеевич читал, что наши учёные расковыряли метеорит какой-то австралийский и нашли там окаменевшие бактерии. И никто об этом не говорит, а всё о том, с кем живёт Боря Моисеев. Зачем это так? Послушаешь вас, так вся страна только и делает, что веселится, и одни мы тут прозябаем под дождём, а ведь всё наоборот, Ваня, и народ всё знает, но терпит так потому, что сильно его обманули и запугали. Бабки тут шли с кладбища мимо и совещались, и решили, что вся эта перестройка — это провокация, а потом, кто много говорит, обратно будут сажать, мучить и расстреливать без суда, тройками. Так и говорят. А может, просто какое лекарство изобретут, чтоб все вымерли, и заселят китайцами? Или нидерландцами, например. Вон до чего договорились.

У меня работы нет и не предвидится. Стыдно просить, но если что, так ты бы прислал нам чего ни то, мы отбатрачим. Или на варенье поменяемся, а когда скиснет, так я его на брагу переделаю легко или самогон, могу даже два раза прогнать для верности.

Целую, Маша.

Привет из солнечной Абхазии!

Совершенно случайно, в последний момент друзья пригласили меня с собой в эту сумасшедшую поездку, в отчаянную попытку провести две недели на море, как в старые добрые времена. Мы дико путешествуем на двух машинах, и мне это почти ничего не стоит в деревянных. К тому же обратно наш маршрут пройдёт по направлению Сочи—Краснодар—Ростов—Воронеж—Москва, и это будет совсем рядом с тобой, и я намерен дать ходу с трассы на сторону, то есть к вам, хоть автостопом. Самый приколом был, как мы пересекали границу. Представь, я переходил её вброд через реку Псоу ниже нашего пограничного пункта контроля, а мужики мои по фальшивым справкам и телеграммам: дескать, у кого-то в Сухуми умирает отец или у кого-то продаётся недвижимость и т. д. Только женщин пропускают свободно, но, поверь, среди нас их почти нет! Погода — как на туристической открытке, но само зрелище — из фантастической жизни, из сна, особенно по сравнению с тем, что было здесь раньше. Как вымерло всё после чумы. Собственно, во многом так оно и есть, ведь тут прошла самая настоящая война, с мародёрством, насилием, смертями и пожарами. Вообще-то, непонятно, как они тут существуют.

В Сухуми видел на улицах обезьян, они разбежались из известного питомника. Были на даче Сталина, не той, что на Рице, ту благополучно сожгли, а под Гаграми, вернее, над ними, ощущение занятое. Мне даже показали гвоздь, который он велел вбить в одной из гостиных, чтобы вешать на него свой картуз, когда он садился читать газеты. Там всю жизнь работает, с послевоенного 46-го года, дядя Коля. Я ему свои часики подарил старые, так он уж счастлив: пять лет без часов ходил. Говорит, что Сталин не любил, когда ему подавали обед в тарелках, а велел приносить в кастрюльках, а он уж сам раскладывал. А чай ходил пить в другое место, в сторожку на скалистом берегу Холодной речки. В этой речке, действительно очень холодной, водится форель, но однажды она была красной от крови! И это в то время, когда мы с Лёней Голубковым обивали пороги МММ... Дача стоит в реликтовом сосновом бору высоко над морем, и эти сосны тоже многие обуглены, тоже от войны. Вообще чудо, что многое уцелело. Басаев-то со своими отрядами пришёл с гор, с перевала, таёжными тропами. И нагрянул на эту дачу среди ночи. Везде зажгли свет, он долго ходил, осматривал всё, долго стоял и думал, затем дал отмашку, и они пошли вниз, в Гагры. А мог и уничтожить.

Вино на пляже продают дешёвое, но нехорошее, кислое, как уксус, пьём водку из багажника. Подумать только, что это граница Тмутараканского княжества и Киевской Руси! Ты знала об этом? Я — нет. Жаль, что нет вас с Петькой, я бы учил его плавать... Ловили рыбу с баркаса на крючки, под копчение. Полный штиль, а меня укачало, похоже, что от нестерпимого блеска воды на солнце, и, пардон, стошнило... Пустые пляжи, пустые кабинки, брошенные шезлонги (лонгшезы), дома стоят, как после взрыва нейтронной бомбы. Знаешь, мне даже слышались голоса, особенно детские. Страшно, если вся страна вот так постепенно превратится в такую пустыню. Думаешь, нет? А если — да, то что будет? Новая жизнь? Может быть, и на Луне когда-то жили. Я смотрю на Луну над морем и по лунной дорожке — к тебе. Ты меня ещё любишь? Нет?

Твой Иван.

P.S. Сейчас смотрели телевизор в пацхе дядюшки Амираана, опять в Чечне боевики взяли верх, я ничего не понимаю: как это возможно? Только неделю назад я беседовал с одним полковником, который рассказывал мне, что под Грозным стоит чуть ли не вся постсоветская армия! Иногда мне думается, что если бы не это чудовище Сталин, то нас бы давно уже не было на

этой земле. Полное отсутствие воли. За что это наказание? За отход от Христа, за предательство царя или — наоборот — мы слишком забыли своё древнее, уходящее к началу истории национальное единство? Надо учиться у чеченцев? Кстати, здесь поголовно все хотели бы, чтобы Абхазия вошла в состав России. Если бы мы были такими плохими, как нас представляют всему миру, стали бы они хотеть к нам?

Я привезу вам много эвкалиптовых веников для бани и лаврового листа для супа, здесь всё это растёт в изобилии на полках природы. Я люблю тебя, Мария, ты всё-таки самая замечательная женщина из всех, кого я встречал в этой жизни. И самая красивая, я вдруг это понял. Самая милая, милая моя Мария! А Петрушка у нас просто молодец, я ему привезу живую медузу в банке.

Ваш дикарь-полуфабрикат.

Дорогой мой Иван!

С утра долго не вставала, всё смотрела в чистое окно на полоску света в облаках и вдруг поняла разницу во всём в жизни плохом и хорошем, добром и злом. Вот ведь и вечером, перед закатом и мраком — точно же такая бывает полоса в небе, но вся-то суть в том, что эта, утренняя, будет расти, увеличиваться, и всё будет просыпаться, и птицы петь, а там — всё наоборот, и потому смысл этим двум светам обратно противоположный даже, а внешне-то они близнецы... Но разница в движении и во времени, в его длительности, а не мгновенности, или в движении времени или во времени движения. Вот два человека похожих, а они разные, один утренний, а другой — вечерний. И так во всём. Встала и написала вот тебе, а может — сгоряча, сперва бы ещё подумать надо. Вот ты уехал: думаешь, и правильно сделал? А мне в жизни так хорошо не было, как в эти восемь дней, и Петя-то стал как-то лучше, спокойнее, у него даже язвочки зарубцевались. Вот ты, оказывается, какой можешь быть, ласковый, трезвый, и руками-то ты делать всё умеешь, и крылечко мне починил, хоть бы и не в одиночку, и дверь в сортир, и забор... Да я даже после всего этого готова тебя отпускать на море хоть каждые полгода, хоть бы даже и “почти без женщин”. Было бы тебе зачем ехать в Москву эту вашу, да разве же бы я против? Езжай себе на здоровье, да только пустое это всё, толку не будет никакого, съест тебя эта Москва, опять запьёшь или хуже — напьёшься до какой-нибудь новой истории, которую будешь потом расхлёбывать целый год, каяться, переживать мучительно, кинешься в другую крайность, в монастырь какой-нибудь, а там и рады, давай на нём воду возить. Ой, ведь чо, опять слёзы мне, горемычной, за что я такая несчастная? А ведь эти дни я с тобой счастлива была. Это как? Напиши хоть скорей, не томи душу.

Маша.

Мария!

Прошу тебя дочитать это письмо до конца. Долго не мог написать тебе и надеялся, что, нет, не так. Ты, верно, догадалась, что происходит, раз я молчу и не еду, да, то и произошло, я женюсь, через 6 месяцев у неё будет ребёнок, я уверен, что от меня, хотя я был с ней всего один раз, почти случайно, понимаешь? И я узнал об этом тоже почти случайно, потому что ничего случайного не бывает, если мы верим. Рождество мы встретили в монастыре, где, можно сказать, совершилась помолвка, потому что в монастырях не венчают. Над нами прочитали молебен об умножении любви. Я был у неё дома, познакомился с родителями, папа замечательный человек, ветеран, разведчик... Всё это безумно тяжело, потому что я люблю тебя. Но так вышло. Я очень виноват перед тобой и перед Петечкой, и прошу у него прощения, не теперь, но когда он поймёт. Очень хочу вас видеть.

Иван.

Здравствуйте, Иван!

Пишет вам простая русская женщина из глубинки, бывшая учительница начальных классов Мария Иноземцева. Я знаю, что вы интересуетесь народ-

ной жизнью, а потому и решилась в свободное от поисков работы время написать вам это письмо. У нас, конечно, ничего особенно интересного, окромя пьяных драк на неосвещённых улицах, не происходит...

А насчёт того — ты это зря, я к цыганке ходила, она мне сказала, что никого у тебя нет, кроме нас с Петрушей.

Так что, привет!

Мария, милая моя Мария!

Час назад получил твоё письмо, о чём и не чаял уже, а ты так просто — взяла и написала, пусть ерунду какую-то, чушь, тем лучше. Спасибо тебе, ты всё знаешь, всё видишь, всё чувствуешь, и не надо тебе никакой гадалки, нет! Я снова на бабах, так пусто, так страшно после её аборта, о котором, верь, я знать не знал и ведать не ведал, и может, что она сделала и правильно, раз не было любви, но нет, она убила себя, убила меня ещё раз, потому что через это всё становится бессмысленным и случайным, и жизнь вообще, и даже эти письма и любое проявление сострадания и человечности. Как горько, как тяжело и безрадостно жить! Молюсь, конечно, но не чувствую ничего, смотрю на пламя свечи и вижу твои глаза, а в них этот свечи огонёк отражается. Маруся, бедная моя, ласковая моя девочка, прости меня!

Ваня.

Дорогой мой Ваня!

Письмо твоё покаянное получили, спасибо за искренность, за тёплые слова. Устроилась на работу, но через три дня предприятие остановилось, и главный бухгалтер мне выписал справку об этом, с этой справкой я ходила в Сберкасса, и мне по ней разрешили не платить просроченную квартплату, так как я боялась, что отключат электричество. Петя проболел всю зиму и сейчас простудой и гриппом, я его лечу бабушкиными средствами, но, может быть, нужны антибиотики, витамины. Может быть, ты обратился бы на свою фармацевтическую фабрику, если её ещё не закрыли, и у тебя там действительно есть друзья. Варенья яблочного много, это моя единственная валюта, не считая твоего самогона. Икону “Спорительница хлебов” мне написали за кольцо очень хорошо. Перед ней теперь всегда теплится лампадка. Фото твоё из шифоньера я достала и поставила рядком. Для Пети ты теперь такая же древняя история, как гражданская война, реагирует спокойно. Сестра пошла на курсы массажисток, платные, но ей сделали в долг. Только массажировать за деньги у нас в городе некого, разве что будет ездить в область. Всё ждём чего-то, но слава Богу, что ни автобусы, ни рынок не взрываются, и то ладно.

Пиши — как ты?

М.

Здравствуй, Маша!

Хотел приехать, но теперь мне стало сложнее, устроился санитаром за 200 тысяч в месяц плюс разные премии и надбавки, итого около пятисот. Это очень мало, но мне нужны живые деньги, платить по счетам, помогать брату, а главное, нужен режим, иначе я сяду. Кормят меня на кухне бесплатно, что остаётся от больных. Иногда ем от пуза, иногда один хлеб с молоком. Причин, по которым именно сюда я попал — три. Здесь она сделала аборт, второе — благословение батюшки. Конечно, всё это временно, но — как и всё в жизни. Иду на службу, тянуть свою ляжку.

Ваш медбрат Иван Осипович Лозовой.

Ваня! Дорогой!

Что я натворила, Ванечка, я сошла с ума, но сейчас я совершенно счастлива. Я купила ребёнка, девочку пяти месяцев, на вокзале, когда встречала поезд с твоими лекарствами. Со мной был Петя (я боюсь оставлять его одного), и вот одна женщина, правда — пьяная, продавала его цыганке. Всего за 200 тысяч и бутылку водки. У меня с собой было 230 тысяч, потом объясню — почему, не моих, считай, денег, сестриных, и я... перекупила.

Чего это мне всё стоило! Цыганка грозит проклятием, но во мне тем более решимости, а эта видит, что я с ребёнком, и со слезами, конечно, но мне отдаёт. Я, говорит, вот и записочку заготовила с адресом, что претензий не имею, добровольно отдаю. И уезжает тем же поездом. Я ей всё отдала, домой добирались на двух автобусах, с пересадкой, но уже втроём — я, Пётр и Феврония, я её так хочу назвать в честь святых Муромских, а ты, Ваня, ведь тоже хотел девочку, да?

Хорошенькая такая, а худенькая! В чём душа держится? Жалко, что у меня теперь молока нет, конечно, но докторша говорит, что если грудь давать, то может пойти. Петя очень обрадовался, он мне даже помогает с ней возиться, носит, чего попрошу, и лекарства ему твои впрок пошли, спасибо. А цыган я не боюсь, сам знаешь. У меня есть икона “Спорительница хлебов”, так я на неё смотрю и думаю: вот, к прибавлению урожая она в дом наш вошла. Только сомневаюсь: правильно ли я поступила? Но у меня адрес есть, думаешь — ненастоящий!? Надо бы написать, но пока повременю. Я ещё не знаю, как это всё обставить официально, наверное, придётся давать взятку. Но я знаю точно, что на попятную не пойду. Она бы отдала Верочку цыганке или кому ни то за пару бутылок, ведь у неё в вагоне сидели ещё двое чуть постарше. Ваня, скажи, что я была права, мне нужна сейчас чья-то поддержка.

Феврония-Верочка вошла в дом, и лик Богородицы на иконе будто ещё просветлел. Ты бы видел, как оживился в эти дни Петрушка. Живём, Ванечка!

Целую! М.

Дорогая моя милая Мария, единственная, здравствуй!

Я совершенно потрясён твоим самоотверженным и одновременно таким естественным для тебя поступком, и рад за тебя, за Петю какой-то глупой щенячьей радостью, и снова чувствую себя перед тобой полным идиотом, но это последнее, конечно, не имеет никакого значения. Я тут каждое утро вижу очередь девушек-женщин, пришедших на искусственное прерывание беременности, и мне очень хочется подойти, взять за руку и сказать... И я стесняюсь, в полном смысле слова, как подросток, я не смею, не имею права, я... Я думаю, впрочем, что есть и доля моя в твоём решении, но что — я? Ты — чудо, я люблю тебя одну, и всегда говорил это, и не только говорил, ты знаешь.

Когда крестины Февронии? Я в восторге от её имени, от Веры, её уменьшительного, тоже.

Ваш Иван.

Дорогой Иван!

Здравствуй! Мне тревожно от сообщения о заражённом коровьем мясе. Ты привозил последний раз сосиски, не помнишь — они с какого завода были? Сестра вот вычитала, что заразное было с Черкизовского, у нас в городе с него сосисок не было, а ты привозил, не помнишь? Я тебе вырезку из газеты прикладываю. И ещё одну, про боксёра-негра Тайсона, который укусил своего противника за ухо. Он же ведь знал, наверное, что его за это лишат приза в 30 млн долларов, а укусил. Ты говорил: дай негру палец — он всю руку откусит. Но ты в смысле высокомерном говорил, а сами бы мы вот так отказать от таких денег, чтобы только досадить сопернику, решились бы? Так что надо бы тебе быть поскромнее, не гневить Бога. Прости, если я, простая русская баба, чего не так поняла, а только я за всех переживаю и хочу, чтобы ты был у меня самым лучшим. Феврония тебе шлёт воздушный поцелуй, а Петя — их двоих парный портрет твоими фломастерами.

Целую, Маша.

Ванечка, милый!

Сижку и обливаюсь слезами по ничтожнейшему такому поводу, но, видно, это была последняя капля. Пишу тебе как своему родному человеку. И прошу заступиться за меня, дуру бестолковую, именно потому, что никог-

да в жизни никого не просила, а всегда только полагалась на свои силы. К тому же ты когда задумывал таблетками торговать, то, наверное, подна-торел в премудрости этой торговли или уж во всяком случае хоть какие-нибудь знания в этой области да приобрёл. У меня давно уж начались проблемы с фиброзно-кистозной мастопатией, я наблюдалась у врача-гинеколога по месту жительства, но сейчас она умерла, а принимает новая. Та, Таисия, царствие ей небесное, направляла меня в Москву (я про тебя ей сказывала) в маммологический центр, где занимаются исключительно грудью. Ну, вот, я стала собирать бумаги для направления и пришла к этой новой, не хочу даже поминать. Она говорит: чего вы будете тратиться? Мне, как специалисту, и так всё ясно с вашим заболеванием, и там вам ничего нового не расскажут, в этом центре, а только зря проездите и намотаетесь с двумя детьми. Купите лучше у нас чудодейственное средство всего за 130 тысяч, от всего поможет. Противопоказаний никаких, а пользы много. Я, главное дело, так и ахнула, потому что у меня дома как раз 120 тысяч лежало, а десять с собой было. Мы с Петей грибов удачно насобирали и продали у дороги. “Идите, — говорит, — принесите, я подожду, а то у меня последняя осталась, а мне вам очень хочется помочь, вы женщина ещё молодая и красивая, вас жалко”. Я как безумная помчалась туда-сюда, ещё и Петю оставила сидеть её караулить, как заложника. Вернулась, покушаю у ней, у самой руки трясутся, жалко с деньгами расставаться, и то жалко, что не будет уже причины к тебе в Москву ездить, а та ещё говорит: “Берите-берите, нигде его дешевле не купите, у нас без посредников”. Я и не подумала, что она мне чека не дала. Дома успокоилась, гляжу — никакой подписи нигде по-русски не сделано, только что разные травы нарисованы, и общая надпись мне ясна: “Natures way”, натурально, значит, на травах, то есть. Ладно. Но вот сегодня зашла в аптеку за пипеткой для маленькой, куда-то старая задевалась, а оно там стоит за 40 тысяч, я как зареву белугой, побежала в диспансер, а той врачихи нет, у заведующего очередь, да что он скажет, Гаврила Суренных, сам знаешь, правды не добиться, сама виновата, скажет. И мне так обидно, Ваня, так больно, и главное, что от нервов ещё больше болячки разболелись. Уж мне кажется, что тебя они послушают, хотя деньги вернут, я им пузырёк с таблетками назад отдам, я ведь его даже не раскрывала. Сейчас отправлю, иначе порву.

Маша.

P.S. Пришла на почту, а на дверях снова красуется листовка с портретом “Мария Дэви Христос”, наше “Белое братство” всё клеит, помнишь, мы с тобой говорили? Выпустили её на свободу, а скольких она до самоубийства довела! Наверное, Дэви — это дьявол, нет? Говорят, конец скоро. А как же иначе? Это они в пику москалям, да? Она где-то в Днепропетровске сидела, а теперь в Киеве воцарилась. Ваня, помолишь обо мне, поставь свечечку целителю Пантелеймону, у меня от всего крыша едет. И как жить? Тяжело мне что-то, надорвалась я, а ещё пожить так хочется! С Февроньюшкой проблемы, из милиции приходили, меня дома не было, Петя через дверь им много не сказал, но они всё допытывались у него — сестрёнка она ему или нет? Ничего не сказал. “Боец растёт”, — как бы его крёстный сказал. Ну, целую, ты шибко-то не расстраивайся, переживём как-нибудь и это, только бы ты не пил.

С наступающим Яблочным Спасом—Преображением! Нынче малины много, а про яблоки уж всё и так знаешь. “Яблоко надень — и доктор не надобен”.

Милая моя Мария, здравствуй!

Снова осень, снова наш позолоченный сентябрь, в котором когда-то очень давно, лет восемь назад, я написал тебе первое письмо. Нынче соби-рался выехать к вам (за яблоками!) на машине друга, но случилось несчастье, его хорошая знакомая артистка Лена Майорова трагически погибла, облила себя чем-то и подожгла. Она бежала горящим факелом по двору дома по улице Горького (Тверской) и кричала “спасите!” Говорят, она облила свои густые волосы маслом из лампадки. Это — самоубийство, о котором она

говорила раньше задолго. Серёга, мой товарищ, беседовал с ней об этом её страшном намерении не раз, но никто не думал, что она действительно на это решится. Думаю, она играла с огнём, со смертью, и сама не верила в то, что делает. Детей у неё не было, хотя были мужья. Довели её до смерти цинизм и пошлость, всё то, что цветёт пышным цветом в первопрестольной всюду вокруг, а в её театре особенно. Убийцы стояли у гроба руки в карманах и, покачиваясь на пятках, считали уместным острить в своём прощальном слове, а не просить прощения, называть её Ленкой и осуждать за плохой поступок.

Ещё бы, накануне открытия сезона им придётся делать сразу несколько вводов на её роли. Говорят, что очередная любовница главного уже согласилась играть и даже сыграла сегодня. Огромное количество текста она знала уже заранее. Ой, я сплетничаю, кажется, простите оглашенного! Но тем не менее. Гроб с телом был поставлен в углу фойе, в самом непотребном тёмном месте, и я боялся взглянуть на лицо, оно было словно собрано в одном последнем крике, покрытое последним гримом, но всё равно заострённое, как игла, прикрытая тонкой вуалью. С новолетием вас, господа реформаторы!

Мария! Прости, что я о грустном. Ты — молодец, ты трудишься, ты боишься, живёшь и даёшь жизнь другим. Я всегда с тобой, мысленно душой и даже тщедушным своим телом, особенно — сердцем. Поверь мне, что оно всё так же равнодушно, горячо и ало. Я всех вас люблю, целую и буду скоро всенепременно. Во что бы то ни стало!

Иван.

Дорогой Иван, здравствуй!

Итак, уже на дворе ноябрь, ну, можно сказать — завтра. Также можно сказать, что завтра — холодная бесприютная старость...

У меня Февронию, конечно же, забрали. Пришли простые такие наши русские парни, сукном запахло, как ты любил выражаться, и забрали. Спасибо, что оставили нам Петрушку и самое меня. Я даже ничего не сопротивлялась, а только молилась Богородице, я ждала этого, что заберут. Полюбому не буду ничего объяснять. Я целыми днями теперь лежу на постели и чувствую, как холод проникает в меня отовсюду: из щелей в полу, с заиндевевших брёвен, с дрожащего стекла моего тусклого окошка, а внутри словно вырезали что-то, душу, ребёнка, сердце. Ведь у меня ту неделю молоко пошло.

Петя рассказывает мне сказки вслух наизусть по картинкам, как я ему когда-то читала, тем и спасаемся. Приедь, если хочешь, мне всё равно.

Мария.

Милая моя Мария!

Вы не замёрзли? У нас тут, в Сибири, мороз страшный, настоящий, я впервые своими глазами увидел, как столбик на термометре опустился до 44-х! Сначала не поверил: как это? Даже местные удивляются. Интересно, что жизнь сразу стала русская, даже модницы ходят в длинных юбках под шубой, опустив уши меховых шапок или густо обвязавшись серыми оренбургскими платками. Никто не бухтит, не матерится даже: слова замерзают на лету. Только слышно, как отчаянно громко, с отяжкой скрипит сухой снег под валенками, от которых у всех походка сделалась мягкая и смешно косолапая. Щёки розовые, ресницы белые, глаза блестят, на усах у мужиков сосульки, все ходят торопко, делово, не курят, не сплёвывают тоскливо на углу и ни пиво не тянут, ни колу, красота! Мне очень нравится, всегда бы так! Чисто. Весело. И как-то люди от мороза дружнее. Хорошо, что у нас в России четыре времени года, от этого душа богаче и язык. Больше впечатлений, разнообразия, а значит — образов.

Не ругайся, на Новый год посылаю вам посылку, кедровые орешки чищенные, лущёные, и Петьке шапку корсакову рыжую, это степная лиса такая — корсак. На рынке тут китайцы и корейцы торгуют всем очень дешево. Правда, боюсь, что дешевизна эта нам в будущем дорого вельми обойдётся, они плодятся простым делением и почему-то селятся всё вокруг воинской части ПВО. Ну, да Бог не выдаст, свинья не съест. А валенки я потом само-

лично привезу, с галошами, чтоб по вашему чернозёму ходить не тошко было. Ну, чего ли — целую крепко, напиши до востребования, я тут ещё месяц буду. Адрес на конверте.

И. О. Лозовой.

Дорогой Иван!

Спасибо за письмо и за орешки и шапку — если придут, ещё не получили, а я спешу ответить сразу, чтоб ты успел получить, согреть тебя тёплым словом, если я и впрямь ещё тебе мила.

Еле пережила потерю Февроньюшки, а тут ещё Петя заболел ушками, простыл, а я ему капала капли из гуманитарной помощи, и они оказались какие-то не такие, с сильным антибиотиком, а надо было 4% (как у Лужкова) раствором борного спирта. Но он не плачет, а всё про корсака спрашивает, и про китайцев, даже пришлось его на наш рынок вести их показывать. Так что ты готовь новые охотничьи рассказы. У нас снег идёт, всё как в сказке, словно стеной стоит в воздухе, тихо, тепло, светло так от снега на дворе, уютно. Дров у нас нынче хватает, мне новый начальник тюрьмы помог. Оказалось, что их ограда последняя (их несколько рядов) по моему участку на плане проходит, и мне помощь полагается, как пограничнице. Вот, всё, кажется. Скучаю, целую!

М.

Милая Мария! Пётр!

Никто не поверит, и вы в том числе, но больше мне поведать некому. Сейчас, когда я брожу по городу и вижу повсюду следы чудовищного бурелома и слышу рассказы очевидцев, мне несколько легче, а в тот страшный час испытаний я думал, что всё это приключилось лишь со мной одним за мои грехи, богохульство, неверие, уныние, предательство, ложь и лень... Может, уже и до вас слухи докатились, уж наверное, докатились, не считая, конечно, СМИ, о небывалом допрежь того в столице урагане. Как не докаться, когда столько покалечило, изуродовало, поубивало даже. Чудом и я жив остался, но даже и это не главное — кирпич на голову в любой момент упасть может, у моей первой жены дядю убило кирпичом с крыши, причём времена ещё были строгие, сталинские, а он инженером на радио работал, стали докапываться, что и как, и кого-то даже через то чуть не посадили, но доказали-таки, что просто так сам камень от ветхости дореволюционного здания отвалился от карниза. Тогда здание снесли, вроде как к высшей мере наказания его... Отвлёкся я не по делу.

Это был страшный сон, Мария! В этот вечер я решил ехать к вам, собрал рюкзачок и на дорожку пошёл в храм ко всенощной помолиться у особо чтимого образа Николая Чудотворца — святителя Мир Ликийских, великого угодника Божия: “Путешествующим спутешествуй”. Потом на кладбище пошёл, и сколько я там времени провёл — точно не знаю, часов наручных у меня уже давно нет, но только что я обратно засобирался, тут оно и началось. И надо такому случиться, что я в те минуты стоял у могилы Николая Васильевича Гоголя: “Горьким своим смехом посмеюся”. Я ведь всегда за него молюсь, когда мимо бываю. Зашумело, зашумело, вдруг мощный порыв ветра, как нам представлялось всегда цунами, и я инстинктивно ухватился за оградку, но от страха чувствую, что руки мои по-детски слабые такие, и вторым порывом меня отбросило к стене с урнами праха в нишах, к колумбарии, значит...

Нашли меня мусорщики утром в мусорном баке, когда вываливали из него в свою жуткую машину, вытянули за ноги. Теперь я на больничной койке, у меня сотрясение мозга, не тяжёлое, но тошнит конкретно и жёлтые круги перед глазами, вывихнуты обе ноги в ступнях, где щиколотки, связки растянуты, и на локте ушиб на левом, сейчас рука в гипсе и очень чешется, но правой вот пишу. Адрес не даю, не приезжай, у тебя на хлеб нет, не то что... Выплеснулось, теперь полегче стало. Тут кто что про тот грозный час испытаний рассказывает, и это уже был бы комедийный рассказ, но говорят, что кресты чтоб с храмов слетали, такое только в одном месте было, а имен-

но на Новодевичьем. То-то мне казалось, что всё это только со мной одним происходит. Целую крепко.

Ваня Л.

Дорогой мой Иван!

Вот уж и Троица, наломали с Петрушкой веток берёзовых и наполнили весь дом красотой и свежестью, листочки потихоньку вянут, и идёт во все уголки нашей хаты благоухание. Ванечка, как же ты, милый мой, в такой переплёт попал? Я твоё письмо давно получила, да и поехала бы, если б знать — куда? Ну, думаю, уж не приукрасил ли чего лишнего, даже боюсь спрашивать, а может, ты вправду умом тронулся, нет? Опять же — огород у меня, а летний день год кормит. Петя занят прополкой и поливом петрушки, я объяснила ему, что они одного корня. Сшила себе новое платье, идти в нём некуда. Постелю газетку, сяду на порог и смотрю на дорогу, не покажется ли где в лёгком облачке пыли отставной капитан товарищ Лозовой? Нет, все ожидания наши напрасны. Двери и все замки затворяю теперь рано, боюсь повторения столичного урагана, даже взялась за починку ставней, я ими уж лет пять не пользовалась. У нас тут у Паши Крикуновой в этот страшный вечер в Москве муж пропал, но соседки бают, что просто сбежал он от неё. Это, правда, чаще случается. Приходили раз сектанты, “свободная церковь Иисуса”, брошюрку цветную всучили, там такое всё, ой, как в мультике, овцы со львами обнимаются, винограды сами в рот растут. А сектанты зырк-зырк по углам, я на твою карточку и говорю: “Это муж, скоро будет”. “Когда скоро?” — спрашивают. “Скоро, — отвечаю, — вот он уже, может, идёт, свист слышу!” Так их как ветром сдуло. Много же вас, думаю, а церковь одна. Я права или нет, а может быть — наш русский Бог не Христос, я ведь необразованная, а мне один на вокзале рассказывал, что Он только пророк, и евреи Его распяли, а написали в книгах, что Он тоже еврей, только чтоб себя возвеличить, а на самом деле Он из Индии пришёл, а мы с Индией родственники. Это как? Но я всё равно в Богородицу верую и во всех святых, особенно в Сергия Радонежского и в Николая, не зря же он тебя спас нынче? Я ведь до конца всего не знаю, надо сердцем чувствовать, где правды больше, верно? Мы ведь, люди, в этих вопросах, как малые дети в малом. Соседкин мальчик с Петькой играет, бутылку с водой ему не отдаёт, под мышку и в сторону, а сам кричит на всю округу: “дам, дам, дам!” Сначала я не поняла, а потом и врубилась, он же “не дам” сказать ещё не может, сложно ему. Так и мы, человечество, чего-то чувствуем, чего-то думаем, а выразить не можем. Нет разве? Я не права? Это мне приятно, конечно, что ты к нам с рюкзачком собирался (интересно страшно — а что в нём было), но уж пора и новый заводить, а не то я и сошью вон из парусины, ты только едь.

Дефолт, Маша, всё отменяется, хожу по оптовым рынкам, ищу, где дешевле, покупаю ни много ни мало, чтоб хватило нам всем на год: крупу, гречку, рис, сахар, подсолнечное масло, консервы. Принесу, сложу на антресоль, денег перезайму и снова на рынок. Ящик водки приобрёл на заводе “Кристалл” на Самокатной, разной, и тебе отдельно ликёра и наливки. Ты не ругайся, водка — это наша национальная валюта, твёрдая, хоть и пьётся, на неё чего хочешь выменять можно, голодным не останешься всяко. Цены сразу взвинтили, но говорят, что ещё дороже будет. Иногда по два-три раза на день ценники перевешивают. Иногда же очень выгодно покупать, когда цены старые, а магазин по статусу не имеет права их переменять. Я купил несколько пар перчаток кожаных на синтепоне, пену строительную в баллончиках, ещё кое-что по мелочам, лампочки электрические, бумагу туалетную, оно ведь всегда понадобится.

Маша! Единственный мой и, если позволительно сказать, — наш источник дохода, комната, которую я сдаю пивнику, уменьшился ровно вдвое, это везде у всех, с октября он будет платить мне за неё вдвое меньше, а не хочешь, заявил, съеду. Имею право, потому что дефолт — это форсмажорные обстоятельства, вроде революции, чёрт бы их всех побрал, в самом деле! Поэтому мне надо найти ещё хоть какой-нибудь заработок, пока же я взялась

разносить рекламу по подъездам, но это временно, чтоб отдать кое-какие долги. Попроси Петю нарисовать мне козлика, и пусть не капризничает, скажи — очень нужно.

Целую, люблю. Иван.

Ты нас целуешь и любишь, но мы этого не чувствуем, козлик. Ты теперь вместо “здравствуйте” говоришь “дефолт”, мы тоже здороваться не будем. У нашего мэра от дефолта поехала крыша, и он решил снова ввести плату за автобус. Но история, как ты говаривал, повторяется. Наши простые постсоветские мужики взяли первых же контролёров вежливо под мышки и высадили на обочину прямо на ходу, водитель при этом “ничего не видел”, только случайно забыл закрыть двери, когда перед тем отъезжал от остановки. В противном случае его бы самого заменили за баранкой, безработных трактористов из деревни у нас хватает, собирают пустые бутылки по помойкам. Была бы я, Ваня, помоложе, ездила бы в Москву на Тверскую, но такая я уже кому нужна? Даже тебе, моему дорогому козлику, не мила. Письмо это — сжечь, а рисунок в рамку и на стену, можно в комнату к пивнику, пусть лобуется на портрет квартиросдателя.

Обнимаю, М.

Милая Мария!

С наступающим вас Новым годом! Вся эта сволочь так и старается изобразить, то есть начертать эту цифирь перевернуто, в виде отражений разных, чтобы получилось три шестёрки. И звезду рождественскую всюду стараются сделать шестиконечною, а она ведь не ветхозаветная, она звезда будущего, два креста, осмиконечная наша. Ну, ты прости, я опять за старое, ты этого не любишь, ну, а мне, если честно, тоже уже всё равно. Я тут даже повеситься хотел, но не решился, а пьяный стал переходить улицу туда-сюда, на волно Божью, чтоб меня машина сбила или не сбила. Фаталист. Спасибо шоферам, хорошие ребята попались, морду набили в самую меру, чтоб мне, значит, и жить захотелось, и чтоб ещё для свадьбы сгодилось. Тот ящик водки, как ты понимаешь, я сразу весь выпил (одну бутылочку вишнёвой наливки тебе оставил), с работы меня тогда выгнали, и даже за ту неделю, что я отработал, не заплатили, пивник обанкротился, съехал, оставив кучу международных телефонных счетов не оплаченных, которые с лихвой перекрывают всё то, что он заплатил мне за полгода. Прикинь, теперь телефон отключили, и соседи на меня в суд подают. За окном — ни дождь, ни снег, какие-то мелкие льдинки прыгают с ветки на подоконник, подпрыгивают, как блохи или бесенята насекомные. Я живу в параллельном мире, Мария, и теперь уж, наверное, мне всё равно, где — в столице или в городе N. Так что скоро съеду, а пока наши товарищи определили меня в музей художника Константина Васильева, тут, знаешь, добрые русские люди, но они как бы всё по-своему понимают. Сутки работать, трое, прости, отдыхать. Ночами хожу по двору, там деревья страшно шумят, пёс со мной ковыляет, дряхлый и беззубый; станет не по себе, я скорее в дом, а там ещё страшнее от васьлевских картин, и мне всё кажется, что он меня видит. И выпить-то особенно не на что, маюсь.

Бедный Петя. Как ему-то помочь выжить, какой я папа, смех один. Где найти силы? Дожить бы хоть до Пасхи!

Пишу, а он смотрит, Васильев. Он ведь некрещёный был, и за что только его татары убили? Под казанский поезд бросили, он на свою первую выставку собрался ехать... А кстати, думаю Коран изучить. Они ведь, кто настоящие, в единого Бога веруют, и хорошо живут, семейно, чуть не сказал “по-христиански”.

Иван.

Христос воскрес!

Ну, что же, дорогой мой Ванюша, вот и Пасха, до которой ты не мечтал дожить. Дожил, я надеюсь? А теперь не желаешь ли на войну, в Сербию? Может, тебя там прикончат, наконец, во славу Божию. Всё лучше, чем лишиться навсегда упования вечности, повиснув на грязной бельевой верёвке

или не проснувшись от опоя? Умерших от опоя православная церковь приравнивает к чину самоубийц, не отпекает и полагает хоронить за кладбищем, вместе с собаками и артистами. Впрочем, если ты уже мусульманин, то тебе и это не грозит, а в Сербии дело всё равно найдётся, особенно в Приштине. Может, кого из наших донцов там повстречаешь в чистом поле в честном бою? Они собрались на круг прямо на нашей Красной площади у собора, и считается, что они уже в походе с первого дня бомбардировок Белграда. Я опоздала на это историческое событие, и только мне навстречу попалась какая-то мерзкая шелудивая собачонка немислимой помеси с табличкой на шее “сука Олбрайт”, похожая на бешеную, потому что она всё время озиралась назад и скалила зубы на всех прохожих. Я даже на всякий случай взяла Петю на руки, наверное, уж последний раз в нашей жизни, такой он тяжёлый, чуть не надорвалась. Ну, что же, даст Бог, после Сербии и за нас возьмутся, надоело уже это всё по самое некуда. Как один дед соседский сказанул тут наемдни: хоть бы гражданская война, лишь бы это всё кончилось и началось новое старое. Так вот. Он в войну лётчиком был, у него больше сбитых самолётов, чем боевых вылетов, по два-три за раз сбивал.

Если в Сербии погибнешь, мы с Петрушей твою карточку увеличим и под стекло повесим заместо иконы. Я мою полы в кабинетах тюремного начальства, а они пристают ко мне с любезностями, один даже пригрозил, что если я ему не дам, то из тюрьмы не выйду. Думаю, слабо ему будет.

Целую, М.

Милая моя Мария!

Не пугайся, я не уехал в Израиль, а я на Святой Земле в паломнической поездке. Наверное, вернусь раньше этого письма, а Бог даст, и заеду к вам на возвратном пути, потому что поедем отсюда морем через Новороссийск. Но мне хочется, чтобы вы получили конверт с маркой из Иерусалима. Никогда я даже не мечтал, что буду здесь! Нет худа без добра, спасибо перестройке, не к ночи будет помянута. Всё случилось чудеснейшим образом: батюшка, у которого я исповедовался на Духов день, пришёл в ужас от моих грехов, уныния и неверия, и взялся устроить меня в этот рейс практически бесплатно, только понадобились деньги на паспорт, который мне сделали всего за неделю, и я успел буквально в последний момент. Признаться, я даже и не хотел ехать когда-либо в Палестину, потому что боялся встречи с теми местами, которые я когда-то принял уже себе в душу, читая впервые Евангелие. Я боялся, что вера моя ещё больше пошатнётся, но видно, что больше уж некуда. А отказываться от промысла, от провидения, когда Господь тебя Сам призывает, тоже нельзя, и вот я здесь. Конечно, много суеты и искушения, и всего лишнего, но как же без этого? Хорошо, что на корабле батюшки служили почти каждый день, и есть рядом настоящие верующие, от близкого общения с которыми я в последнее время совсем отвык, например, писатель Крупин. Он всюду ходит здесь босиком, как русские крестьяне-богомольцы сто лет назад, несмотря на раскалённые камни и пески. Я было тоже попробовал, но не тут-то было, отдернул ступню, как от сковородки. Ему-то вера помогает, понятное дело. А меня земля наказует, вразумляет, даже осёл у храма 12-ти апостолов, что у Тивериадского озера, чуть было не укусил, когда понял, что у меня в руке не припасено для него никакого угощения.

Надо сказать, что палестинцы к нам тоже не очень, настороженно относятся. Видимо, это после того, как СССР приказал долго жить, и Россия занялась строительством колониализма. Кстати, много евреев живёт в кибуцах, т. е. в коммунах. А что, они и были всегда первые коммунисты, да и потом, чего не жить в коммуне, когда бананы и финики сами растут, только поливай. Впрочем, земли настоящей почти нет, вся уничтожена до коренной породы. Поэтому её завозят. Думаю, что России хватит им вполне, чтобы завезти её в несколько ярусов. Они сами признают, что более-менее сносно жизнь у них начала налаживаться десять-двенадцать лет только как, то есть с тех самых пор, как стала рушиться у нас, и, стало быть, ясно — кто и зачем затевал перестройку и куда потекли или полетели российские денежки и силы, и всё прочее.

На сегодня — всё! И всё же я хочу тебе вдогонку сказать, что цветущее поле льна, по которому мы гуляли с тобой за околицей в конце июля, больше произвело впечатления мне на душу, чем все священные камни — обветренные и иссушенные — здесь. Не знаю, но мне так чудится, что Спаситель давно покинул эти пески и воды (Мёртвое море) и живёт в России, на святой Руси, на земле Белого царя. Я докажу тебе это со всей ясностью!

Милая Мария! Какое славное у тебя имя, я так люблю его, люблю тебя, прости меня, я очень соскучился.

Иван.

Милая, хорошая моя!

Мария, прости мне всё и сразу!

Не пью уже четвёртый день ни капли, не курю и так далее по порядку. Короче — завязал, и ощущения пошли самые непредсказуемые, сродни галлюцинациям наяву. Что-то слышится, как голоса: Иван! — Что? — хочется в ответ, и спохватисься. Тут дом взрывали, кстати, о птичках. Друг позвонил с Гурьянова, у нас, говорит, по соседству будут нынче дом взрывать, ну, имеется в виду — дозвывать после теракта, приезжай, поглядим, пивка попьём. Вот я и ездил смотреть.

Неужели же мы это заслужили? Вот зажжёт свечу у образа Пресвятой Богородицы, всё легче, не один вроде как в комнате сидишь. А что дальше, кто следующий? Пламя свечи колеблется, головой качает: ну, Ваня, ну, Лозовой, ты даёшь! А что — Ваня? Я уж всё перепробовал в этой жизни. Лучше Марии ничего на свете не нашёл. А она меня не любит, так только, прочь гонит, проклиная. И на это письмо не ответит. Не так, что ли?

Иван.

Здравствуй!

Напрасно ты так, Ваня, я тебя не любила, не гнала и уж тем более — не проклинала, и на письмо твоё, как видишь, отвечаю сразу. Мы сами тут прокляты и забыты сидим, хоть бы нас кто взорвал, так мы бы хоть как жертвы за Родину обрелись бы мигом в царствии небесном, да кому мы нужны? Я ловлю себя на том, что завидую этим несчастным, погребённым под страшными горами бетонного мусора с бытовой начинкой, потому что они уже все в раю, а мы здесь прозябаем, и ещё неизвестно — в каких грехах обрётёмся? Напрасно ты, Ваня, думаешь про меня плохо, ты ведь знаешь, я не такая, я просто уже не могу видеть тебя глупым, злым, уж не говорю — пьяным, всё это противно и давно пора бросить, не мальчик уже, да ты и сам всё знаешь, а ничего изменить не можешь, я же вижу, как ты мучаешься, и мне тебя жалко, и главное — мне досадно, что и я тебе помочь не могу. Петенька опять притих, ничего не говорит, не спрашивает, опять не здоров, а купить лекарств — денег нет, тяжело это всё очень, а так хочется хоть чуточку хорошего доброго чувства, немного покоя, уюта, Господи, неужели же этого никогда ничего не будет? Не знаю... Мне ещё кажется, что меня бабка прокляла летом, я не говорила, это когда нас обокрали, последнее унесли. Иду я это из собора, а она на перекрёстке стоит, вся сторбилась, лица не видать, и обе свои чёрненькие ладони держит вместе лодочкой. Я было мимо прошла, но потом вспомнила: “Просящему дай”. И возвратилась. Возьми, говорю, бабушка, денежку, а она вдруг кинулась от меня, и я ещё, дура, за ней несколько шагов делаю, и тут она резко так обернулась, ужас, баба Яга настоящая! Я окаменела, а она прокаркала мне: “Возьму, возьму, и это уже начинает сбываться!” Как-то так, не помню точно. И улетела. Тут же я почувствовала, как у меня в спине что-то переменялось, как будто струна лопнула, и с тех пор боли в пояснице. Ну, а остальное ты знаешь. Или забыл, ты ведь такой невнимательный к людям: в одно ухо влетело, в другое вылетело. Да, козлик? Я не сержусь больше, высказалась. Приезжай, мой сокол, покушайся пельменей своих, наливочки в чай тебе ложечку добавлю. Глупенький ты мой, бестолковенький.

Мария.

С Новым годом! С Новым веком, милая моя Мария и Петенька!

Конечно, вместо дедушки Мороза пришёл Ельцин и всё испортил, заставил всех говорить и думать только о себе. Сидел я у ТВ до утра и докладываю: очень странное зрелище все эти фейерверки в европейских столицах... Что празднуем мы все, ведущие отчёт времени от Рождества Христова? Зашёл в Новоспасский ко всенощной, читали часы, не полумрак, а темнота, лишь немного свеч у образов, у батареи под окошком дремлет нищий старик: вот где праздник. Или у того голодного воришки, который, пользуясь вселенским шумом, исхитрился добыть себе и семье на хлеб насущный. Хотелось мне быть с вами, хочется — на Рождество, и почему-то мне верится, что это случится в этом новом году, и тогда он будет новым для нас с тобой, по-настоящему новым. Есть же судьба, этот суд Божий, и он совершается всегда и во всём, или мы случайные на этой затерянной в холодном бесконечном пространстве планете? Уже я отказался от всех безумных своих мечтаний, от мелкого тщеславия, от ложных идеалов, нет, не устал, не постарел, не перегорел желаниями, я бодр и весел и свободен, как никогда, и я знаю, что ныне начинаю новую жизнь. Это смешно, конечно, что оно совпало со встречей 2000, но это, видимо, случайность. Мы возродимся, Мария, потому что, где двое, там и Третий. Я — хороший, просто надо было... переберечься, чтобы успокоиться. Что я делаю? Ничего. И это самое лучшее сейчас. Не ворую, не спекулирую, не обманываю. Много читаю, чиню одежду и обувь, делаю мелкий ремонт, а впрочем... Ну, и так довольно сказано. С Рождеством вас! С надеждой на воскресение! Жаль, что нет Февронии с нами, я бы подарил ей много старых добрых игрушек, которые нашёл на антресолях, когда украшал ёлку. Потерпите ещё немного, не бросайте меня, один я не выдюжу, не справлюсь.

Иван.

Дорогой мой Иван!

Христос Воскресе!

Такая нынче радость в сердце и на душе мир, что хочется поделиться и с тобой, и с целым миром. Разом зацвели у нас яблони и сирень, не могу со двора в избу зайти, всё тянет обратно к этому свету и этой красоте. А Петьку сестра забрала на выходные к родственникам в деревню, вот я одна и скучаю. Дай, думаю, своему напишу, непутёвому, он любил раньше мои письма читать, клялся, что хранит их все в тёткином сундуке, перевязанные розовой ленточкой. Вчера весь день шли и шли на кладбище и обратно люди, хотя на саму Пасху не должно ходить, а на Радоницу только, но так уж повелось ещё с хрущёвских времён, как мирная демонстрация трудящихся, и власти ничего с этим сделать не могли, не препятствовали, и даже полтора-два милиционера (помню-помню, ты их почему-то не очень любишь) обеспечивали порядок. Идут нынче все такие праздничные, хорошо одетые, с детьми, а иные несут раскрашенные яички прямо в белых рушниках. Я вышла к воротам, на улицу, с иными и поприветствуешься, и похристосуешься даже, каждый бы день вот так вот, да нет, долог, долог и тёмн великий пост нашенской жизни, Ваня. Ох, грешная я, глупая баба, мысли мои все, как воробушки, лёгкие, и так их много, и за что мне наказание сие?

Ладно, ещё что? Ко Дню Победы готовимся, в этот раз юбилей, 55 лет, с того начали, что снесли памятник, установленный самими горожанами в сорок пятом году, представляешь? Подвели ночью технику, включили прожектора и давай крушить! Так уж на что у нас народ стал равнодушный ко всему, хмурый, а тут повыскакивали, кто в чём был, на улицу, даже до меня шум дошёл, но я-то уж утром пошла глядеть. Лежат каменные тела героев на земле сырой, как трупы убитых зверски фашистами, да ещё у одного на шее верёвка или канат, вернее, накинут — это они его так бульдозером опрокидывали. Ценности, говорят, памятник никакой художественной или архитектурной не представляет, а сделан из гипса, только что сверху грубо покрашенный. А он не грубо, а каждый год его к Октябрю и к Маю красили заново, и во все эти проклятые годы кто-то же ухаживал, цветы сажал, а у кого-то, Вань, и могилки нет, если без вести пропавши, так люди

сюда, как родным, цветы несли и свечи или те же пасхальные яйца, вербочки, берёзки на Троицу. Совет ветеранов, а в него входят уже почти все оставшиеся в живых ещё ветераны, собрался у порушенного памятника, как на поминки. На глазах у всего города, средь бела дня разложили скатёрку, достали бутылочку белой и помянули. И не дадим, говорят, новый ставить, чтоб тем архитекторам из Москвы ничего не обломилось народных денег. Уже собрали комитет по установке своего памятника или восстановлению поруганного, как был, только в камне. Так что, Ваня, народ у нас не думает, народ живёт, и с вашей “золотой” сражается, как и я с тобой. Приезжай картошку садить.

Целую, М.

Милая, милая, далёкая и близкая, родная и чужая, это всё ты, уже давно мы вместе, давно муж и жена, и просто это жизнь так распорядилась, что всё поврозь мы живём, а между тем, вспомни, Иоанн Кронштадтский жил со своей венчанной, как брат с сестрою. Разве меньше я люблю тебя, что сражаюсь с дьяволом за всю нашу жизнь здесь? Мне что-то ещё надо исполнить здесь, я чувствую, убить кого-нибудь или спасти, крестить, остановить, я не знаю точно. Вчера на Пушкинской был взрыв, думаю, что эхо его дошло и до вас. Случайно я не попал под него, у меня была встреча у памятника Пушкину за час до. Но, узнав о взрыве, я тотчас помчался туда и попал в самые ещё горячие минуты, когда люди, задыхаясь и истекая кровью, отползали, обожжённые, от этой драконовой пасти. И тут ко мне хам с телекамерой, что-то спрашивает, съёт микрофон, снимает, светит в глаза и ослепляет своим прибором, как лазером. Но больше всего меня поразило, что оператор не переставал жвачку жевать. Я и хрястнул его по рожке. А потом и по рукам. Камера упала, что-то там в нейбрякнуло, они на меня все втроем, девица визжит: “Фаши-и-ист!” Сама ты, думаю, нехорошая, хоть и в юбке. И тут милиция, конечно. Зря ты, Маша, меня обличаешь в ментофобии, очень даже я этого старлея возлюбил, всей крепостью моею. “Как дело было, — спрашивает, — товарищи?” Тот мычит, в сторону подземного перехода показывает, а дым в это время почему-то ещё гуще, и мы в него возвращаемся, я голый по пояс, этот в крови маленько, его бабёшка камеру, как ребёнка, прижимает, а у него на груди крест висел на цепях, большущий, как у попа, только не православный какой-то, и старлей снова спрашивает: “Как в Библии сказано? Если ударили по одной щеке, подставь левую?” Он так и выразился, старлей. Этот: “Ну!” — “Тебя по какой ударили?” Он отвечает: по левой. И старлей просто так берёт ему без размаха коротко в правую, и этот брык по ступеням вниз, в дым, как в преисподнюю, мы со старлеем в разные стороны, и только эта, с камерой, стоит и причитает во весь голос, да там ведь все ревут и причитают, даже одна новая американка: “Я десять лет назад уехала, и больше в эту... страну никогда ни ногой!” Счасье-то какое: хоть одной меньше будет!

Сегодня я дежурный по подъезду, вот и пишу, сижу в камерке, соорудили спешно из фанеры, если зимой случится сидеть, то замёрзнешь. Я зимой мёрзнуть стал, как Наполеон на острове св. Елены, и так же, как он, по пять часов могу лежать в горячей ванне, помогает. Это мне вместо тебя тогда, тепло на теле и на душе. Укатали сивку крутые горки, скоро дамся.

Целую крепко. Много ли нынче яблоч? Что у вас говорят о прославленной семье Романовых?

Пиши, Иван.

Дорогой мой Иван!

Здравствуй!

Пора, видно, заканчивать нашу повесть. Пора перестать обманывать, мы не дети. Я снова стала ходить в церковь. У Пети обнаружился слух и голос, он учится в хоре и уже понемногу поёт во время богослужения. Сегодня утром мы оба причащались Страшных Христовых Тайн, ты бы поздравил.

Ты бы, ты бы... Тебя нет и не было по существу, мечта была, и той нет.

Странно ещё, что есть Русь, живут ещё русские люди на своей земле и говорят на родном языке. Я так думаю, что это самое большое чудо и есть. Ты усмехаешься: что нового может сказать нищая провинциалка, мать-одиночка, живущая между кладбищем и тюрьмой на огороде? Ничего нового, но, может быть, это и хорошо — повторять и утверждать каждодневным бытием свои старые истины. Когда эта чёртова ваша Останкинская башня молитвами Святых Отец наших, наконец, возгорелась, у нас даже воздух очистился. Цельную неделю люди ходили, улыбаясь, по улицам, друг к другу в гости и на могилы, которые были заброшены годами, десятилетиями. У тюремных ворот стояла очередь с передачами. Дети начали читать книги. Конечно, жаль девушку-лифтёра, но уж она давно на небе. Так старлица сказала. Может быть, за одну эту светлую седмицу нам вернулись силы ещё на многие годы.

Конечно, они никогда не остановятся, и будут уничтожать нас до конца — телевидением, хлоркой, порнухой и стерилизацией, раздачей бесплатных наркотиков, вербовкой, подкупом, шантажом, террором, лучших отстреливать поодиночке, всё это так, Ваня, и я даже думаю, что нам уготована участь худшая, чем индейская резервация. Но ведь иначе и не должно быть, и Христа они распяли, и распинают ежедневно. Но ещё хуже, если бы нас перестали уничтожать. Это значило бы, что мы согласились со всем, что от мира сего, как многие-многие другие. А ведь очень важно для будущей вечной жизни — в каком состоянии народ придёт на Страшный Суд. Если, конечно, человек не растение, и у него есть бессмертная душа. Я смотрю не в зеркало на морщины, а в окно на образ мира, и в мимолётном, скоропреходящем вижу потустороннее, запредельное, слышу его зов, его чистый мощный голос, и не боюсь, мне не страшно.

Даже за Петю. Тебя мне жаль, но я очень молось за тебя, как надо, настоящему, и верю, что Господь всё устроит, так или иначе, а если не так, то как-то ещё. Ты всё-таки был светлым лучиком в моей жизни, я любила тебя. Спасибо тебе за всё и прощай.

Мария.

**ВЫЕЗЖАЮ ЗАВТРА ВЕЧЕРОМ С ВЕЩАМИ ВСТРЕЧАЙТЕ ТАКСИ
ДЕНЬГИ ЕСТЬ ВАГОН 8 ЛОЗОВОЙ**

АЛЕКСАНДР КУВАНОВ



ЧТОБЫ МНЕ ДОЛЕТЕТЬ ДО НЕБЕС...

ДЕТСКАЯ СКАЗКА

Стихотворение на два голоса

...бабушка, изба, иконы, печка,
мир привычно-сказочных чудес:
кинешь полотенце — будет речка,
кинешь гребешок — дремучий лес...

Память, не трави меня, не мучай,
ведь душа и так больным-больна!
В лес войдёшь, а он и впрямь — дремучий,
в реку глянешь — всю видать, до дна...

Было же когда-то это, было!
Зеленя в полях или стерня...
Там тащила старая кобыла
старую телегу и меня;

там крестьян обветренные лица,
их загар и говорок на “о”...
“Но-о! Пошла!” — покрикивал возница,
и кобыла слушалась его...

КУВАНОВ Александр Аркадьевич родился в Иванове в 1957 году. Окончил Ивановский медицинский институт. Печатался в журнале “Наш современник”, выпустил два поэтических сборника: “Путь” (2010) и “Жизнь” (2011). Работает врачом. Живёт в Иванове.

Сказочным он видим поневоле,
образ первозданной красоты.
Небо, ветер, лес, река и поле
вправду были сказочно чисты

там, во времени далёком, “оном”,
где гнездо и корни, и причал...
И журавль колодезный поклоном
городского мальчика встречал...

* * *

Т.

Если завтра умру, ты поплачь обо мне, но не сильно,
А поставь на канон перед Богом распятым свечу.
Не в бору, на юру — не под бурой землёю могильной —
Ты отыщешь меня, я в иные края улечу.

Не хватало мне воздуха что-то в последние годы,
Что-то мгла застилала глаза “тай, що свиту не чув”.
Я не лягу в могилу, я просто шагну на свободу,
И оковы, и стены темницы, как пыль, отряхнув.

Если завтра умру, если вправду такое случится, —
А случается разное, вправду мир полон чудес! —
Как из клетки, из тела я выпорхну вольною птицей,
Ну, а ты помолись, чтобы мне долететь до небес.

* * *

...но фронтовое, кровное родство
Отцов средь нас теперь идёт на убыль.
А в киевском соборе — Васнецов,
И там же, но в другом соборе, — Врубель.

Но ныне там иные пироги —
Там дым и кровь. И мы для них — враги.

Когда-то я по Киеву гулял
Без опасенья, просто и красиво.
И под пятой моей была земля
Землёю Кия, Щека и Хорива,

И был прямым Крещатик, как стрела,
И Лыбедь над Крещатиком плыла
(Где пробегали прежде тур и вепрь —
Во мгле веков, в начале новой эры).

И был давно
форсированным Днепр,
И сгнули и Гитлер, и Бандера,
И стыдно сытым было быть тогда,
Когда есть где-то голод и беда.

Тогда. Давно. Теперь, увы, не то —
Не то ни над Днестром ли, ни над Волгой.
И сытости унылой тенетó
Опутало нас, точно ночью долгой,

Как будто пауков, загнав в углы,
Где мы сидим, раскормлены и злы.

Кричим: “Москаль!” — в ответ кричим: “Хохол!”
(Стыда — ни капли, и ума — ни капли),
А в головах при этом — сытный стол
Да отдых на Цейлоне или Капри.

Мы сами стали, будто тур и вепрь.
Прости-прощай, форсированный Днепр.

И всё же есть — и совесть есть, и стыд,
Любовь и вера, мужество и сила,
И князь Владимир над Днестром стоит,
И держит крест, крестивший ВСЮ Россию.

Вот сила, что не сдастся ни-за-что!
И лебедь разрывает тенетó.

22.08.2014

ЖИЗНЬ И СУДЬБА

*Над мертвецом висит звезда,
И ничего звезде не надо...*
Н. Ушаков

Вот судьба — другим пример
Вплоть до строк финальных.

Октябрёнок, пионер —
Всё вполне банально.

Не крутой потом маршрут,
А маршрут по штату:
В подходящий институт
Поступить по блату.

Вожаком быть и сачком,
Членом профсоюза,
Белым стать воротничком
Сразу после вуза.

Да таких полна страна:
Серо и уныло.
Перестройка — вот те на! —
Всё переменяла.

Вот решенье всех проблем!
Вот перо жар-птицы!
“...был никем, тот станет всем”,
Если изловчится.

Это ж глупая страна
(Нефть — её кровинка),
Не понять ей ни хрена
Мирового рынка.

Хлестануть её войной,
Стать хорём и крысой,

Править глупую страной,
Стоя за кулисой.

Сбить громадный капитал
(Кровь — петлёй на горле:
Вроде как не убивал —
Сами перемерли).

Стать известным всей земле,
Круче прочих в мире!..

И быть найденным в петле
В лондонском сортире...

ИВАН ТЕРТЫЧНЫЙ



НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК

РАССКАЗЫ

Весь вечер и всю ночь на улице шумно колесил западный ветер. Он был так резок и напорист, что невольно представлялось: ещё одно усилие, ещё один порыв — и оконные стёкла брызнут мельчайшими осколками вовнутрь, кромсая темень гостиничного номера, и воздушный поток хлынет густой волною, сметая всё на своём пути.

Владимир Владимирович упрямо пытался прогнать это тягостное ощущение: поплотнее прижимал край одеяла к ушам, нарочно вспоминал идиллические картинки из детства — и вроде бы убаюкивал себя, погружался в тёплый туман сна... А потом вдруг снова просыпался, и снова долго засыпал...

Утром городская округа выглядела по-новому: дома, окружающие площадь, обрели свои прежние черты, многодневная поднебесная наволочь бесследно пропала, и в слабо подсвеченной с востока выси воцарилась холодная луна.

Путь зиме был открыт.

Владимир Владимирович расстегнул серое пальто, поправил пересекающий грудь наискосок ремень чёрного портфеля и направился через пустынную площадь к вокзалу.

Кепку он нёс в руке, подставляя тщательно выбритую голову текучей прохладе, — бодрящей, пахнущей невидимым снегом, — и, кажется, от избытка утренней радости что-то тихонько декламировал, может быть, оконча-

ТЕРТЫЧНЫЙ Иван Алексеевич родился в 1953 году в Курской области. Служил в армии, работал на стройках. Окончил факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор книг “И было утро”, “Рядом”, “Подорожная”, “Когда-нибудь...”, “Лунный снег”, “Живая даль” и других. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.

ние своей любимой строфы: “Какая это славная привычка — идти с восходом к утренней реке!” Или же — что-то другое, в подобном духе.

В вагоне, как он и предполагал, народу оказалось не так уж много; активная фаза отпусков закончилась вместе с исходом русского лета, и передвижение в пределах отечества стало делом легко исполнимым: деньги—билет—поезд (самолёт). В купе он и вовсе был один; правда, на следующей станции — часа через три-четыре — у него появились соседи: он и она, лет двадцати пяти-восьми; он — тихий, малоприметный, русоволосый; она — яркая кареглазая брюнетка, крепкая телом.

Владимир Владимирович, едва они вошли, отложил в сторону электронную книгу и вышел в коридор, давая новым соседям возможность расположиться.

Бессмысленно глядя на обнищавшие к ноябрю лесополосы, сопровождающие железную дорогу и шумно бегущие по ней поезда, машинально отмечая попутные селения на безвестных полустанках, маячащие на возвышенностях ажурные вышки ретрансляторов сотовой связи, Владимир Владимирович ещё раз мысленно окинул сделанное им за дни недолгой командировки и подытожил: всё, в общем-то, нормально, предприятие будет эффективно развиваться да и...

— Простите... — За спиной, в проёме распахнувшейся двери стоял сосед. — Простите... — повторил он. — Вы не могли бы составить нам компанию? Я и жена вот...

Составить компанию... да ещё в дороге... с незнакомыми людьми... — это, во-первых, не про него; в двадцати шагах, кстати, ресторан, — это во-вторых; в-третьих... полчаса назад он подкрепился холодным цыплёнком табака, благоразумно прихваченным утром в буфете гостиницы. Но в лице и глазах молодого соседа было столько откровенного простодушия и в то же время спокойного достоинства, что Владимир Владимирович, улыбнувшись, снизошёл с высоты своих сорока лет к предложению попутчиков и шагнул в купе.

Тут-то они и познакомились.

— Сергей.

— Я — Жёня.

— Владимир.

На столике, на трёх бумажных тарелочках, лежали по два апельсина. В центре красовались большущие антоновские яблоки, тускло мерцали серебряные стопочки. Как говорится, классический дорожный вариант.

— Что вы будете? — спросила Жёня и взглянула на мужа.

— Да, есть варианты... — уточнил Сергей. — Есть хороший коньячок, “Хеннесси”. Но я, к примеру, предпочитаю в дороге текилу. Из агавы, конечно.

— Я присоединился бы ко второму варианту, но вам может не хватить запаса, а в вагоне-ресторане будет ли...

— Мы же, Володя, давно мечтали об этой поездке — добраться по железной дороге чуть не до Каспия, а потом на теплоходе — вверх по течению — до дома. Ну, вот и прошёл по магазинам, выбрал подходящий напиток с расчётом на все дни путешествия, даже с некоторым запасом. Так что не волнуйтесь...

Текила и впрямь оказалась неплохой (в хмелящих напитках Владимир Владимирович разбирался основательно), беседа — спокойной и ненавязчивой, с естественными паузами. Мало-помалу выяснилось, что эта бездетная парочка два-три раза в год путешествует по старинным городам, заповедникам и прочим любопытным местам, что Жёня, опытная яхтсменка, работает в каком-то спортивном клубе, Сергей же дорос, благодаря упорству и трудолюбию, до места какого-то начальника на предприятии по производству сантехнического оборудования. Владимир Владимирович, Володя, не стал вдаваться в подробности своих рабочих обязанностей, обозвав их бумажной тяготиной, зато с охотой поделился впечатлениями от увиденного в деловых и отпускных поездках; тут его собеседники и вовсе размягчились, заулыбались, мол, как же славно, что у них у всех есть такое замечательное увлечение...

Когда Владимир Владимирович вышел в коридор размять уставшее от долгого сидения тело, Сергей последовал за ним и, покурив в тамбуре, встал рядом у окна. Мелькали низенькие платформы, безликие станционные постройки, тёмные кирпичные трубы заглохших заводиков, несчётные растрёпанные деревья и кусты лесополос, холмистые сырые поля — привычная и почему-то невесёлая осенняя картина.

— Знаете, Володя, когда мы вошли в купе, а вы ненадолго вышли... Знаете, что я сказал Женечке? Я сказал ей, что с нами едет необыкновенный человек. А тут ещё ваш томик Басё на столе... И Женя, кстати, сразу со мной согласилась. Да, у него, говорит, такое лицо и такие глаза... Простите, что говорю это вам, как говорится, прямо...

Владимир Владимирович коротко и цепко взглянул на соседа: что это? Неловкая шутка? Или?.. Но сосед, похоже, не шутил.

“Ах, вон оно что!.. И это немедленное предложение составить компанию, и этот странный пиетет...”

Владимир Владимирович едва не рассмеялся вслух — звучно, от души. Нет, хорошо всё-таки, что сдержался, иначе бы обидел и Сергея, и его милую жену. Пусть оно наивно, простодушно, такое вот поспешное суждение о нём, но это ведь издержки молодости и неопытности, скорее всего... Стоит ли над этим смеяться...

Владимир Владимирович позволил себе лишь чуть улыбнуться и неопределённо махнуть рукой.

— Может быть, пора нам, Сергей, вернуться в купе и продолжить игру в наши... шашки?

Сергей распахнул перед ним дверь.

Что же знал он сам о себе? О масштабе, так сказать, своей личности. Да, он изрядный профессионал — диплом с отличием, выданный лучшим вузом страны, многолетнее самообразование, почти двадцатилетний опыт работы — с изрядной зарплатой; в определённом смысле оригинал, поскольку со студенческой скамьи всерьёз занимается восточной поэзией (китайской, японской), её переводами на русский, теперь, по признанию давно убеждённых сединами специалистов, он крупный авторитет в данной области. Но ведь это всего лишь его трепетное увлечение, может быть, даже страсть, может быть, он действительно талантлив и достиг каких-то успехов в этой области... Кстати, томик стихов Басё — его переводы. Но думать о своей особой необычайности — смешно. А милые ребята — охо-хо!.. Чудаки — да и только! Его друг Паша, ехидна, поиздевался бы над ним вволю, узнав о таких попутчиках... Естественно, Володя не даст ему такого повода...

Поезд, отскрипев, отстучав, отщёлкав своё на ветвящихся станционных стрелках, наконец-то плавно остановился, и Владимир Владимирович, нахлобучив крапчатую кепку, бодро шагнул на платформу. Постоял, стряхнул с рукава соринку — и на этом его бодрость кончилась. Он побрёл по перрону к подземному переходу, привычно представляя, как через пяток минут такой помчит его по выстуженному ветрами проспекту домой, как жена, распахнув дверь, молча прошмыгнёт в дурацком ярком халате на кухню, как придёт вскоре дочь, бросит на пол рюкзачок с книгами, скажет ему: “Привет, пап!” — и поскорее удалится в свою комнату, к компьютеру, как вслед за ней придёт сын и, кивнув ему, отправится в свою комнату... А он, не раздеваясь, сидя в кресле посередине кабинета, будет смотреть на осеннее серое небо и ни о чём не думать...

Владимир Владимирович остановился, словно его настигла какая-то неожиданная мысль. И скорым шагом вернулся к только что покинутому им своему вагону. За стеклом третьего от двери окна стояли, взявшись за руки, его молодые попутчики. Они словно ждали его. Они смотрели на него во все глаза... Как же это было здорово — ехать вместе, втрём!

И у него так странно защемило сердце; ему вдруг захотелось такого же, как у них, простого, наивного счастья, и он растерянно, глупо заулыбался и неопределённо махнул рукой...

ВЛЕЧЕНИЕ

1

— Веришь ли? Я никогда по доброй воле не вспоминал о ней почти во все, — говорил он, опираясь руками на перила плавучей веранды, увлекаемой буксиром от набережной к песчаному острову посередине Амура, где в жаркие дни любят отдыхать горожане. — А если мельком и вспоминал, то один раз в десятилетие, в связи с чем-то.

Он помолчал, глядя на широкое течение воды, и снова повернул ко мне наклонённое лицо.

— Хотел бы её увидеть теперь? Не знаю. Вряд ли... Скорее всего, она очень изменилась, по крайней мере, внешне. И пытаться увидеть, разглядеть в заматеревшей женщине семнадцатилетнюю девушку, услышать её голос — тот самый голос! — дело заведомо провальное. Или я неправ, земляк?

Он поднял голову и внимательно посмотрел мне в глаза.

2

Признаюсь как на духу: люблю путешествия. Тяга к временной перемене мест живёт в моей душе с юности: увидеть новые земли, новых людей, неизвестные большие и малые селения, услышать другой говор, уловить, почувствовать иной ритм человеческого бытия — не счастье ли?

Нравились и нравятся до сих пор путешествия разного рода: и пешие, и автомобильные, и водные, и железнодорожные... Что же касается путешествий космических, о которых слышны пока только общие рассуждения, то отвечу априори: безжизненные пространства не манят меня ничуть. Хотя, возможно, для иного астронома перемещение в космосе — предел мечтаний. Что ж, каждому — своё...

Однажды нежданно-негаданно очутившись в городе, вольно раскинувшимся на высоком берегу Амура, неторопливо оглядевшись в нём, я со временем почувствовал в себе почти неодолимую тягу видеть и слышать его — пусть изредка, пусть один раз в несколько лет. И был, думается, в этом странном, почти не объяснимом пристрастии один понятный мне мотив: здесь однажды расцвела такая случайная, такая мимолётная и такая нежная влюблённость!

И вот я снова здесь, снова легко вспоминается, казалось, навеки забытое.

...Мы едем в малолюдном автобусе за город, в просторный сосновый бор, где в одном из его уголков на берегу реки разместились пионерский лагерь, а в нём работает вожатой её лучшая школьная подруга (да и вообще там мировой девичий коллектив!), и значит — нам будет весело. Так говорит она. И я почему-то ей верю, хотя в каком-то ином случае предпочёл бы нечто более простое, чем шумное детское окружение. Но обещанный пляж (сегодня, как и вчера, и позавчера — жаркий день) в часы детского затишья и три бутылки вина в нашей сумке подкрепляют мою веру в её утренний замысел. Что ж, лагерь так лагерь...

...Мы стоим на берегу затона и смотрим на скопище речных судов — и казённых, ждущих, может быть, ремонта, и разноцветных яхт, и каких-то катеров и лоджонок. Моей милой это, вероятно, ни к чему — глазеть на столь пёстрый вид... А я вижу всё это впервые в такой близости... А там вон, за рекой, синее в дымке лесистый хребет, там уже чужая земля, притихшая, присмирившая в последние годы, но оттуда веет настроженным холодком...

Ей нравится её родной город, и она рада, что он мне тоже пришёлся по душе, и это нас роднит. Так говорит она. И я ей верю. Разве я могу ей не верить? Ведь она доверила мне даже себя...

...Мы сидим за столом, увенчанным неяркой настольной лампой, пьём болгарский коньяк "Плиска", закусываем ломтями чуть подкопчённой красной рыбы, вкушаем индийский чай, смеёмся и беспричинно целуемся — нежно, жадно, вволю... Когда мы лежим на диване, горячие, взволнованные,

меня почему-то удивляет, что её лицо в темноте кажется белым-белым и почему-то совсем не знакомым; мы вглядываемся друг в друга, понимаем друг друга, а там, под окном, в переулке кто-то никак не может понять, почему же сегодня так рано погас в комнате свет; в стекло то и дело постукивают крошечные камешки; кто-то хочет увидеть её лицо, услышать её голос, но, увы, увы...

3

Ещё раз я увидел берега Амура лет, кажется, через десять и, слегка отдохнув в гостинице после длительного перелёта и смены часовых поясов, особенно не раздумывая, тая в душе какую-то необъяснимую надежду, отправился искать Танию. Если бы кто-то, даже не весьма остроумный, решил охарактеризовать меня в этот час, то тут ему потребовалась бы одна-единственная строка классика: «Влечёт меня неведомая сила...» Точнее говоря, я предполагал, где её можно найти; специальность и работа Тани были связаны с тяжёлым промыслом, а стало быть, вряд ли она поменяла карьеру, а если даже и ушла с прежнего места, сослуживцы подскажут её новый адрес. На порхающую по градам и весям птичку она вовсе была не похожа: не тот склад характера.

Двухэтажный особняк в тихом переулке я нашёл сразу и постучал в однажды мною виденную дверь. И шагнул в просторный кабинет. За столами, нагруженными объёмистыми папками, сидели, уткнувшись в бумаги, три женщины — две в возрасте и одна молодая. У неё-то я спросил, могу ли я увидеть такую-то и тут же, спохватившись, сообразил, что, возможно, у Тани теперь другая фамилия, всё-таки десять лет — не десять дней; что, возможно, — да какое там «возможно», совершенно точно! — я напрасно явился в этот тихий переулок, в этот занятый делом особняк, в эту просторную, затенённую плотной листвой липы комнату... Что за дикая выходка, братец?

Женщины, те, что постарше, переглянулись и, словно повинувшись чьей-то беззвучной команде, встали из-за столов и проскользнули мимо меня в открытую дверь.

Молодая женщина тоже встала и повернулась ко мне.

— Это я...

Я смутился, что с первого взгляда не узнал её. За годы разлуки без надежды на встречу память как бы перерисовала её облик: тут капельку добавила в лице, тут убавила, лишь оставила неизменно-стройной фигуру... После некоторого замешательства я коротко всмотрелся в лицо Тани и бесповоротно признал: да, это она. Карие с зеленой глаза... знакомые веснушки... полные вишнёвые губы... светлые брови... Этот тихий внятный голос — её голос!

— Это я... — повторила она. Ресницы её вскинулись, чуть дрогнули. — Ты? Это ты?

Чистый румянец проступил на её щеках.

На безымянном пальце правой руки я разглядел обручальное кольцо; оно туго обнимало расплывший палец и почему-то казалось тусклым, будто блёклая медь.

— Откуда?

— С самолёта.

— А я...

— Таня...

И тут, точно сквозь вялый и туманный сон, до меня дошла отрезвляющая мысль: путь в наше общее коротенькое прошлое и мне, и ей заказан; есть только сегодняшний день, где мы существуем отдельно друг от друга, и ещё может случиться день завтрашний, где мы можем быть — отдельно друг от друга. Общего будущего — ни дня, ни недели — у нас нет, ему не из чего расти. Трусись? — спросил я себя. Будущего нет, подтвердил разум. И, сдавленные его мёртвой хваткой, чувства, задыхаясь, подтвердили: общего нет будущего...

— А я...

— Тая, мне нужно сейчас идти в институт культуры... К пятнадцати ноль-ноль надо... Позвони, когда освободишься. Или там, или в гостинице буду. Просто позвони и скажи: “Я уже свободна!” — Вот... — Я положил на стол визитку с номером мобильного телефона и, шутиливо махнув рукой, шагнул к плотно прикрытой двери.

4

Месяца через два после возвращения с Дальнего Востока я оказался в гостях у своего двоюродного брата. Случай для нашего свидания был очень подходящий: день рождения Ивана, круглая дата.

После утреннего чаепития я отправился побродить по городу. Я шёл по просторному скверу под высоким зелёным навесом пышных лип и клёнов, мимо плакучих ив, мимо цветущих рядов декоративного кустарника, мимо пахнущих скошенной травой газонов... Останавливался, радостно осматривал ближний мир, древесный и человеческий — лица моих земляков, лучащиеся какой-то особенной мирной красотой, вслушивался в людские и птичьи голоса и понимал, что именно в июне можно почувствовать себя счастливым... Райская пора!

Когда я вернулся в знакомый мне дом, стол для праздничного обеда был уже, считай, накрыт усилиями жены брата, Нины, и их взрослой дочери Верочки. В прихожей я расслышал голоса первых гостей — мужской и женский. Они о чём-то весело толковали с хозяевами и звучно смеялись, должно быть, после первой рюмочки, “кухонной”, вошедшей в обычай домашних праздников (первых гостей поощряют за своевременную явку).

Пришедший ранее прочих оказался сослуживцем брата, а женщина — его женой. Матвей и Марина — так именовали пару — тотчас взяли надо мной опеку и решительно усадили за праздничный стол рядом с собой. Марина о чём-то щебетала с соседкой, а её муж, по-свойски толкая меня локтем в бок, рассказывал о том и о сём, в том числе о приключениях на рыбалке; они с Иваном зайдые рыбаки; всю область исколесили, даже на бывший железорудный карьер ездили, там, на месте добычи полезного сырья, огромный пруд власти соорудили, обустроили чин по чину, зарыбили солидно — рыбаки млеют от счастья!

Я из вежливости поинтересовался у соседа, большая ли у него семья. Матвей ответил тут же, коротко и бодро:

— Маринка да я!

Потом, выпив и закусив, мой бравый сосед решил всё-таки растолковать подробности их семейной жизни. Что, мол, они за одной школьной партией в старших классах сидели, любовь у них была, даже целовались. А после службы в армии Маринка ему почему-то разонравилась, и он женился на другой. А она тоже взяла и замуж за какого-то типа вышла. Ну, вот так оно всё устроилось. И жили они так и жили. А лет через девять-десять как-то встретились случайно — и любовь их проснулась, разгорелся костерок.

— Тут-то я и сказал ей сразу: бросай ты своего губошлёпа — и давай жить вместе! Первая любовь никогда не ржавеет! Так и сказал, понял?

— А дети у вас в семьях были?

— А то!.. Я свою с сыном к матери моей переселил, пусть вдвоём воспитывают, они, понимаешь, такие дружные! Сила! А её губошлёп на другой женился, так что дочку Маринину в порядке воспитают. Вот!.. Давай выпьем за здоровье твоего брата. Согласен?

А когда объявили перерыв-перекур, Матвей вывел меня на улицу “подышать кислородом”. Я поглядывал на высокие лёгкие облака, на мягкое колыхание деревьев, вдыхал-выдыхал июньский воздух, а мой собеседник продолжал развивать семейную тему.

— Приходим вечером с работы, садимся ужинать, стопочки по три-четыре примем, валимся на диван — и давай песни петь! Или телевизор включаем... А потом — на боковую! Обнимемся крепко и спим. Ничего нам не надо! Счастье! Понял? Вот так...

5

Я уже заканчивал гостевание у брата, загорелый, с сияющими глазами, напитавшийся воздухом родины, когда позвонил на мобильный тот самый знакомый, с которым мы вместе одолевали водную ширь Амура на плавучей веранде.

— Сейчас я в поезде, подъезжаю, земляк, к нашему областному городу, переседаю на электричку — и в тихий-тихий городок Свободу. Помнишь, я его упоминал в разговоре?

— Помню. Как же!..

— Может, когда-нибудь увидимся? В Москве, допустим...

— Зачем — когда-нибудь? Через полчаса я встречу тебя на вокзале, вот и увидимся. Посидим в кафе, поговорим. Годится?

— Не ожидал такой приятной засады, не ожидал...

6

— Ну вот, земляк, летел-летел я на самолёте, смотрел вниз через окошечко на облака... они снежную пустыню изображают... на извивы больших рек, горных хребтов... жилья человеческого почти не видно... большей частью видишь прямые линии — просеки, где проходят линии электропередач... И вот глядишь на всё это и думаешь не о небе, не о Солнце и Луне, не о звёздах и прочем, что на высоте, — а о земном думаешь, о тех, кого любил и любишь, о памятных детских кострах на склоне холма, об ушедшей в мир иной родне, о стрекозах у летней речки, о зимних зорях, о первых скворцах в марте, когда под ногами хрустит ледок... Да что я тебе об этом рассказываю! Сам, небось, такое представляешь... В одной природной печке шла наша за-калка! Давай выпьем за это!

Мы ещё раз приветствуем друг друга бокалами с вином, и мой собеседник, отбарабанив на столе короткую дробь, развивает свою мысль.

— В общем, я понимаю и чувствую так: всё обаяние, вся неохватность, всё господство над тобой земной жизни постигается в небесной выси и, как ни странно, незримая небесная воля — на земле. Конечно, не все и не всегда видят её скромные или грозные признаки... Однако ж...

В свою очередь я рассказал земляку о недавно встреченных в праздничной компании двух, говоря по-современному, мажорах — Матвее и Марине, — дерзко рвущихся к личному счастью, и спросил его, что он об этом думает.

Земляк пристально глянул на меня, вздохнул и поправил на руке часы: до отхода электрички оставалось семь минут.

ЕВГЕНИЙ ЭРАСТОВ



МОЛЧАЛЬНИЦА ИВА

* * *

Жизнь — это яркий, волнующий случай.
Вновь предо мною родная река,
Трепетный мир соловьиных созвучий,
Тонко-ребристая тень ивняка.

Вновь я кукушечью слышу погудку,
Селезня вижу на глади пруда.
Здесь на полянах растёт незабудка —
Я не забуду её никогда.

Родина — что это? Липы, берёзы,
Утренним ветром колеблемый флаг?
Жирные мухи, стальные стрекозы
И земляничкой пропахший овраг?

Клевер, разросшийся во поле чистом?
Чайка, махнувшая белым крылом?
Памятник Ленину в парке тенистом?
Девушка с белым овальным веслом?

ЭРАСТОВ Евгений Ростиславович родился в 1963 году. Окончил Горьковский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах "Волга", "Москва", "Дружба народов", "Звезда", "Наш современник", "Новый мир", "Сибирские огни". Автор четырех поэтических и трех прозаических книг. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

Я упрекнуть тебя, мир, не сумею:
Сколько бы ни было горьких примет,
Я повторю, что совсем не жалею,
Что появился однажды на свет.

Может, поэтому так горделиво,
Вся в ореоле поникших ветвей,
Смотрится в Волгу молчальница ива,
И бесшабашно трещит соловей.

* * *

Как берег зелен и тенист!
Здесь носятся стрекозы,
Обнял кувшинку остролист,
Стоит июль, но жёлтый лист
Трепещет на берёзе.

На небе ласточки парят,
Повсюду — пятна света.
К чему так часто говорят:
“Июль — макушка лета?”

Уже притихли соловьи,
Бухгалтерша-кукушка
Счета забросила свои —
Какая тут макушка?

В заросшем тиной озерце,
С печальной миной на лице,
Спит квёлая русалка.
...Тебе о жизненном конце
Шепнет листочек жалкий.

Среди зелёной, молодой,
Блистательной когорты
Обласкан мёртвою водой
Листочек этот жёлтый.

Листочек жёлтый, словно свет
Полночного эфира,
Слепой, мучительный привет
Того, иного мира.

* * *

В старом, притихшем саду
Пахнет созревшей малиной.
Утка на тёмном пруду
Выводок тянет утиный.

И на втором рубеже,
Тайной объят тишиною,
Думаю: “Это уже
Было когда-то со мною”.

Ряска на глади пруда,
Тихие эти закаты,
Мутная эта вода...
В чем мы с тобой виноваты?

В том, что не сладко спалось
В бешеном атомном веке?
В том, что со дна поднялось
Худшее всё в человеке?

В том ли, что танки прошли?
В том, что палят миномёты?
Что полегла в ковыли
Лучшая в мире пехота?

Мокрым веслом отведу
Старую, вялую тину.
Утка на мутном пруду
Выводок тянет утиный.

* * *

Здесь всё уже не так — не так цветет кипрей,
И ласточка парит над волжскою волною
Совсем уже не так. Мы сделались мудрей,
Отчаянней, грустней — и что тому виною?

Здесь всё уже не так. Кружатся в голове
Пять этих гулких слов, и худшее пророчат.
“Здесь всё уже не так”, — мне слышится в траве.
“Здесь всё уже тик-так”, — кузнечики стрекочут.

Вселенский кавардак. Простуженный скворец.
Колодезной воды серебряный стаканчик.
Зачем тебе туда, где розовый малец
Шатался босиком и дул на одуванчик?

В ту тёплую страну, где ласточка легка,
Где свежи и чисты младенчества порывы,
Где в небе голубом застыли облака,
Где всё ещё с тобой, где все добры и живы.

Где все ещё с тобой, и живы, и добры,
И жизнь твоя течёт ни шатко и ни валко.
Но что тебе, дружок, до сладкой той поры?
Здесь всё уже не так, да это и не жалко.

* * *

Как постичь такую высоту?
Где же ты, божественная проза?
...Ветерок колеблет бересту
На стволе раздвоенной берёзы.

Клевером пропахшие луга.
Поцелуй, дарованный Иуде.
Неужели жизнь не дорога?
Ведь другой, наверное, не будет.

Ведь другой не будет... Оглянись!
За тобой — столкое пространство,
Гулкая, распахнутая высь,
Звёздное склерозное убранство.

Звёздная пастозная тоска.
Облаков причудливые тени.
Тоньше нитяного волоска
Дребезжит у правого виска
Лишь воспоминанье о мигрени.

На песчаной отмели, в тиши
Спят на солнце камни-голыши.
Над водою носятся стрекозы.
И судьба светла и высока.
Летняя Ветлуга. Облака.
Силуэт раздвоенной берёзы.

ТАТЬЯНА ГРИБАНОВА



И СТАЛ ОН МОЙ, ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

РАССКАЗ

Год мой начинается не первого января, а только под Сретенье, в середине февраля, в самые рассугробы, разметели, в стужу. Заглянув в Святцы, бабушка нарекла меня Татьяной, и родные не заспорили, не стали перечить. Склонившись над люлькой, пригляделись к новорожденной получше и обнаружили, что как раз это имечко дитяти и к лицу.

От раннего детства у меня остались обрывочные воспоминания. Вот я просыпаюсь в подвязанной к потолку люльке. Она опущена на такую высоту, что бабушка, сидя за ткацким станом, может в любой момент меня подкачнуть. Копошусь в одеялах, сбрасываю поясок-свивалень. Маме наперекор, бабуля почти до двух лет обвязует меня им, “чтобы статной росла да чтоб сама себя ручонками не будила”.

Выбравшись из баек-фланелек, устраиваюсь половчее и дивлюсь, как сторожко такают в тишине ходики с охрипшей престарелой кукушкой; как сноровко управляют бабушкины руки с мельтешащим туда-сюда челноком; как, поддев коготком, выкатывает из плетёной корзины и гоняет по горнице разноцветные шерстяные клубки мой не знающий ни рода своего, ни племени, дёргающий у бабушки из прялки “куделю” мой самый обожаемый друг – полосатик Барсик.

И вообще – вокруг столько манящего! Да хотя бы дедушкина недоработанная со вчерашнего вечера плетушка. Ишь, развалилась в углу хаты, будто барыня! Мир вокруг меня такой огромный, и конца-края ему не видать! К то-

ГРИБАНОВА Татьяна Ивановна родилась в деревне Игино на Орловщине. Окончила Орловский пединститут. Автор нескольких книг стихов и прозы. Лауреат Губернаторской премии (Орёл), премии им. Е. И. Носова, премии им. А. Платонова “Умное сердце” и др. Живёт в Орле.

му же пока он для меня совершенно неведом и таинственен. И это так здорово! Всю оставшуюся жизнь можно заниматься его разгадыванием...

Солнышко зацепилось за стреху. Печка уже по-хозяйски протоплена, позднее утро. Бирюзово. В палисаде устроили базар синички – вот потеха! Дедушка с утра развесил на яблоневых веточках, поближе к окошку (чтобы мне было видно), кусочки сала, вот птички-то и столуются, лакомки. В углушка подоконника, в “проевшемся” жестяном бидоне – полярный букетик – меж духовитых былочек золотятся бессмертники.

С люльки сброшена тюлевая занавеска, и мне хорошо видно, как завтракает печка – мумлит, жуёт широченным беззубым ртом бордовые уголья. Розовые отцветы жара играют на загнетке. Печурка покрякивает и причмокивает от удовольствия, лакомится, словно ветхая старушонка, переспелыми калиновыми ягодами: и горчит, и вкусно. А может, пожалела бабуля сиротинушку, расщедрилась да моей любимой кашей угостила? И пригашается вдруг моя радость.

Чую знакомый запах. Мотай, братец Барсик, на ус! Каша в нашем дворе знатная, хитрая! Так оно, конечно! На пяти крупах стряпана: тут тебе и маночка, и греча, и рис, и геркулес (как же без него?), и, конечно же, пшенцо. Маслицем топлёным сдобрено, в печке утомлёно, распарено.

Барсик от эдакого корму уж и в форточку не протискивается. Приноровился, мышатник, как только отвернётся бабуля, он, на-ко, что выкидывает: из моей миски хап да хап. Растянулся, пристроился, ну, не отпихнуть жирнущего! Развесит свои шkodные уши, “ума покупает!” и, “ну, ни капелюжечки не внемлет”.

С бабулей у него на этот счёт нелады. Как обнаружит она котейкины проказы, тут же учиняет тарарам, шуняет его, рыжехвостого: “Нешто так-то можно?” А ему – всё нипочём! Сожмурит зелёные глазёнки и давай свои муры водить.

Григорьевна – я уже знаю, так все мою бабушку, мамину маму, кличут – оставляет работу, поправляет напыленные по случаю крайних холодов свостоженные из собачьей шерсти ходоки и, словно Барсик на своих пушистых лапках-пампушках, отправляется хлопотать у печи. Рогачами выхватывает с жару (видать, отбирает у прожоры, а то бы мне и пеночки не досталось!) чугунок разомлевшей на сливочках каши. Достает из-под припечки заслонку, прилаживает на загнетку, и, наконец-таки, печища захлопывает неумный рот. “Сыта, видать, – решаю, – спать отправили. И верно, пусть каша поуляжется, а то – не ровён час! – беда приключится: треснет толстуха. Где же мы тогда станем с бабулей сказки друг дружке сказывать?”

“Ну, солнышко, соловья баснями не кормят, пора и подкрепиться, – Григорьевна с безграничной нежностью усаживает меня на колени, натягивает на мои ножонки переночевавшие в печурке, “для сугреву”, точь-в-точь, как и у неё (из пушистой смоляной Полкановой шерсти, только совсем крохотные) вязанки-тапчонки.

Снимает с керосинки сипящий чайник, водружает на стол. Чай она любит. Любит пошевелить ложечкой крыжовниковое варенье, прихлебнув кипяточку, коротенько потолковать о предстоящих на дню житейских делах.

Восседаю на высоченном, слаженном дедушкой липовом стуле. С бортиками-подлокотниками, “чтоб не бабахнулась”, с белогрудыми гусями-лебедями по спинке.

Края деревянной ложечки – “любо-дорого поглядеть!” – источены, изгрызены моими молочными зубёнками. Пробую на очередной режущийся зубок всё, что попадает под руки. Откапываю рисованных, спрятавшихся под кашей, на дне миски, прониру Патрикеевну и румяного, веснущатого, словно бабушкины плюшки, в маковых зёрнышках, Колобка. Кашей замурзано всё, до чего могу дотянуться.

Григорьевна неотступно принуждает меня к самостоятельности. Недосуг ей из-за немереных никем бабьих дел. Время “ни граммочки на праздные посиделки нетути”, то и дело хлопает калитка – работы и в дому, и на дворе, да и на бакше – невпроворот, “под вечер ухайдокайся!”: то горсть-другую крыжовника собрать, то под “клубу яичков подсыпь, то корехвостом картохи от жука сбрызни, живём-то – пню поклонися!” И побаловала бы внучонку бабуля, да когда тут!

А в три года, когда без разбору — где надо и где не надо — пытаюсь лепетать наученное бабулей “спасибо”, я уже знаю, что, оказывается, у всех людей есть именины. Это такой вкусный праздник. С бабушкиным пирогом, на который (люди милые!) раным-ранёхонько, чуть забрезжит, конечно, если детки вчера не капризничали, когда их кормили рыбьим жиром и горькими микстурами, и вообще вели себя хорошо, слетает золотистый, румяный ангелок.

Замечательный праздник — именины! Душа тонет в блаженстве! С купанием, оттираним “до блеску” (загодя, ещё с вечера) в большом жестяном корыте, пропахшем духовитым земляничным мылом, с самым ранним подарком — дедулиной, спрятанной под подушку, вырезанной из ракового сучка дудочкой-свистулькой. Со сшитым мамой (тютелька в тютельку!) на недосягаемой для меня заветной игрушке — швейной машинке — нарядным, с оборочкой по подолу, платицем. С папиными новыми книжками про Снегурочку да про зайкину избушку, с покупными карамельками-подушечками.

С утра бабуля умывает меня водицей из маленькой склянки с Божницы, даёт глоточек испить и важно радуется: “Ну, солныш ты мой яснай, готовься менины справлять!”

Только много лет спустя узнаю, что в старину Татьянин день называли “Солнышем”. Потому и бабушка меня так ласково называла. А ещё этот праздник известен как Татьяна Крещенская. Дня за окошком ровно на “воробьиный скок” прибывает, но сила солнца уже обретает значение. “Солныш” — так называется самое тёплое место в доме, “к солнцу повернутое” — устье печки. Недалеко и зыбка моя висит. Бабуля стряпает у печи, и я тут же. В народе считается: рождённая в эти дни одарена светом, крепостью и надёжностью. Какие бы лютые морозы ни стояли, Татьянин день всегда солнечный. А солнце ещё с древнейших времён для славян, особенно для русского народа, имеет священный смысл.

Переступив школьный порог, я чувствую, что бабушка живёт какой-то иной жизнью, чем страна, в которой не только “не помнят Бога”, но порою и рода-племени. Она сама, хата её с образами в красном углу, с запахом елеса от прокопченной лампадки, с тяжелой старинной “Библией” на липовой этажерке, с протяжными-грустными песнями выюжными декабрьскими вечерами, с бездонным нафталиновым нутром допотопного сундука, в котором запрятана всяческая бабья справа, кажутся настолько древними, словно сошедшими со страниц моих любимых сказок. Спустя много лет, только теперь понимаю, насколько мудры были бабулины речи, как не терпела она сладкого сюсюканья и праздных словес.

Из года в год на Татьянин день, следуя какому-то давнишнему обычаю, везла она к реке, туда, где, поджав от стужи ноги, стоят, смотрятся в ледовое зеркало широкие вёты, к проруби, вдоль снежных наметов, на деревянных хозяйственных салазках домотканые дорожки, круги-половики да диванные покрывала. Стужа — хозяин собаку из дома не выгонит, самые раскрещенские морозы.

Покрасневшими от каляной воды руками (словно лапки голубиные!) пощечет заядлая чистюля на лютном ветрище своё “тканство”, отбивает, не переводя духу, колотит их на камушке “как следно” берёзовым, с резными завитушками, валёчком, промытым за несчётные годы до синь-бела.

В этот день, чтобы не ударить лицом в грязь на угощение, она домовничает с особым усердием, с тихой, светлой радостью. Меня ж пренебреженно “наряжает за-ради менин”, но не броско, приговаривая при этом: “Татьяна должна всему и во всём меру чутать”. Откуда уж моя родная это знала, один Господь ведаёт.

Говорит Григорьевна всегда уверенно, будто пророчествует. Как сейчас, помню её слова: “Татьяна и каравай печёт, и половики на реке бьёт, и корогод ведёт!” Греческого бабуля не знала, а имя моё, оказывается, переводится на русский как “Труженица”. Вот так удружила! Но родимая, видать, и сама не догадывалась, какую судьбу уготовила любимой внучке с таким именем.

Как бы там ни было, но дорожки и ковры в крещенском снегу в этот день я обязательно (следуя старушкиным заветам) по сей день чищу. Занесу с мороза в дом — и дышит легче, словно хворобы из дому повыбила-повыгнала.

Уж сколько лет прошло, а вот вспомнилось — у бабули на мои именины была куча примет. Коли солнце красно заходит за лес — к ветру колючему.

Снег на Святую Татьяну — быть летом частому дождичку. А уж если солнышко поутру выглянуло да до полудня простояло над деревней — птицы рано возвратятся, весне, знать, дружной да бурной быть.

Катится, катится, потихоньку разматывается клубочек воспоминаний... Будто наяву видится... Мне — восемь. В Татьянин день остаюсь переночевать у бабушки, благо школа рядом, утром можно не торопиться.

Вечером, “справив менины”, забираюсь на печь, а уснуть не могу: подарки вспоминаю, драгоценные фантики от карамелек в коробке перебираю, бабушку поджидаю. Захлопоталась неугомонная, задерживается где-то, наверно, сворачивает на столешнице ворох стираного белья. Ну, теперь “до морковкиных заговён” не дождёшься!

Лежу-лежу, а её всё нет и нет. Не могу уразуметь, что за оказия? Может, присела на кухне с краешка резного деревянного диванчика, плеснула в кружку кипяточку на ягоднике да и задремала, устав от немереных никем бабьих дум? Соскальзываю с печи, смотрю: дверь в дальнюю комнату приоткрыта.

Шажками, шажками, подхожу, слышу шёпот: “О, Святая мученице Татиано, прими ныне нас молящихся и припадающих к святой иконе твоей. Молись о нас, рабех Божиих, да избавимся всяких скорбей и болезней душевных и телесных и благочестие поживем в настоящем житии, и в будущем веке сподоби нас со всеми святыми поклониться в Троице славимому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь”.

Любопытство охватывает меня, и я на цыпочках подкрадываюсь к комнате, боясь нарушить бабулино священнодействие, замираю в нерешительности у дверей. Тусклый свет крошечной лампадки отражается в просторном зеркале, выхватывает из полумрака белеющую рубахой, стоящую на коленях перед иконостасом Григорьевну. Почувяв меня, она встаёт, манит к себе. От лампы проникает во все уголки комнаты, просачиваясь сквозь щёлку двери на другую половину хаты, разливается очень знакомый запах... елейный... родной... бабулин. Перед одной из икон — оплавленная свеча. Причудливо сплетаются ласковые тени. Дремотно тактакают на кухне ходики.

— Подойди, солнышко, поближе. Это твоя Святая... Татьяна... за тебя со мною просит у Господа денно и нощно. Хоть бы пожалилась ты ей об чём своём, вить она тебе не седьмая вода на киселе — родненькая! — перекрестившись на образок, вздыхает Григорьевна, гладит шершавой своею лаской мои золотистые мягкие локоны.

Небольшая в недорогом окладе иконка... Женщина в красных одеждах. В правой руке — крест, в левой — кадило.

— Бабуль, почему она такая строгая?

— Да, как же не посуроветь, коли житие такое! Кабы завтра тебе не в школу, обсказала б.

— Бабулечка! — подластиваюсь, ровно Барсик, — проснись, как кликнешь, сразу и вскочу.

— Давно думала тебе об ей сообщить. Что говорить? Сколь мне пожить ещё осталось — не ведаю, а тебе не след — житие своей Святой Заступницы не знать... Ну, смотри у меня, Татьяна! Спать ведь пора, кочета уж полночь пропели! Поутру чтоб — как штык!

Перебираемся на печку. Здесь ядрёно пахнет раскинутым по кожуху для просушки овчинным тулупом, заткнутыми в печурку дворовыми валенками. И я, разомлевшая от этого духа, смешавшегося с ароматом поставленных на ночь хлебов, подсушивающихся на камушках под постилкою гарбузных семушков, упредив бабулю: “Только не говори: жил-был царь Овёс, он все сказки унёс”, слушаю удивительный рассказ о древней героической христианке.

— Давно это, солнышко, было. В чужом городе — Риме... Как читала я в житиях, родилась Татиана в богатой да знатной семье. Отец её аж консулом в ихней империи состоял. Семейство исповедовало веру праведную, потому и дочь свою воспитывали в благочестии, в христианстве. А как возросла девица, надумала замуж не идти. Читала я у Димитрия Ростовского, что за свою добродетельную жизнь поставлена она была диакониссой. Случились в те времена, в году 226, гонения на христиан. Схватили Татиану и привели в храм Аполлона для поклонения ему.

— А кто это, бабуль, почему ему поклоняться-то надо?

— Да, внученька, по ту пору язычников было боле, чем христиан пра-

ведных. А энтот Аполлон — божок языческий... Не могла она, знамо дело, этого свершить и вознесла молитву Иисусу Христу, и произошло землетрясение великое. Статуя божка-то развалилася, и храм их рассыпался. В житиях прописано: “Диавол, обитавший в идоле, с громким криком и рыданием бежал от того места, причём все слышали вопль его и видели тень, пронёсшуюся по воздуху”.

Бабушка Григорьевна молчит, будто погружается в прошлое... От волос её пахнет мятным квасом... От рук — вишенником и укропом...

— Бабуль, а дальше-то что? — ёрзаю, тереблю её, увлѣкшись преданием.

— А потом... и рассказывать жутко, каким пыткам подвергли Татиану нехристи! Но следы мучений с её тела исчезали, как и вовсе не бывало. К тому ж объявились чудеса!.. Сничтожился в пыль, рухнул — камня на камне не осталось, языческий храм, усмирился злющий лев, на съедение которому была брошена святая.

— Значит, Татиана победила всё-таки язычников? — забегаю наперѣд.

— Победила, конечно, победила... Духом... Жрецы остригли её, мол, “чтоб не волхвовала”, и заперли в храме главного своего бога, а как возвернулись, смотрят: статуя бога разбита, а Татиана жива, невредима. Не справился их божок с Великой верой Христовой!.. Татьяне вынесли лиходеи смертный приговор, и она вместе со своим отцом была усечена мечом. Мученическую смерть приняла двадцать пятого января... Видать, Господь дал ей посох по силе её... Честь не малая...

— Бабулечка, что же ты темнила, не рассказывала мне раньше о Татиане?

— Батюшки! Как же, — Григорьевна спадает с лица, — расскажешь тут что путное! Поди попробуй! То концерт к седьмому готовите, то правила октябрютские зубришь... Я вам — слово, а вы мне — десять!.. А что бы не подойти, не сказать по-доброму? Хоть бы польза какая с того была... с дикой ягодки и вино дикое... Спит-ко, солныш мой яснай, утро вечера мудренее.

Так и возрастаю между бабушкиными сказками о житиях Святых и походами с родителями на спевки в колхозный клуб.

За более чем тысячелетнюю историю в краю нашем изменялись и обычаи, и религия, и быт, и характер, и уклад... А у старушки моей “вся жистюшка” прошла в одной заботе о работе, да опять о ней же, родимой, “дыхнуть некада, пожалобиться некому”, редкие остановочки — Двунадесятые праздники, и в довесок — опять работа, работа. Сухарики житние. Так год от года... Она бы напомнила: “Ну, так Даниил-то Заточник что сказывал? “Злато искушается огнём, а человек — напастями”.

Серый, в мелкую клетку подшалок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад... Радостей — на пятак. Жизнь — то обочь, то — вдоль, то — поперѣк... Не до жиру... Каждая морщинка, каждая вздувшаяся жилка моей родной была прописана заботой о хлебе насущном... Но главное — каждодневная молитва: “...Уразуми, Пристальноокий Отче!..” за нас всех... — уклад простого русского человека, испокон веков ведшийся на Руси до самого семнадцатого года. “Коли не болит, не ноет об ком сердце, так и жизнь никѣмна, пуста... Хорошо-то ведь на свете када? А када на душе хорошо”, — уверяла бабушка.

Прикипела и моя душенька к ней! По пути в школу каждый раз забегаю к бабуле Григорьевне, иногда остаюсь на выходной. Общение, разговоры с ней выпадают целительной росой на мою разгорячѣнную душу. Хочу того или нет, но слово Божие, благодаря бабушке, оседает и накапливается в потаѣнных пластах моей детской души, омывает и подпитывает её корни, закрепляется в ней навечно, чтобы не сумела забыть Христово ученье, чтобы когда-нибудь и мои внуки узнали его от меня.

Моей ранней весной мудрая бабуля, несмотря на безбожные времена, умудрилась посеять во мне, словно на нови, на только что вспаханном поле, благодатные семена Православия, и теперь даже в самые горькие минуты, взгляд мой и сердце моѣ устремлено в просветлѣнные выси.

Наш давний и дорогой друг Татьяна Грибанова отмечает юбилей. Поздравляем талантливого прозаика и поэта! Желаем новых творческих свершений, здоровья и счастья!

Редакция

ПОСМЕРТНАЯ СУДЬБА ПОЭТА

Размышления Станислава Куняева о творчестве Юрия Кузнецова и воспоминания о нём, на первый взгляд достаточно “книжные” и сложные для неискущённого читателя, тем не менее вызвали обильную редакционную почту.

Многие наши читатели, получив в августовском и сентябрьском номерах журнала книгу “И бездны мрачной на краю...”, откликнулись на её публикацию самыми разнообразными соображениями, и не только о поэзии Кузнецова, но и “о времени и о себе”, и о судьбе искусства в современном мире, и вообще о жизни, которой мы живём. Одним словом, преодолевая рознь мира сего, сугубо литературная ткань, словно бы окроплённая живой водой, срослась, вступила, задышала воздухом “почвы и судьбы”.

Мы публикуем часть этих писем, которые свидетельствуют о том, что наши читатели не опустили, не одичали, не сгнули в дебрях рыночной экономики и общества потребления, но мыслят и чувствуют, как это бывало в лучшие времена, когда литература была не просто чтением, но и своеобразной “религией”: и мировоззрением, и самопознанием человека. По существу, такого рода читательское эхо есть необычная, на наших глазах рождающаяся, новая и небывалая по своему жанру книга о выдающемся поэте — нашем современнике Юрии Кузнецове.

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Хочу поблагодарить Вас за новую книгу о Юрии Кузнецове, его судьбе и творчестве.

Получился многогранный образ, многим русским читателям во всей полноте ещё неизвестный. Благодаря Вам предстал перед нами великий русский поэт во всей своей силе, с котомкой заблуждений идущий босым по русской дороге к Божьему Престолу.

Когда-то Юрий Поликарпович, написав поэму “Сошествие в ад”, говорил мне, что поэма москвичам и критикам не по зубам. Может быть, лет через пятьдесят что-то и поймут, но не сейчас.

В “Дне литературы” в 2003 году был напечатан мой отклик на эту поэму — “Ветка омель”, где эмоции зашкаливали, и многие образы от восторга становились размытыми, вместо того чтобы обрести ясность.

А у Вас всё получилось: и творец, и человек.

Многие патриоты и либералы обвиняют поэта в гордыни и непонятности. Евтушенко, будучи в редакции пермской газеты “Звезда”, на мой вопрос о Кузнецове назвал его “мрачным”, а потом добавил, что когда он смотрел на собеседника, то невозможно было знать: то ли руку пожмёт, то ли по морде даст...

Ладно, что так думали либералы, — они должны бояться русских поэтов! Но почему тревожились мои собратья? Мне непонятно. Знал я Юрия Кузнецова лучше многих и могу сказать, что был он ранимым и честным человеком, зря никого не обижал, ну, может быть, поляков только, хотя и они заслужили...

Соглашусь с Вами, Станислав Юрьевич, что Поликарпыч заблуждался насчёт творчества Пушкина, о чём Вы подробно написали в книге.

17 февраля 1992 года мной было подготовлено интервью с Кузнецовым для молодёжной газеты “Молодая гвардия”, где на мой вопрос о том, почему Пушкин в своём стихотворении “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” вспомнил финна, тунгуса и “друга степей”, но ни слова не сказал о русском, Юрий Кузнецов ответил так: “Это стихотворение имеет богатую традицию и идёт от Горация: “Нет, весь я не умру...” – чистый Гораций. Пушкин написал это стихотворение за год до своей гибели. Написал очень противоречиво:

*И славен буду я,
Доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит...*

Он не написал, что “жив будет хоть один...” – русский! Он крест поставил на всей русской нации. Закрыв русскую тему, на мой взгляд, ещё в 1836 году. “Что чувства добрые я лирой пробуждал”, – никаких он добрых чувств не пробуждал! “Полтавой”, что ли?”

Вот и таким был Юрий Поликарпович! И разве это не интересно русскому читателю? И в Вашей книге очень уместными показались мне посмертная маска Пушкина и прижизненная маска Кузнецова работы Петра Чусовитина, на которой поэт улыбается чему-то... Пусть это останется нашей русской загадкой. А кто хочет хоть немного приблизиться к отгадке – пусть прочитает книгу Станислава Куняева о творчестве Кузнецова “И бездны мрачной на краю...”

Прочитавший
Игорь Тюленев
Пермь

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Вы исполнили гражданский долг, написав и опубликовав в “Нашем современнике” воспоминания о великом поэте Ю. П. Кузнецове с анализом его творчества. Замечательно то, что подача материала не однобока, выполнена с предельной искренностью и объективностью. То, что факты биографии и чёточки характера Юрия Поликарповича зафиксированы, уже само по себе крайне важно, чтобы они не были забыты и искажены.

Впервые “наткнувшись” на Ю. Кузнецова, я тут же его тоненькую книгу ценой копеек 20–25 выменял за помпезное издание стоимостью более двух с половиной рублей (для книги в советские времена очень большая цена) – сборник бардовских песен. Тогда будущие либералы, будущие эмигранты и те, кто сразу родился эмигрантом, ценили Кузнецова, так как противопоставляли его “официозу” и конъюнктурщикам, хотя сами как раз конъюнктурщиками и были. Но начали прозревать, увидели опасность Кузнецова для себя – поэту и отдали мне книгу, обменяв на том “своих” авторов.

Я, естественно, внакладе себя не считал. И тогда же подумал, что “олимпийство” у поэтов может быть разным – вплоть до юмористического отношения к нему и иронического к себе. “Буду я и каменный навеселе”, – писал Николай Михайлович Рубцов. Но ведь и “Я знаю, что гвоздь у меня в сапоге / Кошмарней, чем фантазия у Гёте” Маяковского – отнюдь не самонимение, не самопревозношение, а... С одной стороны – юмор, а с другой – **понимание** кошмарности иного гвоздя, способного довести до самоубийства. Но “олимпийство” Кузнецова было прикладным: привлекая эпатажностью внимание к личности поэта, оно обеспечивало прочитываемость его “пропагандистских” текстов, то есть помогало “достучаться” до молодых и любознательных голов.

Одиночество Юрия Поликарповича сродни одиночеству Лермонтова, возможно, и Данте, и было predeterminedено поисками... не одиночества, а своего пути. “Звать меня Кузнецов. Я один. / Остальные обман и подделка”, – воспринимается как противопоставление всё-таки **не всем** “остальным”, а тем, кто тогда гремел, как пустой барабан или нечистая сила в дупле – эстрадникам, “громким поэтам” с их претензиями на звание “властителей дум” поколения.

Осмысливать и истолковывать Юрия Кузнецова мы будем ещё очень долго. С литературой настоящей иначе быть и не может. Ведь, скажем, в Пушкине, Достоевском, Лермонтове мы всё ещё продолжаем открывать новые смыслы, особенности, нюансы. Подлинная поэзия никогда не может быть истолкована до конца.

Так и с Кузнецовым. А вдруг (особенно **пока**) не всё у него можно понять, тем более что Юрий Поликарпович явно сам не всегда понимал смысл того, ЧТО говорил (писал), зато он передавал бумаге и миру услышанное и увиденное вовне этого мира (но внутри себя), передавал другим, чтобы и они увидели и услышали, и, может быть, поняли. Чтобы были **предупреждены**, то есть хоть чуточку вооружены. Ещё до тех пор, когда “всё тайное станет явным”.

Его стихи... прививка от Тьмы. (Как, на поверку, и роман М. Булгакова, вызывавший у Кузнецова сомнения.)

Изумившие меня (давно) строки “Для того, кто по-прежнему молод, / Я во сне напою лошадей. / Мы поедem во Францию-город, / На руины великих идей” и ныне, после переоценки истории Запада, остаются не менее значимыми и понимаются уже несколько иначе. Во Франции (на территории современной Франции) когда-то жили кельты – галлы. Но тогда это был не “город” – “изобретение” Каина. “Изобретение” внедрено – отсюда братоубийство франков (будь то во времена их захватнической войны с галлами, при Бонапарте или Саркози в Ливии) и... самоубийство – по Шафаревичу – превращение в руины великих идей (духовного, а не техногенного развития).

Идея эта, может быть, не конкретно французская, а идея Человечества. Однако, похоже, именно во Франции разрушительные анти(?)идеи темнивших “просветителей” прежде всего начали приводить к руинам европейскую цивилизацию. Похищение Европы сейчас слишком очевидно. Но... ни сами “благородные” европейцы, ни наши либералы не видят этого. Юрий Кузнецов и пытался показать нам **эту** всемирную Францию-город.

Я ни в малейшей мере не собираюсь возражать Вам, просто рассуждаю, высказываю своё понимание (частичное) и непонимание. Вообще же, пожалуй, все его образы-символы многослойны и, кажется, имеют вариантность трактовок, что вовсе не плохо. Моё восприятие поэзии Юрия Кузнецова, как мне кажется, наиболее близко к кожиновскому. “Надпись на афише была многозначительной: “Новые веяния в современной поэзии” кажется очень важным. Вадим Валерьянович в десятку попал: Кузнецов нов, а не постмодернизм, метаметафоризм и тем более не нынешние претензии “актуальной (!) поэзии”. И думается, некоторое противопоставление Н. М. Рубцова и Ю. П. Кузнецова возможно лишь весьма условно – просто у них разные методы. Они как бы две руки одного человека или два взаимонеобходимых крыла современной русской поэзии, обеспечивающих её взлёт-полёт. Если это противопоставление, то лишь противопоставление полюсов (плюс и минус здесь опять-таки условны и не оценочны), которые и создают магнитное поле и которые друг без друга невозможны.

Очень интересным мне представляется Ваш мысленный эксперимент с его стихами “Толклись различно у ворот / Певцы своей узды, / И рифмовальщики пустот, / И общих мест дрозды”. “Почему бы, подумал я... вместо слова “узды” не поставить слово “судьбы”?” – пишете Вы.

Знаете, я пробовал! И неоднократно. Не тут, а во многих других местах “заменял” кузнецовское слово на другое. Сознательно. Не потому что слово не нравилось, а потому что как-то нашёл дополнительный способ проверки истинности поэзии. Так вот у многих, в том числе очень громких авторов, ныне благоденствующих и не очень на Западе (не называю имён, дабы не обидеть... не их, а их поклонников, не сумевших “свалить за бугор”), замена слов, а то и строк **обычно** не портила ни стиля, ни образа, и смысла не искажала (иногда, наоборот, улучшение было налицо). А попытка заменить хотя бы одно слово у Юрия Поликарповича приводила к катастрофе – ухудшалось, а то и разрушалось всё! И это говорило о неслучайности каждого слова. Его строка – цельна и правке не поддаётся! И это, на мой взгляд, один из важных показателей настоящих стихов.

Читая строки Юрия Кузнецова, видимо, трудно говорить о буквалистике. Миф вообще иносказателен. Даже в “осколках” мифов, например, в сказке о Курочке Рябе речь идёт (точнее, шла в момент создания) не о курочке и не о просто яйце, хоть и золотом. Посему “глубины, где слова молчат”, не толь-

ко страшны. Конечно, “в начале было Слово”. Но противоречия Евангелию тут нет. Ибо в Евангелии — “Слово”, а тут — “слова”. Что не одно и то же. А кроме того, напомним: “Мысль изреченная есть ложь”! Да ведь и само название стихотворения Фёдора Ивановича Тютчева — “Silentium” — есть призыв помолчать. И **молчание слов** как раз **говорит** о многом. Правду.

Ужасы Юрия Поликарповича пугают до мурашек по спине. Но всё сверхъестественное у Кузнецова — реально существующее, настоящее. Отрыв от реальности потребовался Кузнецову как раз для её понимания, для взгляда со стороны (или сверху) — “большое видится на расстоянии”. Поэтому не удивительно его разочарование в “единственном поэтическом лице русской истории” Степане Разине. И уж тем более — в Емельяне Пугачёве, фигуре тёмной, про которую народ даже песен не сочинил. Они, если отстраниться чуть-чуть от романтического флёра, может быть, и не герои вовсе. Ведь сказал же о “подвигах” одного из подобных героев мудрец Н. Клюев (к числу мифотворцев нашей поэзии кроме А. Т. Твардовского, на мой взгляд, стоило бы отнести ещё и его): “Сызрань, Астрахань, Саратов / В небо полымем пустил”! Пустил в рас-пыл, в пыль! Да, Юрий Поликарпович Кузнецов видел и осознавал распад Европы и мира, как “фиксировали” его русские мыслители с “корабля философов”, как Шекспир (“Распалась связь времён”). Пожалуй, хоть и смутно, но чувствовал переход в тлен и пыль Р. Киплинг. Он ведь в упоминавшемся Вами стихотворении своих солдат — “носителей великих идей” Запада — погрузил в пыль, ими же поднятую.

Предчувствия и предупреждения Юрия Поликарповича были своевременны, но не были услышаны — судя по событиям в Донецке, Луганске и на Украине и по тому, что “весь прогрессивный мир” одобряет коричневых, вообще фашизируется. В нашем же отечестве “рас-пыл” *маркитанты* теперь цинично переименовали в “рас-пил”. Вместе с тем “пыль” у Кузнецова несравнимо многозначней, чем у Киплинга, как будто у встревоженного русского поэта есть желание вос-создать распавшегося человека из пыли (вернуть из крутящейся воронки), как Господь создал его из горсти праха, из персти земной. Кстати, такое намерение — не самомнение, а соблюдение заповедей: если человек сотворён по подобию Бога, то и должен быть творцом, должен “помогать” Господу.

Великие видения и великие дела героев Кузнецова происходят в многослойных снах. Кого-то это может удивить, но мне это (отнюдь не в ироническом или саркастическом смысле) напомнило Илью Обломова, которому “во сне спать хочется”. Под влиянием Юрия Поликарповича у меня произошло переоценка образа Обломова. Может быть, и сам Кузнецов по-своему Обломов, который на поверку оказывается героем?! Не зря же Гончаров дал ему то же имя, что и у Ильи Муромца! Тогда приходится переосмыслить понятие “обломовщины”. Илья Ильич очень уж напоминает героя Юрия Поликарповича, который проснётся, вырвет дерево с корнем — и опять засыпает. Да ведь то, что Обломов — “спящий богатырь”, а не лентяй, доказал и сам его создатель — через реплику Штольца, который напомнил Илье Ильичу, что у того ни бумаги, ни чернил не было, а как только **надо стало** письмо Ольге написать, так **сразу же** появились и **лучшая** бумага, и чернила английские, и слог — хоть в литературные журналы посылай! Стало быть, Обломов ничего не делает вовсе не из лени, а потому, что у него уважительной мотивировки к деятельности нет! А поставь ему цели достойные — он же и дерево вырвет, и горы свернёт!

И, если верно предположение, что Ю. Кузнецов “подбирал весь апокалиптический мусор...”, то ведь, по заявлению древнегреческого философа, “знания — столь ценная вещь, что их не зазорно черпать из любого источника”. Очень интересное замечание, что “откровения Кузнецова не всегда стихи или вообще не стихи”, верно и в том смысле, что они **не только** стихи. **Одновременно** это ещё что-то другое. Мне кажется, что Юрий Поликарпович вообще расширил понятие “стихи”. Это во-первых. А во-вторых, каждому моменту времени — свои стихи. Ф. М. Достоевский на этот счёт приводит же соображение, что если бы в “погибших Помпеях” была типография, и она бы уцелела, и на другой день после трагедии в городе вышла бы газета со стихами прекрасного поэта “Шёпот, робкое дыханье, трели соловья...”, то оставшиеся в живых граждане Помпеи собрались бы и непременно убили бы своего лучшего поэта. А мы ныне напоминаем жителей знаменитого погибшего города — и нам не за что убивать Кузнецова! Это, кстати, объясняет и замечание о “пе-

чати времени”, и о чувствовании его (времени). А вдруг на них (стихах Юрия Кузнецова) “нет печати времени” опять-таки лишь в том смысле, что на них печатать всех времён, так как поэт “не мельтешил”, **не на частности** “реагировал”, а (сразу) на их общие причины. Так, нет датировки и в самом “Апокалипсисе” (срок только Отец знает!). При этом стихи очень **ко времени**.

А вообще меня впечатляет и радует то, что русские поэты и мыслители (например, Кожин, Рубцов, Передреев и Вы), даже при кажущихся частичных несовпадениях позиций и порой действительной разобщённости, защищают каждый свой окоп, каждый делает своё (то есть общее!) дело. Это одно из отличий русской литературы от русскоязычной.

Вы своевременно предупреждаете будущих читателей Кузнецова: “Знания, которыми он делится с нами, не для слабых. У него не было, к сожалению, пушкинской способности фильтровать “зло мира сего”. Сказано точно, но, пожалуй, у Юрия Поликарповича есть если не оправдание, то смягчающее вину обстоятельство. Он осознал, что находится в жесточайшем цейтноте. У поэта не оставалось времени на “фильтрацию”, и потому Кузнецов спешил сказать то, что мог успеть. Он оказался в положении сербского технического гения Николы Теслы. Тот, удивляясь “американской тупости” и возмущаясь ею, сообщал научные истины для немедленного внедрения в производство, но ему мало кто верил, ибо никто не понимал. От Теслы требовали математических доказательств, а он, не успевая записывать, все расчёты проводил в уме. В результате множество его ценнейших изобретений до сих пор не внедрено, хотя многие утверждения **теперь** доказаны! Н. Тесла решил жить 120 лет – и до ста “выдавать” технические идеи и выводы, а последние двадцать лет посвятить математическим доказательствам своих формул. Но умер в возрасте около девяноста... Вот и Юрий Поликарпович покинул наш мир прежде, чем предполагал. Но торопился сказать и показать – имеющим уши и глаза.

Да ведь и “Для того, кто по-прежнему молод...” можно трактовать не столь однозначно, как я уже сделал ранее. Похоже, ещё в молодости Юрий Кузнецов уже отдавал себе отчёт, что от “великих идей” (скажем, эллинских или сомнительных римских) остались лишь руины (ведь мы же, современные, задним числом “болеем” за греков, а не за персов, хоть и те тоже вроде “наш народ” – и расизм тут ни при чём.) Потому что Европа **уже** тогда была не в состоянии оплакивать “чужие священные камни”, которые, на поверку, чужими-то для “европейцев” как раз и оказались. Немцы же признают, что раскопки на территории Германии обнаруживают **нашу** (русскую) историю. Может быть, поэтому “Отдайте Гамлета славянам”? Как и Атилу или “немецкого”, (по мнению Феликса Дана) князя по имени **Валадимир** (Sic!).

Очень важно для понимания Юрия Поликарповича Ваше тончайшее замечание, например, о том, что Кузнецов вслед за Гоголем путает “ландшафт” и “пейзаж” с “природой”. Крайне важной мне представляется и “защита Пушкина” (“нашего всего!”) от Кузнецова, не одобрявшего введённых Александром Сергеевичем ритмики и рифм, тем более что ритмы эти и рифмы были в русской народной поэзии задолго до Пушкина – и народ сам их создал, а ни от кого не позаимствовал.

Глюки, галлюцинации... Его хождение по краю, сбор разведанных в *мире тёмных* – нагрузка для человека чрезмерная. А несанкционированный вынос информации для и ради нас, неосведомлённых, пребывающих в *неведенье счастья*вом, не мог остаться безнаказанным. Может быть, его и “пасли” за “контрразведческую” деятельность, за наблюдательность – и... заразили гордыней? Но он противостоял, как мог! И тут задумываешься: а мы могли бы? Ведь многие куда менее даровитые не устояли. Много *их, упавших в эту бездну*, но и их мы едва ли можем осудить, ибо мало безгрешных.

Феномен почти мистического интереса и любви к Кузнецову отчасти может быть, наверное, объяснён тем, что мы неосознанно любим свои (забытые) мифы – именно поэту и любим Ю. П. Кузнецова, который воскрешает нашу (генетическую?!) память. Мы любим в нём именно своё, отнятое у нас.

“Страшную связь добра и зла” Юрий Поликарпович, на мой взгляд, не фиксирует, а, напротив, разводит эти понятия не менее решительно, чем православно мыслящий англичанин, не-западник Клайв Льюис в замечательной книге “Расторжение брака”. Кузнецов доказывает, особенно в конце своей жизни, их несовместимость. И в этом тоже его великая заслуга. Люблю Кузнецова за его стихи и за подвиг!

И удачно Вы обратили внимание на то, что есть **разный** Пушкин – в зависимости от возраста. А то ведь патриотов часто бьют цитатами из Александра Сергеевича, хотя у него можно найти прямо противоположные утверждения. Но ведь теперь ясно, что есть и **разный** Кузнецов. У Вас он – в развитии и... идёт к свету. Читатель может быть Вам благодарен за неодносторонний показ поэта. Ваш опубликованный материал представил (мне, по крайней мере) **нового** Кузнецова, в котором, может быть, как раз и слились все противоречия России и русского характера – они-то и разрывали его, шедшего по “разрыв-дороге”. Другой бы не выдержал.

Ещё кое-что о конкретных стихах, упомянутых в вашей публикации.

Потрясающе по силе воздействия и по “раздеванию Европы” стихотворение “Петрарка”. Но... удаётся ли его довести до “Европы пригожей”? Вроде бы всё очевидно, но до сих пор даже русские этой проблемы не видят. Несмотря на светловского “Итальянца”. Гордым потомкам Петрарки пора бы признать, что они (итальянцы) вовсе не потомки римлян. Они – на что им ещё византийцы указывали! – из куда менее славного племени франков. Уж не забыли ли они, что как раз **генуэзская** (архиепископу именно этого города писал письмо Петрарка!) пехота шла с Мамаем “цивилизировать” нас? И уж точно не помнят, что сам Александр Македонский (представитель классической античности, не им чета!) не сумел покорить нас – скифов, чьи лица так омрачали жизнь “возрожденца” Петрарки. Но, может быть, благородный Петрарка покупал для утончённых, разумеется, утех дев-рабынь со скифскими чертами? И может быть, скифянки даже облагородили породу цивилизаторов, но, ввиду малости процента населения, не спасли их от морального вырождения до уровня дуче?! А уж ныне Запад всё больше фашизируется и демонизируется, однако... даже не все русские это замечают. Что, кстати, является дополнительной причиной необходимости популяризации творчества поэта Юрия Кузнецова.

Удачность и ёмкость слова “легионеры” в стихах Д. Андреева, пожалуй, станет ещё очевидней, если вспомнить евангельское слово о бесах: “имя им легион”. Вот ведь и у Кузнецова “цивилизаторы” – суть служители сил ада.

Конечно же, зря Юрий Кузнецов спорит с Игнатием Брянчаниновым. Это и не продуктивно, и... силы (познания духовные) слишком уж не равны, и, увы, он нечаянно может сбить с толку “малых сих”. Посему надо за Юрия Поликарповича молиться. И всё-таки цель и смысл его бунтарства выражены словами: “Дай мне смиренную старость и мудрый покой”!

А поэма Юрия Поликарповича – это **духовный** Нюрнбергский процесс. Или **гамбургский счёт**. Сам **человек** написать **такое** не может. Может быть, это изображение становится доказательством его правоты. Ведь пути Господни неисповедимы. У каждого свой выбор и свой путь.

Михаил Муллин
Саратов

Миф – линза для восприятия современности

Во второй половине сентября я находился проездом в большом приволжском городе. Времени до отъезда было всего ничего, и мы с моим товарищем и коллегой живо – с пятого на десятое – обсуждали литературные новости и дела. В разговоре в связи с публикацией в “Нашем современнике” возникло имя Юрия Кузнецова. “Не понимаю”, – сказал откровенно мой товарищ, имея в виду несовпадение своего мировосприятия с творчеством поэта. Я же сразу вспомнил поэму “Змеи на маяке”, сказав, что своим развёрнутым в современность мифом она меня в своё время заворожала.

По возвращении домой я извлёк из почтового ящика 9-й номер “Нашего современника” и первым делом прочитал заключительную часть фундаментальной работы Станислава Куняева о жизни и творческом наследии Юрия Кузнецова. В памяти возник недавний разговор. Я задумался: почему одного человека стихи, оплодотворённые мифотворчеством, оставляют равнодушным, а у другого при чтении их начинает учащённо биться сердце?

Лично меня к стихии мифологизма тянуло всегда, а если определённое – со школьных лет. В 6-м классе мы писали изложение по картине В. Васнецова “Три богатыря”, и я, по всей видимости, вышел “за рамки полотна”, дав волю

фантазии. В итоге учительница зачитала моё сочинение перед всем классом, назвав лучшим, а я, в те поры записной “троечник”, почувствовал удивительный прилив сил – это был главный урок в школе, а по большому счёту – и в жизни, потому что с того времени началось обретение себя, своего назначения.

Вернусь к Кузнецову. Не стану утверждать, что поэма, о которой я упомянул, была для меня откровением, некой “точкой отсчёта”. Нет. Но она, как сейчас понимаю, стала путеводно-творческой вехой в череде других произведений прозы и поэзии. До неё – “Капитанская дочка” Пушкина, предметнее – сказка-притча про орла и ворона, одухотворённо воздымающая это произведение над бытом. Далее “Пан” Кнута Гамсуна – роман, который связался в моём восприятии с мистической графикой начала XX века, с полотнами Чюрлёниса. А уже в близких с той поэмой 70-х – “Сто лет одиночества” Маркеса, “Царь-рыба” Астафьева, “Прощание с Матёрой” Распутина, “Библейские повести” Лагерквиста и, как, может быть, странно в этом ряду, – тетралогия “Братья и сёстры” Абрамова...

Абрамов, мой земляк, наставил меня, как важна память детства, деревенское бытие, в котором я обретался первые семь лет жизни. И ту повесть, с которой я веду отсчёт своего скромного творчества, – “Арап – чёрный бык”, – я писал под его влиянием, однако же держа в уме и нечто иное. Ещё не ведая о термине “магический реализм”, главным персонажем повести я сделал могучего быка Арапа, которого явила на свет в годы войны, словно вытолкнув из своих недр, сама мать-сыра земля. Живая плоть и одновременно символ народного горя и народных чаяний; надежда и опора деревни и одновременно жертва беспощадных партийных установок – вот что такое этот бык, явившийся мне из переживаний и видений моего детства.

Бытописание – не моя дорога. Обилие бытовых мелочей, чем грешат произведения современников, на мой взгляд, не создаёт картины бытия, а только дробит, размывает её. Не от любви, любования это идёт, а от способности выбрать точную деталь (пример у Чехова: бутылочное стекло на мельничной плотине) – вот отчего, мне думается, такое происходит. И если у бытописателей XIX века это воспринимается как новаторство, то нынешнее “измельчание” выглядит, по меньшей мере, архаикой. Диагноз такому восприятию и его словесному отражению поставил большой русский прозаик, мой земляк Владимир Личутин: “фасеточное зрение”. Таким зрительным бредешком не уловить время. Глобальность бытия подвластна только мифу, мифологии. Небольшая притча, по-моему, глубже представляет Божий мир, чем многостраничный роман, ибо она, как линза, концентрирует суть и сводит все житейные лучи в горячую, обжигающую точку.

Вот такие мысли возникли в связи с именем Юрия Кузнецова и новой работой Станислава Куняева “И бездны мрачной на краю...” Великий поэт – это о Юрии Кузнецове. Портрет, достойный его личности, – это о книге Станислава Куняева.

Дорогой Станислав Юрьевич! Сердечное спасибо за подарок! Восхищаюсь Вашей работоспособностью. Ещё не остыли страсти по книге о “серебряном веке”, как на руках – новая работа, причём столь же яркая и убедительная. Здесь в единстве переплелись мысли и чувства современника, близкого по духу товарища, соратника, поэта, литературоведа-аналитика, потому и результат получился многогранным и полифоничным. Поздравляю! Здоровья Вам, крепости духа и творческой неизбывности!

Искренне Ваш, **Михаил Попов**
из града Архангела Михаила

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Великое спасибо Вам за книгу о Юрии Кузнецове. Прочитал запоем, вспоминая и свои встречи с Юрием Поликарповичем, с которым имел честь откровенничать в Нижнем Новгороде, а также в редакции “Нашего современника” за бутылкой красного Краснодарского, заедаая это волшебное вино славным краснодарским караваем. Да, чуткий, проникновенный был поэт-

провидец и трепетный человек, душа которого не вмещалась в его плоть, а выпирала наружу, взыскав отклика и сочувствия, но только в кругу самых близких для него друзей, с кем можно было делиться и смятениями, и болью, и страстью, и отречением от всей сволочной неправды, которая была и остаётся на растерзанной Руси. Он был среди нас самым чутким сейсмографом. И многое, что им было сказано при наших встречах, явилось в недолгом времени великими потрясениями, бесовщиной и презренной ложью, когда все мы подались на примирение с тем, что сбросило маску и топтало нас, как хотело. То ли мы ошиблись в народе, то ли народ ошибся в нас, не важно это! Важно, что смута, бесовская смута понудила многих из нас к малодушию и покорности перед неправдой и предательством.

Очень своевременная эта Ваша книга “И бездны мрачной на краю...”, и я не переставляю её со стола на полку, снова и снова перелистывая страницы вешего Поликарповича. Спасибо Вам, что поделились и со мной этой книгой, как живительным караваем хлеба, что приводит в чувство и не даёт сломиться душе.

Кланяюсь Вам и Вашим соратникам в столице.

Валерий Шамшурин

Нижний Новгород

* * *

День добрый, Станислав Юрьевич!

Закончил читать книгу “И бездны мрачной на краю...” по третьему кругу. Все книги привык читать с карандашом (жена ворчит, но уже привыкла) — с вопросами, сносками, вставками. Та же участь постигла и Вашу книгу. Она замечательная, умная и неоднозначная. И очень нужная. Много вопросов. Надо их собрать в одну котомку, подумать самому, потом, что не понятно, спросить у Вас.

Самое первое впечатление, по горячему, только что прочитанному, я Вам отправлял. Это на уровне эмоций — не надо было и отправлять. На семинарах я часто обращался и ссылался на “Поэзия. Судьба. Россия” (журнальный вариант). Теперь появилась ещё одна опора — “И бездны мрачной на краю...”, к которой, с Вашего разрешения, буду обращаться и ссылаться на своих семинарах.

Юрий Поликарпович иногда появлялся в Литинституте. Не знаю, может, он вёл семинары на других курсах. У нас вели Николай Старшинов и Лариса Васильева (я был у Старшинова). В перерывах, если был Кузнецов, его всегда окружали, спрашивали о чём-то. Я тоже там топтался, но ни о чём ни разу не спросил. Во-первых, робел. У меня всегда вызывали невольное преклонение люди, которые работают со словом — самым прочным на земле материалом. Ничего прочнее люди пока не придумали. А во-вторых, пугала его глыбастость в поэзии, все эти космические метафоры, которые восхищают, дают работу уму, но оставляют ровным сердце. После Вашей книги как-то всё успокоилось, нашло своё место, встало по полкам.

Вам — здоровья!

С уважением, **Вячеслав Вьюнов**
Село Тасей, Забайкальский край

* * *

Здравствуйтесь, Станислав Юрьевич. Спасибо за книгу о Юрии Кузнецове. Много узнала об известном поэте, хотя раньше читала, но не так пристально. Есть у меня поэма о поэтах XX века, там я его упоминала. Но изложенные вами детали его человеческой и творческой биографии дополнили образ. Спасибо. Книга заставляет думать — одно из самых важных её достоинств. Вам присуще ввергать читателя в соразмышления с автором, взгляды которого очень не просты.

Конечно, мне из сельской глубинки не стоит особо выступать “критикесой” такого уважаемого издания, потому “растекаться мыслью по древу” не буду. Да и тема весьма деликатная. У меня, верующей протестантки, взгляды отличны от православного исповедания. С Христом знакома с 48-летнего возраста. До того считалась традиционно верующей православной, как крестили при рождении.

Повествование очень насыщено не только рассказами о Кузнецове, но и множеством всяческих параллелей. Трудно воспринимается. Поэзия его довольно мрачная. Мир его “видений” – не совсем то, к чему стоит прислушаться. Желание выступить пророком (дескать – информация с “неба”) – сомнительно.

Покаяние в тяжелейших условиях жизненных ситуаций – это закономерное. Как до беды – так и к Богу! Важно потом оставаться верным этому сердечному искреннему покаянию и уже в соответствии с ним по-новому выстраивать жизнь. Попытка Ю. Кузнецова после покаяния стать судьёй грешным мира сего идёт вразрез с Библией. Как известно, судья нам Бог. Обличать можно, если цель – приведение человека к покаянию. Но как можно обличать ушедших в мир иной? Каждый видит жизнь так, как видит, и поступает так, как поступает. У нас есть эталон человеческого бытия и духа – Иисус Христос. Всё остальное – от лукавого.

С уважением и благодарностью – **Екатерина Липатникова**
С. Мари Турек, республика Мари Эл

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич! Прочёл сто страниц “И бездны мрачной на краю...”. И не выдержал – сел за компьютер, чтобы тебе написать это коротенькое письмишко. Читаю медленно, с карандашом, и столько нахожу созвучного мне и родного! Мы с тобой во многом одинаково чувствуем и ценим, и потому восхищаемся Юрой. Потому что все, о чём он писал, – это наше сокровенное, кровное и масштабное в осмыслении истории и судьбы России и русского человека.

Я так рад, что ты назвал его нашим национальным поэтом! Я хочу написать тебе несколько писем после прочтения всей книги. Ты её наполнил глубокими размышлениями о его творчестве и судьбе. Мне кажется, что до тебя так никто не писал о Кузнецове. Прими мою радость и моё сердечное поздравление с замечательной книгой, написанной предельно искренне, ярко и свежо.

Ты расширил и углубил моё представление о его творческом методе и вообще многое растолковал и объяснил со свойственной только тебе искренностью и проникновением в самую суть его удивительной поэзии. Она, как мне думается, во многом ещё загадочна, но уже сейчас я могу сказать, что он был и есть, несомненно, явление выдающееся, лично мне открывшееся после прочтения “Во мне и рядом – даль”.

Царствие Небесное рабу Божьему Юрию, а тебе, Станислав, ещё раз самые тёплые и душевные слова благодарности за эту одухотворённую и сердцем написанную книгу. Поздравляю с успехом!

Твой **Геннадий Морозов**
Касимов

* * *

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Дважды прочитал Вашу работу “И бездны мрачной на краю...” И пришёл к убеждению, что это своего рода Библия в литературном мире, как во временном, так и в познавательном смысле. (Да простит мне Господь дерзость мою!)

Лично для меня многие точки над “i” расставились в понятный ряд, я понял, кто есть кто в поэтическом мире, начиная от сонетов Петрарки и завер-

шая Вашим уважаемым Поликарпычем с его поэмой “Путь Христа” – вечная ему память!

Вся его сущность, весь его поэтический дар бунтаря и философа раскрыт Вами убедительно, веско и с душевным к нему участием: и порицая его, и раскрывая ведущие его помыслы – поэта и гражданина Отечества, предвидевшего многое из того, что сегодня творится в России и в мире!

Не буду задерживать Ваше внимание на многих вещах, восхитивших меня и дающих ответы на мои вопросы, ибо это займёт много места и потребует множества восклицательных знаков.

Но позвольте заметить, возможно и не к теме, но меня возмутили вскользь отмеченные Вами извороты разных *Огрызков*, старающихся испортить и извратить Ваши отношения с Ю. П. Кузнецовым!

Да и вообще во многих Ваших работах и на страницах “Нашего современника” Вами не раз отмечались многие подлости подобных *Огрызков*, старающихся опорочить Вас. Вы же их так сноровисто, по-крестьянски чётко и доказательно припечатываете к позорному столбу лжи и подлючести, а им это вроде всё как *Божья роса!*

И мне думается, что это уже не просто их сволочность в своей ненависти к Вам и России – нет, это уже более того, это уже просто деяния больных людей.

А “Наш современник” помогает быть и оставаться людям в осознанном строю, а не валяться на обочине безверия и растерянности!

С уважением и надеждой, Ваш
Виктор Долбёжкин
Село Яжелбицы

* * *

Здравствуйте, уважаемый Станислав Юрьевич!

Ещё в октябре получил Вашу книгу “И бездны мрачной на краю...” Был искренне рад, что из 1000 экземпляров один – мой, с Вашей надписью! Для меня эта книга – ещё и сигнал того, что я не обременил Вас своими творческими письмами, которые отправил, полагая, что какие-то из них могут пригодиться в работе журнала. На настоящий момент есть только одна тема для журнала, над которой хочу ответственно поработать: написать материал о Вашей новой книге и её содержании. Возможно, это будет не письмо, а эссе или статья. Пока сказать не могу – нахожу свободное время, читаю медленно, с большим познавательным интересом, впитываю не просто смыслы, а существо отношений, составляющее их контекст. Вижу совпадение некоторых своих представлений о Поэте и ряда суждений о нём, представленных в книге. Есть и что-то своё о Ю. П. Кузнецове, что я в своей работе скажу во славу Поэта и Русской Поэзии. Дай, Бог, чтобы этот труд мне удался, и я бы смог его направить Вам.

Пётр Козлов
г. Омск

* * *

Добрый день, уважаемый Станислав Юрьевич!

Большое спасибо за Вашу интересную книгу о Вашем друге по поэтическому творчеству Кузнецове Юрии Поликарповиче. Вот только по прочтении имени её я понял, что не зря три года тому назад вновь обратился к “Нашему современнику”, одному из правдивых, патриотических журналов России, чья большая богатая история последние четверть века ассоциируется с Вашим именем.

Ваша оценка творчества, характера Юрия Поликарповича Кузнецова, неординарности его мышления в разработке той или иной темы в противовес устоявшимся веками церковным догматическим постулатам, разрушавшим канонические принципы, очень профессионально, тонко, деликатно показана Вами в книге.

“Полюбите живого Христа”. Вы хорошо поняли и почувствовали большие изменения в душе друга, тот назревший кризис, непонимание окружения, глубокие переживания, обусловленные несоответствием духовных убеждений и нравственных принципов с реальной жизнью общества, когда душа не находит ответа на главные жизненные вопросы у власти, она обращается к Богу или к Сыну Божьему — Иисусу Христу, всё более “оживляя” его, доверяя ему, веруя в него.

Смятение, тревога в последние десятилетия за состояние общества, за жизнь простого народа, — видимо, это и привело Юрия Поликарповича, сильного, гуманного и справедливого от природы человека, к написанию поэмы и воссозданию образа живого Христа, придав ему самые земные, человеческие черты.

Ваша книга “И бездны мрачной на краю...” — дорогой бестселлер в ряду ранее выпущенных книг, а поэма “Жизнь Христа” Юрия Поликарповича Кузнецова — это его Божий дар читателям, научный литературный трактат, источник оптимизма и показательный пример к написанию таких ярких литературных произведений.

Уважаемый Станислав Юрьевич, я не литературовед и не критик, чтобы давать профессиональную объективную оценку Вашей книге. Я просто высказал своё мнение читателя и журналиста, так как она мне понравилась.

С глубоким уважением к Вам, вашим помощникам
Логашов Валерий Александрович
г. Петровск Саратовской области

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич! Почитал Ваш сказ о Кузнецове, Вы — молодец, пишете и пишете, подробно, то есть по-старорежимному, интересно, познавательно, как крупный поэт, как умница и душевный человек, всегда Вас читаю. Чего Вас хвалить?! Всё давно ясно.

К статье о Кузнецове хотелось добавить, что я с Володей Коробовым в году 74-м пытались уговорить Викулова на подборку Поликарпыча. Тот (Кузнецов) отнекивался, говорил, что не даст, но мы уговорили, потому что дружили, часто встречались. Володя в Вашем журнале работал в отделе критики, потом, после ухода Михайлова, его возглавил, ну, Вы его помните. Он был моим лучшим другом, даже на свадьбе свидетелем.

Ну, ладно! Это ответвление. Значит, Кузнецов мялся-мялся, но потом стихи нам передал, помню, там были, как сейчас говорят, его хиты — все нынче знаменитые, как на подбор, но, к нашему изумлению, Викулов их отклонил, и больше Кузнецов в журнал был не ходок (до Вас). Так что Вы правильно написали, я Вам деталь даю, что это так. Викулов как поэт задавил всю поэзию, проза цвела, а поэзию он гнал под себя. Как и Твардовский в “Новом мире”.

С Поликарпычем у меня связаны и совсем уж странные случаи. Он был, конечно, мистик, и христианство его было мистическим, искусственным для него, шёл бы и дальше от 3-х томов Афанасьева. Обижался на Капитолину Кокшенёву, когда она ему прямо об этом писала (о своеволии). Но мистицизма в Вашей статье нет, хотя, повторяю, некоторые случаи я до сих пор не могу здраво объяснить.

Иду как-то по Москве, вдруг в памяти всплыло имя Вадима Неподобы, думаю, откуда? Вспомнил, что из стиха Кузнецова “Прощание с Краснодаром”, который вроде ему и посвящён — Неподобе, тоже другу молодости. А я этого Неподобу не читал и не видел ни разу. Иду, а в голове всё вертится фамилия — Неподоба. И вдруг навстречу Кузнецов. Я ему говорю, так, мол, и так — о Неподобе подумал, ни к селу ни к городу. Он на меня тоже странно глянул: и я сейчас о Неподобе думал. Ну, как это всё объяснить?! Не знаю.

Ваш **Вадим Дементьев**

* * *

Станислав Юрьевич, Ваши размышления о Юрии Кузнецове – умные, глубокие, талантливые. Хорошо, что Вы не замалчиваете и минусы. У большого поэта и минусы его объясняют его плюсы. Я только не могу согласиться с теми местами “Сошествия в ад”, где Кузнецов ставит себя рядом с Богом. Богу нужно молиться, уверовав в Него. Да и Божья кара – это не просто слова. Ведь, смотрите, с Александром Блоком было всё благополучно, пока он не написал “Двенадцать”, где апостолы – красноармейцы, где “В белом венчике из роз – // Впереди – Иисус Христос”. И всё, Блока не стало, до сих пор толком не известно, от какой болезни. Или был Семён Надсон. Пока он не написал свою поэму “Иуда” с главой о распятии, всё было у поэта более-менее, а после поэмы – скоротечная чахотка и смерть. Или Михаил Булгаков, когда он ещё только сочинял свою дьяволиаду с сюжетом об Иешуа Га-Ноцри, и уже начались неприятности, возможно, как предупреждение свыше: пьесы ставить перестали, из театра уволили, жить не на что, а после “Мастера и Маргариты” – смерть. В конце концов, и Юрий Кузнецов умер сразу после своего “Сошествия”. Нет, что ни говорите, а есть в таком ряду какая-то сакрально-мистическая связь между воплощением Божественной темы и смертельной ответственностью авторов перед Богом.

И ещё аспект: известно, чем лучше произведение, тем больше оно порождает подражателей, эпигонов, заимствователей. Поэма Юрия Кузнецова, бесспорно, талантливая, мощная, несмотря на неприятие отдельных мест. Но одно дело – большой талант и другое – **как бы** то же самое. И я абсолютно согласен с о. Александром Шаргуновым, и хорошо, что Вы и такое мнение о поэме приводите.

Конечно, необходим честный разговор, спор, дискуссия на эту сложнейшую тему, и замечательно, что Вы его отважно начали, потому что вся наша так называемая шибко демократическая интеллигенция, захватившая ключевые позиции в радио- и телеэфире, в издательствах, говорить о Юрии Кузнецове не станет. Я вон захожу в книжные магазины Владивостока – полки забиты десятками названий книг всех этих евтушенок, окуджав, высококих, макаревичей, вознесенских, деметьевых, рубальских – несть им числа, но ни одного русского поэта-патриота: ни Рубцова, ни Кузнецова, ни Куняева... А ведь эта политика – против России. Поэтому очень важны, на мой взгляд, такие замечательные работы, как Ваша о Юрии Кузнецове. Хорошо бы в “Нашем современнике” печатать побольше литературоведческих исследовательских статей о современных русских писателях. Вот новый державный роман Александра Проханова “Крым” в 8-9 номерах “НС” – потрясающее произведение! Какое художественное проникновение во властные перипетии нашего времени! Какое убедительное предупреждение! Как глубоко, ярко, драматично показано становление главного героя – Лемехова! Я, честно говоря, без очищающих душу слёз не мог читать некоторые страницы – так хорошо они написаны! Почему бы тому же Владимиру Бондаренко не исследовать в “НС” этот роман, не показать его значение, не объяснить то, что многозначно и глубоко?

Большое спасибо Станиславу Сергеевичу Зотову за его замечательное повествование о Сергии Радонежском, оно прекрасно украсило наш альманах. Пожалуйста, передайте ему его авторский экземпляр альманаха. И, простите ради Бога, если не затруднит, передайте экземпляр и Валерию Николаевичу Ганичеву, я взял (без спроса – винюсь!) кусочек его статьи из “НС” – очень кстати для нашего альманаха.

Дай Бог Вам здоровья, Станислав Юрьевич! Мой добрый привет и все хорошие пожелания редакции.

Ваш **Борис Лапузин**
Владивосток

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич! С огромным интересом прочитал вашу новую книгу “И бездны мрачной на краю...” – о творчестве любимого мною поэта Юрия Кузнецова. Как и две предыдущие – “Жрецы и жертвы холокоста” и “Любовь, исполненная зла”, – эта книга заставила читать её от первой до

последней строчки. То, что удавалось Кузнецову в его вселенских стихах, удалось сделать и Вам в книге о нём, о его творчестве, которое, по сути, и есть Вселенная. Стихи Кузнецова должны звучать, должны быть в учебниках и школьных хрестоматиях. А вы как друг и соратник поэта, как “ветеран третьей мировой”, вернули нам его образ, его мятушуюся душу... Ваши глаза несколько раз прооперированы, но все ваши книги – всегда выстрел в десятку. Снайперский выстрел мастера. Желаю вам сохранять вашу удивительную творческую и жизненную энергию, храни вас Бог! Ждём редакцию “Нашего современника” в Тюмени.

Ваш младший соратник – **Сергей Козлов**
Тюмень

Заметки на полях

Закрыв обложку с изображённым на ней небосводом и солнечным диском, рассеивающим тьму, я впервые за 15 лет, прошедших после выхода кузнецовских поэм о Христе, вздохнул с облегчением. Нашёлся наконец – среди нашей подлинной, а не мнимой литературной элиты – человек, сумевший отвести тень хулы и чуть ли не анафемы от великого русского поэта. И самое главное, как он это сделал! Не с филологическим микроскопом в руках, рассматривающим детали до мельчайших крупинки смысла, скрытого за псевдонаучной терминологией и брюзжанием “птичьего” языка. Не с высоты горделивого критического взгляда, снисходительно взирающего на оцепеневшую от этого взора поэзию. Не с говорливостью кричащей публицистики, воюющей с идеологическими мельницами. Не с панибратской усмешкой мемуариста, расшифровавшего дневники минувших лет... Станислав Куняев страдающим сердцем поэта проник сразу и всецело в тайну кузнецовского замысла, разогнав чужие мутные и рваные мысли, не освещённые правдой любви – а ведь только она и способна понять, простить и оценить душу человеческую!

Сразу надо сказать о так называемой “гордыне” Юрия Кузнецова... Не знаю, не довелось мне общаться с ним лично (разговор по телефону – не в счёт!), но если она и была, то исходила не из самооценки личности, а из осознания роли поэта во Вселенной. “Поэт всегда прав!” – говорил Кузнецов. Многих от подобной безапелляционности корбило, и зря: история поэзии подтверждает эту мысль. Взгляд поэта слишком глубок и уходит в бесконечность, ему некогда отвлекаться на сиюминутность и думать о приличиях. Именно это, вероятно, имел в виду Сергей Есенин, когда замечал, что поэт не должен быть скромным. Но как разделить в себе поэтическое и человеческое?..

“Объём знаний о мире был ему дан сразу, – утверждает Станислав Куняев, – а потому он жил и писал, отстраняя от себя многое, что связано с возрастом, личной жизнью, реальными событиями, лирическим воздухом”.

Юрий Кузнецов подходил к оценке поэзии с самой высокой меркой, и не его вина, что большинство современников (и не только!) не выдержали этого экзамена:

*Звать меня Кузнецов. Я один,
Остальные — обман и подделка.*

Вообще Кузнецов смело, хотя и рискованно, отзывался о любых поэтических авторитетах, и критики неистовствовали: “Когда я усмотрел в моем любимом Блоке провалы духа, условный декор и духовную инородность и отметил это в поэме “Золотая гора”, то вызвал волну лицемерного возмущения: как-де посмел! И стали открывать такое: я не согласен с Пушкиным! Я жесток к женщине! У меня не коллективный разум!! И вообще мои стихи вызывают недоумение! Первое, относительно Пушкина, чересчур, но лестно; второе и третье я отвергаю как недомыслие, а насчёт недоумения могу только сожалеть...” (Ответ на вопросы анкеты // Литературная учеба. 1979. № 3. С. 126).

Что касается Пушкина, то Кузнецову припомнили в своё время и строчки из поэмы “Золотая гора” (на которой “Пушкин отхлебнул глоток, Но больше расплескал”, “то есть одарил”, – парировал Г. Муриков), и статью “О воле

к Пушкину”. С некоторыми оценками пушкинского творчества в ней, действительно, трудно согласиться. Однако основной пафос статьи (и этого критики не заметили напрочь!) направлен не против великого поэта, а против замшелости, против стереотипов в восприятии гениальной поэзии, крепко в нас засевших и мешающих проявить свою “волю к Пушкину”. Юрий Кузнецов ругал не Пушкина, а ту часть русской лирики после Пушкина, которая однобоко восприняла и исказила его некоторые традиции. Так что идеалы Кузнецов никак не “задевал”, а просто “смотрел на них глубже, чем принято смотреть”. Между прочим, в кузнецовском стихотворении “Голос” слышна переключка со знаменитым “Пророком”: тот же “Божий глас”, то же проникновенное восприятие Воли Его как светлой Истины: “Светло в моём сердце...”, только Кузнецов более категоричен, когда говорит о Божьей Воле как первоисточнике творческого духа:

— *Сияй в человечестве! Или молчи...*

Пушкин “пригубил” от чаши мифологических откровений, от мистической реки вечности, написав “Анчара” и “Пророка”, но “больше расплескал” во все стороны десятки и сотни жанровых заготовок, необходимых для будущей русской литературы. Потом явились и Гоголь, и Лермонтов, и Достоевский, и Лев Толстой — и все они были благодарны Пушкину за эту творческую жертвенность. А Кузнецову, “богатырю русской поэзии”, была нужна глубина и только глубина: “Юрий Поликарпович, — замечает Ст. Куняев, — неодобрительно и почти брезгливо относился ко всему личному, по его суждению, приземлённому и недостойному витать в высших олимпийских сферах... Мироззренческий спор Поликарпыча с Пушкиным, — размышляет далее автор книги, — то исчезал, то возникал снова, продолжаясь всю жизнь”. Он очень и очень подробно прослеживает, как развивался этот спор, как проникал в другие темы поэта, например, в тему кровного родства. Ст. Куняев приводит цитаты из Ю. Кузнецова, обращавшегося к Пушкину на протяжении всего творческого пути.

Порой возникает впечатление, что вся книга о Кузнецове вышла из этого сравнения-спора. Не случайно на её обложке классики стоят рядом: Кузнецов — чуть пониже. К слову, Пушкина Куняев знает великолепно, цитируя *наше всё* всегда к месту.

Фигура А. С. Пушкина стоит в центре повествования, но не только она. Поэзия Кузнецова, как об этом убедительно пишет Ст. Куняев, удивительным образом соприкасалась с творчеством А. Блока, О. Мандельштама, М. Светлова, А. Прасолова и других поэтов, которых Юрий Кузнецов как один из наиболее образованных литераторов России знал, конечно, не понаслышке, а весьма глубоко, многие стихотворения декламировал наизусть.

И к Николаю Рубцову у Кузнецова было сложное, если не ревнивое отношение. С одной стороны, в юности он пережил рубцовское влияние, с другой — сторонился его в зрелом возрасте, чувствуя дыхание соперника, так же, как и он, жившего в символическом пространстве, правда, не в космосе эпического мифа, а на родных просторах лирической народной песни.

У этих поэтов схожая сиротская судьба. Не замечены были их первые книги, вышедшие в провинции. Расцвет таланта у обоих пришёлся на 60-е годы (хотя пятилетняя разница в возрасте всё-таки сказалась)... После смерти Рубцова Кузнецов постоянно упоминал его имя в своих выступлениях и статьях, называя Рубцова в числе своих кумиров и справедливо считая его “одним из очень немногих поэтов, кому удалась попытка прорыва к большому бытию”. Свою поэму “Золотая гора” Кузнецов опубликовал в Вологде. “Тут было наследование, — считает В. Курбатов, — хотя прямой переключки между поэтами будто нет, здесь было наследование, сознающее себя как противостояние”.

Влияние рубцовской музыки было настолько явным, что его приписывали даже очень ранним (50-х годов) стихотворениям Кузнецова (был такой грех и у автора этих строк. — **В. Б.**).

Позже, пытаясь переболеть рубцовской интонацией в своих стихах, поэт вступал нередко в сознательную, откровенную переключку с ним по принципу “клин клином вышибают”: “Отказали твои пистолеты, Опоздали твои поезда”

(кузнецовские “Тридцать лет”) – У Рубцова: “Пролетели мои самолёты, про- свистели мои поезда” (“Посвящение другу”). Но Кузнецов быстро нашёл свою дорогу в русской поэзии. Эпическое восприятие жизни и предельная насыщенность символической образностью – вот качества, которые “всерьёз и на- долго” вошли в плоть и кровь его стихотворений. Рубцовская традиция оказа- лась плодотворной.

Внешний облик Юрия Кузнецова дан Ст. Куняевым особенно широко, в разных ситуациях, особенно в период его работы заведующим отделом поэзии журнала “Наш современник” (автор признаётся, что замышлял в даль- нейшем передать в руки поэта руководство лучшим патриотическим издани- ем). Впрочем, Куняев двумя-тремя точными уверенными штрихами рисует яркие портреты и других служителей муз, например, Виктора Смирнова: “Вскоре ко мне в кабинет вбежал весьма самовлюблённый и знающий себе цену поэт из Смоленска Виктор Смирнов. Он держал на вытянутых руках, словно нечто непотребное, свежий номер журнала.

– Станислав Юрьевич! – закричал он плачущим голосом, – посмотри, что твой Кузнецов натворил с моими стихами!

Что-то бормоча и тыча пальцами в журнальные строчки, Смирнов, чуть ли не роняя слёзы, пытался объяснить мне, что Поликарпыч так переписал его стихи, так изуродовал, исправляя их, что он, Виктор Смирнов, отказывается признать их своими и требует опровержения!”

В книге множество пронизательных наблюдений, мыслей, не переходя- щих в выводы, – автор даёт возможность другим пройти по “железному пути” Юрия Кузнецова. Это и размышления о символах пыли, пути, вещего сна: “Это не просто стихи, – говорит Ст. Куняев. – А может быть, и вообще не сти- хи в обычном смысле слова. Это, скорее, откровения... Этому особому жан- ру поэзии нужны не литературные критики, а истолкователи”, ибо Кузнецов “сражался с невидимым злом, что стоит между миром и Богом”!..

Заключительные главы книги рассказывают о последнем, самом главном, подвиге Ю. Кузнецова, создавшего поэтическую трилогию о Христе, поэму “Сошествие в ад” и незавершённую – “Рай”. С середины 1990-х годов Юрий Кузнецов совершил сверхмощный рывок, он все свои силы бросил на алтарь дерзновенной по замыслу и величественной по исполнению цели: “Задача была приблизить Иисуса к душе русского человека. Я её выполнил” (Из вос- поминаний поэта В. В. Иванова “Преодоление одиночества”).

“Между тем за публикацию поэмы в журнале, – рассказывает Ст. Куня- ев, – высказались, кроме Дмитрия Дудко, и Вадим Кожинов, и Владимир Ли- чутин, и Николай Лисовой.

Против были протоиерей Александр Шаргунов и мой друг Владимир Кру- пин”. Особенно непримиримой была рецензия о. Александра.

Думается, что здесь произошло недоразумение, связанное с принци- пальным различием поэзии (мышления в образах) и богословия. Помнится, что о. Александр Шаргунов выступал и против С. Есенина, посчитав преда- тельством веры его хрестоматийные строки:

*Если крикнет рать святая:
“Кинь ты Русь, живи в раю!”
Я скажу: “Не надо рая,
Дайте родину мою”.*

Протоиерей Александр Шаргунов взглянул на образ рассудочно, не по- стигнув сердцем мысль поэта, пульсирующую в подтексте: без России, без её веры нет спасения, нет рая. Русь Святая – Престол Божий, и если “рать” от- вергает Россию, то никакая она не святая, а только прикидывается таковой. Она похожа на “тень монаха” в стихотворении “Поэт и монах”, написанном Кузнецовым за неделю до смерти. Дмитрий Дудко в своём отзыве, словно по- чувствовав что-то, отметил: “Да, это про нас говорят курганы и сорок соро- ков звонят, чтоб мы возвратились в отчий дом. Через Россию в Царство Не- бесное”... “Утром 17 ноября 2003 года он собрался на работу, оделся, сел в кресло и вдруг сказал:

– Мне надо домой!

– Юра, ты же дома! – сказала жена.

– Домой! – повторил Поликарпыч... Это было последнее слово в его жизни...

Для Юрия Поликарповича создание этой поэмы, — пишет Ст. Куняев, — было его личным, его собственным путём к Богу и к спасению души”.

Не буду вдаваться в подробности и предположения (например, о том, что в образе Монаха Юрий Кузнецов вывел Святителя Игнатия Брянчанинова), так как не силён в богословии, но приведу оценку современного священноначалия: “Культура является богозаповеданным делом человека... и способна быть носителем благовестия... когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда светские власти вступают в борьбу с Церковью” (из “Социальной концепции Русской Православной Церкви” (2000)). Если искусство способствует спасению человеческой души, то оно полезно, если ведёт её к гибели — греховно.

Украшает книгу серьёзный и содержательный анализ поэмы “Сошествие в ад”. Нельзя сказать, что до Ст. Куняева не было попыток подобного “вхождения в текст”. Можно упомянуть хотя бы основательную работу Н. И. Ильинской “Между миром и Богом: духовные и художественные искания Юрия Кузнецова” (2008). Но только у Станислава Куняева говорится о *смысле* этого удивительного произведения, давшего подлинную оценку ревнителям так называемых “европейских ценностей”, а также нашим доморощенным грешникам, бунтовщикам и предателям России.

К последним поэмам Юрия Кузнецова критики подходили в большинстве случаев традиционно, со своей меркой, не понимая истинной природы символа, не разглядев его духовной основы. Кроме того, их надо анализировать в контексте всей поэзии Кузнецова, в движении его творческого времени.

Ключ к расшифровке этих произведений всё тот же: Кузнецов как поэт воспринимал христианство мифологически: “Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православный верующий впитывает Его через молитвы” (“Воззрение”). Своё отношение к православной религии Кузнецов-человек выразил не менее чётко: “Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковлённая, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и поэтому ему трудно быть вполне ортодоксальным, **не в жизни, конечно, а в поэзии**” (выделено мной. — **В. Б.**). Поэтому мы не можем и не должны переходить на личность поэта и оценивать его как православного христианина. Всё то, что произошло в его душе, он унёс с собой. А вот непостижимая тайна его поэзии будет манить нас всегда.

Размышления о судьбе и творчестве Юрия Кузнецова — одна из лучших, а может, и лучшая книга Станислава Куняева, награждённого за поэтическое и критическое мужество творческим долголетием.

Виктор Бараков
г. Вологда

“Человек очищается через правду...”

Объёмная рукопись страница за страницей таяла в моих руках. В жёстких условиях очередной сессии я довольно скомканно её прочла, но книга, несомненно, заслуживает более тщательного прочтения.

Огромный труд, проделанный мастером, впечатляет: он досконально знает источники и приводит множество примеров из литературы. Картина получается объёмная, словно фильм в 3D. Юрий Кузнецов предстаёт перед нами в некоем вымышленном им мире, лучом света пробивается сквозь образ Пушкина, а Станислав Юрьевич предстает в образе рассказчика и талантливого критика.

Несмотря на порой колкие замечания в адрес поэта, чувствуется искреннее, и даже родственное отношение автора к нему. Тщательный анализ стихотворений Кузнецова сродни психологическому разбору... Так глубоко заглянуть в душу человеку, да ещё и разглядеть всю суть — на это способен не каждый. Станислав Юрьевич показал нам мир Кузнецова через пушкинскую призму чистоты искусства и слова.

Может ли пушкинская поэзия служить мерилем искусства и таланта в XX и XXI веке? Автор доказывает: может, если к этому свету возвращаются вновь и вновь все гениальные поэты. Эта тема была затронута и в книге “Любовь,

исполненная зла”, герои которой, сделав выбор в пользу тёмных сил, тем самым губят себя... Нельзя усидеть на двух стульях, и выбор предстоит сделать каждому.

Это не типичная биография или книга воспоминаний о ком-то. Биография души — да. Обращение “Поликарпыч” читается с теплотой, нет фамильярности, искусственности. Автору веришь. Ну, а то, что он в каких-то местах книги отстаивает место Пушкина в русской поэзии и не одобряет кузнецовской критики такой незыблемой вершины, — это правильная позиция.

Удивил и одновременно понравился эпизод с мухой. Очень живой и жизненный. Или про яблоко, которое Кузнецов разрезал и показал сердцевину — перечёркнутый крест.

Представление о человеке складывается из таких вот небанальных историй. Во время чтения рукописи меня не покидало чувство вовлечённости в жизнь поэта, и проснулось острое сопереживание ему.

Верно подмечено автором: есть люди, живущие в настоящем мире и делающие свою жизнь, а есть люди, погружённые во внутренний мир и творящие в нём, — внешне же вроде бы ничего не происходит. Кузнецову не повезло, а может быть, и повезло: он принадлежал ко второй категории людей. Даже биография писать неинтересно.

Недалёкий человек мог бы назвать поэта Кузнецова эгоистом, но Станислав Юрьевич раскрывает невероятную глубину этого человека. Стихотворение “Ладони” меня просто потрясло.

Вообще, дар провидения Кузнецова очевиден в его стихах и созвучен блоковскому, и боль их созвучна.

Не зря Станислав Юрьевич уделил особое внимание “Поэме о Христе” и привёл нам трогательные отзывы значимых в литературных и духовных кругах людей. Раз поэма волнует и разделяет людей во мнениях, значит, в ней есть очень важные моменты, значит, в ней есть правда, негодная кому-то.

Человек очищается через правду, исповедание. Это произошло с Поликарпычем, и оттого, может, смерть его была лёгкой...

Книга написана так, что не заскучаешь. Особое впечатление производит рассказ о работе Кузнецова в “Нашем современнике”, некоторые моменты насмешили до слёз. Здорово, что книга — не набор фактов из жизни и сухое подведение итогов.

Главное — есть над чем задуматься, заодно поразмыслить и о своей поэтической жизни, подвести некоторые итоги и определиться, на какой ты ступени...

Оксана Гребцова, студентка Литературного института
5 курс заочного отделения

“Разве можно так...”

Не могу сказать, что до конца поняла поэзию Юрия Кузнецова после прочтения очерка “И бездны мрачной на краю...” Наверное, мои слова будут несколько еретическими, но просто я люблю тихую лирику, не люблю громогласную трибунную поэзию, в которой много метафизического. Но одно могу сказать точно: Юрий Кузнецов — поэт с большой буквы, потому что соответствует определению поэта, которое дал Есенин:

*Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить,
Рубцевать себя по нежной коже,
Кровью чувств ласкать чужие души...*

Эту самую правду жизни, как мне показалось, Юрий Поликарпович ни на секунду не нарушает, все его определения очень точны, притом, что он постоянно занят поиском этой самой правды жизни. Очень метко, на мой взгляд, уже на первых страницах автор воспоминаний Станислав Юрьевич Кузняев характеризует Кузнецова следующими строками: “Он словно бы искал “неизъяснимы наслажденья” у “мрачной бездны на краю”. Именно такое впечатление у меня сложилось от стихов Юрия Поликарповича, коих я, правда,

немного прочла. И, тем не менее, Кузнецова действительно почему-то безумно интересуют некая тёмная сторона, тёмная сила, хоть при этом он и говорит, что от него будет “свету светло”. Такая двойственность характера и создаёт, по моему мнению, двойственность восприятия творчества Кузнецова. С одной стороны, мне многие его строки показались мрачными, мне даже сначала не понравилось название очерка о нём: “И бездны мрачной на краю...”. Но ведь на самом деле все слова поэта Кузнецова правдивы и справедливы, в них нет ни капли лжи и фальши, одна “победная правота”.

Поражает, как порой Кузнецов умеет соединять, казалось бы, несоединимые вещи и понятия:

*У креста материнской могилы
Рвёт небесная рвота меня...*

До отвращения пробирающие строки. Это — самоистязание, это — правда жизни, от которой никуда не деться, какой бы отвратительной она ни была.

Да, мне не нравятся громкие выражения вроде “Планета взорвана” или “Русское ничто”, но ведь это пророчество, крик души, а может ли крик быть тихим, лиричным? Нет. Ужас и хаос, в который была погружена Россия в 90-е (даже я, хотя и была подростком, помню многие нелицеприятные вещи), вызывает крик. Не только Россия, но и всё мировое сообщество, с его цинизмом, обесцененностью человеческой жизни вызывают отвращение Кузнецова. Юрий Поликарпович не мог молчать, хоть ему и было тяжело, как Вио “...поднимать... заклятые веки... На великую правду и зло...”. А приходилось, потому что не умел молчать, потому что был единым нервом. О, как бы пригодилась его громкоголосая поэзия сегодня на Украине! Не любят сегодня читать, а читали бы стихи Кузнецова — побоялись бы выйти на Майдан, потому что нельзя не испугаться кузнецовских строк о нас, разлетающихся во мраке. А ведь именно это произошло в Киеве!

Заставило задуматься название одной из глав: “Пушкин — наше прошлое”. Нет, Пушкин — всё-таки *наше всё!* А вот с позициями Кузнецова и Куняева относительно того, что Александр Сергеевич христианский или не христианский, поэт я не могу полностью согласиться. Ни тот, ни другой не правы. Во-первых, Пушкин не рассматривал язычество как религию, он увлекался античной культурой, но не языческой верой, его пленяли подвиги античных героев, жизнь Овидия, поступок Митридата, а не вера древних греков как таковая. Мифы, безусловно, интересовали его, но Пушкин чётко понимал, что это лишь красивые сказки, не более. Что касается христианской веры, то Александра Сергеевича и тут нельзя назвать сильно верующим, хотя, конечно, в последние годы жизни и тем более часы перед смертью он многое переоценил, на многое посмотрел иначе и даже покаялся. Как мне думается, Александр Сергеевич просто любил жизнь и людей с их лучшими качествами. Он искал эти качества везде: в живущих, в умерших, в себе. А что касается религии, то она не слишком его занимала. Хотя у Пушкина и Кузнецова есть одна общая черта — противоречивость. Вот как можно одновременно написать “Пророка” и “Гавриилиаду”? До сих пор не пойму. Так и Кузнецов. С одной стороны, “И крик младенца возвестил // День Страшного Суда” (ужасная картина, не правда ли?), с другой — “Так откройтесь дыханью куста... И услышите голос Христа...” Получается, по Кузнецову, с одной стороны, планету охватил ужас, с другой — спасение от него в малом и таком незначительном, в том, что обычно незаметно.

Очень впечатлило стихотворение Кузнецова “В зимнем воздухе птицы сердиты”. Оно мне напомнило есенинского “Чёрного человека” и, конечно, понравилось больше мандельштамовских строк, приведённых в очерке. Согласна со Станиславом Юрьевичем Куняевым, что попытка взглянуть на себя, на человека вообще со стороны у Кузнецова получилась куда более чувственной и афористичной, чем у Осипа Эмильевича!

Уж простите, но отношение Кузнецова к супруге мне не нравится. Что это: “И летала жена на метле?” Разве можно так? Да, не спорю, что творческий человек обречён на одиночество, иначе приходится ломать судьбы близких. Я недавно посмотрела фильм “Зеркала” — о жизни Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — и пришла в ужас. Как можно так издеваться над близкими, над детьми? Но при этом я задумалась: а как можно по-другому? Я и сама

ловлю себя на мысли, что порой ужасно обижаю близких своей отстранённостью и желанием побыть одной. Часто слышу упреки в свой адрес. Но всё же мне ни разу не хотелось ни маму, ни брата, ни любимых людей сравнить с бесами, ведьмами. Может, я плохой поэт... Кстати, некоторые поэтессы, например, Белла Ахмадулина, и сами сравнивали себя с валькириями. Вот строчка Беллы Ахатовны: “Взлетаю в бревенчатой ступе балкона...” Ну, собственно, вот женщины и напросились. Сами хотели быть ведьмами, вот и получили. Только я эту бесовщину не приемлю. Мне куда приятнее эпитеты: “Моя мадонна”, “Гений чистой красоты”.

А вот с чем полностью согласна, так это со стихотворением “Полюбите живого Христа”. Да, действительно, Кузнецов словно чувствует что-то, что-то эфемерное, но безумно важное для начала третьего тысячелетия. Это ощущение делает его абсолютно другим. Даже как-то непривычно читать это стихотворение. Мне кажется, до написания поэмы “Детство Христа” и стихотворения “Полюбите живого Христа” Юрий Поликарпович был жутким эгоистом:

*Звать меня Кузнецов. Я один,
Остальные обман и подделка...*

Но на рубеже веков у Кузнецова произошла переоценка ценностей. И вот она, тихая лирика, о которой я говорила и которую так люблю! Я уже привела эти строки, но повторюсь: “Так откройтесь дыханью куста... И услышите голос Христа...” Великолепно! Мне почему-то вспомнилась Анна Болейн, супруга Генриха VIII, отрицавшая Церковь и церковников, за что и была ими ненавидима. Я никогда не была сильно верующим человеком, но порой хожу в храмы, и признаюсь, что с ужасом наблюдаю там шипящих старух, дико раздражаюсь, когда каждый, кому не лень, пытается тебя одёрнуть, шикнуть на тебя. Как мне кажется, Бог — это свет и любовь. Вот почему мне так близко вышеупомянутое стихотворение Кузнецова. Особенно оно важно сегодня, когда каждый, кому не лень, пытается лоб себе расшибить, молясь.

Какой бы противоречивой, трибунной ни была поэзия Кузнецова, она необходима, потому что, повторяюсь, это крик души. Вдвойне приятно разбираться в строках Юрия Поликарповича с помощью рассуждений его друга и товарища по перу Станислава Куняева.

Закончить свой маленький очерк мне хочется строчками Вильгельма Карловича Кухельбекера:

*Горька судьба поэтов всех племён;
Тяжеле всех судьба казнит Россию...*

Екатерина Корнеенкова, студентка Литинститута
5 курс, заочное отделение
Подмосковье

Исследуя бездну

То, что Станислав Куняев взялся за книгу о своём друге и верном соратнике Юрии Кузнецове, совершенно логично и предсказуемо. Удивительным было бы как раз наоборот: его молчание. Поскольку вряд ли кто-то сделал для пропаганды и популяризации весьма непростой поэзии Юрия Кузнецова больше, чем главный редактор “Нашего современника” по должности и крайне цепкий, чуткий на поэтическую глубину поэт Куняев — по сути.

Станислав Юрьевич не без заслуженной гордости замечает, что за 15 лет работы Кузнецова в “НС” было опубликовано 26 подборок его произведений, всего 243 стихотворения. Для автора, не избалованного до этого особым вниманием периодической печати, произошёл настоящий прорыв.

И что там литературный процесс конца двадцатого столетия! “Ни Тютчев, ни Блок, ни Некрасов, ни Есенин, ни Твардовский не удостоивались со стороны печатных изданий такого внимания. В сущности, в самое неблагоприятное для литературы время мы сделали всё, чтобы в читательском сообществе возник своеобразный культ его творчества”, — пишет Куняев.

Вроде как хвастается, но реально — просто констатирует факты с журналистской дотошностью. Вообще, по части фотографической точности и добросовестности повествования книга выглядит образцовой.

Признаться, было ожидаемым столкнуться с чем-то лакированно-возвышенным, с приторно-славословным, до изжоги. Однако друг поэта и ведущий гражданской панихиды на Трекуровском кладбище 17 ноября 2003 года не оскорбляет память действительно ярчайшего поэта второй половины 20 столетия Юрия Кузнецова даже малейшей ложью.

Удачной видится даже начальная глава книги, построенная как диалог со сыном Сергеем на поминках поэта. Станислав Куняев этим вроде как частным, вроде как намеренно субъективным разговором в неформальной обстановке чётко обозначает собственную цель: рассказать о том, что лично знал, что лично чувствовал, с чем лично сталкивался, ничуть не замахиваясь на некое обобщение, не терпящее поправок и иных, таких же субъективных толкований.

Куняев даже, наоборот, намеренно ожидает таких поправок, иногда публицистически заостряя некоторые темы, чтобы наверняка разбудить читателя и вывести его на ответную реакцию. Не случайно уже в самом начале, без раскачек и философских реверансов, он проговаривает, пожалуй, важнейшие вещи.

Вот, например: "...а ведь Поликарпыч, как пушкинский Вальсингам из "Пира во время чумы", всю жизнь дразнил судьбу, азартно заигрывал со злом, словно бы вызывая его на поединок (...). Он ходил по краю тёмной бездны, чтобы разглядеть её суть, её мощь, её масштабы. Она притягивала его, словно гоголевского героя из "Пропавшей грамоты"...".

Поэтическая сила и выразительность поэтических формул Юрия Кузнецова ничуть не затемняет для Куняева существо кузнецовского дара, крайне противоречивого и во многих отношениях неудобного.

Автор не скрывает собственные опасения, которые обозначились ещё при первом знакомстве со стихами своего будущего друга в начале 70-х годов: "...автор, несомненно, талантлив, но в то же время я не чувствую в его стихах лиризма, который составляет суть русской поэтической традиции (...). Меня всегда смущали во многих его стихах... некая мрачная метафизика и некий диктаторский культ воли". Говорится без утайки и о том, что Татьяна Глушкова прозвала Кузнецова Вурдалаком. Не рассуждающему, апологетическому подходу противопоставляется думающая, умная любовь, которая бы переваривала своей всеохватностью и "Я пил из черепа отца", и "Я памятник себе воздвиг из бездны...", и многие другие кузнецовские, а фактически — Вальсингамовские идейные кульбиты.

Для наглядности такого подхода можно привести пример из Александра Боброва, который тоже очень любит Юрия Кузнецова, но который предпочитает любить не Кузнецова как конкретного автора, с оригинальным лицом, неповторимым почерком, с собственной биографией, но любить его, как придуманную им икону.

Бобров предпочитает просто не замечать в Кузнецове того, что не близко его мировосприятию. "Мы сидели с... Юрием Кузнецовым в памятном "пёстром зале" ЦДЛ в перестройку, когда уже начала трещать держава, и на мой вздох: "Не удержать..." Юрий играл желваками и почти кричал: "Нет. Только держава — от Тикси до Кушки. До Кушки!" — эмоционально выстраивает образ поэта Бобров.

Хотя реально нужно ещё поискать другого автора, который бы так много в позднее советское время писал о распаде, разрыве семейных, родовых связей, который бы был столь апокалиптичен, столь бездноцентричен, как Юрий Кузнецов! Который предвидел в своих метафизических видениях и распад СССР, не закончившийся, кстати, до сих пор, и крушение привычной нам цивилизационной модели.

*Мы не восстанем во плоти
Перед лицом Суда.
Да нас и не было почти
Нигде и никогда.
Мы показаться лишь могли
В ту ночь на Рождество.
Мы — сновидения Земли,
И больше ничего...*

Понятно, что такие стихи в полноте любви можно просто отбрасывать, не замечать, “забывать”. Проблема вот только в том, что от искусной идейной селекции поэт не становится другим, и его поэтические мифологемы не начинают восприниматься по-другому.

Да, на словах, во внешнем слое, логически звучало “Только держава!”, но в мистически-провидческих стихах формулировалось-то совершенно иное – одинокое, безысходное, с разрывом времени и пространства:

*Седая старуха, великая мати,
Одна среди мира в натопленной хате
Сидит за столом.*

Станислав Юрьевич предпочитает быть с читателями на порядок честнее. Даже затрудняясь с окончательной терминологией, он зачастую предоставляет решать этот вопрос своим потенциальным собеседникам. Дескать, я думаю так, а вы, если сможете, вольны думать иначе. Главное, чтобы информация сообщалась полная, без изъянов и деформаций.

А вот как раз по части информации книга Куняева по-настоящему ценна. Наполненная самыми различными фактами, наблюдениями, мыслями, замечаниями, она для понимания сути и истинного масштаба личности Юрия Кузнецова выглядит почти образцовой.

От внимательного глаза не ускользает ни одна деталь. А если что-то утверждается, то в обязательном порядке с широким контекстом, с обозначением возможных разночтений. От дотошного повествователя не ускользают даже характерные типографские опечатки-оговорки, когда вместо оригинального кузнецовского “Но русскому сердцу везде одиноко” вдруг появлялся текст “Но русскому сердце везде одинаково” или вместо названия книги “Крестный путь” на обложке неожиданно значилось “Крестный ход”.

Важно и то, что Кузнецов под пером Станислава Юрьевича – живой. Не деланно-плакатный, а, прежде всего, живой. И называет автор его именно так, как в жизни, не играясь, не пытаясь эффектнее выглядеть перед лицом матери-истории, – Поликарпычем.

“Вадим (Кожин). – А. К.) разлагольствовал, а Поликарпыч при этом молчал, выпивал, мрачно улыбался: мол, толкуйте мои стихи, как хотите. Я написал, а ваше дело понимать их, как знаете...” “Мировоззренческий спор Поликарпыча с Пушкиным то исчезал, то возникал снова, продолжаясь всю жизнь”.

Причём, когда от личностно-бытовых деталей разговор переходит к поэзии, то интонация Станислава Куняева чутко меняется, прекрасно ориентируясь в ценностных системах координат. Здесь уже нет “Поликарпыча”, а полнозвучно обозначен “Юрий Кузнецов” или “Юрий Поликарпович”, без сокращений. Как, например, в рассказе об эпизоде с приглашением поэта на северную рыбалку.

“Тяжело ему жить в мире мифов, в мире высокого давления... – констатирует автор предсказуемый отказ Кузнецова от рыбалки. – Оттого и старился он быстрее меня... (...) Так христианин он или нет? Бог с дьяволом у него на равных правят миром, как две вечные силы, как близнецы, выношенные одной утробой (...). А может быть, это своеобразная ересь, бунт против евангельского христианства с языческих высот (или низин), соблазн, который Юрий Поликарпович носил в себе, как родимое пятно, всю жизнь и с которым всю жизнь боролся, приближаясь к другим, Сионским высотам?”

Или в словах сына Сергея о том, как соотносится имя Кузнецова с серией “ЖЗЛ”: **“А что можно рассказать о Юрии Поликарповиче, если все главные события его жизни, все его поступки происходили не в реальном времени, а в мифологическом, то есть “внутри него самого” и воплотились лишь на страницах его книг, в его поэзии? Это особый случай! Он положил на алтарь Поэзии всё. Как он сам писал, поэзия для него была и “отцом, и матерью”.**

Впрочем, Юрий Кузнецов писал даже ещё более беспощадно и откровенно: **“Стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой”.**

При подобном самоотречении вполне логичным становится и другой выбор поэта, который тоже обозначает Куняев: **“Многие его “наваждения”, об-**

лачённые в мифологические одежды и зарифмованные... видимо, не сочинялись, не обдумывались, не записывались в виде черновиков, но рождались, скорее всего, мгновенно, в результате метафизического усилия... Этому особому жанру поэзии нужны не литературные критики, а истолкователи, ведуны, жрецы, авгуры...”.

Мистический масштаб личности Юрия Кузнецова невозможно не заметить, и Станислав Куняев бережно воссоздаёт то, что лично знал и видел. Сохраняя для непредвзятого взгляда и слова поэта, что **“ему родиться бы в эпоху Святогора и Ильи Муромца”**, и свои наблюдения, что поэт, **“как лазутчик, часто проникал в адский стан, чтобы “проведать, чем дышит противник”**, вспоминает, как в Калуге они поехали в Тихонову пустынь, а поэт не вышел из машины к святому источнику, но произнёс: “Не могу, не достоин”.

Помимо щедрой фактической составляющей предпринята также попытка выстраивания целостного анализа личности и творчества Юрия Поликарповича. Не упуская при этом из вида ни “юношеские увлечения Западом”, ни разноречивые отклики на поэму “Путь Христа”.

Рассмотрению подвергается и деятельность Кузнецова-редактора, также весьма своеобразная. Например, Куняев вспоминает, как из 20 строк стихов одного поэта в напечатанном виде осталось только 8, “а остальные двенадцать <он> переписал, что называется, до последней буквы”. Или такая история, к которой можно было бы отнестись, как к расхожему анекдоту, если бы это не было чистой правдой.

Одна женщина, знакомая с повадками заведующего отделом поэзии “Нашего современника” Кузнецова, предварительно направилась к главному редактору. Тот перелистал её стихи и сказал посетительнице, чтобы она передала Юрию Поликарповичу, что Куняев к её стихам “отнёсся благосклонно”.

Скоро заплаканная женщина вернулась в кабинет Куняева со словами: “Он ответил... что... в этом кабинете... Куняев – это я...” Смеяться? Плакать от рассказанной истории? Наверное, для начала об этом хотя бы нужно знать.

Даже взаимоотношения Кузнецова с собственной семьёй не прячутся стыдливо в комментарии и фигуры умолчания: **“Однажды он ворвался в мой кабинет весь растрёпанный, помятый, всклокоченный:**

– Нет, ты понимаешь, какой это чудовищный животный эгоизм! У этих самок только и мысли, что о детёнышах!”

Стоило ли говорить это вслух? Нужно ли было сейчас частный разговор делать достоянием массового читателя? Безусловно. Хотя бы потому, что так становятся понятны стихи Юрия Поликарповича, уже являющиеся достоянием массового читателя:

*Я уходил не раз. Она визжала:
“Мы все такие, лучше не найдёшь!”
И эта гибель мне детей рожала!*

Куняев своим чутьём поэта понимает, что эти страшные слова, адресованные своей женщине, нужно как-то объяснить, и объясняет самым лучшим способом, какой только можно выдумать. Объясняет через честный диалог с читателем, ничего не приукрашивая и не скрывая, находясь в поле той высшей достоверности, которая органически всё объединяет и примиряет:

*В этом мире погибнет чужое,
Но родное сожмётся в кулак...*

Наконец, самое главное достоинство исследования Станислава Куняева заключается в представлении объёмной концепции фигуры Юрия Кузнецова. Часто публицистическая работа начинает напоминать своего рода научную монографию.

“Его стихи, написанные им в 20 лет, можно, переставив даты, отнести к концу его жизни. На них нет печати времени”. “Пропускать через свою душу такое количество то светлой, то тёмной энергии небезопасно”. “Поэзия никогда не была для Кузнецова плодом познания, скорее, она была венцом веры”.

Что ни фраза, то готовая искусствоведческая формула, готовый каркас для диссертации. При этом рассказанная хорошим языком, увлекательно,

с качественной интригой. Чего стоит хотя бы эпизод с появлением на кухне у Куняева, как раз в крещенские морозы, мухи.

“Жена схватила тряпку, чтобы прибить наглое насекомое, но я удержал её.

– Муха – любимая собеседница Поликарпыча”.

По большому счёту, единственный недостаток работы Станислава Куняева – её малая величина. Наверняка, о Юрии Поликарповиче он может рассказать гораздо больше, чем говорит. По его собственному признанию: **“В те 90-е годы где только мы не побывали с ним: в Иркутске, в Красноярске, в Калуге, в Ленинграде, в Сталинграде, в Краснодаре, в Новосибирске, в Белгороде. Всего не упомнишь”.**

Вряд ли отговоркой “всего не упомнишь” здесь следует отделяться. Россия должна в максимальных подробностях знать о бытии одного из своих поэтических титанов.

А. Канавщиков

г. Великие Луки, 19–21 октября 2014

* * *

Дорогой Станислав Юрьевич!

Спешу сердечно поблагодарить Вас за очередную книгу “И бездны мрачной на краю...” А поскольку она представляет собою Ваши размышления о поэте мифологическом и мистическом, то и мистика эта не замедлила обнаружиться наяву. Новую работу Вашу я прочитал в журнале. И как раз в момент, когда, закончив чтение в свежем 9-м номере “Нашего современника”, сидел в раздумье, мол, не откликнуться ли на прочитанное, в прихожей раздался звонок. Я открыл дверь и увидел запыхавшегося незнакомого мальчишку. Он, переведа дух, выпалил: “Почтальон просил вручить... чтоб не потерялось...” – и протянул мне пакетик, перевязанный суровьём, и так же внезапно и таинственно, как и появился, исчез. Я даже не успел его поблагодарить. А взглянув на пакет в обёрточной бумаге, тотчас догадался, что это Ваше послание – новая книга, уже освоенная мною в журнальном варианте. Развернул её, открыл и... снова погружился в чтение. В не менее увлекательное, нежели первое.

Как ни грустно об этом говорить, но после ухода из жизни таких авторитетных фигур, как Вадим Кожин, Александр Зиновьев, у нас немного осталось столь же глубоко и оригинально мыслящих авторов, мнение и эрудиция которых были бы бесспорными. Всё больше, даже и в наших народно-патриотических кругах, ныне переув поверхности, велеречивых, демонстрирующих стилистику, эмоции и голосовые связки, а не прямое и бесстрашное “мужество мысли”, которое Лев Толстой считал высшим проявлением этого качества в человеке. Разумеется, имея в виду мысль не заёмную и откровенную, как перед Богом.

Так вот среди тех немногих, что ещё способны на такое мужество, я вижу и Вас. Потому и читал Вашу работу с тем “духовным наслаждением”, в котором признался о. Дмитрий Дудко в приложении к ней. Не скрою, что более близкими и интересными для меня в книге явились Ваши раздумья о словесной классике – о Пушкине и Боратынском, Гоголе и Достоевском, Мандельштаме и Рубцове, о таких вечных темах, как Европа и Россия, западничество и почвенничество, “книжно-головная” литература и живой реализм, чем о главном герое повествования. Признавая за ним незаурядное дарование, высоко оценивая его последние произведения – поэтический перевод “Слова о Законе и Благодати”, поэму “Путь Христа” и другие, – всё же должен сказать вслед за Вами, что это “не мой поэт”. И знаете, чего не приветствует в нём моя душа? Даже не отвлечённости, не “умствования” и мифологизма его писаний, а склонности к эпатажу (“я пил из черепа отца” и др.), проявлений надменности и гордыни. Вы скажете, это просто защитная маска “ранимой души”? Рад бы поверить. Но ведь известно, что поэты всегда похожи на свои стихи, более того, их суть и есть их стихи. И она проявляется в строках произвольно.

Конечно, я могу ошибаться, но моя единственная встреча с поэтом, увы, лишь укрепляет во мне такие “подозрения”. Если помните, где-то в начале 90-х, в самые тёмные времена смуты, Вы с группой авторов “НС” – Юрием

Кузнецовым, Надеждой Мирошниченко, Александром Байгушевым – приехали к нам в Красноярск, чтобы встретиться с читателями, привлечь подписчиков журнала. Тогда все мы, просоветские и “прорусские” писатели, были загнаны в катакомбы, и о помощи вам со стороны властей не могло быть речи. Но Олег Пашенко, редактор народной “Красноярской газеты”, правдами-неправдами организовал старенький “пазик” и пригласил меня и Николая Волокитина, тогдашнего ответсекретаря нашего отделения СП, встретить вас в аэропорту. Самолёт прибыл ночью. Зима. Мороз. В “пазике” холодища. Вы все кучкой сели на передние ряды, кроме Кузнецова, который расположился сзади, на отшибе. И меня угораздило присесть к нему – не оставлять же гостя в одиночестве!

И вот едем. До города 40 км с гаком. У вас там оживлённый разговор, смех. Решил и я “развлечь” безмолвного соседа. Спросил о чём-то раз, другой – он молчит. И смотрит в даль “во мне и рядом”. Я попытался изречь нечто “на злобу дня” – он снова не отреагировал. Разве что опустил ещё ниже тяжёлые веки. И так мы играли в молчанку до самой гостиницы. . .

Можно бы, конечно, просто посмеяться над чудачеством мэтра. Однако мне всё это показалось не только странным, а и обидным. “Ну, ладно, – думал я, – пусть со мною, безвестным провинциалом, ему неинтересно. Но ведь должен же он понимать: мы старались дружески помочь, проявить гостеприимство, приехали встречать морозной ночью, позаботились о ночлеге, – так ты хотя бы кивни в ответ или мыкни. Но ни гугу! А это, простите, есть элемент проявления апломба и гордыни.

Вон Рубцов, говорят, тоже характером был не подарок. Но там скорее это внешнее, кураж, ибо в стихах он сама нежность и кротость. Здесь же, боюсь, сложнее. И отпечатки высокомерия, самомнения, к сожалению, мелькают в строках поэта, вроде – “я один, остальные подделка”.

И, знаете, я не верю в какую-то особость “поэтических натур”, как, впрочем, и любых других. Да что я! Помнится, тот же Толстой говорил о Горьком примерно так: “В его книгах всё необыкновенные “герои”. Но в жизни никаких “героев” нет, есть просто люди”. И можно добавить, что нет никаких особых “поэтических натур”, ни “ранимых”, ни “мистических”, есть просто люди. Судьба, поклон ей, дарила мне встречи с большими художниками слова, к примеру, с Евгением Носовым, Виктором Астафьевым, Валентином Распутиным, с учёными-академиками Александром Исаевым, Михаилом Решетнёвым, соратником Королёва, – и все они приятно дивили меня отсутствием позы, простотой обращения. Да ведь и Вы, Станислав Юрьевич, когда-то не просто удивили, а поразили меня при знакомстве своей прямоотой, искренностью, доброжелательностью к “младшему собрату” по цеху, за что я Вам поныне благодарен.

Вы, конечно же, гораздо лучше меня знали и понимали Кузнецова. И я готов поверить Вам, что он значительно “опростился” и “смирился” к закату своих дней. Кстати, история с заменой “великой старости” на “смиренную” представляется мне одной из самых выразительных в его характеристике, да и во всей книге, как и вообще Ваши размышления о гордыне и “простой” человеческой гордости, глубокие, понятные, близкие моему духу. А посему в заключение этого краткого отклика мне хочется приложить свои заметки на подобную тему (частично, правда, бывшие в печати под иным названием), которые могут показаться Вам интересными.

“И ГОРДЫЙ ВНУК СЛАВЯН. . .”

В пору нашей литературной молодости наставники часто приводили нам строки Бориса Пастернака: “Кавказ был весь, как на ладони, и весь, как смятая постель”. В качестве образца предельно точного художественного сравнения. Чуть позднее почти образцовым стало и выданное Андреем Вознесенским сравнение чайки в небе с. . . плавками Бога. Несмотря на очевидное кощунство. И молодые поэты должны были стремиться к чему-то подобному. Помню, мой коллега из местных сравнил колос ржи с. . . львиной лапой и очень гордился этим.

А когда я на одном семинаре встал и с крестьянским здравомыслием спросил: “Допустим, Кавказ похож на постель, ну, и что? Чайка – на плавки, колос – на звериную лапу, ну, и что?” – меня обвинили в тузости и глухоте.

Между тем, классику в употреблении “сложных” метафор-сравнений весьма сдержанны. И если прибегают к ним, то не ради того, чтобы отметить

внешнее сходство чего-то с чем-то, а ради более точного выражения чувства и смысла, ради одухотворения окружающего мира. У Александра Пушкина о буре: “То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя”. У Сергея Есенина о затурканных нуждой и смутой крестьянах: “Они, как отрувь в решете, среди непонятных им событий”. У Николая Заболоцкого о старой супружеской чете: “И только души их, как свечи, струят последнее тепло”. Без вычурности, просто, органично и весьма многозначительно, в добром смысле этого слова.

Но даже такие “явные” и скрытые сравнения у классиков довольно редки. Они для них далеко не главное средство художественной выразительности. А что же главное? Пушкин сказал что-то вроде: “Поэта делает эпитет”. То есть яркое, образное определение. Сам Пушкин следовал этому правилу неукоснительно. У него почти нет банальных или случайных эпитетов. Они, как правило, новы, точны и выразительны. Ко многим мы с вами просто привыкли, как к “постоянным эпитетам” из народных песен, былин и сказаний. Но попробуйте взглянуть свежим глазом и прислушаться свежим ухом: “От финских хладных скал...”, “Я памятник себе воздвиг нерукотворный...” Или, наконец, вот это, ради чего я горожу весь огород: “И гордый внук славян...”

Да, только так: “гордый внук славян”. Не в смысле – обуянный гордыней, а в смысле – прямой, с чувством самоуважения и человеческого достоинства.

Думается, Пушкин перебрал дюжину эпитетов, но остановился на этом “гордый”, оказавшемся самым верным, на его взгляд. Единственно точным. А разве не так? Разве не эту черту, наряду с патриотизмом и удалью, нестяжательством и любовью к справедливости, отмечаем мы среди главных у наших национальных героев и просто ярких исторических фигур, запечатлённых народной памятью? Вспомним того гордого, непокорного стрельца петровских времён, шагнувшего на эшафот со словами: “Отойди, Государь, здесь моё место!” Вспомним “архангельского мужика” Михаила Ломоносова, что ответил Шувалову, вздумавшему пошутить над ним: “Не токмо у стола знатных господ или у каких земных владетелей дураком быть не хочу, но ниже у самого Господа Бога, который мне дал смысл, пока разве не отымет”. Или того же Пушкина, прямо признавшегося самому Царю: “Я был бы с ними... на Сенатской площади”. Вспомним Ивана Сусанина, протопопу Аввакуму Петрова с боярыней Феодосией Морозовой или Дмитрия Менделеева, величайшего учёного и горячего патриота, даже не избранного в Академию за эти “излишние” русские прямоту и патриотизм.

Да, “гордый внук славян...”

И если у иных народов родилась мудрость: “Лучше быть живым псом, чем мёртвым львом” (зверь явно не из русского пейзажа), то у нашего в почёте другой нравственный выбор: “Лучше умереть стоя, чем жить на коленях”. Или, как изрек Новгород-Северский князь Игорь, обращаясь к “полку” перед сечей: “Лучше убитому быть, чем полонённому быть”...

И об этом знает весь мир. Недаром Бисмарк когда-то сказал, что “русского солдата мало убить, его надо ещё повалить”. А вспомните казачьего есаула Филиппа Миронова, сперва смело бросившего царским сановникам, скорым на расправу с недовольными: “Готов снять чины и ордена, но жандармом не буду!” А позже, будучи уже красным командиром, с не меньшей “дерзостью” заявившему советскому вождю: “Именем революции требую прекратить политику истребления казаков!” И это в тот момент, когда генерал Краснов обещал за его голову 400 тысяч золотом, а комиссар Троцкий призывал первых встречных пристрелить его, “как бешеную собаку”. И оба – за веру в свой народ и приверженность “народному самодержавию”...

А сколько напрашивается примеров из времён Великой Отечественной, да и новейшей истории! Достаточно упомянуть, положим, генерала Дмитрия Карбышева (военного инженера из белых), превращённого в Маутхаузене фашистами в ледяной столб, но отказавшегося служить врагам. Или московскую девочку-школьницу Зою Космодемьянскую, внучку священника, добровольно ставшую партизанкой, которая после лютых мук, принятых от захватчиков, сказала жителям Петрищера: “Русский народ всегда побеждал, и сейчас победа будет за нами”, – и с петлёй на шее бросила извергам: “Всех нас не перешагаете, нас 170 миллионов! А за меня вам отомстят наши товарищи!”

Иные скажут: ну, это война, это история... Однако в жизни всегда есть место не только подвигам, но и просто порядочным, гордым поступкам.

И, слава Богу, у нас ещё немало людей, способных на эти поступки. Взять хотя бы поэта, редактора “Нашего современника” Станислава Куняева, который в дни переворота, когда опричники префекта Музыкантского в Москве пришли реквизируют Дом писателей и предъявили некую “ксиву”, просто разорвал её на глазах коллег. И они вместе отстояли писательский штаб. Или писателя-фронтовика Юрия Бондарева, гордо отказавшегося от награды из рук новых правителей – разрушителей великой Державы. Или талантливого артиста, бывшего детдомовца, ставшего последним министром культуры в Советском Союзе, Николая Губенко, который, как я читал, брезгливо отклонил предложение сыграть роль Георгия Жукова, маршала Победы, с... “постельными сценами” в очередном фильме пакостников – очернителей прошлого, хотя ему сулили за это гонорар аж в 750 тысяч “баксов”...

Да, “гордый внук славян...” И, повторим, отнюдь не потому, что спесив, самовлюблён, одержим греховной гордыней, а потому, что превыше всего ставит честь, достоинство, справедливость. И что бы ни сочиняли ныне лукавые щелкопёры о “рабской душе” русских людей, как бы ни обзывали их “детьми Шарикова”, косоруками “дармоедами” и “оккупантами”, жив он, “гордый внук славян”! Ему по-прежнему чужда сатанинская гордыня, он по-прежнему простосердечен и простодушен, но это не значит, что у него нет гордости. Да, согласимся, чувство это было искусственно принижено и частично придушено в нём. Ведь семьдесят с лишним лет он без передыха тянул колымагу интернационализма, впоследствии, как оказалось, никому не нужную, “сидел” на постной соломе, уступая отборный овёс красовавшимся пристяжным, понатёр в пути плечи и растерял подковы, но его ещё рано списывать на живодёрню. Тут надежды выющихся над ним оводов, слепней и прочего гнуса неоправданно оптимистичны. Он не загнанная кляча, а лишь укатанный на горках Сивка-Бурка и утомлённый Холстомер, который при добром уходе ещё покажет свою летящую рысь, свою русскую иноходь.

Тому порукой – картина текущих дней. Ведь и сегодня, в “рыночные” времена, разве не он же, не русский, не славянский “коняга” тянет главную лямку на тощей пашне, редком заводе, в воинском строю на суше и на море?

Пока ушные ребята из числа советников, экспертов и серых пиджаков “офисного планктона” с мушиной быстротой плодят сомнительные экономические прожекты, сводящиеся в основном к перераспределению дармовых, ранее созданных благ (да ведь и сам рынок – это вовсе не производительная сила, но лишь инструмент распределения продукта), рабочий, трудящийся человек, – а в России это на 85 процентов! – русский человек, “доит, пашет, ловит рыбицу”, куёт, строит, печёт и варит. И уже ясно, как день, что спасение наше придёт не от чудодейственных программ и указов, а именно от этого кропотливого, ежедневного созидательного труда. От мастерства и умения, которых не занимать россиянам, и не в последнюю очередь – “гордому внуку славян”.

Кажется, это начинают понимать наши мудрые поводыри разных рангов, погрязшие было в политических сваргах, дворцовых интригах и пустых, безответственных речах. Даже на самом вершине озаботились вдруг дефицитом толковых инженеров, механиков и задались вопросом, как поднять престиж рабочих профессий. И уже звучат ответные предложения, что, может, стоит для молодых ребят, выбравших рабочие специальности, утвердить систему поощрений. Или, например, возродить движение наставничества, как было в советские времена. Что ж, неплохо, наверно, поразмыслить и над этим.

Но главное, думается, надо срочно что-то менять в системе, так, чтобы она нуждалась не в бесправном и полуграмотном рабе, завезённом извне, готовом жить в скотских условиях и работать за гроши, а была прямо заинтересована в настоящем мастере. Своём, отечественном, русском Левше, знающем, смекалистом и умелом, который способен гарантировать качество самого высокотехнологичного продукта, но, конечно, требует и соответственного уважения к себе и к своему труду.

А без этого уважения, морального и материального, мы мастера-умельца не воспитаем, не удержим в стране, и все наши разговоры об инновациях-модернизациях останутся блефом. В том числе и в сфере “оборонки”, какие триллионы рублей ни вколачивай в неё. Ведь если верны данные нынешних социологических опросов, согласно которым почти две трети призывников заявляют, что они не будут воевать с оружием в руках за “эту страну”, то мы

имеем дело просто с катастрофой. И корни её – в многолетнем унижении человека труда, рабочего класса, “гегемона”, нагло превращаемого в посмешище рыночными властями и продажными борзописцами. Так что начинать придётся не только с закачки средств, но и с пробуждения национального самосознания народа, прежде всего, – “гордого внука славян”. С возвращения ему чувства человеческого достоинства, самоуважения, самостояния и гордости за своих предков и современников, за свою страну.

А возрождение этих чувств и черт неразрывно связано с воспитанием, с привитием трудолюбия, тяги и уважения к мастерству. Ибо не зря говорят в народе, что мастер – везде властен.

Бывший главный приватизатор советского имущественного наследия и ярый ненавистник русского наследия духовного, как-то выступая перед своими однопартийцами, единомышленниками и поделчиками, дал им “нажитый” совет: “Побольше наглости!” Нам же с вами, дорогие радетели и печальники России, приспела пора обратиться к собратьям с призывом: “Побольше гордости!” А если иные напомним, что главная добродетель православного всё-таки смирение, то согласимся с ними в смирении перед Господом и ближними, но не перед недругами Отечества!

Доброго Вам здоровья, дорогой Станислав Юрьевич, и творческого долголетия.

С поклоном, **Александр Щербаков**
Красноярск

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

На страницах Вашей книги живёт дух стихотворений самого Юрия Поликарповича. Таких поэтов, как он, единицы в сонме литераторов. Вы провели красной нитью через всю книгу понимание строк, которые “не могут “сочиниться” – они могут только “привидеться” и появиться сразу во плоти...”

Вы пишете, что В. Кожин восхищался стихами Кузнецова и что сам поэт “сравнивал себя с древнерусским столпником”:

*Древо жизни умирает стоя,
Но стоит и мне стоять велит.*

Как будто все стихи свои он писал стоя... И ещё, к приведённым Вами строкам из его стихотворения, где он пишет, что “Безмолствует народ” и “Очами духа светит щит молчанья” (я бы добавил – “и терпенья”) Вы привели слова А. С. Пушкина “народ безмолвствует”, а можно добавить и Т. Г. Шевченко – “народ мовчить, бо благодэнствуе”. Вы нашли характеристику теперешнего текущего времени и помогли понять то, что о нём сказал Юрий Поликарпович.

Кузнецов охарактеризован Вами, как “не лицемерный, прямолинейный и не зависимый ни от чьего мнения...” Вот из-за этого “неудобства” его и не печатали при Викулове. А это Ваш собственный вывод: “Неудобный он был поэт и для “русско-советских правых” и, тем более, “для еврейско-советских левых”. Потому и царило молчание, как Вы отметили, когда Юрия Поликарповича не стало – он при жизни “их” не устраивал. Символично и письмо именитых подписантов, “обличающее руководство телеканалов, организовавших заговор молчания вокруг смерти знаменитого русского поэта”.

В книге хорошо представлено, что творчество Юрия Поликарповича связано с народом, с его ценностями, что “Юрия Кузнецова, в первую очередь, притягивали к себе глубинные, тёмные, не щадящие чувств нынешнего цивилизованного обывателя, заповеди народного бытия, выплывающие, по убеждению поэта, “из бездны, где слова молчат”. Вот она – линия его творчества! Но где та грань, которая отделяет тёмное от светлого? Каждый день мы можем увидеть и осознать отделение тёмной ночи от светлого дня сумеречным состоянием. Но грань-то эта размытая, смешанная! Грань перехода. Переход из одного состояния в другое и обратно. Это же наша жизнь: радость и печаль, смех и плач, счастье и горе – всё познаётся в состоянии “перехода”.

Вы правы: чтобы быть русским поэтом, мало писать на “русском языке” – нужно иметь “прививку русской истории с её пониманием по-пушкински”. Хорошо Вами подмечено, что ещё с пушкинских времён Европа “в отношении к России была всегда столь же невежественна, сколь и неблагодарна”. Да ведь ничего не поменялось с тех пор, и Юрий Поликарпович понимал это. И нынешняя история подтверждает правоту Пушкина.

Читая книгу, я как будто прочитал часть истории поэтической России и СССР и пришёл к выводу, что нет отдельной поэзии: ямбы, хореи, амфибрахии, дактили, анапесты, – а есть большое многомерное зарифмованное пространство, где живут поэты вместе с Кузнецовым, только уровни жизни по высоте разные.

Говоря словами Вашего стихотворения “Случай на шоссе”, Кузнецов был “не волен изменить предначертанный путь”.

Завершаю словами, сказанными протоиереем Дмитрием Дудко: “Помоги Бог всем литераторам, особенно русским, нести слово истины, пробуждая свои и другие души. Много горя и грязи сейчас у нас на русской земле...”.

Станиславу Куняеву

*Ни памяти о нём не умалив,
Ни своего не уронив лица,
Достоинство поэта сохранив,
Рассказ Ваш дотянулся до конца!*

*Ему был слишком близок мир иной —
И от того, что стих сразился с тьмой;
И оттого, что всюду был он — “свой”,
Он, уходя, сказал родным: “Домой!”*

А. Шерник
г. Алма-Ата

ИННА РОСТОВЦЕВА

СЛЕД

(Юрий Кузнецов: предшественники и последователи)

По числу подражаний Юрий Кузнецов превзошёл даже Иосифа Бродского, и эта волна, на мой взгляд, не стихает: подражают приёмам поэта, пытаются дотянуться до символов, перенять словесную походку – в интонации и фольклорных образах, но это не может дать и не даёт заметных результатов. Потому что попасть “в след” такого самобытного художника слова, каким был Кузнецов, – это значит войти в генетическую память литературы, осмыслить, понять и внести своё в её объём.

“Генетическая память литературы” – это термин-название недавно вышедшей книги известного исследователя Сергея Бочарова.

Рецензент этой книги в журнале “Вопросы литературы” (ноябрь–декабрь 2013) пишет: “Родословную” собственной теории Бочаров прослеживает достаточно подробно, переосмысливая идеи М. Бахтина (“память жанра”, “культурно-историческая телепатия”), А. Панченко (“национальная топика”), В. Топорова (“резонантное пространство”), Ю. Тынянова (“конвергенция”) и особенно выделяя суждение А. Бёма о “литературных припоминаниях” Достоевского. Не видные ранее смыслы открываются, когда мы обнаруживаем в одних произведениях “вопросы”, на которые позже другие авторы откликаются, не всегда понимая, кому и на что отвечают. Происходит это, по убеждению учёного, не в режиме прямого диалога, непосредственной реакции на “чужое слово”, но благодаря какой-то форме наследования большого смыслового контекста. Бочаров прибегает к метафоре, представляя литературу как “общую ткань, которую нарастили разные мастера. Для работы генетической памяти необходимо единое смысловое пространство (разрядка автора. – **И. Р.**) литературы, в котором никакие вопросы и художественные задачи, даже уйдя на время в тень, не исчезают бесследно” (М. Переяслова).

Известен и достаточно серьёзно описан исследователями объём “генетической памяти” литературы, который вобрал в себя художественный мир Юрия Кузнецова: это русская классика – Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Случевский, Есенин, Блок; это огромные пласты древнерусской литературы, апокрифы, жития, сказания, это русский фольклор с его *воззрениями славян на природу*.

Но это всё наследие прошлого.

Создаётся мнение, подкреплённое к тому же мощно и гордо артикулированным словом самого поэта, – “Звать меня Кузнецов. Я один. // Остальные – обман и подделка”, – что в XX веке, среди современников 60–80-х годов у него не было ни предшественников, ни соратников, ни просто сочувствовавших, – речь идёт о поэтах, разделявших суть избранного им метода и направления пути.

Но это не совсем так. На самом деле всё обстоит гораздо сложнее. Да, в ситуации, когда путь Кузнецова только складывался, находился в развитии и становлении, многое не было видно и понятно даже самым проницательным современным умам (таким, как Кожинов); сегодня же, когда мы видим сложившийся и окончательно завершённый путь поэта во времени и пространстве, по-новому открывается и трансцендентальный, а не просто биографический автор по имени Юрий Кузнецов. Мы можем говорить об особом выборе этого “пути”, отличного от тех общепринятых путей-дорог, которые преобладали в официально признанной советской поэзии второй половины XX века. Было бы ошибкой считать это “перепутьем”, маргинальностью, как многим казалось при жизни поэта.

Необходимо здесь вспомнить, что ещё в начале XX века философ Н. М. Бахтин, старший брат Михаила Михайловича Бахтина, выступил с программной статьёй, которая вызвала в 1926–1927 годах оживлённую дискуссию, причём в ней приняли участие Г. Адамович, Д. Мережковский, К. Мочульский и другие литераторы.

Блестящий теоретик, проанализировав состояние текущей современной поэзии с её “тёмными и спутанными формулами”, если и способной “призвать к жизни какие-то энергии”, то неспособной “направить их”, отягченной безволием, “утончёнными играми мечтательных кастратов”, сделал неутешительный вывод: русская поэзия резко отклонилась от своего исконного назначения — Poeta Vates (поэт-пророк) превратился в Poeta Faber (поэт-ремесленник), а это значит: “поэт изменил природе слова, ибо слово — волевое, заклинательное, в своей глубочайшей сущности — хочет властвовать, двигать, повелевать”.

Вопрос поставлен историей слишком остро и серьёзно, считал Николай Бахтин: вернуть поэзии её действительную, мужественную, эротическую природу — или ей не быть: такова, по его мнению, дилемма, с неизбежностью предстоящая поэту в будущем.

Казалось, история напрочь забыла об этом прозорливом прогнозе-предупреждении проницательнейшего критика искусства, но последующее развитие отечественной поэзии (в отдельных её стволах и ветвях) показало, что проблема выбора поэтом другого пути не была ни надуманной, ни отвлечённой, а самой что ни на есть насущной.

История не отбросила тревогу учёного-философа за пределы судьбы русской культуры. И тот результат, которого добился Юрий Кузнецов, пойдя по этому “другому” пути, проявляет для нас не только степень жизнеспособности и силу энергии поэта.

Речь идёт об исторической необходимости. Историческая же необходимость проявляется только через людей (Раймон Арон. “История XX века. Антология”).

Зов исторической необходимости был вовремя “услышан” Кузнецовым: история стала его героем точно так же, как время и пространство, как символ, в котором всегда есть и “теплота сплывающей тайны” (С. Аверинцев), как природа, хранящая память о славных и бесславных делах человека...

Заслуживает особого внимания то, что Кузнецов, будучи проявлением исторической необходимости, сам, в свою очередь, в силу генетической памяти, проявляет нам своего предшественника по веку.

Речь идёт о Владимире Державине (1908–1975), известном советском переводчике, но малоизвестном русском оригинальном поэте. И это неудивительно: единственная его прижизненная книга стихов, скромно названная “Стихотворения”, изданная при помощи М. Горького в 1936 году, сегодня является библиографической редкостью. Между тем в неё вошла поэма “Первоначальное накопление” (1934): написанная двадцатилетним автором, она была заметным явлением в литературе тех лет. На Первом Всесоюзном съезде советских писателей она стала предметом острой критики. В. Инбер, С. Кирсанов и другие инкриминировали молодому начинающему поэту уход (или уклонение?) от современной тематики и приверженность к старомодной форме октавы, принятой в традиции XVIII–XIX века, и даже литературная фамилия “Державин” была взята под пристальное подозрение (“У нас уже есть один Державин, зачем нам второй?”).

Что же было в поэме “Первоначальное накопление” столь непривычного, что так задело тогдашних “властителей дум” — официально признанных советских поэтов, писавших на “злобу дня”?

Ответ на этот вопрос мы находим именно сегодня и именно у Юрия Кузнецова, в его “Воззрении”: “...я строил свою поэтическую вселенную... Очень важно, что я устоял. Человек с обыденным сознанием усмехнётся и скажет: “Какая чепуха! Это всё произошло на бумаге”. Не на бумаге, а внутри поэта. И выразилось в слове. Нельзя же читать стихи как газету”.

Владимир Державин ещё в 1930-е годы начал строить свою “поэтическую вселенную”, которую современники хотели прочесть как газету, невзирая на избранный мастером жанр крупной поэмы. Существенно на этот счёт замечание Кузнецова: “Поэма требует от читателя больших знаний и культуры. При всей своей стихийности она строго организована и в ней чётко прослежены образные и смысловые линии”.

Всё, на что он обращает особое внимание, уже отчётливо присутствовало в поэме Державина “Первоначальное накопление”. Она — об эпохе Возрождения, о тех воистину титанических усилиях, которые потребовало от человека накопление новых знаний о мире и культуре.

Поэме предпосланы три эпиграфа, два — дань времени — из “Диалектики природы” Энгельса, о том, что “это был величайший прогрессивный переворот, пережитый человечеством, эпохи, которая нуждалась в титанах и породила титанов по силе мысли, страстности и характеру”; один — из “Чайльд Гарольда” Байрона: “Но подражать в величии отцам бесславные сыны не научились”. Между этими двумя полюсами противоречивого явления и движется мысль поэта: её символизирует путь плывущего корабля и мореходов, отправившихся в неизведанное странствие к новым землям, путь, строго организованный формой октавы:

*Был первый — бурями дублённый мореход,
Чья страсть была подпорой мирозданья;
Второй — провидец души, чей обожжённый рот
В горящей песне лил итоги и желанья,
Не помня сам себя, как говорил народ,
А внук был Фаустом, и тайное дознанье
Пылало фонарём и шпагою стальной
Звенело под его перчаткой боевой.*

В поэме был задействован колоссальный объём знаний, культуры, даны блестящие характеристики исторических личностей — Джордано Бруно, Мюнцера, Камозэнса, который “с Богом в ссору вступил, // Разбойникам судом судьбы грозя...” Здесь у Державина уже сформировались многомерные планы подачи пространства и времени — через развёрнутый образ — метафору, сходные с теми “установками”, которые позже определил для себя Кузнецов так: “К метафоре нужно добавить нечто, чего в ней нет и быть не может. Метафора пропала — возник символ”. Как это происходит, поэт показывает на конкретном примере из Есенина:

*Ветер-схимник шагом осторожным
Мнёт траву по выступам дорожным,*

*И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримо Христу.*

“Пространство в две тысячи лет, — пишет Юрий Кузнецов, — сквозит за есенинским кустом, особо отмечая, что вся соль заключена здесь в эпитете “незримый”.

У Державина уже есть — и не как случайная находка, а как глубоко осмысленный художественный принцип — переход метафоры в символ, вбирающий в себя пространство и время, историю и жизнь отдельной человеческой личности. Вот — в открыто развёрнутой фразе — сжатая до символа судьба Данте-изгнанника, созданная одной графической линией:

*...Данте, сжав подковы губ, лица не обернул
На драный манускрипт пожараща, развитый
Над крышею родной.*

А вот картина костромской земли, откуда родом Державин, написанная яркими живописными красками – жёлтыми и алыми (поэт был незаурядным художником, окончил ВХУТЕМАС, учился у Р. Фалька; его гравюра “Данте и Вергилий в аду” находится в Музее имени Горького), где буквально “образ входит в образ” и, окольцовывая октаву эпитетами и сравнениями, несёт в себе эпический размах, мощь, силу:

*В чернильнице моей поют колокола,
Как жёлтых туч пласты — осенние леса
Хоругвью шелеста твоё клубили имя,
Со дна сознания преданий голоса
На алых лошадях, под гребнями седыми
Им вторили...*

Это посвящение, которым открывается поэма “Первоначальное накопление”, есть посвящение читателя в самые важные для автора основы русского бытия: приобщение к духу старины, православия, рода – чувство, с юности навсегда сохранённое Державиным и пронесённое им через всю нелегко сложившуюся писательскую судьбу...

Поэма “Первоначальное накопление” не переиздавалась полвека и, казалось, была обречена на забвение истории. Но в 1983 году Юрий Кузнецов, уже известный к тому времени поэт, хотя и не всеми признанный, стал главным редактором популярного в советские годы издания – альманаха “День поэзии”. Автор этих строк вошёл в состав редколлегии, членами которой были такие замечательные литераторы, как Ю. Селезнёв, Ст. Куняев, О. Чухонцев. И на правах одного из составителей принёс Кузнецову (нас познакомил в конце 60-х его земляк, краснодарский поэт Олег Чухно, когда они были ещё единомышленниками в первые московские годы) поэму Державина “Первоначальное накопление”. Не без надежды, что создатель её, написавший портрет (“по лбу оврагом пролегли скитанья”) или про жизнь человека: “. . . в чаще букв// Шёл человек.// Про жизнь шумел корявый бук” или про время: “Столений лопасти пронесит колесом// Неисчерпаемый, живородящий дом”, – не может не быть ему близок по мироощущению и поэтике.

Так оно и случилось. Юрий Кузнецов высоко оценил державинскую поэму не только как родственное по духу произведение, но и как новаторскую вещь, пролегающую в границах его собственного пути.

В слове от редколлегии, предворяющем “День поэзии – 1983” и по традиции написанном главным редактором, отмечалось: “Не сужая “поэтическое море” современного стихотворства и отдавая посильную дань его пестроте, мы попытались выявить в нём основные глубинные течения, представляя целый ряд поэтов как старейших, так и молодых”.

Владимир Державин, без сомнения был отнесён Юрием Кузнецовым к “глубинным течениям”, то есть поэтам, обращённым в историческую глубину России. Есть факты, которые свидетельствуют: он не просто читал, он внимательно изучал эту поэму.

Вот любопытный пример. Есть в поэме Державина октава III, четыре последние строки которой звучат так:

*...Где море, твердь, земля, где гунские следы
Ещё текут, звучат, сшибаются, где в текте
Согласных слышен стук германских дятлов... Там,
Ныряя в буйной мгле, Венеция, Амстердам.*

В пояснительной сноске к слову “текте” указано: “Слово о полку Игореве” – “Дятлове тектом путь к реце кажут”. Есть все основания предполагать, что эта сноска сделана именно Юрием Кузнецовым, захотевшим “подсказать” современному читателю тот великий источник древнерусской литературы, из которого Державин черпал этот и другие образы для своего творчества. И надо признать, попадание стопроцентное: Владимир Державин боготворил “Слово...”, оно было в его личной библиотеке, и, по свидетельству современников, великолепно читал наизусть целые страницы из “Слова...”, “благодарный судьбе за то, что из глубины веков донесла она до нас это чудо”. Так же,

как и Заболоцкий, он мог сказать: “Читаешь это “Слово...” и думаешь: “Какое счастье, Боже мой, быть русским человеком!” (Н. Заболоцкий в письме к Н. Л. Степанову от 20 июня 1945 года). Редчайший пример того, как сработала “генетическая память” у подлинных поэтов XX века – Владимира Державина, Николая Заболоцкого, Юрия Кузнецова...

... Вскоре после выхода “Дня поэзии – 1983” в партийной газете “Правда” появилась статья Юлии Друниной. Она ставила под сомнение идейную выдержанность и необходимость многих материалов, опубликованных на страницах альманаха. Рецензент выразил недоумение, в частности по поводу того, по каким-таким непонятым причинам здесь появилась поэма “некоего” Державина, дескать, откуда и зачем она взялась. Круг замкнулся. И спустя полвека, в 1980-е годы, “Первоначальное накопление” не получило публичного общественного признания со стороны критики, которого эта вещь, безусловно, заслуживала, придя в новое время к новому читателю.

Исторический прогноз Юрия Кузнецова не оправдался? Не будем слишком спешить с выводами.

... Есть один эпизод, важный в контексте заявленной нами темы; о нём следует сказать особо, не оставляя на откуп мемуарному жанру: он уместен и в жанре критических статей о Ю. Кузнецове, где остро ощущается недостаток свежих фактов. Спустя некоторое время после выхода “Дня поэзии – 1983” вдова поэта Т. Д. Державина пригласила меня и Юрия Поликарповича в ресторан ЦДЛ, чтобы выразить ему свою благодарность за столь дорогую для неё и так неоправданно припозднившуюся публикацию. Она отлично понимала, что без поэта – его воли, желания и уверенности – вряд ли кто смог бы сделать это в “застойные” 80-е, когда, по точному замечанию одного современного молодого литератора, в шкуру творческого человека прямо-таки врос казённо-аппаратный призрак, уничтожавший саму суть творчества изнутри.

Тамара Давыдовна рассказала Кузнецову о превратностях трагической судьбы Державина как оригинального поэта, вынужденного после злопыхательной критики, чреватой в 30-е годы серьёзными последствиями, на долгие годы уйти в переводы. Не переставая писать “в стол”, будучи признанным мастером-переводчиком, он сам не сумел издать при жизни ни одного сборника собственных стихов (“Стихотворения”, изданные в 1936 году Горьким, так и остались единственной книгой). В современности 50–70-х годов самобитного поэта Владимира Державина попросту не существовало. Его первая посмертная книжечка “Снеговая корчага”, объёмом в... 1, 40 печатного листа, вышла только в 1979 году (в Библиотеке “Огонёк” издательства “Правда”) и представляла лишь малую толику из богатейших запасов державинского творчества.

Если мне не изменяет память, вдова подарила Юрию Поликарповичу “Снеговую корчагу”: в неё вошла одноименная поэма и “посвящение” из “Первоначального накопления” под названием “Чернильница”, а также кое-что из последних стихов поэта, которые не мог знать Кузнецов, но они обращены прямо в нему, “идущему вослед”. Полные неизбывной горечи, что “небесное задание” – а таковым считал поэзию Боратынский – не выполнено им “как можно лучше”, они стали своеобразным завещанием Владимира Державина. Это – “Клятва”, произнесённая поэтом на языке столь ценимого Кузнецовым символа:

*Убитый ночью приходит
С простреленной головой,
И взгляд — два обугленных солнца —
Горит и грозит предо мной.
— Мне душу спалила стужа,
Мне сердце выжег зной.
Я песни тебе завещаю
Пропеть, не спетые мной!
— О, брат! Я спою твои песни,
Пройду сквозь жизнь и сквозь смерть,
Да так, что треснет от муки
Над нами бегущая твердь!...*

Это — пронзительный “Разговор с облаками”: беседа с отцом земным и Отцом небесным. Примечательно, что в заключительных строках её выражена надежда автора на посмертное возвращение:

*Далеко
За горами
Безлюдно-ущелистыми,
Загрямите весенней
Икрою перловой,
Покидая навеки
Путину небесную, —
Бросьте горсть ваших капель
В палату трапезную,
Где сидит мой отец
За нерадостной чашею,
И беседа иссякла струёй замолчавшей.
Вы ему прошумите
Листвою заоконешною,
Что в плену я у смерти,
Что я далеко, но что я жив,
Что я ворочусь.*

В заключение нашей встречи, молча выслушав горестный рассказ вдовы поэта, Юрий Кузнецов произнёс только одну фразу: “Да послужит судьба Владимира Державина нам уроком”...

...Мы можем сегодня домыслить, какие уроки имел в виду Кузнецов, вглядываясь в трагическую державинскую судьбу, в то время, когда его собственный творческий путь был ещё не закончен. Это, прежде всего, воля к завершению, энергия утверждения начатых поисков, особая стратегия и тактика творческого поведения художника, необходимая для того, чтобы во что бы то ни стало проявиться в своей современности. Это верность избранному направлению. Главным для себя Кузнецов считал открытие новых возможностей образа пространства в художественной системе поэта (а он был очень системным художником). Пространство — это не только место — *topos*, это — событие, которое проявляет свободную волю героя; при определённых обстоятельствах оно само становится героем, несущим национальную идею.

В этой связи уместно вспомнить позднюю статью М. Хайдеггера “Искусство и пространство” (1969) с эпиграфом из Аристотеля: “Но чем-то великим и трудноуловимым кажется *topos* — то есть место-пространство”. Философ предлагает нам прислушаться к языку. О чём он говорит в слове-пространстве? “В этом слове, — пишет он, — говорит простирание. Оно значит нечто просторное, свободное от преград. Простор несёт с собою свободу, открытость для человеческого поселения и обитания. Простор, продуманный до его собственного существа, есть высвобождение мест, где судьбы поселившегося здесь человека повертываются или к целительности родины, или к губительной безродности, или уже к равнодушию перед лицом обеих. Простор есть высвобождение мест, вмещающих явление Бога, мест, покинутых богами, мест, в которых божество долго медлит с появлением”.

Поэтическая мысль Юрия Кузнецова колеблется между двумя полюсами, создавая высокое этическое и эстетическое напряжение неравнодушия автора. Ведь “безродность” простора, в которой оказывается существование человека, порождает гротески, химеры и символы. Такой может быть и реальность благословенного юга, в которой в 60-е годы века XX за личиной внешнего блеска подчас скрывались процессы стагнации, косности, безразличия.

Интересно, что Вадим Кожин, позднее, в 80-е, впервые познакомившись со стихами Олега Чухно (1937–2009), с удивлением отметил в устном разговоре со мной: оказывается, у Чухно с Кузнецовым была общая “кубанская” реальность, которую они мифологизировали, что породило особое художественное своеобразие этих поэтов и, как следствие, — неузнанность в официальной литературе тех лет.

Так что дело было не в схожести приёмов, не в языке символов, значительно глубже... Богооставленность родного *topos*'а-места рождала такие безотрадные картины у Олега Чухно:

*У базара, в центре Краснодара
Умирает муха от удара.
Грузная, величиной с быка,
Яростно вздымаются бока.
И стоят, размазывая слёзы,
Нищий жук и три слепых берёзы.*

(“Тоска”, 1968)

Или другие, фантастически-гротескные, как “Офорт”. Не случайно словенская исследовательница Елка Цигленечки называет автора “мастером офорта” (“ЛУ”, 2005, № 3).

*Короткий взмах. И, описав дугу,
Уткнулось в снег угрюмое полено,
А дровосек, согнувшись пополам,
Другое ставит. И удар!
В руках топор, как музыка, играет,
И звуками — разъятые стволы,
А тёмная фигура с красным носом
Лишь повторяет старое движенье:
Там — голова, здесь — тело, руки, ноги —
И мёртвый стук размеренных ударов...
Так дерево на дереве деревья
Уничтожает взмахом топора.*

Комментируя это стихотворение, Елка Цигленечки пишет: “Характерным для 60-х годов становится произведение “Офорт”, где на белом фоне выгравирована тёмная фигура — образ зловещего дровосека, который механическими ударами топора уничтожает когда-то зелёный ствол дерева. Стволы и листья появляются как символ утраченного ландшафта детства поэта, своего рода русской Аркадии, что была в реальности социалистической Москвы только отдалённым воспоминанием”.

И заключает: “По-видимому, только XXI век беспристрастно оценит поэта, который творил после Второй мировой войны. Оценит не только диссидентов, но и таких мирных одиноких странников в мире, как Олег Чухно... Прошедшие времена читатели ещё не догнали”.

Действительно, “разрубленный ствол” (Б. Евсеев) поэзии Олега Чухно кровоточит до сих пор. Почти не печатавшийся при жизни, он, как и Владимир Державин, оставил после себя одну-единственную книгу “Стволы и листья. Стихи из XX века” (М., “Вече”, 2002), изданную стараниями друзей; на её основе Владимир Стоянов выпустил сборник “На шаг от эшафота” на русском и болгарском языках (Славена, Варна, 2003). Нет сомнения, что имя Чухно должно быть названо в связи с Юрием Кузнецовым: на раннем этапе творчества (60–70 годы) поэты активно влияли друг на друга.

Я помню, с каким неподдельным восхищением Олег Чухно, представляя мне своего краснодарского земляка, говорил: у него муравей тащит бревно, дыра от сучка свистит, стул в пиджаке подходит к телефону — всё в мире движется, жужжит, ползёт, обнаруживая родство всего со всем...

Да и сам он в позже написанной автобиографии “Сам” (конец 90-х годов) скажет о своём, схожем с кузнецовским творческом методе: “Я основываюсь на чётком, отчётливом каскаде образов, строящих внутреннее пространство стиха... и в одну строфу могу вместить любое вселенческое содержание (не боюсь употребить сей всеобъемлющий эпитет). Теперь я лично избегаю прямых заимствований из других поэтов — увесистее сказать: “Здесь человек исчез” — это уже гекатомба”. Сравним, какой художественный эффект извлекается из подобного экзистенциального подхода в кузнецовской образной системе: “Пеленую полнеба закроют, // Пронесутся, сожмутся пятном, // И тревожат, и дух беспокоят, // Что за тень? Человек за окном. // Человека усеяли птицы, // Шевелятся, лица не видать. // Подойдешь — человек разлетится, // Отойдешь — соберётся опять” (“Сотни птиц”, 1969).

Мне неизвестно, оставил ли Юрий Кузнецов какие-то свидетельства, высказывания, записи об Олеге Чухно, с которым они вместе начинали в юности,

отдав предпочтение смелому художественному поиску и образовав общие “пересечки” (А. Платонов); хотя не исключаю, что книгу “Стволы и листья”, подаренную мной Ст. Куняеву в 2002 году, он мог ещё увидеть в редакции журнала “Наш современник”.

Но творческие и жизненные пути поэтов резко разошлись: Олег Чухно всё глубже погружался в душевную болезнь (последние 20 лет жизни он провёл в психоневрологическом интернате в Северском районе Краснодарского края), Юрий Кузнецов всё упорнее шёл к общественному признанию и славе. Олег Чухно, чувственно-эмоциональный, пластичный, импульсивный, строил свой мир, по его словам, “лепя зелёный с белым. Из крови...”, и трагическую судьбу индивидуума, отдельной человеческой личности; Юрий Кузнецов же, напротив, логичный и взвешенный в самых основаниях стихии, уходил всё дальше в глубь русского мифа, эпоса, разгадки тайны славян и образа Христа:

*...Но предчувствием древней беды
Я ни с кем не могу поделиться.
На мои и чужие следы
Опадают зелёные листья.*

*Из теней мимолетного дня
Так и веют несметные силы.
Боже мой, ты покинул меня
На краю материнской могилы...*

(“На краю”, 1981)

На “простирации” пространства в кузнецовский “след” попадает ещё одно имя – Сергей Гонцов (поэт, родившийся в 1954 году).

Ещё в конце 80–90-х годов, когда стали появляться первые публикации стихов Сергея Гонцова, критики обратили внимание на этого поэта, указав на его родство с Юрием Кузнецовым. Он, Гонцов, “младший брат Юрия Кузнецова (может быть, двоюродный), родившийся в иное время и получивший новый опыт, новые впечатления”, – писал Владимир Славецкий в книге “Русская поэзия 80–90-х годов XX века. Тенденции развития, поэтика” (М., Литинститут, 1998). “Родство” устанавливалось критиком на основании масштабности лирического пространства, которая чувствовалась уже в ранних опытах “младшего брата”.

Сегодня пространство, занятое гонцовским словом, имеет завидную художественную протяжённость в исторической перспективе – от библейских времен и Средневековья, величественного XVIII, золотого XIX и поначалу “серебряного”, а потом трагичного в своей основе века XX и смутного XXI. И всё это проявляется, помеченное своего рода маркерами-жанрами, среди них – ода, размышление, “столбцы”, портрет, элегия, а за ними встают фигуры Ломоносова, Боратынского, Тютчева – поэтов мысли. Можно сказать, Гонцов написал своеобразный автокомментарий к лирическим жанрам, вобравшим в себя эпическое начало (повесть, роман, рассказ). За этим просматриваются и новые – в сравнении с Кузнецовым – философские основания Замысла о мире в концепции целой книги, которую поэт складывает на наших глазах: “Мне известно, что эпос земной // Нам до опыта чудно рассказан, // Но какой-то стихией родной // На душе безначально завязан” (“Столбцы о Замысле”)

“Необходимо новое философское удивление перед всем”, – считал Михаил Бахтин, и, похоже, Сергей Гонцов брал “уроки” и у этого великого мыслителя, вводя в своё “зрение удивления” Божий мир и область красоты. И здесь он не повторяет Юрия Кузнецова, а вносит свои новые художественные смыслы:

*Есть безысходность в красоте,
Но сколько прелести высокой
В дубовом правильном листе,
В чертах крестьянки одинокой.
С ней сероглазое дитя,
Что мыслит только чудесами,*

*А видит мир — под небесами,
Столпами дальнего дождя.
Они, как дальний гром, прошли,
И зноем царственным дохнула
В нечеловеческой пыли
Земля Богов и развернула
Неверный свиток вековой —
Поля, дубравы и озера, —
И темный стриж над головой
Мелькнул, как знаменье простора.
Они ушли за поворот.
Я не один на них дивился —
В священном ужасе народ
Вокруг таинственно толпился.*

(“На станции под Псковом”)

Да, сегодня со всей очевидностью ясно, что Юрий Кузнецов ошибался, когда горько писал о себе: “А больше ко мне не укажет следа // Никто... Никогда”. У него был предшественник (Вл. Державин), единомышленник-современник в 60-е годы (О. Чухно); сегодня есть последователь (С. Гонцов). И будет справедливо, а “справедливость есть понятие художественное”, по определению русского философа И. Ильина, если мы назовём эти имена и “обойдёмся с ними предметно”. Каждый из них заслуживает отдельного разговора и серьёзного исследования. В пространстве слова, занятом Юрием Кузнецовым, они мерцают, как дальний и ближний след.

Автор, дошедший “до последнего края” пространства, проявляет их нам как “русских второстепенных поэтов”, и как это уже бывало в отечественной поэзии, меняя масштаб “второстепенный” на значительный.

Что соответствует истине и справедливости.

И в этом, помимо всего прочего, — историческая заслуга Юрия Кузнецова.

ЛИДИЯ ДОВЫДЕНКО

“КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ” ПОЭТА ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Одно из глобальных исторических событий в мировой истории XX века – Карибский кризис, начавшийся в 1962 году. Когда кризис был разрешён путём переговоров двух стран – СССР и США, – был сформулирован итог стратегической операции, получившей название “Анадырь”: предотвращена угроза термоядерной войны, Куба защищена от агрессии со стороны США, с границ СССР НАТО убрала ракетные базы из Турции и Италии, возрос авторитет СССР как мировой державы. Прошло 52 года, и это является поводом, чтобы вновь обратиться к теме Карибского кризиса, к тем напряжённым дням, участником которых был один из классиков русской поэзии – Ю. П. Кузнецов.

“Летом 1962 года в нашу сибирскую часть пришла секретная директива: отправить лучших специалистов в неизвестном направлении. Лучшим я не был, я только что окончил учебный взвод, но командир решил от меня отделаться, невзлюбив за стихи. Хорошим специалистом я стал потом. В Белоруссии мы были сформированы, отправлены в Балтийск, переодеты в гражданское платье. В час отправки мы были выстроены, и перед нами, взяв под козырёк, прошёл адмирал. Он знал, на что мы идём, и отдавал нам последнюю честь”, – так вспоминал поэт в 1990 году о своей отправке на Кубу в период Карибского кризиса – связиста ВВС, начинавшего свою службу в Чите.

* * *

*Я помню ночь с континентальными ракетами,
Когда событием души был каждый шаг,
Когда мы спали, по приказу, нераздетыми,
И ужас космоса гремел у нас в ушах.*

25 октября 1962

В переброске оружия и воинских формирований на Остров свободы, где была сформирована Группа советских войск на Кубе, участвовали Балтийский, Северный и Черноморский флот. С марта 1962 года советские корабли начали доставку на остров танков, истребителей МиГ-15 и МиГ-19, радиолокационных установок, военных специалистов. Только с 15 июля по 15 октября 1962 года на Кубу было доставлено более 260 тысяч тонн грузов: боевой техники, горючего, продовольствия, строительных материалов, более 43 тысяч военнослужащих, каждый из которых проходил специальный отбор. Среди этих 43 тысяч военных был и Юрий Кузнецов. Его путь на Кубу проходил на борту сухогруза “Балтийск”, отправившегося с базы в августе 1962 года. Адмирал, отдававший честь перед погрузкой, – Г. С. Абашвили, вице-адмирал, заместитель командующего по ВМФ.

Главная военно-морская база Балтийского флота в Балтийске была переведена на режим повышенной боевой готовности. В первую очередь для переброски использовались суда вспомогательного флота. Теплоход “Волголес”, например, доставил на Кубу 213-й истребительный авиационный полк. На борту теплохода “Николаевск” было переброшено 40 машин МиГ-21 и 6 — МиГ-15; 167 офицеров, из них 57 лётчиков, 244 человека рядового состава. На теплоходе “Мария Ульянова” были переброшены подразделения 51-го ракетного дивизиона. “Во время Карибского кризиса, — вспоминает житель Балтийска Н. И. Евдокимов, — всё проходило под знаком секретности. Болтать не позволялось. Нам всем оформили допуск по форме № 1. Грузили самолёты, ракеты — на транспортные суда. Некоторые из них не по одному разу сходили на Кубу. Работали не по 8 часов, а столько, сколько было необходимо. Люди моего возраста — не чета нынешнему поколению, отличались патриотизмом, никто не роптал и не ныкал. Работа сутками никак на зарплате не сказывалась. Доплачивали только в том случае, когда была свободная вакансия. Например, нужно было два крановщика, а я работал один, мне доплачивали. Единственное, что нужно отметить, это усиленный паёк питания, централизованно, всем!”

Вспоминает житель Балтийска А. К. Маркевич: “В начале 60-х годов в Балтийской ВМБ был сокращён охранный батальон. Эти площади, которые позже займёт бригада морской пехоты, освободились для подготовки ракет на Кубу. Подготовительные работы велись только ночью. Ракеты возили на машинах, у которых колесо выше моего роста. Танкера на Кубу готовились в основном на 33-м судоремонтном заводе, загружались в военной гавани. Бригада сварщиков работала там, неделями не бывая дома. Ракеты маскировались под сельскохозяйственную технику. Помню, как экипаж одного танкера после возвращения с Кубы, попав в шторм, прибыл в Балтийск в тяжелейшем состоянии. Люди не могли уже ходить, только лежали, их прямо с танкера отвозили на машинах в госпиталь”.

Поэт Юрий Кузнецов ничего не написал о Балтийске, ведь, оказавшись на площадке погрузки, личный состав уже не имел права выйти за её пределы. Прерывалась любая связь с внешним миром: ни писем, ни телеграмм, ни телефонных разговоров. Эти жёсткие меры предосторожности распространялись не только на военнослужащих, но и на экипажи судов, включая капитанов. Трюмы заполнялись людьми доверху. Почти месяц перехода через Атлантический океан им было суждено находиться в раскалённой стальной коробке. Верхнюю часть трюма переделывали под казарму. По стенам крепили нары для 350 солдат и сержантов. Осуществлялась посадка на суда в полной темноте, скрытно. Такого количества людей для закрытого и не приспособленного помещения было слишком много. Иные в пути заболели, кто-то падал за борт.

“Итак, — рассказывал поэт Юрий Кузнецов, — мы погрузились в трюм грузового судна и вышли в открытое море. Это был август. За три дня на подходе к Острову свободы нас облётывали американские самолёты, пикировали прямо на палубу, словно обнюхивая. Я был наверху и всё это видел своими глазами. Видел американский сторожевой корабль. Он обошёл <нас> вплотную, слева направо и скрылся. Спали, засунув карабины под матрас, обожмы в головах. Шалила военная хунта. Нечто вроде контры. В самую высшую точку кризиса в ночь с 25 на 26 октября я дежурил по связи. Канал связи шёл через дивизию ПВО в Гавану. Я слышал напряжённые голоса, крики: “Взлетать или нет, что Москва? Москва молчит? Ах, мать так, так!”. Такого мата я не слышал после никогда! Ну, думаю, вот сейчас начнётся. Держись, земляки! Самолёты взлетят, и ракетчики не подведут. Помирать, так с музыкой!”

* * *

*С тех пор о славе лучше не мечтать
С закушенными изнутри губами,
Забывать о счастье и молчать, молчать —
Иначе не решит воспоминаний.*

25 октября 1962 года

“Забывать о счастье и молчать...” — как рассказать то, что открылось в напряжённейший период мировой истории... Невыразимо. Потом, когда кубин-

ский кошмар остался во времени, в зрелом творчестве появилось это кузнецовское ощущение вселенского катаклизма. Но уже на Кубе в 1962 году “представленья” о мире подверглись реконструкции:

*Да, вот сейчас, когда всего превыше
Ракет континентальные штывки,
Все наши представленья и привычки
Звучат, как устаревшие стихи.*

Два года проходил службу на Кубе Юрий Кузнецов. Проживание в палатках или в машинах с металлическими фургонами. Духота нестерпимая, но терпели. Металлические фургоны за день так раскалялись, что и ночью находиться в них было испытанием, кроме того, ночью набрасывалась мошкара. Но нужно было держаться. За год в дивизионе погибло 35 человек, и всё из-за технических аварий. Поэт тосковал о доме, слушал новости из СССР. Страна демонстрировала прорывы в космос:

*Машинам века доверяя слепо,
Мы гоним их за роковой предел.
Любуемся звездой, упавшей с неба.
А может, это космонавт сгорел!*

“На Кубе меня угнетала оторванность от Родины, – писал Ю. Кузнецов. – Не хватало того воздуха, в котором “и дым Отечества нам сладок и приятен”. Кругом была чужая земля, она пахла по-другому, люди тоже... Русский воздух находился в шинах наших грузовиков и самоходных радиостанций. Такое определение воздуха возможно лишь на чужбине. Я поделился с ребятами своим “открытием”. Они удивились: “А ведь верно!” – и тут же забыли. Тоска по Родине была невыразима.

После армии я возвратился в родной воздух, и всё стало на свои места. Я открыл русскую тему, которой буду верен до гробовой доски...”

“Кубинский дневник” Кузнецов начал писать лишь в последние три месяца своего пребывания на Кубе: июль, август, сентябрь 1964 года. “Я мало писал и как бы отупел”, – говорится в “Дневнике”.

*Я лежу на жёстком одре из досок,
Неуютный кулак подогнав под висок.
В кулаке, словно нитка, зажата струя —
След на Родину, пенный путь корабля.
Как ревет он под ухом, как дышит бедой,
Тот натянутый в сумерки путь молодой!
А когда, наконец, засыпаю — кулак
Разжимается. Нить обрывается. Мрак.*

Это стихотворение датировано поэтом 1964 годом. Немного было написано, но эти два года сыграют свою роль в дальнейшем творчестве поэта. Написано немного, а передумано много, и что-то из осмысленного вылилось в его короткий дневник. А всё остальное – в его поэтические сборники. В 1969 году в стихотворении “Ночь” он напишет:

*Я знаю, что среди мыслей
Такие вдруг выпадали,
Мне лучше б не видеть света
И жизни вовек не знать!
Четыреста карабинов
В своих пирамидах спали.
Один карабин не выдержал,
Забился и стал стрелять.*

Никто из современников поэта – ни А. Вознесенский, ни Е. Евтушенко, ни Н. Рубцов – никто из них даже представить себе не мог того, что выпало пережить Кузнецову. В советское время не принято было распространяться об участии в локальных конфликтах. Только в 1990 году, снимаясь в фильме “По-

эт и война”, он рассказал о своём участии в Карибском кризисе, а затем коротко — в “Воззрении” в 2003 году.

Николай Гумилёв, когда в октябре 1914 года окунулся в события Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (сегодня Краснознаменский район Калининградской области), тоже почти не писал стихов, только “Записки кавалериста”. Но позже он назвал свои первые дни на войне “священными” и начал писать стихи, наполненные христианским содержанием. Некоторые критики не поняли тогда Гумилёва, поскольку и не может этого понять не сидевший в окопах. Ведь там, как говорят, атеистов не бывает. В последний период творчества и у Кузнецова было достаточно критиков, не принимавших его христианскую тематику, его вселенскость:

*Вместо рук над моей головой
Вижу звёздную млечную сетку.
И роняет на купол живой
Белый голубь зелёную ветку.*

(Новое небо. 1982 год)

Кузнецов так оценивал своё участие в Карибском кризисе: “Куба рано дала мне два преимущества. Первое: моя человеческая единица вступила в острую связь с трагической судьбой всего мира, я напрочь лишился той узости, которую называют провинциализмом. Второе: чувство Родины с большой буквы. Ностальгия необычное чувство. Родина была за 12 тысяч километров, а притягивала к себе, как гигантский магнит. Я понял тогда, что я русский. Я честица России, и она для меня — всё”.

Возвратившись на Родину, лишённый “узости провинциализма”, он вскорее понял, что в какой-то степени приходится примерить на себя образ трамвая, идущего по пути проложенных рельсов, оказаться “в стенах, за которыми новые стены”. Поэт выбрал путь творческого строения и созидания “большого времени”, “соразмерного человеку во всей полноте его человеческого бытия” (В. Фёдоров). Он поставил себе сверхзадачу: “сфокусировать” “рассредоточенного” богатыря, что и делал в своих стихах.

* * *

*Я знаю, где-то в сумерках святых
Горит моё разбитое оконце,
Где просияет мой последний стих,
И вместо точки я поставлю солнце.*

Ю. Кузнецов, 1998

В Калининграде живёт член Союза писателей России, талантливая ученица кузнецовской школы, поэт Светлана Супрунова, участница афганских и таджикских событий. Один из её сборников стихов называется “Афган”. В 1985 году по направлению военкомата она уехала в Афганистан, в медсанбат провинции Баграм. Вернувшись, поступила в Калининградский государственный университет на филологический факультет, параллельно училась в Литературном институте имени Горького на заочном отделении. Здесь она и познакомилась со своим учителем, в творчестве которого тема Афганистана также нашла своё отражение: вспомним хотя бы его стихотворение “Афганская змея”.

“Я некоторое время занималась в творческом семинаре Юрия Кузнецова, — рассказывает Светлана. — Его энергетика как учителя и наставника была велика и определялась, в первую очередь, самой личностью поэта и его стихами, которые мы читали, перечитывали и знали наизусть. В Калининградском университете моя дипломная работа называлась: “Балладные формы в лирике Ю. Кузнецова”. В моей памяти Юрий Поликарпович запечатлелся с неизменной “беломориной” — часто курил прямо в коридоре. И помню его особый почерк, чуждый скорописи, где выводилась полностью каждая буква”.

Светлана Супрунова обратилась к своему преподавателю с просьбой об интервью, которое было опубликовано в университетской газете*. Кузнецов рассказал о Тютчеве как о поэте, к которому влечёт его философская сторона

* Калининградский университет. Литературная страница, выпуск 161. — 2003, 15 декабря, № 33. С. 1–4.

творчества: “Мне близко его ощущение вечности, стихийной катастрофичности бытия, выраженной в иноказательной форме. Я такой же преданный славнофил, как и Фёдор Иванович”. “Нравственное начало, – продолжал поэт, – должно быть ведущим и вызывать определённый эстетический эффект. Хорошо сделанное стихотворение, содержащее нравственное начало, никогда не повлечёт за собой каких-либо отрицательных эмоций”. На вопрос, в чём состоит душа русской поэзии, он ответил: “Её душа всегда была чувствительной и ранимой, она постоянно откликалась на житейский неуют и дисгармонию. Это испокон веков было её неотъемлемым свойством. Муза мести и печали всегда посещала её и не давала покоя. Современная поэзия многогранна, так как душа её воспринимает бытие под различными углами зрения”.

Научным руководителем дипломной работы Светланы Супруновой, когда она заканчивала Калининградский университет, был А. З. Дмитровский, доктор филологических наук. Среди его многочисленных трудов есть работа “Жанр параболы в лирике Ю. Кузнецова”, где предметом его анализа стали стихи “Рыцарь”, “Кто здесь хозяин?”, “Разговор глухих”, “Тегеранские сны”, “Я помню, как в дом возвратился...”, которые он относит к простейшей форме лирической параболы. К параболе-притче учёный относит “Атомную сказку”, “Сказку о золотой звезде”, “Сказку гвоздя”, “Русскую бабу”, “Простоту милосердия”, “Поездку Скобелева”, “Вестника” и другие. К наиболее сложной и многообразной форме лирической параболы относится миф, “где господствует пафос романтики, драматизма, трагизма, а сюжет, как правило, романтический – “Мужик”, “Змеиные травы”, “Колесо”, “Голос”, “Бочка”, “Полёт”, “Видение”, “Портрет учителя”. “Крупнейший русский поэт, – говорит Дмитровский, – он запечатлел рефлексию величия и трагизма русского характера, и уникальности русской судьбы в ключевых ассоциациях современности и родной истории, вечных тем и повседневности, причём в поэтической образности... Он вызывал к себе разное отношение читателей, но его могучий талант, его особая “тайная свобода” в наследовании отечественной классике и фольклору, в конечном счёте, пребывали выше всяких споров. В золотом фонде отечественной словесности также навсегда останутся его поэтический перевод “Слова о законе и благодати” и поэмы-переложения по евангельскому сюжету”.

Алексею Захаровичу не довелось встретиться с Юрием Кузнецовым, который не забывал о Калининградской области и об университете, его филологическом факультете. Дмитровский рассказывает: “Поэт отметил автографом книгу для нашего факультета “Избранное: Стихотворения и поэмы”, дата 17.05.94. Он передал свою личную авторучку – своё Перо. У нас на факультете стихи Юрия Кузнецова в постоянной работе, в специализации по сравнительной поэтике литературных жанров”.

Как драгоценную реликвию хранит у себя Алексей Захарович авторучку Кузнецова и сборник стихов с надписью “Алексею Захаровичу Дмитровскому на добрую память. Ю. Кузнецов”.

Память о Кузнецове в Калининграде добрая. Здесь помнят, что “нельзя читать стихи, как газету”. Калининградская область, отделённая границами от большой России, может быть, глубже и острее чувствует слова о том, что “в наше прозаическое время остался один богатырь – русский народ”, что человек в творчестве поэта “равен народу”. Исполинской величины сознание Юрия Кузнецова вместило в себя вселенскую историю, живое единство предков и потомков, для которых с Куликова поля поэт

*Рваное знамя победы
...вынес на теле своём.
...вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.*

АНДРЕЙ РУМЯНЦЕВ

“ЗВАТЬ МЕНЯ КУЗНЕЦОВ. Я ОДИН...”

Теперь уже невозможно отделаться от ощущения, что с поэтами-ровесниками, даже если ты не знаком с ними, ты прожил рядом, бок о бок, всю свою жизнь. Так, во всяком случае, я воспринимал Юрия Кузнецова. Была возможность познакомиться с ним, когда он, работая в издательстве “Современник”, приезжал в Бурятию, но и не познакомившись, я не жалел об этом. Все равно в ежедневных разговорах со своими друзьями-поэтами часто слышал его имя: “Юра взял мои подстроичики”, “Кузнецов перевёл несколько моих стихотворений”, – и этот дальний собрат казался мне лично знакомым.

А в Иркутске, куда я перебрался на рубеже девяностых и где был избран руководителем писательской организации, ни один добрый гость, поэт или прозаик, не мог обойти стороной нашего Дома литераторов. В девяносто четвертом радением В. Распутина поначалу в городе, потом и в области стал проводиться праздник русской духовности и культуры “Сияние России”. Какие только знаменитости отечественного искусства не побывали у нас за эти годы! И на первый ли, на второй ли сбор Валентин Григорьевич пригласил Юрия Кузнецова. А потом ещё и ещё раз. Его выступления с любой компанией писателей, философов, православных подвижников в студенческих аудиториях, в залах крупных библиотек, сельских домов культуры, научных институтов всегда были и нетерпеливо ожидаемыми, и сердечно принимаемыми, хотя говорил он без лирических завитушек, а стихи читал без эстрадных ужимок и отрепетированных жестов. И так как не раз приходилось входить в эти самые залы вместе с Юрием Поликарповичем, многие писатели-иркутяне были с ним на “ты”. И я в том числе.

Прибавило свободы моим с ним отношениям ещё одно общее дело: я начал вести в Иркутске творческий семинар студентов-заочников Литературного института им. Горького, часто навещался в Москву и не раз бывал на занятиях у Кузнецова. Его беседы с подопечными резко отличались от творческих уроков Владимира Кострова, Станислава Куняева, Эдуарда Балашова, на занятия которых, с их разрешения, я тоже заглядывал. Например, Юрий Поликарпович скептически оценивал таланты женщин-поэтов. Что уж говорить о скромных представительницах женской лирики прошлых и нынешней эпох, если Кузнецов осыпал критическими стрелами даже Анну Ахматову...

Как-то во время праздника “Сияние России” я зашёл в гостиницу провести московских писателей, уже “отстрелявшихся” днём в одной-двух встречах с читателями и оказавшихся свободными вечером. На первом этаже у стойки администратора стоял Юрий Поликарпович. Под мышкой у меня была собственная книжка, которую я как раз хотел (впервые!) подарить Кузнецову. Представилась возможность поговорить с поэтом.

– Тут, рядом с гостиницей, есть магазин “Океан”, хочу угостить тебя копчёным омулем под рюмочку... – подступился я.

Кузнецов согласился. И мы засели в тихой комнате гостиницы.

Юрий Поликарпович слыл человеком, который не занижает себе цену. Он мог бы сказать, как Есенин: “Я о своём таланте много знаю”. Едва я собрался вывести на своём сборнике первое слово автографа, Кузнецов предупредил с напускной серьёзностью:

– Только не пиши: “знаменитому”, “великому”, “лучшему”.

– А я и не собирался, – в тон ему ответил я.

Сам он подписывал свои книги с подчёркнутой сухостью. На четырёх-пяти его сборниках, хранящихся у меня, он неизменно писал: “Такому-то на память”, или “на дружбу”, а то и короче: “Такому-то от автора”.

Минуты текли, хотелось какого-то важного, серьёзного разговора. Кузнецов его, конечно, не начал бы: с какой стати в гостях философствовать, наставлять...

Я развязал язык:

– Ты написал в предисловии к одной своей книге, что недолго увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу. Я понимаю, что иной поэтический образ может звучать как многозначный символ. Например, в твоём стихотворении:

*Но рваное знамя победы
Я вынес на теле своём.*

*Я вынес пути и печали,
Чтоб поздние дети могли
Латать им великие дали
И дыры российской земли.*

Тут “рваное знамя победы” – не только удачно найденная метафора, а действительно художественный символ. Таким знаменем можно латать и прохудившиеся русские дали, и разорванную ткань нашей истории. Но можно ли каждое стихотворение построить на многозначном символе? Много ли таких сочинений в русской классической поэзии?

– А возьми стихотворение Лермонтова “Благодарность”, – поднял тяжело-ватый взгляд Юрий Поликарпович и монотонно прочитал от начала до конца:

*За всё, за всё тебя благодарю я:
За тайные мучения страстей,
За горечь слёз, отраву поцелуя,
За мечь врагов и клевету друзей,
За жар души, растраченный в пустыне,
За всё, чем я обманут в жизни был.
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне
Недолго я ещё благодарил.*

– К кому обращается автор? К Богу? К судьбе? К подлому року? А у Тютчева “О чём ты воешь, ветер ночной?”, – Кузнецов бесстрастно произнёс строку за строкой:

*О чём ты воешь, ветер ночной?
О чём так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?*

*Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке —
И роешь, и взрываешь в нём
Порой неистовые звуки!..*

*О! страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!*

*Из смертной рвётся он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..*

— Обычная метафора валяется на дороге, — продолжал он. — Любой мастер может поднять её, сдуть пыль и преподнести читателю.

*Я нарочно иду нечѣсанный,
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.
Ваших душ безлиственную осень
Мне нравится в потѣмках освещать, —*

сухо, но выделив интонацией несколько слов, продекламировал он Есенина. — Неужели нужен великий талант, чтобы придумать это?

Он побивал меня в невольном споре. Но сдаваться не хотелось, и я выложил ещё одно рассуждение, к которому пришёл давно, читая стихи Кузнецова:

— Каждый великий поэт — творец оригинальной лиричности. Она есть в стихах Пушкина, Лермонтова, Фета, Блока, Есенина. Фет, например, в этом смысле неподражаем. Он окрасил свои стихи такой сентиментальностью, которая вроде не к лицу мужчине. Но понимаешь: поэт обращается к душе очень тонкой, развитой, подлинно поэтической. Практичный человек посмеётся над Фетом... Свою мету имеют лирические голоса Рубцова и Передреева... В твоих же стихах я не нахожу мощного лирического потока, они суховаты, философски аскетичны. Но поэзия вся держится на чувстве, и чем больше оно похоже на огненную лаву любви, страдания, тем сильнее, неотразимей действует на читателя. В нынешней лирической поэзии едва ли правомерно заявление:

*Звать меня Кузнецов. Я один.
Остальные обман и подделка.*

— Другие пишут для читателя, а я для вечности, — шутя, как взрослый в детской игре, отмел он мои доводы. — Лукавцы выбирают гениев на час. А для вечности гений тот, кого она поцелует. Ты говоришь про огненную лаву, а я выбрал в собеседницы её, мудрую, улыбающуюся над нашими страстями.

В коридоре зашумели, в комнату ввалилась писательская орда, оглашавшая в тот вечер какую-то библиотеку города. Пришлось спуститься с горной вершины...

ЕЛЕНА ЛАРИНА, ВЛАДИМИР ОВЧИНСКИЙ

РУССКОЕ ЧУДО ПРОТИВ ЗАПАДНЫХ САНКЦИЙ

Часть 2

Элита Запада пытается оправдать санкционную, а по сути – новую холодную войну против России. Конструкторам новых санкций, помимо международно-правовых, нужны и моральные основания для сдерживания технологического развития нашей страны. Думается, что именно этим можно объяснить тот всемирный ажиотаж, который раздут вокруг фильма Андрея Звягинцева “Левиафан”. Фильм завалили всеми мыслимыми и немыслимыми наградами мирового кинообщества. Что, Звягинцева на полном серьёзе считают новым Феллини? Или воскресшим Тарковским? Видимо, всё гораздо проще. Звягинцев каким-то причудливым способом сумел создать тот художественный образ России, которого так жаждали на Западе: Россия как мафиозно-клановый Левиафан, бережно опекаемый Русской Православной Церковью, с безнадежно нравственно больным населением, живущим на её территории. Западу нужен образ государства, у которого нет будущего. Государства, которое надо всеми средствами отрезать от новой технологической революции. Государства, которое устремлено в прошлое – в религиозную архаику, соединенную с насилием и подавлением личности.

Имея такое представление о России, можно заявлять о том, что “Россия находится в изоляции, а её экономика разорвана в клочья”. Именно так сформулировал свой тезис президент США Барак Обама в послании Конгрессу “О положении в стране” в январе 2015 года. Кстати, один из “воспитателей” Обамы – миллиардер, в недавнем прошлом “большой друг России” Сорос – примерно в это же время на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад относиться к России как к мафиозному государству со всеми вытекающими из этого последствиями, особенно в части ужесточения санкций. Но действительно ли США со своими союзниками смогли за короткий срок “порвать” нашу экономику, и насколько сильна изоляция? Есть ли в этом элементы НЕОБРАТИМОСТИ?

Это очень хорошо, что пока нам плохо

Между тем, по внешним, ощущаемым основной частью населения признакам нулевые и первая половина десятых годов нынешнего века, без сомнения, могут быть отнесены к наиболее успешным и удачным периодам в истории нашей страны.

Окончание. Начало в № 1 за 2015 год.

В самом деле, с 2000-го по 2014 год Россия увеличила ВВП в 1,75 раза и продвинулась с девятнадцатого на восьмое место в мире по его объёму. Наблюдался также значительный рост производительности труда. По данным ОЭСР, с 1999 по 2013 год она выросла более чем на 65%. Для сравнения, в США за тот же период её рост составил менее 30%, в Японии – менее 25%, в Германии – менее 20%. За 2003–2012 годы реальная зарплата в экономике выросла на 131,3%. Приведённые статистические показатели позволяют без труда обнаружить, что темпы роста доходов существенно опережали темпы роста производительности труда и эффективности экономики. При этом нельзя не отметить, что Россия была единственной развитой экономикой, за исключением Китая, где в нулевые – десятые годы росла реальная заработная плата и доходы населения. Ни в США, ни в Германии, ни в других экономически сильных странах ЕС этого не происходило.

В чём же причина такого положения и чем оно чревато? Безусловно, любая экономическая тенденция складывается под воздействием нескольких факторов. Но среди них можно всегда выделить главный, решающий. Этим решающим фактором стала энерго-сырьевая ориентация нашей экономики в сочетании с беспрецедентным в XXI веке ростом цен на энергоносители. О нефтезависимости нашей экономики ярко свидетельствуют цифры из недавнего выступления министра финансов РФ А. Силуанова. Он сообщил, что, как и в прошлые годы, более половины дохода бюджета пришлось на нефтегазовый сектор. Он же дал более 70% экспорта и более 30% внутреннего валового дохода. Однако в реальности его роль ещё выше. Дело в том, что финансовый сектор, торговля и т. п., вносящие всё более значительный вклад в объём и динамику ВВП, в значительной мере зависят от положения дел в нефтегазовой отрасли. Для этого не просто ведущего, а абсолютно господствующего сектора российской экономики начало XXI века было невиданно благодатным. Если в 1998 году за баррель нефти давали 14 долларов, то вплоть до лета прошлого года цена стабильно колебалась на уровне 100–120 долларов.

Несмотря на чрезвычайно благоприятные условия экономического развития России и впечатляющие его итоги, по мнению помощника Президента РФ А. Белоусова, за последнее время “в российской экономике накопился колоссальный инвестиционный долг. Средний срок службы оборудования в ряде важных отраслей российской промышленности составляет 20 лет. А в реальности эта “средняя температура по больнице” означает, что российская экономика состоит из двух разных частей. Одна работает на относительно новом оборудовании, другая – на оборудовании в лучшем случае 70-х годов. Общий уровень износа производственного оборудования в России достиг в настоящее время ужасающей величины – 80%”. Всемирно известный российский экономист Г. Ханин в этой связи считает: “Самое опасное: за 20 лет произошло беспрецедентно большее, чем во время Великой Отечественной войны, сокращение основных фондов, то есть материальной базы экономики. Часть этих фондов разрушена и растащена, сдана на металлолом, часть – крайне изношена...”

Эти процессы в решающей степени стали следствием падения нормы накопления в ВВП. Иными словами, все мы стали гораздо больше потреблять, а не накапливать, не инвестировать в производство, надеясь на спасительные зарубежные инвестиции. В настоящее время в России норма накопления в структуре ВВП не превышает 20%, тогда как в Китае она составляет 30%, а, например, в Германии и Японии времён проведения в этих странах ускоренной модернизации она увеличивалась до 40–60%.

Здесь напрашивается вопрос. Почему же руководство, в начале нулевых осуществившее решительные меры по наведению порядка, обузданию олигархических кланов, пресечению сепаратистских тенденций, не увидело эту опасность и в каком-то смысле потеряло целое десятилетие для решительной модернизации? Ответ, как ни странно, можно найти в работах психологов, социологов и клиницистов, занимавшихся обследованиями фобий и других патологий у людей, переживших техногенные или природные катастрофы и оказавшихся в районах чрезвычайных событий.

Люди, пережившие критичный уровень стресса в результате катастрофических событий, в значительной степени утрачивают навыки самостоятельных действий, полностью теряют склонность к волевым действиям, предрас-

положенность к риску и стремятся к спокойной, упорядоченной, что называется, “сытой” жизни, по возможности, перекладывая ответственность за решения на какие-то другие инстанции. Зачастую эти инстанции они воспринимают как своего рода “магического спасателя”, который должен решить за них все их проблемы.

Представляется, что вторая половина 80-х–90-е годы в России как раз и стали длительным периодом закритичного стресса для основной части населения России. Соответственно в постстрессовой ситуации оно могло действовать только в соответствии с выявленными закономерностями. Власть же в данном случае просто подстраивалась под объективную ситуацию и действовала исходя из жёстких поведенческих стереотипов основной части российского социума. При этом, кстати, надо иметь в виду, что и сама власть является частью этого социума.

Иными словами, вся страна – и богатые, и бедные, и миллиардеры, и среднеобеспеченные слои населения, чьи доходы росли опережающими темпами, превратились в большой и дружный коллектив рентополучателей, живших на то, что завоевали и построили предки.

Эта модель экономического роста показала свою исчерпанность уже в 2013 году, когда темпы экономического роста снизились почти до нуля. В 2014 году Соединенные Штаты и их союзники развязали экономическую войну против России и целого ряда других стран. Одним из элементов этой войны, как сегодня ясно даже самым убеждённым скептикам, стало обрушение цены на нефть со 110 до 50 долл. И дело здесь не только в снижении цен на нефть, но и в стремлении США и Саудовской Аравии в нефтяной сфере, и США, Катара и Австралии – в газовой выдавить Россию с европейского и, по возможности, с азиатского рынка, нанеся, таким образом, двойной удар как по объёму производства, так и по уровню цен.

Естественно, что с падением цен на нефть не мог не снизиться примерно в пропорциональной степени и курс рубля по отношению к доллару и евро. Соответственно значительно – по оценкам аналитиков, значительно выше, чем по официальным данным – растёт инфляция и снижаются реальные зарплаты и доходы населения. Причём есть все основания полагать, что это будет происходить не только в наступившем году, но и, возможно, в более длительной перспективе. Несомненно, снижение реальных доходов плохо для их получателей, тем более в условиях коммерциализации немалой части ранее бесплатных услуг. Однако у каждого экономического процесса есть не только негативная, но и позитивная сторона. В этой связи, если правильно подойти к делу, то вполне можно вслед за героями фильма “Айболит-66” повторить: “Это очень хорошо, что пока нам плохо!”

Снижение в течение определённого периода реальных доходов основной части населения с учётом нынешней российской ситуации является обязательным условием повышения нормы накопления. Без повышения нормы накопления невозможно перейти к реальному изменению структуры экономики, её модернизации, снятию страны с *нефтегазовой иглы* – осуществление Третьей производственной революции и реализация не на словах, а на деле “русского чуда”. Подчас так называемые “либеральные экономисты” говорят, что всё упирается в несовершенные российские институты, недостаток демократии. Однако пример Китая, Сингапура, Тайваня, Южной Кореи и т. п. показывает, что главное – это не уровень абстрактной политической демократии, а поддержка инициативы, воля, дисциплина и беспощадная борьба с коррупцией. Для того чтобы проводить модернизацию, необходимы средства или накопления. Поэтому если страна хочет перестать зависеть от мировой нефтегазовой конъюнктуры, всем придётся на ближайшее время “затянуть пояса”.

Касаясь очень остро вопроса “затягивания поясов”, хотела бы обратить внимание на позицию Патриарха Кирилла, которую он в последние месяцы неоднократно высказывал в своих выступлениях. Он постоянно употреблял термин “солидаризм” и указывал, что испытания, которые выпали на долю нашей страны, должен переносить не только народ, но и элита, не только бедные и средние слои населения, но и богатые, и сверхбогатые. Причём для них эти испытания отнюдь не должны касаться только ограничений поездок в привычные зарубежные страны.

Надо прямо сказать, что Россия является одной из стран с самым высоким уровнем имущественного неравенства. Наиболее известный его показа-

тель – это индекс концентрации доходов. Он показывает, во сколько раз доходы 10% наиболее обеспеченного населения страны превышают доходы 10% наименее обеспеченного. В наиболее развитых странах ЕС этот коэффициент ниже 0,3, а его среднее значение для всех стран ОЭСР равно 0,313. Россия по этому показателю (0,4 в 2013 году) ближе не к Европе, а к США (0,45), Китаю (0,47) и Мексике (0,48). Ещё выше неравенство по активам. По данным доклада Global Wealth – 2014 Банка Suisse Credit, на долю самых богатых 1% россиян приходится более двух третей всех личных активов в России. Россия вместе с США, Гонконгом, Индией и Бразилией входит в число стран с наиболее неравномерным распределением богатства.

В этой связи представляется, что введённый в этом году новый порядок налогообложения недвижимости не по балансу, а по кадастровой, фактической цене является лишь первым шагом в ужесточении налогового режима для богатых. При этом, как отметил президент России В. В. Путин в своём выступлении перед Федеральным Собранием, налоги на бизнес увеличиваться не будут. Иными словами, в случае, если доходы будут направляться на инвестиции и накопление, то усиления налогового бремени не произойдёт. Можно также высказать предположение, что в нынешней экономической ситуации, требующей изыскания значительных объёмов финансовых ресурсов на инвестиции, неизбежно придётся задуматься и о скорейшем отказе от плоской шкалы налога на личные доходы и переходе к их прогрессивному налогообложению. Сегодня Россия, по сути, является единственной экономически развитой страной, где действует плоская шкала налогов на доходы физических лиц. Для сравнения, например, во Франции и Швеции максимальная ставка налогообложения физических лиц составляет 80%. Буквально на днях в США принято решение о существенном повышении налогов на доходы богатых и особенно на их имущество. Исторически прогрессивная шкала налогообложения действует в Германии.

Усиление налогообложения доходов и имущества является вторым важнейшим необходимым условием резкого повышения доли накопления и ресурсов для модернизации российской экономики, осуществления технологической революции и “русского чуда”.

О третьем необходимом, а в перспективе, возможно, ключевом условии изыскания потребных на инвестиции ресурсов сказал В. В. Путин в своём обращении к Федеральному Собранию. Президент выдвинул инициативу проведения амнистии для тех капиталов, которые были вывезены за рубеж и вернутся в Россию. Это просто колоссальные суммы. Так, по данным наиболее авторитетной, публикующей достоверные сведения международной организации Global Financial Integrity, только за 2002–2012 годы из России было незаконно вывезено 974 млрд долларов. Это почти в 2,5 раза больше золотовалютных резервов России. К тому же, по оценкам специалистов, ещё большие объёмы валютных средств были вывезены в конце 80-х – 90-е годы прошлого века. Например, по оценке Г. Ханина, они составили как минимум один трлн долларов.

В этой связи при разработке закона об амнистии представляется справедливым жёстко ограничить срок перевода средств из-за рубежа в российские банки, в течение которого к ним будут применяться нормы безусловной амнистии. Данное положение представляется важным в связи с тем, что в стране разработаны программно-информационные и методические комплексы, позволяющие на имеющейся информационной базе отследить незаконные финансовые транзакции не только в режиме реального времени, но и за прошлый, достаточно длительный период. Такие комплексы в своё время были созданы коллективом д. ф.-м. н. К. Сомика и начали использоваться на рубеже нулевых в налоговой полиции. А несколько позднее ещё более мощная система была создана и развёрнута коллективом под руководством д. э. н. М. Мусина. Иными словами, предоставляя амнистию, государство должно показать владельцам средств за рубежом, что они обязательно будут найдены, а их средства будут реквизированы в пользу государства.

В заключение можно сделать вывод, что в России имеются необходимые внутренние ресурсы для того, чтобы справиться с последствиями экономической агрессии против страны, с честью выйти из испытанного кризисом, осуществить модернизацию экономики и изыскать ресурсы на “новое русское чудо”. Мобилизация ресурсов на эти цели должна стать делом поистине все-

народным, причём каждая имущественная группа должна внести свой вклад пропорционально возможностям и степени своей ответственности за ситуацию в стране.

Наряду с отмеченными выше, существуют и другие способы, не залезая в казну, не используя дополнительные средства государственного бюджета, изыскать средства на новое “русское чудо”.

Приведём пример. В России несколько структур прямо отвечают за технологическое развитие. Речь идёт, в первую очередь, о “Роснано” и Сколково. Известно, что в ходе проведённого в 2013 году аудита Счётной палаты выявлены огромные масштабы нецелевого использования средств крупнейшей государственной компанией “Роснано”. Общий объём финансирования “Роснано” в 2007–2012 годах составил 259 млрд рублей. Из них 227 млрд – из госбюджета и под государственные гарантии. Результаты деятельности корпорации на сегодняшний день убыточны. Более 1,5 млрд долларов было отправлено в различного рода зарубежные “дочки”, не имеющие никакого отношения передовым технологиям. Из 22 проектов, проверенных аудиторами, которые составляют пятую часть от всех проектов компании, лишь один имел какое-то отношение к передовым технологиям. То есть львиная доля средств, которые должны были пойти на Третью производственную революцию, была использована на финансовые операции и проекты, никак не связанные с высокими технологиями. В прошлом году проверка Генпрокуратурой Сколково обнаружила нецелевое использование и хищение бюджетных средств в сумме более 125 млрд рублей.

Очевидно, что проверки Генпрокуратуры и Счётной палаты вскрыли только вершину айсберга. Но даже этих средств вполне достаточно для успешного решительного и мощного запуска Третьей производственной революции.

Осталось только применить к “Роснано”, Сколково и подобным структурам подход, опробованный на офшорах. В конце концов, когда на кону стоит существование и процветание страны, главным является даже не наказание, а возврат средств и их целевое использование. В экономике так же, как и в физике, действует закон сохранения. Только сохраняется не энергия, а деньги. И если с одного счёта они “ушли”, то на другой счёт они обязательно “пришли”. Поэтому главное в финансовом обеспечении Третьей производственной революции – это не наказание виновных, а деятельное исправление ими собственных ошибок путём возврата средств на исходные счета с последующим их перечислением в структуры, которые могут использовать эти средства подконтрольно и строго целевым образом.

Всему миру известно, что в Европе гремят футбольные клубы, купленные бывшими или нынешними российскими гражданами за счёт продажи приватизационных активов или освоения государственных контрактов. Также не укрылись от российского населения многочисленные яхты, бороздящие просторы Мирового океана, а также рекорды, которые бьют наши соотечественники на рынках недвижимости Лондона, Флориды и Лазурного берега во Франции. В то же время, когда в 2008 году Уоррен Баффет и Б. Гейтс выступили с инициативой пожертвовать как минимум половину своего состояния на благотворительные цели, немалая часть российских, даже серьёзных экспертов разразилась статьями о том, что создаётся общемировой общак с тем, чтобы либо поработить человечество, либо истребить его на корню, либо заменить киборгами.

Между тем, не слишком сложно, обратившись не к собственным домыслам и конъюнктурным фантазиям, а к фактическим материалам, установить, куда расходуются выделенные деньги, какие проекты на них финансируют. Кстати, среди участников этого фонда, деньги которого тратятся на благотворительные проекты исключительно за рубежом, есть и российские миллиардеры – В. Потанин и Б. Мильнер.

Надо сказать, что не все с российскими миллионерами так плохо, как может показаться. Например, основатель знаменитого Вымпелкома Д. Зимин уже долгие годы значительную часть своих средств тратит на научные гранты, проведение бесплатных лекций и семинаров, издание научной литературы и т. п. В этой связи, учитывая широко распространившееся в мире среди миллиардеров и миллионеров веяние благотворительности, представляется, что можно найти очень серьёзных и влиятельных, чрезвычайно богатых людей, которым их коллегам было бы сложно отказать в просьбе создать рос-

сийский благотворительный технологический фонд. При этом ключевым моментом должно стать то, что средства в этот фонд должны вносить все, кто получил сверхдоходы на приватизации и на работе с государством. Причём распоряжаться этим фондом, вероятно, должно не государство, а какие-то другие структуры. Подобный опыт можно подсмотреть в Америке в эпоху создания университетов. Помимо огромных средств для Третьей производственной революции, это значительно улучшит социальный климат в России и преодолет свойственную русской ментальности ненависть к богатым.

Конечно, важным является вопрос налогообложения компаний третьей технологической волны, работающих в рамках Третьей производственной революции, включая “закрывающие” технологии. Принципиально, с некоторыми доработками, для этих целей вполне может подойти режим Сколково. В этом случае проекты, несомненно, послужат во благо России.

При желании можно найти ещё немалое количество вполне легитимных, строго соответствующих общепринятой мировой практике принципов и способов финансирования “русского чуда XXI века”.

Направления русского прорыва

Понятно, что в новых условиях старая экономика, базирующаяся на всенародном присвоении ренты и выжимании последних остатков из накопленного технологического потенциала, больше не работает. Точка невозврата действительно пройдена. Единственный выход в сложившемся положении — это изменение структуры экономики, её решительная модернизация и начало Третьей производственной революции.

По сути, если мы в ближайшее время не начнём Третью производственную революцию, то перед страной замаячит неприятный призрак социальных потрясений. На многие языки мира переведена знаменитая работа российских исследователей А. В. Коротаева, Д. А. Халтуриной, С. В. Кобзевой, Ю. В. Зинькиной “Ловушка на выходе из ловушки? О некоторых особенностях политико-демографической динамики модернизирующихся систем”. Широко известны доклады Г. Г. Малинецкого о социальной динамике и не имеющие аналогов в мире методы моделирования политических и социальных потрясений И. Д. Колесина. Все эти работы, построенные на анализе огромного массива эмпирического материала с применением самых современных математических и содержательных методов анализа, показывают, что наибольшие угрозы возникают не там и не тогда, где и когда население длительное время живёт плохо, а там, где после достаточно длительного периода неуклонного роста благосостояния и перехода к новым потребительским стандартам происходит некое, зачастую весьма незначительное снижение доходов и уровня жизни. Несложно заметить, что это, к сожалению, может стать описанием нашего будущего.

Как это ни парадоксально, Россия имеет более благоприятные возможности для проведения модернизации экономики и начала осуществления Третьей производственной революции, чем другие, казалось бы, более технологически развитые страны. Дело в том, что в Соединенных Штатах, Европе, Японии и Китае существует достаточно большое число предприятий и владеющих ими мощных транснациональных групп, относящихся к традиционной, понемногу уходящей экономике. В своё время экономический рывок ФРГ и Японии, а в последующем — Китая был связан во многом с тем, что они создавали свой производственный потенциал, по сути, с нуля. Старого потенциала либо не существовало, либо он был разрушен в ходе военных действий. У нас вместо военных действий были бездумные рыночные реформы и структуроразрушающая приватизация. Поэтому поле для Третьей производственной революции у нас на сегодняшний день в значительной степени расчищено. Ослаблены и группы, которые связывают своё существование с традиционными уходящими укладами. Вместо этих групп у нас имеются группы рентополучателей различного типа. Но, как показывает история, противодействовать рентополучателям легче, чем монополистическим группам с особыми интересами.

Наконец, у нас, в отличие от большинства стран мира, в силу длительного пренебрежения к образованию и квалификационной подготовке, нет мощных профессиональных групп, которые будут препятствовать Третьей

производственной революции. Например, сегодня в Соединенных Штатах в этом направлении уже активно действуют юристы, психоаналитики, офисные работники среднего звена и многие другие профессиональные группы. По оценкам самых различных экспертов, в ближайшие 15 лет до 60% рабочих мест по этим и многим другим профессиям будут успешно заняты различного типа роботами.

Трудно препятствовать тому, что непонятно, неизвестно и, главное, не воспринимается серьёзно на данный момент. А эффект неожиданности, как свидетельствует мировой опыт, при должной воле и последовательности позволяет пройти первую, наиболее критичную фазу технологических преобразований. Что же касается навыков и знаний, необходимых для уверенной работы в рамках Третьей производственной революции, то сегодня уже существует целая гамма соответствующих учебных курсов, практических платформ, методов получения не столько знаний, сколько умений. Ими можно спокойно воспользоваться и не изобретать велосипед. В крайнем случае, перевести ключевые курсы на русский язык и договориться о возможности проведения практических занятий на русском языке. Как показывает опыт, ведущие мировые университеты, а также компании-производители роботов, 3D-принтеров, облачных платформ и т. п. охотно идут на это и поддерживают соответствующие инициативы. К тому же, именно в России разработаны и прошли практическую апробацию уникальные, не имеющие мировых аналогов системы ускоренного профессионального обучения и овладения принципиально новыми навыками и умениями.

Третья производственная революция в России не только возможна, но и весьма вероятна. Более того, осмелимся высказать точку зрения, что только в субъективном восприятии, в сложившемся общественном сознании она выступает неким “русским чудом”. По сути, она представляет собой своего рода жёсткую производственную необходимость, которую нужно реализовать спокойно, трезво, систематично и дисциплинировано.

Прежде всего, нельзя допустить идеологизации и забалтывания Третьей производственной революции. Необходимо сразу расставить точки над “i” и чётко отделить её от различного рода фантазмов, к примеру, создания СССР 2.0 и подобных проектов. Ещё древним грекам было известно, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды, и лозунги, подобные приведенному выше, имеют чисто пропагандистский характер и лишь отвлекают работоспособную, умную и способную к действию часть российского населения от реального дела.

Практический подход к осуществлению Третьей производственной революции требует покончить, в первую очередь, с “разрухой в головах”. Допустимо принятие любых мер, которые заставят людей повернуться лицом к реальности и начать мыслить технологически, а не политически. В конечном счёте, отнимающие уйму времени, сил и ресурсов бесплодные дискуссии между левыми и правыми, патриотами и космополитами, либералами и коммунистами, государственниками и анархистами и т. п. носят в России чисто политический характер и сводятся, в основном, к тому, кто и как будет делить ренту.

Наконец, Третья производственная революция не имеет ничего общего со сверхмобилизационными проектами 30-х годов прошлого века, различного рода “чрезвычайками” или загоном всех в гигантские высокоинтегрированные корпорации, которые будут создавать по единому плану десятки миллионов рабочих мест. Несмотря на то, что подобные проекты заполнили не только Рунет, но и страницы серьёзных изданий, надо отдавать себе отчёт, что то, что работало когда-то, не сможет работать сегодня. Более того, сам характер Третьей производственной революции предусматривает сочетание максимальной децентрализации, мини-производств с выходом на гигантские централизованные платформы, носящие преимущественно не организационный, а технологический характер. В рамках Третьей производственной революции единственным критерием для выбора тех или иных организационных форм или имущественных отношений становится технологическая целесообразность. Политика и идеология в России должны вернуться на свойственное им место и из королей бала превратиться в служанок технологии и экономики.

Перво-наперво рачительный хозяин эффективно и заботливо использует то, что уже есть. Делает ставку на свои сильные стороны. Для русской произ-

водственной революции непреложным законом должен стать отказ от ломки чего-либо эффективного и работающего. Принцип “до основания, а затем...” был многократно использован в истории нашей страны и, в общем и целом, показал свою крайнюю неэффективность.

Когда говорится и пишется, что экономика нашей страны не должна зависеть исключительно от топливно-энергетического комплекса, это ни в коей мере не означает, что этот комплекс не является, по сути, единственным работающим сектором экономики, реально обеспечивающим её текущую жизнедеятельность. Поэтому Третья производственная революция должна развиться именно в этом комплексе. Этому способствуют, по меньшей мере, три обстоятельства.

Первое: президент Российской Федерации В. В. Путин не раз отмечал, что “все без исключения недропользователи обязаны соблюдать существующие условия разработки месторождений, полностью извлекать полезные ископаемые на всём предоставленном участке, а не работать по принципу “снятия сливок”. Здесь имеется в виду, прежде всего, конечно, использование соответствующих технологий...” Подавляющее большинство таких технологий хорошо известно и прошло практическую апробацию. Многие из них имеют отечественное происхождение.

Общим принципом в отношении новых технологий, и не только в нефтегазовом секторе, должно стать так называемое правило Лазаря Кагановича: “У каждой аварии есть имя, отчество и фамилия”. Поставьте вместо слова “авария” слово “ошибка” — и получите искомое. Причём речь должна идти не о какой-то чрезвычайщине, а о систематической ежедневной работе по отслеживанию ответственности и применению мер к тем, кому даны права и кто получает немалые вознаграждения.

Второе: как блистательно доказали в своей работе “История. Кризисы. Перспективы. Новый взгляд на прошлое и будущее” В. Криворотов и Л. Бадалян, наиболее глубокие и комплексные научно-технические прорывы происходят тогда, когда человечество осваивает новую среду обитания, либо, по-научному, “ценоз”. Россия в последние годы, прежде всего, в лице топливно-энергетического комплекса и, в первую очередь, “Газпрома” и “Роснефти” возвращается в Арктику. Причём делает это на долговременной системной основе. Буквально в самые последние месяцы запущена уникальная нефтедобывающая платформа “Газпрома” на Приразломном месторождении на Арктическом шельфе. Нарастивает объёмы добычи и обустроивается гигантский международный проект “Ямал СПГ”. Набирает мощность расположенное на Таймыре Ванкорское месторождение “Роснефти”. Завершаются подготовительные работы к разворачиванию проекта по освоению крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Якутии, где свои возможности объединили новосибирские учёные, частный бизнес, власти Якутии и федеральный центр. Приход в Арктику и вообще на Север означает не только создание новых платформ добычи, но и целые инфраструктуры жизнеобитания, транспортировки и логистики.

В отличие от безумных проектов *Е. Гайдара и его команды*, предложивших просто бросить европейский и азиатский север России, крупнейшие российские нефтегазовые компании с преобладающим государственным участием вместе со своими зарубежными партнёрами фактически занимаются созданием нового Арктического ценоза. Этот ценоз включает в себя и самые передовые технологические кластеры, складывающиеся в целостный технологический пакет Третьей арктической индустриальной революции, сложные системы постоянной человеческой жизнедеятельности в этих районах, самые передовые природосберегающие технологии, охраняющие экологию региона, гарантирующие его от повторения судьбы Мексиканского залива. Совершенно очевидно, что при тщательном продуманном подходе создание Арктического индустриального ценоза может стать одним из главных локомотивов Третьей российской производственной революции. Здесь, конечно, важно преодолеть свойственное любой крупной корпорации во всём мире стремление внутренней бюрократии использовать освоение ценоза для получения бюрократической ренты и отсечь от освоения ценоза передовые решения и технологии, напрямую не связанные с корпорациями.

Национальная задача освоения Арктического ценоза и реализация там технологического пакета Третьей индустриальной революции не должна быть

поставлена под сомнение в случае неблагоприятного изменения цен на энергоносители. Целенаправленные меры США и их союзников по обрушению цен на нефть, а также санкции, связанные с запретом поставки в Россию оборудования для глубоководного и арктического бурения и т. п. имеют целью заблокировать российское продвижение в Арктику и, в конечном счёте, захватить монополию на её освоение самим.

Бесспорно, в ситуации экономического кризиса и технологической блокады крайне сложно заниматься освоением Арктики. Но работу в этом направлении нельзя бросать ни на один день. По своему значению для страны это могло бы стать общенародным делом масштаба освоения космоса в советское время. В тот период тоже были сложности с ресурсами. Страна подвергалась жесточайшей блокаде с точки зрения трансферта западных технологий. Но, тем не менее, и ресурсы были найдены, и технологии были частично созданы собственными усилиями, а частично оказались в Советском Союзе в результате эффективной деятельности советской научно-технической разведки. В данном случае есть прямой смысл и возможность воспользоваться советским опытом. Это особенно важно в контексте того, что кризис даже при худшем раскладе будет длиться годы, а задача освоения Арктического ценноза – это задача не на года или даже не на десятилетия.

Третье в ходе развёртывания Третьей производственной революции в мире происходит отрезвление в отношении различного рода передовых технологий атомной энергетики. Целый ряд таких технологий, зачастую абсолютно без рекламы, а иногда и по возможности скрытно запущены в последние несколько лет в Соединённых Штатах, Франции, Великобритании, Китае. Речь идёт, в частности, о ториевой энергетике, сверхмалых атомных реакторах и т. п. Здесь нельзя не отметить, что, в отличие от других отраслей, в атомной промышленности удалось сохранить традиции знаменитого Министерства среднего машиностроения под руководством Е. П. Славского. Нынешний «Росатом», без сомнения, является мировым лидером и уверенно контролирует не только внутренний рынок, но и высококонкурентен за рубежом. В то же время, как в любой большой корпорации, текущие успехи и повседневная деятельность не всегда дают возможность развернуть передовые решения, за которые хватаются отстающие. Но здесь мы имеем дело не с технологическими, а с организационно-дисциплинарными вопросами. В России в атомной и близких к ней энергетических отраслях накоплен огромный потенциал принципиально новых проектов, которые находятся в высокой степени готовности, и при должной политической воле и неусыпном контроле, а также целевом выделении ресурсов на подобные проекты они могут быть запущены и реализованы даже быстрее и лучше, чем их зарубежные аналоги. Поскольку за рубежом в значительной степени приходится начинать в этой сфере либо с нуля, либо использовать старые российские лекала.

Отдельная, принципиально новая задача связана с разворачиванием Третьей индустриальной революции по тем направлениям, в рамках которых кластеров и технопарков, которые формируются в настоящее время на Западе и Востоке. Нашим большим преимуществом является то, что первоначальную работу, что называется, нулевой цикл осуществили за нас другие. Сегодня уже ясны магистральные направления Третьей производственной революции, её основные кластеры, базовые технологии, квалификационные навыки, нужные для работы в новых условиях и т. п.

Для того чтобы максимально быстро и решительно начать эту работу в нашей стране, нужны, прежде всего, организационные меры, а также изменения некоторых наших привычных поведенческих установок и взглядов.

Как отмечают практически все эксперты, всерьёз занимающиеся как на государственном, так и на корпоративном уровне Третьей производственной революцией, её основные кластеры начали формироваться ещё в 70-е годы прошлого века и под воздействием стремительного развития информационных технологий на наших глазах превратились в единый технологический пакет.

Несмотря на все перипетии и неприятности, которые подстерегали российскую науку и технику, она не представляет собой абсолютно *выжженной* земли. Более того, в сфере информационных технологий нам есть чем похвастаться. В этой связи нужно провести само собой разумеющееся мероприятие. Тем более что условия для него после ликвидации автономии РАН сложились благоприятные. Нет больше местничества, обособленности и стремления

принизить внеакадемические научно-технические достижения. Нужно как можно скорее провести полную и детальную инвентаризацию действующих разработок и технологий, необходимых для коренной модернизации российской экономики или входящих в кластеры Третьей технологической революции, с определением по каждой технологии уровня её готовности для практического использования и т. п.

Есть основания ожидать, что по целому ряду направлений Третьей производственной революции итоги инвентаризации внутренних научно-технических разработок окажутся неутешительными. Несмотря на несомненную печальность подобной констатации, в ней, вообще говоря, нет ничего страшного. Не так давно известный исследователь Эми Чуа опубликовала книгу “День империи”, которая сразу же после выхода получила большую популярность в высоких политических и деловых кругах различных стран мира, включая Америку. Книга посвящена источникам мощи так называемых мировых “гипердержав”. Американка китайского происхождения, профессор Йельского университета установила, что одним из главных источников процветания империй является их открытость миру, терпимость и доброжелательность к иностранцам, готовность привлекать их на службу, брать из мира всё лучшее, что в нём накоплено.

Собственно, для знатоков российской истории в выводах Эми Чуа нет ничего нового. Хорошо известно, что в Российской империи Екатерина Вторая активно привлекала в Российскую академию наук лучших учёных мира, а для освоения богатых почв Новороссии и Поволжья всячески стимулировала крестьянскую миграцию из Германии. В годы российского экономического чуда 90-х годов XIX века в России трудилось много специалистов из стран Европы. Есть и более близкие примеры. Уже долгие годы старательно скрывается роль зарубежного участия в советской индустриализации. Не то что книг, но и исторических публикаций либо диссертаций на эту тему найти невозможно. Между тем, на стройках индустриализации трудились в общей сложности десятки тысяч инженеров, конструкторов, высококвалифицированных рабочих из многих стран мира. Десятки заводов были спроектированы в архитектурно-проектных фирмах Соединенных Штатов Америки. Сотни крупнейших советских предприятий были оснащены по последнему слову техники оборудованием ведущих американских, германских, британских и т. п. фирм.

Поэтому при коренной модернизации российской экономики и решительном проведении в России Третьей производственной революции надо максимально широко использовать зарубежный опыт и возможности в самых различных формах. Не является ли такая постановка вопроса прекраснородушной наивностью или маниловщиной в условиях жёсткого противоборства России – с одной стороны, и правящих кругов США и части Европы – с другой? Думаем, что нет. И постараемся обосновать свою точку зрения.

Технологические вооружения. Российская асимметрия победы

На любую ситуацию надо смотреть открытыми глазами, не выдавать желаемое за действительное и принимать вещи такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какие они мечтаются. Именно в сфере технологического противоборства Запад после крушения Советского Союза имеет наиболее заметные преимущества. Именно в этой сфере наличествует наиболее опасная угроза, потенциально способная нейтрализовать впечатляющие успехи, достигнутые по другим направлениям противоборства.

Особую актуальность отражение этой угрозы приобретает в сегодняшних условиях. Современный мир стал не только более динамичным и турбулентным, чем когда-либо в прошлом, но и опасным. К состоявшемуся в январе нынешнего года очередному Давосскому форуму был подготовлен специальный Доклад о глобальных рисках. Над докладом работали 900 наиболее квалифицированных экспертов. Им предстояло выбрать 10 из предложенных трёх десятков рисков и проранжировать их по уровню опасности. В десятке наиболее вероятных и опасных на первом месте оказались геополитические риски, следом за которыми стоят кризисы государственного управления, развал государств, экстремальные погодные условия и безработица. Особо эксперты отметили, что впервые с конца 80-х годов наиболее вероятные и опасные риски для человечества несут межгосударственные конфликты, чреватые воен-

ными действиями. Также в докладе отмечалось, что между войной и миром пролегает всё более узкая грань, всё чаще военные действия ведутся не только при помощи привычных вооружений, но и с использованием экономических, информационных и технологических средств и инструментов.

В более опасном, конфликтном и непредсказуемом мире технологии получили три измерения. Прежде всего, они по-прежнему остаются инструментом решения повседневных задач, способом взаимоотношения человека с природой. Они так же, как и раньше, в решающей степени определяют успешность, а соответственно – и конкурентность как отдельных предприятий и производств, так и экономик и стран в целом. Наконец, технологии так же, как и другие сферы человеческой деятельности – политика, культура, идеология и т. п., – по сути, становятся ареной жёсткого противоборства, которое, строго говоря, мало чем отличается от привычной горячей войны. В этих условиях “русское чудо” становится не только возможностью, но и необходимостью с точки зрения выживания и развития российской цивилизации, обеспечения русскому и другим народам нашей многонациональной страны достойного места под солнцем и безопасного, самостоятельного, не зависящего ни от кого существования страны. Поэтому сегодня любую технологию надо рассматривать не только с точки зрения её прямого, производственного назначения, но и учитывать её вклад в обеспечение лидерства и конкурентоспособности на мировой арене, исходя из её потенциала в обеспечении выигранных позиций России в жёстком и, по-видимому, долговременном противоборстве с Западом.

С учётом сделанного вывода о том, что противоборство России и Запада (понимаемого не как Запад вообще, а как конкретные властные правящие элитные группы и контролируемые ими организации) носит стратегический характер, что не отменяет сотрудничества и возможности смягчения форм и напряжённости противоборства, необходимо разработать асимметричные, по возможности, малоресурсоёмкие, оперативные и обязательно практически реализуемые меры по перехвату Россией инициативы и в сфере технологического противоборства.

Перенос противоборства в технологическую сферу, несомненно, относится к классу асимметричных конфликтов. Их теория впервые была разработана в Соединенных Штатах и Великобритании ещё в 70-е годы прошлого века. Однако впервые асимметричные конфликты были целенаправленно поставлены во главу угла в национальной оборонной стратегии, принятой в начале этого века в Китайской Народной Республике.

Овладение особенностями стратегии и тактики, разработка инструментария асимметричных конфликтов открывает перед более слабой стороной возможности для победы. Так, ведущий исследователь асимметричных конфликтов Аррегин-Тофт подсчитал итоги конфликтов за последние 200 лет между крупными и маленькими странами. В результате расчёта выяснилось, что в 71% случаев побеждает сильная сторона, и лишь в 29% – более слабая с точки зрения наличия ресурсов. Одновременно Аррегин-Тофт проанализировал конфликты между сильной и слабой стороной, когда слабая сторона использовала различного рода нетрадиционные, как военные, так и не военные методы. Расчёты показали, что в этом случае процент побед слабой стороны возрос с 29% до 64%.

Что касается китайского варианта асимметричных конфликтов, то в нём, согласно и официальным, и неофициальным источникам, упор сделан на кибероружие. Фактически кибероружие стало для НОАК своего рода фактором сдерживания. При этом надо отметить, что в современном сверхинформатизированном и взаимоувязанном мире использование кибероружия одной стороной против другой, даже в прокси-варианте, весьма чревато полномасштабным традиционным военным конфликтом. Недавно принятые официальные американские стратегические военные документы прямо указывают на то, что в случае идентификации киберагрессора по нему может быть нанесён удар не только средствами кибервооружений, но и разнообразными традиционными видами оружия, вплоть до ракетного.

Сегодня как никогда остро стоит задача найти конвенциональные, то есть разрешённые, но влиятельные за собой риска неконтролируемой эскалации направления и инструменты асимметричных противоборств. Представляется, что по сути единственным на сегодняшний день такого рода полем является

технологическое. Именно в технологической сфере противоборство может вестись абсолютно в рамках и национальных, и межгосударственных юридических норм, ни в коей мере не определяясь как военные действия какого-либо типа, но при этом, по сути, обеспечивать успешное ведение асимметричных конфликтов.

Ещё в начале 90-х годов, опираясь на пионерские книги С. Лема “Сумма технологий” и Э. Янча “Прогнозирование научно-технического прогресса”, А. Террилл опубликовал работу, посвящённую возможностям использования спилловер-эффекта в асимметричных и гибридных конфликтах.

Спилловер-эффект представляет собой распространение турбулентности, неустойчивости, изменения динамики из одной сферы в другую, связанную с ней. Первоначально этот феномен был открыт практически одновременно в гидродинамике и при анализе инвестиционных рынков. А. Террилл установил, что различного рода изменения внутри техносферы оказывают максимальный спилловер-эффект на политику, экономику, социум. Иными словами, процессы, происходящие внутри технологической сферы, гораздо интенсивнее и сильнее влияют на другие сферы человеческой деятельности, чем перемены, происходящие в иных её сегментах. Открытие спилловер-эффекта технологий фактически сделало возможным целенаправленное использование технологий как инструмента и поля для противоборства.

Однако спилловер-эффекты не были взяты на вооружение западной стратегической мыслью. В это время она была увлечена сетецентрическими платформами, операциями на основе эффектов, управляемым хаосом и другим инструментарием. Согласно анализу публикаций в американских военных и научных журналах, спилловер-эффекты техносферы недооцениваются и сегодня. Главные надежды в настоящее время связываются с кибероружием и поведенческими войнами, а также совершенствованием форм конфликтов в направлении расширения практики гибридных войн.

Между тем, именно для России технологическое направление противоборства открывает наиболее интересные перспективы. На сегодняшний день в Соединенных Штатах и союзных им странах, в первую очередь, в Западной Европе и в Японии имеется наиболее развитая и динамичная техносфера. В России же в силу целого ряда обстоятельств истории техносферы в последние 25 лет испытала на себе действие разнородных деструктивных процессов. В результате мы имеем дело с классической асимметричной ситуацией, когда слабость может быть превращена в силу, а недостатки при должном подходе превращены в достоинства.

Дело за малым: за разработкой и использованием инструментария, который позволит реализовать на практике спилловер-эффект и обеспечить на этой основе потенциальные возможности для управляемых дисфункций и направленных деструкций производственно-технологического, финансово-экономического и социально-политического компонентов мощи Запада.

Иными словами, необходимо найти такие технологические артефакты, которые бы повысили турбулентность и неустойчивость технопроизводственной платформы современного Запада и, как следствие, привели бы к негативной динамике и дисбалансированности в финансово-экономической и социально-политической областях. Прежде всего, необходимо ответить на вопрос: возможно ли это принципиально?

Теории длинных волн Н. Кондратьева и его последователей, технических и технологических систем как техноценоза профессора Б. Кудрина, технологически-инвестиционных циклов К. Перес, технологических укладов С. Глазьева, геотехноценозов В. Криворотова-Л. Бадалян, нелинейной социодинамики профессора Г. Малинецкого и технопакетов С. Переслегина позволяют не просто положительно ответить на поставленный вопрос, но и содержат все методологические предпосылки и эвристики для определения круга необходимых технологий, которые могут быть использованы в качестве своеобразного “технологического оружия” в жёстком противоборстве.

Следует особо подчеркнуть, что использование тех или иных технологий как асимметричного инструмента жёсткого противоборства не имеет ничего общего с традиционными военными технологиями, используемыми в сфере обычных либо кибервооружений. Речь идёт о любых технологиях, в первую очередь, гражданского или двойного назначения, которые определяют технодинамику, входят в техноценозы, влияют на состояние инвестиционных

рынков, экономическую активность, социальную динамику и политические решения.

Технологии в каноническом понимании — это последовательность операций, обеспечивающих воспроизводимый, наперёд заданный результат при соблюдении установленных требований, условий, регламентов, а также при наличии необходимых инструментов и т. п. В обыденной жизни технологии, как правило, связываются с преобразованием природы, то есть вещества либо информации.

Однако, строго говоря, технологии представляют собой способ преобразования чего-то во что-то и потому касаются всех сторон человеческой жизнедеятельности. Как правило, выделяется три основных типа технологий: во-первых, предметные, связанные с преобразованием вещества или самого человека; во-вторых, инвестиционно-управляющие, связанные со способами концентрации различного рода ресурсов; и, в-третьих, институциональные, связанные с организацией и взаимодействием людей в процессе использования предметных и инвестиционных технологий.

Каждой группе предметных технологий соответствуют свои инвестиционно-управляющие и институциональные технологии. Ещё одним важным понятием является “технологический пакет”. Технологический пакет — это взаимосвязанная и взаимодействующая совокупность технологий, позволяющих получить тот или иной конечный продукт, удовлетворяющий какую-либо потребность. Например, существует технопакет “Персональный компьютер”. В рамках этого технопакета имеются различные варианты, обеспечивающие изготовление десктопов, ноутбуков, смартфонов и т. п.

Оружием, используемым в технологической сфере жёсткого асимметричного противоборства, может быть не любая технология, а лишь дестабилизирующая, то есть повышающая неустойчивость, создающая новые проблемы и т. п. для деловой, инвестиционной, социальной и политической сред. Нужно найти те технологии, которые, в конечном счёте, могут вызвать ощутимые потрясения. При этом сразу же надо подчеркнуть, что само по себе наличие таких технологий и знание другой стороной противоборства о том, что они имеются у противоположной стороны, является мощным сдерживающим фактором и может привести к необходимым последствиям даже без фактического задействования в реальности таких технологий.

О каких же группах технологий конкретно идет речь? Начнём от простого к сложному. Первая группа технологического оружия — это так называемые “замыкающие” технологии. Каждый технопакет имеет свою замыкающую технологию, которая превращает совокупность технологий в единое целое и делает продукт, изготовленный с использованием всех этих технологий, удовлетворяющим ту или иную потребность.

Поясним на простом примере. Одной из самых популярных ныне новаций не только в военной, но и во все возрастающей степени в гражданской сфере являются дроны, или беспилотные летающие аппараты. Сегодня уже крупнейшие интернет-порталы переходят к доставке заказанной на них продукции на места при помощи небольших дронов. При этом мало кто знает, что первый дрон поднялся в воздух и успешно выполнил задание в 1933 году. Это был британский БПЛА многократного использования Queen Bee. В 60-х — первой половине 80-х годов лидером в разработке и производстве БПЛА, выполняющих в основном функции разведчиков, был СССР. Затем значительная часть конструкторов, инженеров, технологов эмигрировала в Соединенные Штаты и Израиль. Теперь именно эти страны стали мировыми лидерами дроностроения и применения их как в гражданской, так и в военной сферах. Таким образом, технопакет для производства БПЛА существует уже без малого 80 лет. Однако повсеместное их применение стало возможным после создания замыкающей технологии по изготовлению микроэлектроники, позволяющей дрону выполнять сложнейшие функции при минимальных затратах средств и максимальных внешних помехах.

Несложно понять, что замыкающая технология тем важнее, чем для более значимого для экономики и социума технопакета она предназначена. Казалось бы, получить наперёд такого рода знания маловероятно. Ведь согласно известной житейской поговорке, “знал бы прикуп, жил бы в Сочи”. Однако с нулевых годов нынешнего века и представители разведывательного сообщества, и люди бизнеса задумались: а нельзя ли создать методики определения

перспективных технопакетов и поиска будущих замыкающих технологий для них? На Западе первые шаги в этом направлении уже сделаны. Знаменитый Питер Тиль, хозяин самого известного программного комплекса, используемого разведкой США – Palantir, – совместно с партнёром, выдающимся математиком Шоном Горли создал компанию Quid. Эта компания специализируется на поиске пустых технологических ниш, которые крайне необходимы для дальнейшего развития тех или иных технологий и которые в настоящее время не заполнены. Делается это на основе анализа больших патентных данных и нейросетевого программирования. Американские государственные органы и практически все компании из списка Fortune 500 платят миллионы долларов за прогнозы П. Тили и Ш. Горли.

В России имеется более сильная система поиска замыкающих технологий для наиболее перспективных технопакетов. Американская система построена на чисто счётной модели и выдает большую совокупность результатов, которые отсеивать должны уже эксперты, придерживаясь, как правило, консервативных убеждений, у которых, как показал Д. Канеман, чрезвычайно велико влияние личных субъективных предпочтений и собственных научных взглядов. Российская система, созданная под руководством С. Переслегина, базируется на выверенном методическом основании анализа и прогнозирования технопакетов, новейших методах многокомпанентного анализа патентов, заявок и публикаций, разнообразных математических моделях, а также уникальной методике “Знаниевый реактор”. Данный комплекс позволяет определить не только наиболее перспективные технопакеты, но и выделить в них ещё не существующие замыкающие технологии. Он был с успехом опробован на самых серьёзных проектах, в том числе, в корпорации “Росатом”.

Может возникнуть сомнение: а какова польза в столь эффективном комплексе, если замыкающие технологии наверняка принадлежат корпорациям из списка Fortune 500, которые в немалой степени интегрированы с политической элитой, конфронтирующей с Россией. Что касается самих технопакетов, то до известной степени это действительно так, а вот с замыкающими технологиями дело обстоит прямо противоположным образом.

Последние три года в качестве наиболее влиятельного бизнес-мыслителя Запада признаётся Клайтон М. Кристенсен, автор знаменитой концепции “подрывных инноваций”. Сами по себе подрывные инновации не базируются на каких-либо прорывных технологиях, а представляют собой результат комбинации уже хорошо известных, отработанных технологий с добавлением к ним какого-либо оригинального элемента, увязывающего их в новую конфигурацию. По сути, технологическое основание подрывных инноваций практически идентично замыкающим технологиям перспективных технопакетов.

После выхода книг К. Кристенсена он стал одним из самых востребованных бизнес-консультантов крупнейших корпораций. По их заданию он провёл обследование. По результатам выяснилось, что из 142 подрывных инноваций, вычлененные за период 2001–2013 годов, 117 разработали и осуществили маленькие компании и стартапы, которые затем либо превращались в гигантов, либо покупались уже существующими лидерами отрасли. Singularity University (Университет сингулярности) в США в этом году опубликовал ещё более ошеломительные цифры. За период с начала века из 100 коммерчески наиболее успешных инноваций 87 были созданы маленькими компаниями либо стартапами. Причем более 60% из них терпели банкротства, стояли на пороге разорения и т. п. и реализовывали свои разработки лишь со второго или третьего раза.

Иными словами, при наличии эффективного инструмента анализа и прогнозирования перспективных технопакетов и замыкающих технологий вполне возможно приобретать значительные доли в компаниях, которым предстоит создать завершённые замыкающие технологии и фактически контролировать в значительной степени наиболее перспективные технопакеты. Никаких ограничений на покупку маленьких компаний и стартапов в любой технологической сфере нигде в мире не существует. Таким образом, осуществив своевременные покупки, даже учитывая, что среди них, несомненно, будут и “пустышки”, возможно установление в той или иной степени контроля над некоторыми ключевыми технопакетами. А контроль и собственность – это не что иное, как действенный, практичный и, как ни удивительно, недорогой способ технологического противоборства, реализующий победную стратегию.

Большая часть технологий развивается, как установил ещё С. Лем и подтвердили последующие исследования, по законам, сходным с законами биологической эволюции. Однако это касается подавляющей части технологий “по правилам”. Но есть исключения, своего рода “чёрные лебеди” технологий, появление которых приводит к кардинальным переменам и предсказать которые либо невозможно, либо крайне маловероятно. Известный российский мыслитель и автор фантастических романов А. Столяров назвал такие технологии “эдем-технологиями”. Названием они обязаны тем, что появляются совершенно непредсказуемо, в каком-то смысле случайно, и кажутся не от мира сего.

Как уже отмечалось, появление таких технологий невозможно предсказать. Однако ещё в 60-е годы знаменитый советский авиаконструктор и физик Роберто де Бартини и не менее знаменитый философ, математик и конструктор Побиск Кузнецов решили изучить историю такого рода технологий. В результате работы, длившейся несколько лет, им удалось вычлнить почти сотню примеров эдем-технологий, которых объединяло одно общее свойство: все они когда-то были открыты, но использовались весьма неэффективно, если не сказать – странно. Это позволило им разработать специальную методику поиска таких технологий среди всего массива уже совершённых открытий, изобретений и разработок. Самое удивительное, что эта методика оказалась никому не нужной и не была опубликована. До сих пор значительные её фрагменты, которые позволяют восстановить весь методический материал, содержатся в фонде № 151 – “Архив Кузнецова Побиска Георгиевича” – в Центральном московском архиве – музее личных собраний ГАУ Москвы. Соответственно, реконструируя эту методику, можно, используя тотальную оцифровку патентной документации, книг, архивов и т. п., сформировать исчерпывающий фонд потенциальных эдем-технологий. А имея такой фонд, своеобразную “лебединую ферму”, можно запускать “чёрных лебедей”, несущих потрясения и дестабилизацию, в нужное время и в нужном месте.

Чтобы на примере пояснить, о чём идёт речь, приведём лишь две выдержки из изысканий Р. Бартини – П. Кузнецова. Все хорошо знают, что первая промышленная революция началась с изобретения Дж. Уаттом паровой машины. Гораздо менее известно, хотя и является непреложным, всесторонне исторически подтвержденным фактом, что паровая турбина была изобретена в середине I века н. э. в Римской империи Героном Александрийским и оказалась никому не нужна. Её длительное время использовали как своеобразный сувенир: одни состоятельные римляне дарили другим мини-турбины как забавную игрушку. Более того, по сути, в этой турбине был открыт и принцип реактивного движения. Но первые реактивные самолёты появились спустя 2000 лет.

Как мы хорошо знаем ещё со школы, жители Латинской Америки не знали колеса. Империи ацтеков и инков обходились без повозок. Однако археологи за последнее столетие нашли множество колёсных игрушек в поселениях инков. То есть дети прекрасно играли в колёсные игрушки, а взрослые не приспособили колесо к повозке. Такие примеры из коллекции Р. Бартини и П. Кузнецова можно приводить страницами.

Наиболее мощный потенциал в качестве технологических вооружений в рамках жёстких противоборств имеют так называемые “закрывающие” технологии. Впервые этот термин был введён в оборот в середине 90-х годов одновременно ушедшим оригинальным мыслителем и известным общественным деятелем С. Давитая. Между тем, работа в этом направлении началась ещё в середине 80-х годов в рамках темы так называемых “загоризонтных” технологий. Работа осуществлялась в рамках проектов создания российских аналогов DARPA и IARPA коллективом под руководством Н. А. Шама, ныне генерал-майора КГБ СССР в отставке. В рамках этой работы впервые в мире была создана методика определения, поиска, оценки, проверки, верификации и доведения до стадии эксплуатации закрывающих технологий. Вместе с разработкой методики был выявлен корпус подобных технологий, и некоторые из них были подготовлены к практическому использованию.

В конце 80-х эти работы по решению М. С. Горбачёва были приостановлены, а затем окончательно свёрнуты правительствами Е. Гайдара и В. Черномырдина. Тем не менее, необходимые методические материалы, а также массивы данных, не утративших актуальности по сегодняшний день, сохрани-

лись и могут быть использованы для обеспечения решающих преимуществ в России в технологическом противоборстве.

Закрывающие технологии представляют собой технологические пакеты, позволяющие удовлетворить различного рода потребности на качественно более высоком уровне, чем это обеспечивают имеющиеся технологические пакеты, как правило, с гораздо меньшими (иногда на порядок) затратами ресурсов и блокировкой различного рода негативных последствий, свойственных традиционным технологиям. По своему характеру они, по сути, отрицают технологии господствующего технологического уклада.

Закрывающие технологии никому, кроме их конечных потребителей, будь то население или институциональные структуры, категорически не нужны. В силу своих характеристик они, по сути, обесценивают имеющийся капитал в самой различной его субстратной форме, начиная от машин и оборудования, технологических линий и заканчивая профессиональными компетенциями, знаниями, навыками. Более того, по результатам своего широкого применения они обладают свойством резко менять конфигурацию политических связей и властных иерархий, силовых балансов и даже элитных взаимодействий. Они вносят дезорганизацию и сумятицу в сложившиеся научные *табели о рангах*, разрушают, казалось бы, незабываемые репутации обременённых многочисленными регалиями и степенями научных работников, конструкторов, технологов, руководителей производств и капитанов бизнеса. Наконец, эти технологии, будучи реализованными, значительно ускоряют динамику, повышают устойчивое неравновесие и увеличивают турбулентность в технико-производственных, финансово-экономических и социально-политических компонентах общества.

По этим причинам всё, что связано с закрывающими технологиями, категорически отторгается на всех уровнях, начиная от научного сообщества и заканчивая государственной бюрократией. В предельных вариантах, а история зарегистрировала много таких случаев, разработчики закрывающих технологий подвергаются не только травле, но и попадают в изоляцию либо уничтожаются физически. Причины тому – не какие-то загадочные заговоры, а элементарные нужды самосохранения господствующих элит и логика развития техноценозов, финансовой и иных сфер.

Поскольку термин “закрывающие технологии” используется пока достаточно узко и не получил широкого распространения за пределами специальных сфер, поясним, что это такое, на двух совершенно не связанных между собой примерах.

Мало кто сегодня знает, что ещё в начале 60-х годов прошлого века выдающийся советский физик Иван Степанович Филимоненко не только теоретически разработал, но и создал экспериментальный образец низкотемпературной ядерной установки, которая, если бы получила развитие, полностью поменяла бы энергетическую – и не только! – картину мира. Выдающиеся работы Филимоненко были активно поддержаны Генеральным конструктором С. Королёвым, премьер-министром СССР А. Косыгиным и маршалом СССР Г. Жуковым. Было принято даже беспрецедентное постановление Совета Министров СССР на этот счёт, которое предусматривало развёртывание целой государственной программы с привлечением большого числа научных институтов и предприятий. В ходе этой работы были созданы уникальные энергоустановки, которые уже после развала Советского Союза были просто подарены Соединённым Штатам, где они были тут же засекречены. Однако работы Филимоненко продолжались недолго. В конце 60-х годов по представлению Д. Ф. Устинова и Ю. В. Андропова они были полностью свёрнуты, головной коллектив распущен, а остальные перенацелены на решение совершенно иных задач. Сам Филимоненко был командирован на новую работу, никак не связанную с его собственными разработками и носившую второстепенный рутинный характер. Запрет на исследования Филимоненко действовал до самого конца существования Советского Союза. В немалой степени это было связано с тем, что в те же годы сотни миллионов долларов чуть ли не ежегодно уходили на гонку за призрачной целью создания термоядерного реактора, которого нет и до сегодняшнего дня. Однако эти деньги позволили безбедно существовать академикам, членам, институтам, военным, предприятиям не только в СССР, но и в Европе и США.

Приведём другой, может быть менее впечатляющий, но гораздо более понятный для неискушенного в физике человека, пример. Ещё 20 лет назад

в мире существовала огромная индустрия, чей оборот исчислялся миллиардами долларов, связанная с производством дорогой фото- и видеотехники, фото- и видеоплёнки, сетью сервисных услуг, связанных с фотографией, присутствующих буквально в каждом городе мира, независимо от его географического расположения. Затем появились компьютеры, вслед за ними цифровая съёмка, микроминиатюризация, позволившая упрятать фотоаппараты и видеокамеры в телефоны, часы и т. п. В итоге крупнейшие компании либо исчезли с лица земли, либо полностью переориентировались на другие виды деятельности.

В силу конкретных исторических обстоятельств Россия до сих пор располагает определённым набором закрывающих технологий, в том числе прошедших тщательную процедуру проверок и верификации. При этом наша страна не является монополистом в сфере закрывающих технологий. Технологические пакеты, которые после проведения верификации на реальную результативность, воспроизводимость и тиражируемость, могут быть отнесены к закрывающим технологиям, имеются и во многих других странах мира. При этом если в России в силу неразвитости высокотехнологичной сферы разработчики закрывающих технологий просто попадают в разряд “новых лишних людей”, то в высокотехнологичных странах они подвергаются угрозам и преследованию. Это предоставляет замечательные шансы для аккумуляции такого рода технологий именно в России, под государственной защитой.

Поскольку закрывающие технологии являются двойными технологиями в том смысле, что, наряду со своим прямым назначением – удовлетворять какие-либо потребности, – они по своей природе являются мощным оружием жёсткого технологического противоборства, как сами эти технологии, так и методическая база работы с ними должны подвергаться процедурам засекречивания, а их авторы – попадать под государственную физическую защиту. Кстати, интересно, что значительная часть разработчиков верифицированных закрывающих технологий прекрасно понимает эти обстоятельства и сама выражает готовность работать либо полностью в государственных структурах, либо в структурах со значительным государственным влиянием.

В настоящее время имеются все необходимые предпосылки для того, чтобы оперативно развернуть работу по практическому использованию замыкающих, эдем- и закрывающих технологий для обеспечения в короткие (не исторические, а календарные!) сроки, при небольших, по сравнению с возможными результатами, затратах ресурсов, решительного изменения баланса сил и возможностей в технологической и иных сферах жесткого противоборства с Западом в пользу России.

В заключение отметим, что для нового “русского чуда” есть необходимый потенциал и предпосылки. Для того чтобы вероятность превратить в реальность, нужны несгибаемая воля руководства страны, инициатива и напряжённый труд всех людей, причастных к модернизации экономики страны и осуществлению Третьей производственной революции, дисциплинированность и ответственность элиты, самоотверженность и вера народа... И, конечно, любой технологический прорыв, эффективное противоборство с недружественными структурами Запада возможно только на поле, постоянно очищаемом от мафиозных структур и коррупции. Метастазы Левиафана надо временно вырезать.

ИРИНА МЕДВЕДЕВА, ТАТЬЯНА ШИШОВА

СМЕХ ПО УМЕРШИМ

Когда мы раздумывали, с чего начать разговор на эту тему, нам вдруг пришёл на ум эпитафия к роману Набокова: “Дуб – дерево. Роза – цветок. Олень – животное. Воробей – птица. Россия – наше Отечество. Смерть неизбежна” (П. Смирновский “Учебник русской грамматики”). Скорее всего, Набокову понравилось экстравагантное сочетание нескольких банальностей. Тем более что такая в некотором роде сюрреалистическая экстравагантность содержалась в хрестоматии по родной речи. Нас этот эпитафия тоже в своё время позабавил. Потому, наверное, и запомнился. Но сейчас мы привели цитату с другой целью – ради последнего трюизма. Действительно, смерть неизбежна, и сия трагическая неизбежность во все времена была одной из ключевых тем в жизни любого человека и любой человеческой цивилизации.

Естественно, не претендуя на серьёзное научное исследование, мы хотели бы поделиться некоторыми соображениями на эту тему. Христианство утверждает, что смерть – лишь переход из жизни временной в жизнь вечную. И наши благочестивые предки не просто имели теоретические знания об этом, но и заранее готовились к такому серьёзному перемещению.

“Избави мя от внезапной смерти...”

Внезапная смерть считалась, в отличие от представлений многих современных людей, отнюдь не предпочтительной, а наоборот. Французский историк и демограф Филипп Арьес (1914–1984) пишет в книге “Человек перед лицом смерти”, принесшей ему широкую известность: “В Средневековье низкой и позорной была не только внезапная и абсурдная смерть, но также смерть без свидетелей и церемоний, как, например, кончина путешественника в дороге, утопленника, выловленного в реке, неизвестного человека, чьё тело нашли на краю поля, или даже соседа, сражённого молнией без всякой причины... Это представление было очень древним” (М., “Прогресс”, “Прогресс-Академия”, 1992. С. 42–43). “По мнению Гийома Дюрана, епископа Мендского (XIII в.), – продолжает Арьес, – умереть скоропостижно – значит “умереть не по какой-либо явной причине, но по одному только произволению Божьему”.

В России похожие обычаи сохранялись и в более поздние времена. Утопленникам и удавленникам отказывали в погребении на кладбищах. Умерших внезапно на улицах или убитых в дороге хоронили в специальном убогом доме. К людям, сражённым молнией, отношение было тем более отрицательное. Это мы знаем из жития Св. отрока Артемия Веркольского. Его вообще отказались предать земле. А чтобы тело не растерзали хищники, его прикрыли хворостом и берестю.

Сомнительной, нехристианской кончиной казалась даже смерть во время игры. Причём не в карты или в кости, а в гораздо более невинные игры. Как написано у Арьеса, “в мяч или шары”. Уже упомянутый епископ Гийом говорил, что такой покойник “**может** быть похоронен на кладбище, ибо не помышлял причинить зло кому бы то ни было”. Само словосочетание “может быть” (а не “должен”) предполагает наличие полемики. Кто-то, следовательно, считал это недопустимым. А кто-то предлагал промежуточный вариант: “Поскольку он предавался развлечениям мира сего, то иные говорят, что он должен быть похоронен без пения псалмов и других погребальных обрядов” (там же. С. 43). Правда, в Европе это было давно, в XIII веке.

А спустя пять веков уже не в Европе, а в России молодую женщину, которую теперь весь православный мир знает как блаженную Ксению Петербургскую, так потрясла внезапная кончина её мужа, что она приняла на себя тяжелейший подвиг юродства, раздала имущество, осталась бездомной, терпела лишения, насмешки, лютый холод – все ради облегчения его смертной участи.

“Иисусе Сладчайший, – молятся православные, – избави мя от внезапной смерти и сподоби христианской кончины”; “О Пресвятая Госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и избави мя, грешного раба Твоего, от клеветы, от всякой беды и напасти и внезапные смерти и даруй мне прежде конца покаяние”.

Внезапная смерть страшна для христианского сознания именно тем, что душа уйдет неподготовленной, неочищенной. О том, как серьёзно, как обстоятельно готовились верующие люди к смерти, много рассказывал духовный писатель С. Нилус, творивший на рубеже XIX–XX веков. Основой служили и личные наблюдения, и рассказы собеседников, и записи, которые он разбирал, работая в монастырских архивах. Да и в “Раковом корпусе” Солженицына – а это уже вторая половина XX века! – про стариков, рождённых явно до революции, написано: “Сейчас, ходя по палате, он вспоминал, как умирали те старые в их местности на Каме, – хоть русские, хоть татары, хоть вотяки. Не пыжились они, не отбивались, не хвастали, что не умрут, – все они принимали смерть **спокойно**. Не только не оттягивали расчёт, а готовились потихоньку и загодя, назначали, кому кобыла, кому жеребёнок, кому зипун, кому сапоги. И отходили облегчённо, будто просто перебирались в другую избу”. Обратите внимание: Солженицын вроде бы не затрагивает религиозный аспект вопроса и намеренно подчёркивает разную национальность стариков. Но и в этом тексте есть образ перехода куда-то в другое место (“в другую избу”). Перехода, осуществляющегося без какой-либо аффектации. Такую смерть Арьес называл “прирученной”, а наша немецкая коллега, изучавшая историю разных культур, – “интегрированной в жизнь”.

– В традиционных обществах – у вас, в России, или в Мексике, – сказала она с плохо скрываемым чувством превосходства цивилизованного человека над дикарями, – смерть пока ещё интегрирована в жизнь. А у нас развита общество. В нём смерть вынесена за пределы жизни.

“Жизнь продолжается!”

Тогда, в середине 90-х, мы не очень с ней согласились, поскольку у нас, выросших при госатеизме, совершенно не было такого ощущения. Нет, тема смерти, конечно, звучала и в кино, и в стихах, и в романах. Но подавалась она в определённом ракурсе, работая на советскую идеологию: пропаганду патриотизма, революционной героики, военного подвига. Поскольку внушалось, что Бога нет и что загробная жизнь была придумана угнетателями для оболванивания народа, акцент переносился на другие перспективы. Воспевалась гибель ради светлого будущего, ради блага человечества, “ради жизни на Земле”.

В быту же о смерти старались не говорить. Жили так, как будто её нет. Что отвечали маленькому ребёнку, дозревшему годам к пяти-шести до рокового вопроса: “Мама, а мы тоже умрём?”

– Не волнуйся, – спешили утешить его. – Это ещё не скоро. И к тому времени обязательно изобретут лекарство, чтобы люди никогда не умирали.

А как старались скрыть от ракового больного диагноз! Врачи даже в истории болезни его шифровали, чтобы не напугать. В 60–70-е годы, когда по-

шёл рост онкологических заболеваний, медицина ещё не достигла особых успехов в их лечении, и такой диагноз воспринимался как смертный приговор. Поэтому больного до последнего вздоха уверяли, что у него воспаление лёгких, язва или радикулит (в зависимости от локализации опухоли) и рисовали радужные картины жизни после выздоровления. В безбожном обществе такая ложь была актом гуманизма, проявлением милосердной любви к умирающему. Действительно, что ему было сказать, если Бога и загробной жизни якобы нет, а психологически к уходу в небытие человек не готов?

Внезапная, мгновенная смерть, когда даже не успеваешь понять, что происходит, стала восприниматься многими как безусловное благо, большое везенье. И родственников утешали уже по-новому, не по-христиански, торопились переключить на мысли о будущем. Дескать, мы соболезнуем вашей горькой утрате, но жизнь продолжается, надо смотреть вперёд.

Очень характерно признание одного известного диссидента-шестидесятника. “Обо всём мы с ним успели поговорить. Только о смерти не говорили”, – признался он, вспоминая своего ближайшего друга и единомышленника. А ведь и тогда, и много позже – мы это хорошо помним! – интеллигенция, собираясь на кухнях, часами говорила и спорила на самые разные темы. Но тему смерти – своей или кого-нибудь из своего ближайшего окружения – и вправду обходили стороной. Поэтому, когда она вдруг кого-то настигала, это обычно заставало всех врасплох. И только чья-нибудь пожилая родственница (как правило, деревенского происхождения) знала, что полагается делать в этой ситуации, и наставляла растерявшихся близких, как надо завесить зеркала, как приготовить кутью, кто может нести гроб, а кто – нет...

Конечно же, за всеми этими фигурами умолчания и дежурными восклицаниями, что жизнь продолжается, таился страх. Ведь и смерть, если можно так сказать, продолжалась. А безбожный оптимизм не давал на сей счёт настоящего утешения. Страх всё равно выползал из своего укрытия под разными псевдонимами. Недаром тогда было столько споров о смысле жизни и прямо-таки невротическое стремление оставить после себя хоть какой-то след. Разумеется, по сравнению с бездумно-утробным существованием, столь пропагандируемым в наши дни, это нечто гораздо более возвышенное. Но спорить о смысле жизни, пребывать в судорожных поисках истины можно только в мире, отвергшем Христа. Христиане не спорят о смысле жизни, потому что знают: он в спасении души. И не стремятся любой ценой оставить после себя хоть какой-то след (пусть даже это будет слава Герострата!), страшась кануть в небытие, а, ища спасения, стараются исполнять наказ Псалмопевца: “Уклонися от зла и сотвори благо” (Пс. 33:15). То есть это иная система координат. След тут не самоцелен. Хотя, конечно, он остаётся. Яркий пример этой иной системы координат являет собой житие святого праведного Симеона Верхотурского. Когда спустя 50 лет после кончины праведника его гроб чудесным образом поднялся из земли, все уже позабыли о том, что он когда-то жил в тех краях. Никто даже имени его припомнить не мог! Дошедшие до нас сведения о нём крайне скудны, он не оставил практически ничего, что подходило бы под определение “след”: ни потомства, ни наследства, ни записок, – ничего. Да и добрые дела он творил втайне, избегая славы суетного мира, поэтому памяти о них среди людей тоже не сохранилось. Но только среди людей, а не у Бога. Господь же его прославил, и в современной России Симеон Верхотурский – один из любимейших, широко почитаемых святых!

Вопросы санитарного контроля

Но вернёмся к нашей немецкой коллеге. Прошло время, и мы начали лучше понимать, что имела в виду Марта. В первый раз упомянув о ней, мы сразу перешли к отрицанию её сентенции касательно традиционной “интеграции смерти” в жизнь нашего общества. А ведь она во многом была права. Смотря с чем сравнивать! Она-то глядела на Россию из своего “прекрасного далека” и какие-то вещи ей были виднее.

– У нас часто не приглашают на похороны друзей, так как нельзя нарушать их хорошее настроение, – сказала она. – Даже родственников почти не извещают, за исключением самых близких. А у вас, наоборот, стараются,

чтобы пришло побольше народу. После кладбища зовут на поминки. Я тут прочла у одного этнографа, что вы зовёте даже малознакомых людей, если они пришли на кладбище. А ведь это создаёт дополнительные экономические проблемы... И ещё, помню, там было написано, что даже неверующие у вас поминают умершего на девятый и сороковой день. И снова накрывают стол!

А многие, добавим от себя, собираются в день смерти родственника или близкого друга каждый год. Кто-то даже дважды в год – в день кончины и в день рождения.

Приведём фрагмент разговора с другим иностранцем, новозеландским философом. Он тоже усмотрел в нашем отношении к смерти непривычную для современного западного человека традиционность, чуть ли не архаику.

– Я недавно был приглашён на похороны одного моего русского друга... У вас принята такая дикость или это частный случай?

– Что Вы имеете в виду? (Мы подумали, вдруг кто-то напился, не дожидаясь поминок.)

– Все присутствующие выстроились у гроба и по очереди целовали покойника в лоб, на котором была белая полоска бумаги. (Имелся в виду венчик. – **И. М., Т. Ш.**) Конечно, бумага в какой-то степени защищает от прямого контакта с кожей, но это всё равно не гарантия!

Снова вспомним нашу коллегу Марту. Она в разговоре о том, у кого смерть интегрирована в жизнь, а у кого – нет, спрашивала нас про обряд последнего целования: мол, действительно ли всё происходит так негигиенично. А мы, в свою очередь, поинтересовались, остался ли подобный обряд у них.

– Что вы, что вы! – испуганно замахала руками немка. – У нас такое просто немислимо! Мы очень серьёзно относимся к вопросам санитарного контроля.

Чуть позже от другой немки мы узнали, что во многих местах из соображений “санитарного контроля” гроб на время прощания накрывают специальной прозрачной крышкой. А ведь ещё недавно европейцы совсем иначе прощались с умершими... Классическая картина: покойник в доме, подле него – скорбные фигуры близких, бдение у гроба в ночь перед похоронами. Убитая горем мать поливает слезами и осыпает поцелуями бездыханное тело сына. Рыдающую жену не могут оторвать от супруга – вне себя от горя, она не в силах с ним расстаться, не хочет, чтобы его предавали земле... А обычай носить траур, даже лицо закрывать чёрной вуалью?... Где тут санитарные фобии? Где отделённость жизни от смерти?

Фрагменты истории

Хотя ничего не бывает на пустом месте. В истории Европы были разные периоды. В XVIII веке Париж не просто страдал от фобий. Его охватила настоящая паника по поводу кладбищенской заразы. В главе “Блезнетворность кладбищ: врачи и парламенты” Арьес рассказывает про аббата Ш. Поре, который в 1745 году призвал запретить многовековую традицию погребения внутри церкви и вообще вынести кладбища за город, чтобы обеспечить в городах здоровый воздух и чистоту. Он был не единственным, кто ратовал за “отделение от смерти”, о котором 250 лет спустя нам сказала наша немецкая коллега.

В 60-е годы XVIII века, “когда приход Сен-Сюльпис в Париже пожелал устроить новое кладбище вблизи Малого Люксембургского дворца, – пишет Арьес, – его владелец, принц Конде, решительно воспротивился. Генеральный прокурор не только признал правоту принца, но и призвал должностных лиц города обратить внимание на проблему новых кладбищ и их размещения. Соседство с могилами небезопасно для живых в густонаселённых кварталах, где высокие дома препятствуют циркуляции воздуха и рассеиванию нечистых испарений. Стены домов пропитываются зловонием и вредоносными соками, что служит, быть может, неведомой причиной болезней и смертей жильцов. Впоследствии врачи скажут об этом ещё увереннее, чем прокурор” (там же. С. 392).

В Париже развернулась широчайшая антикладбищенская кампания. Сохранились протестные петиции из кварталов, прилегающих к кладбищам, памятные записки магистратов, сочинения врачей, которые стали в это время настоящими властителями дум. Врачи публиковали трактат за трактатом, до-

казывая, как опасно жить вблизи кладбищ, и апеллируя при этом к якобы научной теории воздуха. Так что основы “гринписовского” мышления закладывались уже тогда!

“Заражение воздуха, — утверждал медик П. Г. Навье, — происходит и при перенесении останков с места их первоначального захоронения в погребальные галереи. Поэтому при погребениях и эксгумациях полезно зажигать огни, раскладывать большие костры, создающие очистительные потоки воздуха. Тех же спасительных результатов можно достичь и взрывами пороха. Воздух кладбищ портит всё вокруг: не только здоровье людей, живущих поблизости, но даже продукты и вещи в их чуланах” (там же. С. 393). Вскоре почти все жители Парижа были убеждены в безвредности кладбищ, и в 1763 году парижский парламент принял постановление. “Самым сухим и официальным тоном, — пишет Арьес, — постановление, проникнутое стремлением к чистоте, гигиене и порядку, требует закрыть все существующие в городе кладбища и создать за пределами Парижа восемь больших некрополей, где каждый приход имел бы одну общую могилу для всех его обитателей. В самом же городе оставались бы лишь помещения при церквях, куда после отпевания складывали бы тела умерших. Каждый день погребальные повозки разъезжали бы по городу, собирая трупы, положенные в гроб или зашитые в саван, с прикрепленным к ним номером прихода. Их отвозили бы на одно из коллективных кладбищ, где и хоронили бы в соответствующих братских могилах” (там же. С. 394–395).

Причём посещать эти некрополи не рекомендовалось, исходя из тех же гигиенических соображений. Однако общество, хотя и было убеждено, что кладбища угрожают здоровью парижан, всё-таки не пришло в восторг от радикализма постановления. Духовенство не хотело отказываться от захоронения при церкви, людям хотелось присутствовать при погребении близких. Идея, что это будет совершаться тайком, силами муниципальной полиции, их возмущала. В обществе ещё сохранялось некое равновесие между эгоистическими фобиями и чувством любви и долга. В конечном счёте, постановление 1763 года не было исполнено, но кампания за удаление кладбищ из городов продолжалась.

От романтизма к постмодернизму

Однако XIX век с его романтической настроенностью привносит в тему смерти новые мотивы. Соображения здоровья и гигиены куда-то улечиваются, а на первый план выходят возвышенные чувства любви, дружбы, верности, сострадания. Люди часто навещают могилы близких, беседуют с ними, утешаются мыслью о встрече на небесах.

Жаль, что мы растерялись в разговоре с новозеландским философом про “дикий обычай” последнего целования покойника и не попросили прокомментировать сцену из широко известного диалога романа Ш. Бронте “Джейн Эйр”. В этой сцене четырнадцатилетняя Хелен, которая учится в закрытой школе, больна чахоткой (так в старину называли туберкулёз, болезнь весьма заразную). Но Джейн Эйр это не смущает. Она хочет проститься с подругой, поцеловать её перед смертью. Джейн проникает в комнату, где лежит умирающая. Дальше — выразительная цитата: “Я ждала Хелен в своих объятиях. Она казалась мне дороже, чем когда-либо прежде. Я чувствовала, что не могу её отпустить. Я положила голову ей на плечо. Тут она сказала:

— Как мне хорошо! Последний приступ кашля меня немного утомил. А теперь я чувствую себя так, будто засыпаю. Не оставляйте меня, Джейн. Я люблю, чтобы вы были со мной.

— Я останусь с вами, Хелен. Никто не разлучит меня с вами.

— Вам тепло, дорогая?

— Да.

— Доброй ночи, Джейн.

— Доброй ночи, Хелен.

Она поцеловала меня, и мы вместе уснули”.

Наутро директриса, явившись в комнату Хелен, увидела, что Джейн Эйр спит, положив голову подруге на плечо, а подруга уже мертва.

Но в том же самом 1847 году, когда был написан роман “Джейн Эйр”, другой английский писатель, классик мировой величины Чарльз Диккенс на-

писал поистине провидческую повесть “Одержимый, или Сделка с призраком”, в которой предвосхитил события лет этак на 150, во всей красе показав, как быстро теряют человеческий облик люди, когда они отказываются от скорбных, горестных воспоминаний и хотят думать только о хорошем. Каким же даром прозрения надо было обладать, чтобы в те времена так ярко, так психологически точно изобразить картину столь рекламируемого ныне “позитивного мышления”!

В последние годы установка на то, что веселиться надо везде и всегда, распространяется даже на похороны. Вот маленькая цитата из письма одной пожилой эмигрантки, живущей в Западной Европе. Она пишет о новой услуге некоторых похоронных фирм, которые “решили, что негоже-де людям огорчаться и плакать во время похоронной церемонии, а посему придумали новый трюк: пригласили клоунов, которые успешно смешили родственников и друзей. Чтобы было не так грустно, а, наоборот, весело”. “А мне, — пишет автор письма, — от такого “веселья” делается жутко”.

Нам тоже, хотя здесь приглашение клоунов пока ещё в списке ритуальных услуг не значится. По крайней мере, мы о подобном не слышали. Но кое-какие подвижки в эту сторону налицо. Уже стало привычным провожать гроб с артистом в последний путь аплодисментами. Помнится, когда мы это первый раз увидели, была реакция оторопи. Да, логически рассуждая, конечно, можно сказать, что это как бы завершение спектакля. Спектакля жизни. Занавес. Аплодисменты. Но ассоциация-то какая? Аплодисменты — знак одобрения, а то и восторга. Что в данном случае одобряют коллеги-артисты? Что вызвало их восторг? Смерть товарища? Или они решили, что покойник в гробу — его последняя роль? Но это не роль, не театр, не спектакль, а настоящая смерть. Случай, про который можно сказать словами Пастернака: “И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба”.

А вот пример, когда дело не ограничилось аплодисментами вслед выносимому гробу. Из статьи в газете “Коммерсант” за 1 декабря 2006 года (№ 225), посвящённой похоронам одной известной актрисы: “Вчера в Центральном доме актёра прощались с актрисой (далее в тексте её имя. — И. М., Т. Ш.). О ней вспоминали, улыбаясь. Говорили, что актриса не простила бы грусти... В зале для панихиды о ней вспоминали так, что слёзы сентиментальных быстро высыхали”.

То есть шутили? От чего в подобной ситуации могли высохнуть слёзы? Если говорят что-то проникновенное, трогательное или патетичное, как принято на гражданской панихиде, слёзы, как правило, не высыхают, а, наоборот, выступают даже у тех, у кого до прощальных речей глаза были сухими. Но продолжим цитирование: “Дочке <актрисы> было очень грустно, но она старалась сохранять присущую этой семье улыбку... Александр Градский признался, что не станет говорить слезливых слов: “Потому что умерла не актриса. Умерла моя подруга... У нас была большая компания, мы очень веселились...” В холле Дома актёра было накурено. Здесь говорили о страстности актрисы и её чувстве юмора...”

Улыбка и юмор — прямо-таки смысловой рефрен этой заметки. Такое впечатление, что даётся новый императив: “Слезам на похоронах — нет, улыбке — да!” Так что клоуны в разноцветных колпаках не за горами...

Радовались, судя по отзывам другой журналистки (см. “Московские покойники станут ближе к Богу”, “Комсомольская правда”, 8 октября 2003 года) и на московской выставке “Некрополь — 2003”. “Внутри павильона, — пишет М. Кирсанова, — блестят лаком абсолютно новенькие гробы. По стенам развешаны венки и ленты. В углу сгрудились памятники. И среди всего этого “великолепия” чинно прогуливающиеся люди в чёрных костюмах жмут друг другу руки, улыбаются. Смерть здесь кажется такой близкой, что ничего, кроме радости, просто не остаётся”. На выставке предлагались (опять цитируем) “экзотические услуги: невероятным успехом пользовалось ... космическое похоронное бюро. Покойника предлагали отправить на земную орбиту или даже на Луну. Вы спросите: “Как?” — Это дело техники. Прах помещается в капсулу, отправляется на космическом корабле и вместе со ступенью корабля выбрасывается в атмосферу, где сгорает. За 1 грамм праха просили 995 долларов, за 7 — 5300. В общем, был целый прејскурант”.

Впрочем, и тут мы ещё не догнали “продвинутые” страны, где (цитируем уже третьего журналиста) “люди больше не хотят отходить в мир иной так же,

как миллионы усопших до них: в традиционном гробу, с печальным отпеванием и слезливыми речами на кладбище”. В обильно иллюстрированном журнале “Всё ясно” (№ 09, сентябрь 2006 года) даются фотографии оригинальных гробов, которые американский креативный класс выписывает из Ганы, специализирующейся на такой услуге. Гроб в виде телефона Nokia, бутылки “Кода-колы”, кроссовок, ананаса или банана, акулы, пистолета, ящерицы... Тематика разнообразна и готова удовлетворить самый причудливый вкус. И снова звучит тема веселья: “В африканской стране Гане, — пишет корреспондент, — весёлые похороны давно в порядке вещей. Умерших опускают в землю в ярко раскрашенных “тематических” гробах, а безутешные родственники в это время пляшут и поют”. “В США, — продолжает автор, — похороны всё больше напоминают светское мероприятие. Поминки по одному заядлому гольфисту устроили в гольф-клубе, и пепел усопшего развеяли над полем для игры. “Потому что сюда, а не в церковь ходил он каждое воскресное утро”, — пояснили родственники”.

Оригинальные нововведения

Приведя цитату про того, кто вместо церкви исправно ходил в гольф-клуб, мы вспомнили, что кое-где и церковь уже вовлечена в новые погребальные ритуалы. (Хотя в буквальном смысле погребальными их не назовёшь: погребение как таковое отсутствует.)

Центр Стокгольма. Батюшка приводит нас во двор огромного, когда-то католического, а ныне протестантского собора, где часть флигеля арендована Русской Православной Церковью, и устроен крохотный храмик.

— Погода солнечная... и завтра такая будет, — изрекает батюшка с какой-то не соответствующей этому метеорологическому прогнозу раздумчиво-печальной интонацией.

— Так это ж хорошо! — недоумеваем мы.

— Кому хорошо, а кому и не очень, — произносит батюшка, не меняя интонации. — Завтра воскресенье, литургия... А тут загорать будут, — он показал на аккуратно подстриженную лужайку напротив входа в храм.

— Люди выйдут после службы, только причастились — и сразу искушение: тётки без лифчиков разлеглись. Шведы, знаете, как солнышко ценят? Оно ведь тут редкий гость.

К моменту разговора наша поездка по Скандинавии близилась к концу, поэтому нельзя сказать, что это сообщение сразило нас наповал, поскольку за две недели всякого довелось навидаться и послушаться. Не тратя времени на бессмысленные в данном случае восклицания “Какой ужас! Какой кошмар!”, мы попытались внести конструктивное предложение.

— А Вы попросите их перебазироваться на соседнюю лужайку. Двор-то большой.

— Нет, — вздохнул священник. — На соседней лужайке не получится. Там по воскресеньям развеивают прах покойников.

А мы-то мгновение назад возомнили, что нас ничем не удивить!

— Что? Прямо тут? Зачем?

— Из соображений экономии. Ни на урну не тратишься, ни на захоронение.

Мы, конечно, понимали, что шутки здесь не уместны, но информация всё же “зашкаливала”. Тем более, что, проходя за несколько минут до беседы с батюшкой мимо той лужайки, мы не заметили никаких подтверждений его слов: ни креста, ни таблички, ни венков. Вообще ничего. Это была точно такая же лужайка, как и перед входом в церквушку-флигель.

Мы ступили на лужайку, неотрывно глядя под ноги с уже иной степенью внимания. И, наконец, обнаружили маленький, робкий след — тощий, пожухлый букет васильков. Он лежал с краешку, не приметно. Должно быть, человек, его принесший, не хотел омрачить ничьего хорошего настроения своим скромным знаком скорби...

Но и это ещё не предел. Некоторые особо практичные европейцы предлагают делать из покойников... удобрения. Шведский биолог Сюзанна Вииг, работавшая эту “новейшую технологию”, — запатентованную, к стати, уже в 35 (!) странах, — заявляет: “Сама природа задумала так, что умершие должны лежать в земле. Родственники скончавшихся могут вырастить на их прахе

цветы или добавлять останки покойников в качестве удобрения практически под все садовые культуры растений”.

Другие, особо креативные (к примеру, Гюнтер фон Хагенс), уже делают из покойников мебель. Третьи – тоже творческие личности – устраивают оригинальные экспозиции, в которых натуральные трупы предстают в виде скульптур. Есть одиночные, есть групповые. Кто-то на лавочке, кто-то на велосипеде, кто-то за шахматной доской... А любители юмора учредили в 1993 году так называемую премию Дарвина – за самую нелепую смерть. При чём тут Дарвин? Создатели премии отвечают: “Натуралист Чарльз Дарвин установил эффект естественного отбора, суть которого в том, что выживают наиболее приспособленные. В честь этой гипотезы... мы ежегодно вручаем премию Дарвина индивидам, которые предложили наибольшие усилия для того, чтобы улучшить генофонд земли. Мы награждаем тех, кто уничтожил себя наиболее глупым способом... Мы воздаём должное тем, кто находит оригинально идиотские способы самоуничтожения и таким образом помогает устранить слабости генофонда”.

Есть ещё производители детских кукол, изображающих трупы со следами разложения. А директор начальной школы японского города Сайтама решил порадовать ребятишек весёлой песней, где фигурировали слова “череп”, “катафалк”, “Дракула”, “мертвец”. И кончалась она на весёлой ноте: “Ну, а теперь давайте все умрём!”

И еще из истории...

– Ладно, хватит! – прервёт, не выдержав столь “густой” фактологии, читатель. – Вы лучше скажите, что это всё за жуть? Они там все с ума посходили или как?

С одной стороны, конечно, в здравом уме и твёрдой памяти подобные вещи вытворять не будешь. Но это банальное умозаключение мало что объясняет и, пожалуй, как ни странно, даже затуманивает картину. Возникает впечатление, будто все это явилось неожиданно, взялось с потолка, случилось вдруг. Но если немного углубиться в историю, то мы увидим, что многое из описанного и перечисленного нами – это в каком-то смысле повторы. Нет, не точные копии, но вполне узнаваемые подобию, аналоги. Скажем, известный архитектор начала XIX века Пьер Жиро, построивший Дворец правосудия в Париже, представив свой проект кладбища на конкурс, объявленный Французским институтом, предложил помимо архитектурной идеи превращать трупы в стекло и делать из них медальоны. Опустим множество деталей этого, как теперь выражаются, “гуманитарного проекта”. Скажем лишь, что автор продумал его до мелочей. И не только технологическую сторону, но и социально-экономический аспект. Дело в том, что так называемая “витрификация” (превращение покойников в стекло) выходила очень затратной, поэтому Жиро, как истинный гуманист, задумался о бедняках. И придумал: “Люди менее состоятельные, которые не могли бы оплатить стоимость витрификации, однако желали бы иметь по крайней мере скелет предмета своей привязанности, вправе были бы его потребовать, и им его выдадут при условии оплаты издержек на растворение плоти” (цит. по Ф. Арьес. С. 419). Даже оборванцы, у которых в кармане ни сентима, не были забыты. Парижский зодчий предлагал им своё утешение. Из “невостребованных” (то есть невыкупленных) скелетов можно изготавливать колонны кладбищенского портика или иные памятники, украшающие галереи.

Прагматик Жиро был не одинок в своих поисках. Задолго до него вопросом эффективной утилизации человеческих останков озаботилась европейская медицина. “Трупы рассматривались как сырье для изготовления очень действенных лекарств, – пишет Арьес. – Пот, выступивший на теле умершего, считался хорошим средством против геморроев и всяких опухолей... Бульон из обломков иссохшего черепа, истолчённых в порошок, призван был облегчить страдания эпилептика... Кости скелета рассматривались как средство их профилактики” (с. 304-305).

А вот свидетельство эпохи французской революции. О том, что творилось в провинции Вандея, впоследствии старались не вспоминать. Слишком шокирующие подробности выплывали наружу. Однако в конце XX века архивы, ко-

торые 200 лет были засекречены, стали доступными для изучения. По словам французского историка, который выступал с докладом на фестивале “Триалог” в Таллине осенью 2012 года, с вандейцев сдирали кожу и далее поступали очень хозяйственно: изготавливали из неё обмундирование для солдат. А в местности Клиссон солдаты вкопали в землю котёл, положили на него решётки и на них сожгли 150 женщин. Вытопленный жир – не пропадать же добру! – аккуратно собрали и выслали в Нант. “Это был жир высшего качества, – вспоминал позднее один из участников событий. – Его использовали в госпиталях”.

Куклы-мертвецы с признаками разложения тоже имеют свои культурно-исторические аналоги. Речь о весьма специфическом феномене *macabre*, представляющем собой реалистичное изображение разлагающихся трупов. “Именно наполовину разложившийся труп станет <в XIV–XVI веках> наиболее частым типом изображения Смерти”, – говорит уже не одиножды цитированный нами Арьес. Изображения эти не только рисованные (фрески и т. п.), но и скульптурные. Полуразложившийся труп можно увидеть не некоторых надгробиях. Конечно, надгробная скульптура – это не детская игрушка, но жизнь и искусство не стоят на месте...

А знаменитый *Danse Macabre*?! Пляска Смерти, часто изображавшаяся в позднее Средневековье на стенах кладбищенских галерей... “Пляска Смерти – это нескончаемый хоровод, где сменяются мёртвые и живые. Мёртвые ведут игру, и только они пляшут. Каждая пара состоит из обнажённой мумии, сгнившей, бесполой, но весьма оживлённой, и мужчины или женщины в одеяниях, подходящих их социальному статусу, с выражением ошеломлённости на лице” (Ф. Арьес. С. 129). Танцы в то время были более естественным проявлением двигательной активности, нежели катание на велосипедах, которых тогда ещё попросту не изобрели.

Да и клоуны на кладбище – это, если разобраться, никакая не новинка, а, наоборот, в какой-то степени возвращение к европейским культурным истокам (опять же с поправкой на время). В 1231 году Руанский собор запретил “под страхом отлучения плясать на кладбище или в церкви”. Это же постановление было почти в неизменном виде повторено на Нантском соборе в 1405 году: всем без исключения воспрещалось плясать на кладбище, играть в какие бы то ни было игры; не должно было быть на кладбище ни мимов (чем не клоуны? – И. М., Т. Ш.), ни жонглёров, ни бродячих музыкантов, ни шарлатанов с их подозрительными ремёслами (Ф. Арьес. С. 92).

Прекрасный новый мир

Однако при всех аналогиях есть и существенная, а вернее сказать, существенная разница. В прошлом все вышеописанные явления разворачивались на фоне общепринятой, узаконенной религиозности. Даже в эпоху французской революции богоборческий пыл робеспьеров и маратов вовсе не охватил большинство французского народа. Да, не все столь мужественно защищали христианскую монархию, как жители Вандеи. Но это не значит, что французы поспешили присягнуть на верность “богине Разума”.

Сейчас же на наших глазах происходит дехристианизация западного мира. Дехристианизация системная, последовательная и в то же время стремительная. Всё очевиднее, что “модераторы процесса” вознамерились вытеснить Христа и всё, чему Он учил людей, из жизни современного общества. Промежуточным этапом на этом пути были подмена понятий, искажение и извращение норм христианской морали. Однако в последнее время антихристианские силы чувствуют себя настолько уверенно, что не считают нужным маскироваться и открыто требуют пересмотра Заповедей. В конце января 2014 года это прозвучало на высоком международном уровне – на 65-й сессии Комитета ООН по правам ребёнка. Комитет потребовал от Ватикана изменить вероучение применительно к проблеме абортов и гомосексуализма. То есть фактически благословить детоубийство и содомские грехи.

Возвращаясь к теме смерти и разговору о существенной разнице, сформулируем это так: Святые Отцы учили христиан хранить память смертную, не забывая о той участи, которая постигает грешников в загробной жизни. “Помни о смерти и вовек не согрешишь”, – наставляет нас Библия (Сирах 7:39). По-

степенно отходя от Бога, человечество пыталось закрыться от памяти смертной, вытеснить её из своего сознания и жизни. Но теперь этот период закончился. *Memento mori*, память смертная вернулась в западное общество и даже стала, можно сказать, его идеей фикс. Компьютерные игры, с пелёнок прививающие детям вкус к убийству, книги, спектакли, фильмы... Само количество “убийственных жанров” весьма показательно: тут и детективы, и боевики, и триллеры, и фильмы ужасов, и “чёрные комедии”. И везде смерть показывается очень изобретательно, красочно, детализированно. Возвращаются и публичные казни. Казнь Саддама Хусейна транслировалась по телевизору, запись убийства Каддафи с последующим надругательством над его телом была выложена в сети интернет.

Когда-то, почти столетие назад, Олдос Хаксли описал в романе “Прекрасный новый мир” неслыханную по тем временам картину приучения детей к смерти. В его проекте будущего это так и называлось: “Смертовоспитание”. Детей приводили в “умиральницу” — палату, где люди проводили последние часы своей жизни, — предоставляя им возможность понаблюдать за “процессом” и параллельно развлекая играми и угощая шоколадными пирожными. То есть давали положительное подкрепление, чтобы смерть ассоциировалась у юных экскурсантов с чем-то совсем не страшным и даже весёлым и приятным. Когда у героя романа по имени Дикарь умирает мать, и он проявляет вполне естественные в этой трагической ситуации чувства, медсестра в умиральнице воспринимает их как “отвратительный взрыв эмоций”. “Как будто, — возмущается она, — смерть — что-то ужасное, как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать! У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексии и реакции”.

Современный западный мир почти реализовал вымысел фантаста. Хотя в хосписы, насколько нам известно, детей на экскурсии пока не водят, но на убийство жирафа с последующим его освеживанием уже приглашают. И толпа ребятишек с любопытством наблюдает за гибелью животного. Только один ребёнок, как рассказывают зрители зверского телешоу, надвинул на глаза шапку, чтобы не видеть душераздирающего зрелища.

Весьма поощряемы в наши дни и молодёжные группировки, в которых пропагандируется ранняя смерть, романтизируются самоубийства и образ смертника-террориста. Да, память смертная вернулась, но только она вернулась в другой мир — отвергающий Бога, уверяющий себя, что Его либо нет, либо Он не такой, как свидетельствует Евангелие. Безбожная память смертная не удерживает от греха, а, наоборот, подталкивает к нему. Большинство людей становятся холодными, чёрствыми, равнодушными, а в ком-то распаляется жестокость, пробуждается дремавший до поры до времени садизм.

“Смеяться, когда нельзя”

Естественно, возникает вопрос: “Зачем?” Зачем современный Запад так усиленно педалирует тему смерти, ломая традиционные табу? Зачем приучает людей — процитируем строчку Цветаевой — “смеяться, когда нельзя”? Судя по всему, это психологическая подготовка к глобальной опустошительной войне, зарево которой уже полыхает в разных точках планеты. Дело в том, что после Второй мировой войны в сознании народов, населяющих земной шар, был создан очень мощный барьер страха перед повторением подобной трагедии и, соответственно, мощного протеста против малейшей попытки развязать новую мировую войну. Не будем вдаваться в исторические подробности. Напомним лишь один общеизвестный факт: в ответ на создание блока НАТО незамедлительно возник военный блок стран так называемого Варшавского договора. И этот противовес, как показало время, достаточно надёжно удерживал горячие (чтобы не сказать “горячечные”) головы “ястребов” от развязывания глобальной войны. Система такого сдерживания была уничтожена вместе с Советским Союзом. Теперь угроза новой мировой войны более чем реальна, и те, кто в ней заинтересован, стараются поскорее разрушить вышеупомянутый барьер страха. Политически это выражается в попытках уравнивать гитлеризм со сталинизмом, обелить и даже героизировать предателей типа Власова и, напротив, унижить и опорочить подлинных героев войны. На наших глазах

в разных странах “вдруг” возникают и стремительно развиваются фашистские движения и организации. Уже замахиваются и на то, что ещё недавно было неоспоримо – на решения Нюрнбергского трибунала. Во всяком случае, постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что бандеровцы якобы были оклеветаны на Нюрнбергском процессе.

Но кроме политического аспекта, есть и другие. На наш взгляд, чрезвычайно важен аспект психологический. Ломка традиционных стереотипов, особенно в таком важнейшем вопросе, как отношение к смерти и к умершим, невозможна, если в обществе для этого нет соответствующей психологической почвы. Что ж это за почва? Ответить на такой непростой вопрос нам помог, как ни странно, двадцатипятилетний опыт работы с трудными детьми и подростками. У многих ребят в переходном возрасте проявляется весьма своеобразная реакция: испытывая сильную тревогу и страх, они пытаются не просто это скрыть (что вполне естественно – кому хочется выглядеть трусом?), но и всячески демонстрируют свою “крутость”: ёрничают, ведут себя вызывающе и издевательски. Страх при этом никуда не девается, но зато они, как им кажется, его надёжно маскируют злой иронией, цинизмом. В итоге душа их всё больше и больше погружается в пучину безысходности и одиночества. Но гордыня не позволяет им в этом признаться и тем более попросить помощи. Они надевают на себя маску суперменов, а под этой маской прячется заячья, но очень горделивая душа. Душа, которая не взрослеет, не мужает. Такие люди и вырастая, в сущности, остаются теми же псевдосуперменами. О таких говорят: “Молодец против овец...” Дать отпор серьёзному противнику они не дерзают и пытаются (на самом деле тщетно!) заглушить свою бессильную ярость, издеваясь над слабыми.

Именно в этом ракурсе и стоит, на наш взгляд, рассматривать сегодняшний *Danse Macabre*. Уж серьёзней противника, чем смерть, и представить себе невозможно. От него некуда спрятаться – всё равно рано или поздно настигнет. Поэтому своеобразной патологической защитой людей, которых мы описали, – а их современная масс-культура старательно формирует и поощряет! – становится кощунство. Не в силах сразиться со смертью, они открыто или исподтишка глумятся над мёртвыми, которые безответны. Отчасти это напоминает заклинательные ритуалы некоторых первобытных племён. В одном из своих ранних очерков знаменитый колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес изобразил такой ритуал: гроб везут на повозке, и когда он подпрыгивает на ухабах, громко хохочут, веря, что таким образом они отгоняют злых духов. Но одно дело – язычники, не просвещённые светом Христовой Истины, и совсем другое – наследники христианской культуры, отвергающие это наследство, как ненужный хлам, который только обременяет жизнь.

И тут начинается проступать силуэт основного “заказчика” новых ритуальных услуг. У всех народов во все времена существовало чёткое различие “свой-чужой”. Своих хоронили с честью. К убитым врагам относились совершенно иначе. Это отношение могло варьироваться от “милости к падшим” до глумления над телом поверженного врага. Над своими **не глумились никогда**. Ни тайно, ни явно. Это было табу.

А тут со своими поступают так, что врагу не пожелаешь! Соответственно, возникает вопрос: для кого все люди – враги? Ответ очевиден. Чем больше человечество отворачивается от Бога, тем вольготней издеваться над людьми врагу рода человеческого. Ну, а то, что многие люди “участвуют в делах тьмы” по неведению, его очень даже забавляет. Ведь он таким образом изощёренно глумится и над ними.

* * *

Однажды, отвечая на вопрос, с чего начинается человек, известный грузинский философ Мераб Мамардашвили ответил: “С плача по умершему”. Исходя из этого, смех по умершему – это что, конец человека? Или, точнее, конец человеческого в человеке?

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

НЕЛИБЕРАЛЬНЫЙ МЫ НАРОД

Все сейчас начинают пугать Россию предстоящим майданом. Но возможен ли он в России? Уверен, что невозможен. Вспомним все так называемые “цветные революции” последнего времени. Они, как правило, связаны с уникальным явлением: сближением радикальных националистов и радикальных либералов. При таком сближении большинство народа оказывается, хотя бы на время, на стороне этих национал-либералов.

Первый пример: Украина. Кто бы ещё недавно мог предвидеть, что либералы и активное еврейское лобби, как правило, поддерживающее либералов в любой стране, от США до России, вдруг дружно объединятся с крутыми украинскими националистами, прямыми потомками и продолжателями дела бандеровцев, прославившихся убийствами именно еврейского населения Украины! Мы уже достаточно долгое время видим невероятное: еврейские и либеральные лидеры Украины на глазах у всего мира кричат: “Слава Украине! Героям – слава”. И Порошенко, и Яценюк, и даже Коломойский.

Сама по себе речёвка не содержит ничего криминального, если забыть про то, что она взята из лексикона бандеровцев и фашистов. Напомню, что и в России в 1993 году наши баркашовцы кричали: “Слава России!” Но почему-то ни Бабурин, ни Зюганов, ни даже Жириновский этой речёвкой не воспользовались, потому что она была взята из лексикона власовцев. Как-то не представляю, чтобы на трибуне кричали “Слава России!” наши либералы Немцов, Гайдар, Чубайс и другие. Тем более, было непривычно и удивительно слышать и смотреть, как тот же Немцов, приехавший на Майдан, кричит: “Слава Украине!” Он же никогда не кричал: “Слава России!”

Западенская, пробандеровская часть Украины соединилась с либеральной элитой. Одни поставляли бойцов и решительных командиров. Другие поставляли финансы и информационное оружие. Вместе они до сих пор составляют большинство населения на Украине, и даже немалая часть русского населения Киева, Харькова и других крупных городов настроена весьма либерально и прозападно. И поддерживает майдан. Знаю это по своим родственникам в Киеве. Сами они друг над другом посмеиваются. Бандеровцы утверждают: мол, дайте нам укрепиться, и мы это либеральное сообщество уберём. Либералы шепчутся, что эти бандиты и националисты нужны им временно, для проведения войны и других решительных действий. Не секрет, что в карательные батальоны воевать в Донбассе идут не утончённые либералы. А уж тем более – не “голубые”! Само по себе поразительно: Украина сейчас ради сближения с Европой активно поддерживает все “голубые” решения Европы! Как это переваривают крутые бандеровцы, одному чёрту известно... Вот такая дикая смесь гомосексуалистов, либералов, “европейцев”, националистов и бандеровцев правит сегодня на Украине. Лозунг один: “Русофобы всех мастей, объединяйтесь!”

То же самое было и в Грузии: и там грузинские националисты и даже чуть ли не сталинисты объединились в своей русофобии с грузинскими либералами и “европейцами” и привели к власти антироссийский режим. Характерно, что почти все писатели как Украины, так и Грузии настроены против России, ибо они или из националистов (аналог у нас – патриотическое крыло литературы), или из западников и либералов (аналог у нас – либеральное крыло ли-

тературы), ибо просто обслуживающих власть лакействующих крупных писателей нигде в мире нет.

Сейчас российские либералы пробуют именовать лакейскими писателями всех наших крупных писателей-патриотов на основании того, что Путин стал заигрывать с патриотическими лозунгами. Бондарева и Распутина, Проханова и Прилепина, Шаргунова и даже Лимонова, хотя тот и отсидел в тюрьме несколько лет. Себя же наши либералы, от Димы Быкова до Макаревича, стали называть патриотами некоего лермонтовского толка. Они забыли, что Михаил Лермонтов воевал на Кавказе, был воинствующим империалистом и русоманом, был, скорее, нашим Киплингом. Вот пусть Дмитрий Быков повоюет сначала в Донбассе за Россию, а потом уж критикует власти.

Пример сплочения на основе русофобии националистов и либералов особенно заметен по отношению к Крыму. Казалось бы, бандеровцам населённый русскими Крым не нужен, он лишь затрудняет украинизацию самой Украины. Да и либералы-западники всегда русский Крым недолюбливали: больно уж из него Россией пахло! Им бы радоваться, что восемь миллионов (вместе с Донбассом) русских от Украины отчленили! Кстати, ещё по давним своим поездкам по Украине и Львовщине знаю, что и к донецким у западнцев, да и у либералов было крайне презрительное отношение, как к некоему рабочему быдлу. Потому и убивают их спокойно, ибо за своих никогда не считали. Им нужны лишь донецкие шахты, но без донецких русских. А кто на шахтах работать будет – пока не думают.

Я был бы рад, если бы все донецкие переехали в Россию. Нам нужны терпеливые и умелые рабочие. А в шахты пусть укрывозят тех же китайцев, среди потомственных шахтёров украинцев мало – не их это стезя. Да и Крым их взволновал лишь потому, что стал русским. Объявили бы о своей независимости крымские татары, вряд ли западнцы так стали бы реагировать. Мы, русские, без всяких юридических законов и международных правил всегда знали, что к украинцам Крым никакого отношения никогда не имел. Если бы Крым в хрущёвские или ельцинские годы мы отдали Турции, думаю, было бы меньше внутреннего протеста в душе у каждого. Потому и с крымскими татарами мы собираемся нынче не воевать, а договариваться. К туркам они уходить не собираются, торговать умеют, русский рынок им очень пригодится. Да и маловато их для независимого государства...

Но вернёмся к национал-либералам. Та же история происходила и в Молдавии. Националисты тянули в “великую Румынию”, либералы мечтали войти в Европу. Так же пытались националисты с либералами объединиться и в Киргизии, и в Узбекистане. Но в республиках Средней Азии у политиков, националистов и либеральной элиты нет такой развитой русофобии по одной простой причине: китайцев они боятся больше, чем русских. Русские не мешают им жить на своих землях. А уйдут русские – придут китайцы. Тогда один за другим исчезнут все среднеазиатские народы, как какие-нибудь кидани или манчжуры. Деваться среднеазиатам некуда. С одной стороны – Россия. С другой – Китай. Вот и выбирай.

Иначе было бы всё по той же общей схеме: националисты местные объединялись бы с либералами и устанавливали антирусский режим. И потому Казахстан при мудром Назарбаеве никогда особо антирусским не станет: русских Назарбаев боится меньше, чем китайцев.

В начале перестройки в странах Восточной Европы, от Польши до Болгарии, местные западники объединялись с местными националистами и поворачивались спиной к России. Но долгое единение западников-либералов-гомосексуалистов и патриотов-националистов невозможно. Мы видим это уже сейчас на примере и Венгрии, и Польши. Полякам не нужна дальнейшая германизация страны, они с подозрением смотрят на скупку всех предприятий Гданьска и Гдыни немецким бизнесом.

Немцы рано или поздно схлестнутся с поляками. Поляки – гордый народ. Так просто сталинские завоевания немцам не отдадут – ни Силезию, ни Данциг. Да и с русскими нынче полякам делить нечего. Им бы Львовщину себе вернуть, в чём русские могут им только помочь. Польские националисты поневоле повернутся лицом к России. Венгерские правые уже сейчас занимают прорусские позиции. Им тоже с Россией делить нечего. Естественно, прибалты будут упорно занимать крайне проамериканские и антирусские позиции: к власти там пришли националисты, объединённые с либералами-прозападниками, но там этот союз может продлиться долго, разве что со временем примет более прагматичную форму.

Пишу эту статью в новгородной Эстонии. По моим наблюдениям, западные туристы сюда просто не едут. Смотреть нечего, промышленности никакой. Крупнейший Новоталлинский морской порт, построенный в последние годы существования Советского Союза для транспортировки грузов, стоит пустой. Незаметно, чтобы эстонцы боялись русской оккупации. Скорее, они ждут её, только в туристическом варианте. Весь местный бизнес строится на русских туристах. Осталось только открыть безвизовый режим для жителей Петербурга, и Эстония оживёт. Всё больше эстонцев самого разного возраста и настроения это понимают.

Думаю, на Украине тоже со временем городские либералы поймут, что никакая “западнизация” им не грозит. Максимум – откроют границы. И, как и в Эстонии, треть населения быстро переедет в страны Европы – все запорожцы окажутся за Дунаем. Как и в Эстонии, исчезнет национальная культура под обвалом проамериканской кино- и телепродукции.

Этот парадоксальный союз националистов и либералов возможен лишь в форме русофобии. Он нежизнеспособен, и с исчезновением активной русофобии, естественно, распадётся. С неизбежностью: или придут к власти во всех её слоях либералы и отошлют обратно в Галицию всех западнцев, или же бандеровцы возьмут власть всерьёз и вычистят всех либералов. Любый майдан – это форма существования такого неестественного союза, который рано или поздно заканчивается.

И потому мне смешны страхи по поводу московского “майдана”. Не потому, что мы, русские, такие хорошие. Или – такие пассивные. Или – такие пропутинские. Русские патриоты и националисты никогда ни на каких условиях не объединятся с либералами и “проамериканцами”. Что для либерала хорошо, то для патриота – смерть. И наоборот.

Возвращение Крыма для любого патриота, от старых парижских белогвардейцев, когда-то уехавших из этого самого Крыма и всегда считавших его русским, до лимоновцев, от старых коммунистов советского закала до русских бизнесменов – благое дело. Патриоты могут любить или ненавидеть Путина, Ельцина, любого другого правителя, но они всегда будут любить свой народ, свою нацию, свою национальную культуру, своё государство.

Я сам был три года под уголовным делом. Грозило пять лет тюрьмы за мои печатные призывы свергнуть режим Ельцина. Любые власти с советских времён относились ко мне подозрительно. В советское время правительственная газета “Правда” писала в передовой об антиленинских настроениях молодого критика Владимира Бондаренко. Но эти настроения и тогда выражались в защите русской национальной культуры. Да и сегодня, поддерживая внешнюю политику Путина, я недоволен отсутствием национальной русской культурной политики, отсутствием реального развития промышленности и сельского хозяйства.

А этот путинский страх перед либералами чего стоит? Стоило Макаревичу заговорить о травле – сразу же возбуждают уголовное дело и засаживают в тюрьму молодого лимоновца, кинувшего в Макаревича банан.

Московский суд, согласно уверениям наших либералов, лишённый любой независимости и подчиняющийся путинской власти, назначает писателю Александру Проханову денежный штраф в полмиллиона рублей за излишне эмоциональную критику того же Макаревича. Так за кого же Путин? За Макаревича или за Проханова? Или это враги Путина управляют нашими судами?

Да и в литературе нашей никогда национальная русская литература, советская или антисоветская, Владимира Максимова или Григория Климова, Василия Белова или Валентина Распутина, Юрия Бондарева или Валентина Сорокина, или нынче Александра Проханова и Юрия Кузнецова, Станислава Куняева или Юрия Полякова, Захара Прилепина или Сергея Шаргунова не сольётся воедино с подражательски западной, либеральной литературой Даниила Гранина и Григория Бакланова, Дмитрия Быкова или Виктора Шендеровича. Были обречены на распад кратковременные союзы Бондарева и Бакланова, Проханова и Маканина, Быкова и Прилепина. И не потому, что кто-то из них талантливее, и не по человеческим качествам. Нет объективной причины для объединения в России либералов и патриотов. Правильно сказал Захар Прилепин: две разных расы.

Майдан у нас невозможен потому, что у нас нет той России, против которой наши патриоты могут объединиться с нашими проамериканцами-либералами. . .

Нелиберальный мы народ. Вольнолюбивый, но не либеральный. У нас всегда за краткосрочным Февралём идёт неизбежный государственный Октябрь.

ДМИТРИЙ ВОЛОДИХИН

ЭЛИТА РОССИИ: 300 ЛЕТ НАЗАД И СЕЙЧАС

В наши дни публицисты любят спорить о “качестве” элиты – административной, военной, дипломатической, интеллектуальной... Особенно часто полемизируют о свойствах современной российской элиты, творящей большую политику в России. Притом критерий, с помощью которого определяется качество, в подобных спорах чаще всего произвольный. Российские верхи бывают хороши или плохи в зависимости от того, что “текущий момент” диктует автору статьи...

Между тем, единственный критерий, с помощью которого можно сколь-нибудь надёжно оценить деятельность элиты, – это плоды её работы. Проще говоря, военная элита должна побеждать на полях сражений, дипломатическая – заключать выгодные для страны соглашения, административная – обеспечивать достойную жизнь народу, законность и порядок.

И в отношении современности здесь, мягко говоря, много вопросов. Если пользоваться правилом “узнаешь по плодам их” последовательно, возникнет странное ощущение: политическая элита современной России словно бы расколота на фрагменты, не составляющие никакого единства. Кто-то более или менее честно работает на страну, а кто-то... – как бы это выразиться точно и вежливо в одно и то же время?... – оказался в роли живого актива внешних сил, для коих Россия – расходный материал. Наверное, можно говорить о том, что значительная часть нашей политической элиты “приватизирована” и “акционирована” извне.

Для того чтобы понять, насколько эффективнее работает элита “монолитная”, не изувеченная трещинами и расколами по всем направлениям, стоит приглядеться к русскому прошлому. Были ведь там времена, когда страна управлялась элитой, органически выращенной самой русской почвой. Например, эпоха допетровской Руси.

Что представляли собой элиты России и сколь удачно решали они главные задачи, удобнее всего показать на примере элиты военной.

Между Иваном Великим и Петром I лежит величественная эра Московского царства. Именно тогда из россыпи мелких самостоятельных княжеств и земель родилась единая могучая Россия. Именно тогда расширилась она от Киева и Смоленска до Тихого океана. Именно тогда отстояла она свою независимость от сильных и опасных врагов.

Казалось бы, двести с лишним лет масштабных войн должны были породить мощную военную элиту, десятки блистательных командармов. Ведь кто-то

присоединял же к Москве Новгород Великий и Тверь, громил Литву, бил татар, брал Казань и Полоцк, освобождал Москву от польских захватчиков, отбивал Малороссию у Речи Посполитой! От рождения своего Московская держава была принуждена воевать неустанно. Границы её пылали то и дело, сама жизнь её не раз висела на волоске. На протяжении двух веков мирное десятилетие воспринималось русским обществом как утопия: такого быть не может, потому что не может быть никогда! Наши предки неустанно дрались насмерть с кочевыми народами, поляками, литовцами, немцами, шведами, турками...

Держава устояла.

Но чего это ей стоило!

В XVI веке Московское государство должно было каждый год собирать и в полной боевой готовности отправлять “в поле” одну, две, а то и три армии. Если ни на одной из русских границ не велось боевых действий, что ж, этот год можно было называть счастливым, но войска все равно приходилось выводить... во избежание скверных неожиданностей.

Соответственно, очень многое зависело от того, кому доверяли командование действующей армией. И действительно: военная история России конца XV–XVII столетий полна великих имён. Искусных и отважных полководцев у нас хватало!

Но кого из них знает образованный русский наших дней? Пожарского. Как же не знать Пожарского, он вошёл во все учебники! И... и... и всё. В лучшем случае, Скопина-Шуйского, в самом лучшем случае – Ивана Шуйского, ибо его Карамзин назвал спасителем России.

Такие полководцы-титаны, как Даниил Холмский, Даниил Щеня, Семён Микулинский, Михаил Воротынский, Дмитрий Хворостинин, Андрей Голицын, Борис Лыков, Юрий Барятинский, Яков Черкасский, Юрий Долгоруков, Иван Хованский, Григорий Ромодановский для подавляющего большинства русских – неизвестно кто.

В том числе и для тех, кто всерьёз интересуется историей своего народа.

Более того, наш современник не очень понимает, откуда они все взялись, какое сословие их породило, что за школа в отсутствие каких бы то ни было воинских училищ дала им знания, приводившие от победы к победе.

Вот об этом и стоит поговорить.

АРИСТОКРАТИЯ КАК ФАБРИКА ВОЕВОД

Исторические источники называют сотни имён русских военачальников допетровского времени. Это позволяет безошибочно определить, какая среда являлась тогда живой “фабрикой полководцев”.

90% от числа всех сколько-нибудь крупных военачальников – выходцы из русской аристократии. Не просто из дворянства, нет, из наиболее знатной его части, то есть боярско-княжеских родов.

Исключения редки.

Таков, например, казак Ермак, столь же далёкий от аристократии, как сельская ворона от павлина в царском саду. Но он командовал несколькими сотнями бойцов, и поход его для Москвы выглядел как микроскопическое предприятие. Если бы Ермак сам не сообщил бы Ивану IV о своем фантастическом успехе, его могли бы и не заметить.

Талантливые служаки-дворяне, в опричнине возвышенные Иваном IV более, чем позволяла их “родовая честь”. Например, даровитые воеводы Михаил Безнин и Игнатий Блудов.

Кто-то из незнатных дворян пробивался в военную элиту за счёт удачной матримониальной комбинации, как Никифор Чепчугов-Клементьев.

Ну, а некоторые на время возвысились из “полевых командиров” в столпы царства, когда на просторах России бушевала Смута, и государственный порядок на время хаотизировался. Таков знаменитый Прокопий Ляпунов. Но всё это – кадровые аномалии. До XVIII века простой дворянин неаристократического происхождения мог занять высокий воинский пост лишь в силу каких-то экстраординарных обстоятельств.

РОД, СЛУЖБА И ЗЕМЛЯ

В XVI веке на Руси происходила борьба между древними родовыми устоями, пронизывавшими всю жизнь общества, и государственным интересом, тяготевшим не к роду, а к службе. Начало служилое, намертво прикреплённое к монарху, его милостям и опалам, его высоким помыслам и ничтожным капризам, худо согласовывалось со старинным дружинным бытом, жившим в крови нашей знати. Государи московские желали править единодержавно, возвышаясь над обществом, подчиняясь одним лишь заповедям Христовой веры, но не каким-нибудь обязательствам законодательного или семейного свойства.

Жизнь Московской Руси, постепенно собиравшей из крошева малых княжеств и вечевых республик великое Царство, была пестра, сложна. Великий князь московский подчинялся многим древним обычаям. Землёй своею он владел вместе с родом, с семейством. Ближайшая родня его имела широкие права на полусамостоятельный политический быт в своих уделах, являвшихся отдельными частями громадной “семейной вотчины”. Удельный мятеж мог свалить великого князя с престола или, во всяком случае, крепко испортить его планы. . . Очень медленно, очень трудно умирало представление о коллективном, “семейном” правлении землей. Чудо, что Московское княжество не развалилось на отдельные государственные образования!

Бояре при дворе великого князя когда-то назывались “старшей дружиной” и могли покидать своего князя, если видели, что оставила “вождя воинов” удача, что утратил он искусство побеждать врагов. Осознав слабость правителя, дружинники принимались оглядываться по сторонам в поисках нового вождя, отмеченного счастьем и высоким воинским умением. А когда переходили к нему, то ничуть не стеснялись долгом в отношении прежнего господаря. И боярские семейства XV–XVI веков отлично помнили древнее своё право: уйти в другую “дружину”, если потребует. Спорный вопрос заключался лишь в том, кому достанутся земли, которыми владел боярин, когда служил предыдущему князю. Но если право на них отстоять не удастся, то, на худой конец, новый правитель пожалует что-либо взамен. Так мыслили потомки “старшей дружины” при дворе Дмитрия Донского, Василия Тёмного, Ивана Великого. Дружинное мировидение это перешло, хотя бы отчасти, и в эпоху Ивана Грозного.

Ну, а князья, оказывавшиеся при дворе московских монархов, очень хорошо помнили: Русь – коллективное владение огромного, разветвившегося рода Рюрика, за исключением западных её областей: там – “вотчина” разветвившегося рода Гедимины. И как потомки Рюрика или Гедимины, все они имели древнее право на частицу этих владений. Малую ли, большую ли, но – принадлежащую им *по праву крови, по праву рождения*. Многие княжеские роды, ко временам Ивана Грозного утратившие роль самостоятельных правителей, ещё в XV веке правили в богатых уделах, а то и больших независимых княжествах. О XIV веке и говорить нечего – те же Шуйские, например, происходили от Суздальско-Нижегородских князей, создавших колоссальную державу и даже отбиравших время от времени у Москвы великое княжение Владимирское! Никто ничего не забыл: как предки водили в бой собственные армии, как сами решали вопросы дипломатии, чеканили свою монету, издавали новые законы для подвластных им земель. . .

А Ванька Московский пришёл и всё забрал!

О, как хорошо, кабы вернулась благословенная старина. . .

Но благословенная старина сменилась реальностью Московского государства. И монархи всяя Руси крутенько обходились со своей роднёй! Власть над землёй они с боем, с натугою, а всё же забрали у рода Калитичей и присвоили себе. В боярах больше не видели они вольных дружинников, но лишь служильцев своих. Противны были им вздохи “княжат” о прежней вольности. Зато на землях громадного Московского государства не лютовали татары, границы его оказались под надёжной охраной от любых злых пришельцев, а кровавые междоусобья, раньше происходившие столь часто, ушли в прошлое.

Какую пришлось заплатить за это цену?

Вся древняя знать, сильные люди, по жилам которых бежала кровь государей и слуг их, великих воинов, оказалась в утеснении.

Какая доля ей оставалась?

Бороться за то, чтобы “право крови”, “право рода” принесло ей иные блага. Ушло “семейное правление” землёй? Ушла возможность быть самостоятельными державцами? Ушла возможность “дружинного перехода”? Так пусть же великий государь московский навеки закрепит за ними право на большие чины и высокие должности у трона своего – пусть даст его тем, кто всё это потерял!

ВЕЛИКОЕ БЛАГО МЕСТНИЧЕСТВА

И государи московские какое-то время признавали: да, древняя аристократия на многое имеет привилегию. Система местничества, передававшая знатым потомкам от знатных предков “родовую честь”, гарантировала им высокие назначения в армии, при дворе, в правительстве или административных учреждениях.

А не признали бы, так пришлось бы кроить и перешивать державу после страшных мятежей, которые, надо полагать, устрашающей волной прокатились бы по всей России. Тут – великое благо местничества, спасшее Россию от большого кровопролития. Местничество – гениальное русское изобретение, оно избавило страну от чудовищной фронды и бесконечных “шляхетских наездов”.

Новый порядок медленно, очень медленно перемалывал старые обычаи. Порою он отступал, как в малолетство Ивана IV, но впоследствии, так или иначе, восстанавливался. Удельная, дружинная старина отступала.

У древних аристократических привилегий могло быть два маршрута.

Либо русской служилой знати удалось бы их упрочить, зафиксировать законодательно (и такие попытки предпринимались не раз), тогда Россия превратилась бы во вторую Речь Посполитую, и соседи разделили бы её между собой, как поступили в XVIII веке с Речью Посполитой Россия, Пруссия и Австрия.

Либо они постепенно превратились бы в анахронизм, отмерли бы в течение нескольких поколений, лишь только память о временах удельной Руси стёрлась бы в умах.

В конечном итоге реальностью стало второе. На протяжении XVII века, особенно после Великой смуты, наша знать, теряя виднейших своих представителей, понемногу сдавала позиции. Сильный удар нанесла ей отмена местничества, произошедшая при царе Фёдоре Алексеевиче.

РАСА ГОСПОД

Служба теснила род. Способности и заслуги неспешно одолевали “отечество”. Процесс этот шёл крайне медленно не только из-за бешеных амбиций аристократии. Нет. Дело было ещё и в том, что сама русская аристократия XV–XVII столетий была плодородной почвой для руководителей отличного качества. Знатного человека с детства учили управлять людьми, воевать, рассчитывать тактические и стратегические последствия своих действий.

Вот она – школа воинских побед и государственного управления! Её обеспечивали старшие члены рода младшим. Ремесло командира, судьи, государева советника передавалось из рук в руки, из уст в уста. И эта система “домашнего обучения” прекрасно работала на протяжении двух веков. Аристократы приносили русскому знамени победы, а государю – приращение земель. Те самые “жирные бояре”, из которых советские писатели и кинематографисты с упоением делали посмешище, отлично держали на своих плечах царство. “Железные наркомы” так уже не умели – навыка не хватало...

Аристократу оставалось самому выучиться служить... Но именно это умение давалось с большим трудом. Аристократ понимал, как приносить победы на ратном поле, знал, как вершить дела в многолюдных городах и обширных областях, освоил навык правильного суда, но гордыня мешала ему склонять жёсткую выю перед государем.

Итак, у этой системы имелся лишь один недостаток: аристократ-управленец сам был плохо управляем...

Между тем, ниже аристократии плескалось море незнатных служильцев, жаждавших возвышения и готовых при всяком случае отдать земной поклон

монарху, а если надо, то и встать перед ним на колени. Этим кровью возвыситься не могла – только служба! Но долгое время они не могли соперничать с аристократией по “качеству” своему. Они ведь не располагали ни опытом, ни воспитанием “управляющего человека”. Русская знать XVI века – “раса господ”. Русское дворянство XVI века – стихия исполнителей. Не так уж много по-настоящему даровитых людей могло дать дворянство государю, когда он пожелал отыскать замену хотя бы части управленцев-аристократов.

ОПРИЧНИНА КАК ПОПЫТКА “КАДРОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ”

Опричнина представляла собой попытку разрушить старинные права знати радикальным способом. Решить дело просто, быстро, зло. Наскоком, нахрапом. Чуть ли не революция происходила в той общественной сфере, которая требовала кропотливой и неспешной преобразовательной работы.

И... методы проведения этой полуреволюции-полуреформы подвели царя Ивана IV с его помощниками: поставленные цели достигнуты не были.

Прежде всего, те слои русской знати, которые поддержали опричнину, стремились подправить существующий порядок, а не ломать его. Выходцы из этих групп – старинного московского боярства, второстепенной княжеской аристократии – оказались слишком самостоятельными, слишком своеобразными инструментами для Ивана IV. Им совершенно не требовалось полное разрушение местнической системы. Их не мог радовать масштабный государственный террор. А неродовитое дворянство, готовое идти гораздо дальше по пути ломки древних устоев и полностью подчиняться велениям монарха, не располагало серьёзными управленческими кадрами.

Что, в сущности, представляли собой Малюта Скуратов, Василий Грязной, Григорий Ловчиков, Булат Арцыбашев и прочие опричные выдвигенцы? Разве годились они на роли воевод, дипломатов, наместников для больших городов? Цепные псы государевы предназначены были для другого. Пытать, резать, вешать, грызть, головы сносить – пожалуйста! Сколько угодно! А вот когда им доверяли серьёзное дело, как доверили, например, Василию Грязному разведку на Степном Юге, верные “исполнители” имели все шансы его провалить. Не из каких-то расчётов, а просто по отсутствию соответствующего воспитания, опыта и способностей.

К несчастью, таких одарённых людей, как Безнин и Блудов, среди них нашлось немного: раз, два – и обчёлся.

Опричнина отнюдь не уничтожила привилегий первостепенной княжеской аристократии. Не привела она к высотам власти и неродовитое дворянство. После её отмены относительно немногие персоны задержались “в приближении” у государя. Главным образом – дельные люди “безнинского” типа. Но во второй половине 1580-х, при царе Фёдоре Ивановиче, последние из них оказались изгнаны с вершин большой политики. Ничего не осталось от опричнины.

Кроме, пожалуй, памяти.

И вот она-то оказалась большой ценностью.

Как будто высокий, могучий человек, не глядя, сунулся с улицы в маленькую дверь с низкой притолокой и крепко ударился головой. Потирая ушибленную макушку, он всё же заходит в дом, но уже не торопясь и с оглядкой. Так и русская монархия: после опричного “эксперимента” она пошла по верному пути *неторопливого выдавливания родовых начал из политического строя России*. Опричнина очень хорошо показала: ни в коем случае не нужна новая опричнина. Малюта прочно вошёл в народную память и остался там болью от ушибленного места, печальным опытом: не надо бы больше нам никаких малют...

УЗКИЙ КРУГ ВЫСШИХ ВОЕВОД

С отмены опричнины до падения Василия Шуйского армиями русских государей безраздельно управляет аристократия. Точнее сказать, примерно 25–30 родов, которым доверяли высшие воеводские посты.

Обстоятельства большой политики то выдвигали один из родов на первый план, то опускали его статус ниже прочих, но местническая система позволяла знатнейшим семействам восстанавливать их высокое положение даже по-

сле самой страшной опалы. Так что русские воеводы “тасовались”, как карты в маленькой колоде.

“Командармов” назначали из знатнейших Рюриковичей, знатнейших Гедиминовичей и древних родов боярства, веками служивших Московскому правящему дому.

К числу первых относились князья Шуйские, Одоевские, Пронские, Воротыньские, Татевы, Ростовские, Оболенские, Долгоруковы, Звенигородские, Хилковы, Ногтевы, Засекины, Хворостинины, Ромодановские.

К числу вторых – князья Голицыны, Мстиславские, Куракины, Трубецкие, Хованские.

Из третьей группы следует назвать Романовых-Юрьевых, Шереметевых, Морозовых, Бутурлиных, Шеиных, Плещеевых, Головиных, Колычёвых, Салтыковых, Сабуровых и Годуновых.

Минула Смута.

При первых Романовых долгое время ничего кардинально не менялось. Разве что возвысились некоторые новые роды, а старые угасли. Но система в целом сохранилась.

Лишь с середины XVII века местничество начало размываться и к концу столетия ушло в прошлое.

Петр I нашёл ему замену в “Табели о рангах”: теперь до командных высот мог дослужиться и совершенно не знатный дворянин.

Удельному, родовому, героическому, буйному прошлому на смену шло государственное, служилое, размеренно-созидательное будущее. В исторической перспективе маршрут Малюты окажется тупиковым, а маршрут Безни-на – торной дорогой.

Но вот вопрос: а эффективнее ли та система управления, которая основывается не на родовой аристократии, а на службистах? Она привычна современному человеку, однако привычка эта не является аргументом в пользу более высокого качества.

Да, аристократ был плохо управляем. Но у него было сознание хозяина земли, а не винтика в державной машине. И его готовили к работе генерала, судьи, администратора с самого детства. Вуз и опыт практической работы лучше? Кто знает...

КРОВЬ И ВЕРА

Петр I разрушил ещё одно важное правило, на котором было основано устройство воинской элиты. Оно касалось крови и веры военачальника.

Итак, базовый принцип – незнатный человек не может командовать войском – свято соблюдался до второй половины XVII века. Однако чистокровная русскость от аристократа не требовалась. Принципа этнической чистоты не существовало. Черепя не измеряли.

Так, при Иване Грозном на высокие воеводские посты ставились представители “выезжей” знати. Например, “воеводичи” молдавские. Но чаще – выходцы из татарской, ногайской, северокавказской знати (князья Черкасские, Шейдяковы, Тюменские и т. п.). На Марии Черкасской сам царь был женат вторым браком.

Таким военачальникам, не имевшим порой ни капли русской крови, давали в подчинение полки и даже целые армии. Подчиняться им не считалось зазорным, ибо знатность их рода не вызывала сомнений ни у кого.

Вот только при этом от каждого, кто хотел продвигаться в верхний эшелон русской военно-политической элиты, требовали креститься в Православие.

Те же Черкасские (северокавказский род) перешли в Православие, а с течением времени и обрусели. Они вообще занимали в России исключительно высокое положение. Более полувека – со времён опричнины до падения Годуновых – они получали посты самой высшей воинской иерархии. При Василии Шуйском их значение снижается: как уже говорилось, Черкасские были сильны тем, что они – родня второй жены Ивана IV. Но Шуйские принадлежат к Суздальско-Нижегородскому дому Рюриковичей, а не к Московскому, для них это родство не столь уж значимо. Впрочем, и при Василии Шуйском князей Черкасских не изгнали из военной элиты, лишь понизили их статус: им теперь доверяли командовать не армиями, а всего-навсего... отдельными полками.

Черкасские даже всерьёз претендовали на русский трон во время Земского собора 1613 года, и это никого не удивляло. Давно свои, никаких вопросов...

Таков был фундамент всего государственного строя России со времён Ивана III Великого и до Алексея Михайловича. Верность Православию всегда и неизменно ставилась выше, нежели верность крови, то есть принадлежности к тому или иному народу.

А как же было с теми *выезжими* аристократами, которые не желали перекрещиваться?

Их ожидала куда как менее завидная судьба.

Татарские “цари” и “царевичи”, иными словами – чингизиды, на службе у русских государей возглавляли небольшие контингенты своих единоверцев – служилых татар. Кроме того, их время от времени номинально ставили командующими в действующей армии, но реальной власти не давали. Фактически “командующие”-чингизиды служили своего рода “украшением” русского войска. На Востоке, да и в Восточной Европе династия Чингисхана пользовалась высоким авторитетом. Эту кровь считали “высокой”, “царской”. Россия не стала исключением. Чингисов род почитали и у нас. Русское командование превращало “карманных” чингизидов в своего рода “выставку достижений народного хозяйства”. Участие подобной персоны в каком-нибудь походе призвано было нагнать страху на соседей и лишний раз показать могущество русского государя: раз уж ему сами чингизиды служат, то он могуч!

Но при всём при том, некрещёных представителей выезжей знати, будь они хоть сто раз Чингисова рода, не допускали на заседания Боярской думы! Да и руководили русскими армиями не номинальные командующие, а вполне реальные царские воеводы, формально числившиеся в том же войске “честию ниже” чингизидов. Один из служилых “царей”-чингизидов, Семён Бекбулатович, всерьёз рассматривался как претендент на русский престол, когда род Московских Рюриковичей пресёкся. Но в числе претендентов на трон он оказался только после того, как принял Православие: некрещёный царь, некрещёный воевода – нонсенс для Московского царства.

Можно сказать со всей определённостью: нерусским московское правительство могло довериться, неправославным – никогда! Эта политика проводилась с крайней жёсткостью. Отступления не допускались.

Когда сей принцип начал ломаться?

Довольно поздно: в середине – второй половине XVII века. А именно в тот момент, когда московское правительство решило сделать ставку на формирование “полков нового строя”. Иными словами, армии европейского образца.

И раньше Москве служили офицеры-наёмники: шотландцы, голландцы, французы. Любили у нас нанимать на службу итальянских военных инженеров, немецких лекарей, датских мореплавателей... Представление о том, что до Петра I Россия отгораживалась от Европы, неверно. У нас с честью принимали западных специалистов, торговали с половиной европейских стран, наладили постоянное дипломатическое общение с англичанами, немцами, датчанами и т. п. Не существовало в ту пору никакого “железного занавеса”. Но как в XVI, так и в первой половине XVII века присутствие иноземцев в русской армии было ничтожным. Десятки, в лучшем случае, – сотни бойцов. Ничего значительного.

А вот в середине XVII столетия положение стало меняться. Царь Михаил Фёдорович начал, а его сын, царь Алексей Михайлович, поставил на массовую основу устройство пехоты и конницы, вооружённой по-европейски, использующей европейскую тактику и проходящей европейское обучение. Тогда, именно тогда России понадобились в изрядном количестве западные офицеры высокого ранга, притом не на временную службу, а навсегда. Чтобы они могли учить русские “полки нового строя”, руководить ими в бою, передавать опыт русским военачальникам.

Так появились в русской армии полковники и генералы, взятые на службу из Западной Европы. Им позволялось сохранять их веру. Притом католиков старались не брать, чаще имели дело с представителями разных деноминаций протестантизма. Любопытно: задолго до Петра I в Немецкой слободе, на окраине Москвы, появились три протестантских церкви, но католический храм позволил возвести только Пётр Алексеевич, да и то далеко не сразу. Католиков недолюбливали, поскольку опасались, что те станут помогать старому злому врагу России – Польше. И на то имелись самые серьёзные основания...

Но при всех конфессиональных “льготах”, неправославный военачальник не мог входить в состав армейской элиты России. Во всяком случае, ни при Алексее Михайловиче, ни при Фёдоре Алексеевиче, ни при царевне Софье ему не доверили бы командовать армией.

Именно этот запрет уничтожил Пётр I.

А вот оправданно ли... Большой вопрос. Многовато служилых немцев, нимало не православных, оказалось у руля правления Россией в XVIII столетии. И слишком многие из них более радели о собственном кармане, чем о благе земли Русской. А некоторым задачи чаще ставили иностранные государи, нежели собственные, российские...

* * *

Тут вновь приходится вернуться к вопросу об “акционировании” элиты извне. Решающий вопрос — почва, из которой растёт элита. Культура, вера, традиции, точнее говоря, — Традиция.

Не дай Бог видеть у штурвала власти персон, которые мыслят себя частью некой наднациональной, надконфессиональной элиты, правящей “простыми смертными” с заоблачных высей великого финансового олимпа. Не дай Бог! Ведь продадут, не моргнув глазом, за одно дружеское похлопывание по плечу. Разумеется, если сей ободряющий жест совершит рука, высунувшаяся из туч, скрывающих пиры “олимпийцев”. Собственно, уже продавали...

Лучше плохонькие, да *свои*. Из них со временем выйдут *свои* вполне личного качества. И воеводы, и государи.

МИХАИЛ ЧВАНОВ

“БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ!..”

О настоящих людях

У книг, как и у людей, своя судьба. Без преувеличения можно сказать, что несколько поколений советского народа (а такой народ существовал и реликтивно ещё существует, и это далеко не худшая часть человечества!) воспитывалось на романе Вениамина Каверина “Два капитана”, прототипом штурмана Климова в котором стал выдающийся полярный исследователь, человек невероятного мужества Валериан Иванович Альбанов. Роман критики снисходительно отнесли к легковесному, а может, даже второсортному приключенческому жанру. Были написаны в то время книги, и не самые плохие, на которых предписывалось воспитывать подрастающее поколение, например, “Молодая гвардия” А. Фадеева, “Как закалялась сталь” Н. Островского, но, может, потому, что они были слишком идеологизированы и насаждались силой, а эту никто силой читать не заставлял, потому как роль партии в поступках Саши Григорьева не прослеживалась, роман Каверина читали, передавая из рук в руки, и что-то трепетное и святое поднималось в душах подростков.

Да, можно сказать, что книга написана и *выстрелила* в нужное время: смутные и тревожные тридцатые годы, пионерская и комсомольская искусственная идеологическая жвачка и, как продых, романтика освоения Арктики. Как ни относиться к И. В. Сталину, остаётся только поражаться тому, насколько мудро, прозорливо и последовательно он претворял в жизнь, не считаясь ни с чем, порой с человеческими судьбами, завещание гениального Михаила Васильевича Ломоносова о необходимости освоения Арктики, из которой, по одной из гипотез, со ставшего теперь подводным хребта Ломоносова, мы в древности спустились в более южные широты. И дело не только в несметных природных богатствах Арктики, но и в её геостратегическом положении. Вслед за Ломоносовым Сталин предвидел, что рано или поздно наступит время, когда Арктика станет предметом спора и даже конфликта между целым рядом государств и, чтобы предотвратить это, нужно как можно скорее заявить на неё свои законные права. Иначе говоря, кто владеет Арктикой, тот владеет миром, и Сталин торопился: был создан мощный ледокольный флот, стал практическим домашним Северный морской путь, на арктических островах прочно обосновались научные и военные базы, и соседи по Арктике не смели с этим спорить, да они были просто не способны осваивать этот суровый край. Словом, Арктика становилась обыденностью, но интерес к книге не утихал, а передавался новым поколениям.

Одно из страшных преступлений постсоветской власти состоит в том, что, оборвав страну, бросившись осваивать тёплые Канарские и Гавайские острова, она практически увела Россию из Арктики, объявив её обременительной и не нужной России, на радость осмелевшим и даже обнаглевшим соседям. И только теперь, спохватившись, уже конфликтуя с другими странами, которые зря не теряли упущенное Россией время, мы понемногу начинаем восстанавливать потерянные позиции.

Загадка “Двух капитанов” ещё и в том, что сам автор серьёзного значения роману не придавал, считая книгу чуть ли не случайной в своём творчестве. Когда незадолго до его смерти я навесил Вениамина Александровича в подмосковном Переделкине, он чуть ли не с раздражением мне говорил: “Ну, что вы всё с этими “Двумя капитанами”, словно я ничего другого, более значительного, не написал?!” И я с удивлением обнаружил, что ни одной из более чем пятидесяти написанных им книг, кроме “Двух капитанов”, не знаю. Он так и ушёл в мир иной с горьким сознанием, что остался писателем одной – совсем не главной для него! – книги, хотя редкий писатель может похвалиться и таким счастьем. Какую-то, неведомую самому автору струну задел он в наших сердцах, поэтому его книга в воспитании целого ряда молодых поколений сыграла столь большую роль.

Я долго ломал над этим голову и пришёл к такому выводу. В эпоху абсолютного равнодушия к отдельной человеческой личности, когда десятки тысяч людей томились и погибали в лагерях, и позже, когда миллионы погибли в Великой Отечественной войне и, что ещё страшнее, пропали без вести и были приравнены к предателям, и о них даже нельзя было заикнуться (и сейчас ещё десятки, а может, и сотни тысяч без вести пропавших по-прежнему лежат на похороненными на огромном пространстве, начинающемся чуть ли не от стен Кремля), вдруг появилась книга, в которой ищут пропавшего без вести конкретного человека, пусть погибшего не в лагере, не в бою, пусть в другое время. Подтверждение этой мысли я нашёл в мутное “перестроечное” время, когда с единомышленниками по просьбе одного из легендарной четвёрки папанинцев, академика Е. Фёдорова, организовывал экспедицию по поискам пропавшего без вести в августе 1937 года при перелёте через Северный полюс из СССР в США С. А. Леваневского. Рушилась страна, и до того ли вроде: искать человека, потерявшегося в Арктике почти пятьдесят лет назад? И вдруг огромный интерес к нашему поиску, словно боль по сотням тысяч без вести пропавших, миллионам погибших сконцентрировалась на одном человеке. На нас обрушился шквал писем, в том числе с предложениями помощи. Мальчик Коля из Владивостока прислал 6 рублей, которые копил на велосипед, старый полярный радист из Жмеринки прислал шмат сала: “Ничего другого у меня нет”. Словно всем, потерявшим родных и близких, станет легче, если его найдут. Это потом, через десятилетия, появится телевизионная передача “Жди меня”, и отряды юных поисковиков будут искать на полях бывших сражений своих и чужих, которые стали для них своими, дедов и прадедов, чтобы по-человечески хоронить.

К счастью, В. Каверина не заставили переписывать “Двух капитанов”, чтобы показать руководящую роль партии в поступках Саши Григорьева, как заставили А. Фадеева переписывать “Молодую гвардию”. Может, не придали этому образу большого значения, может, в какой-то степени даже посчитали опасным: вдруг все бросятся искать своих без вести пропавших, мало ли до чего докопаются?! Но вот какая штука: за художественными образами пропавших в Арктике в “Двух капитанах” стояли реальные люди, только за образом главного героя, Саши Григорьева, никто не стоял. На этом образе воспитывались целые поколения советской молодёжи, но, увы, никто не искал пропавших без вести людей.

А было так: случайно или не случайно, но почему-то именно летом 1912 года сразу три русские экспедиции – Георгия Седова, Владимира Русанова и Георгия Брусилова – отправились в Арктику, полные амбициозных планов, не подозревая, что это будет самый тяжёлый в ледовом отношении год за весь XX век. Все три экспедиции изначально были обречены.

Г. Седов погиб в походе к Северному полюсу. Экспедиция В. Русанова бесследно исчезла во льдах. Шхуна “Св. Анна” Г. Брусилова, намеревавшегося Северным морским путём пройти во Владивосток, уже в октяб-

ре зажатая тяжёлыми льдами, стала дрейфовать на север и на следующий год оказалась в широтах, близких к Северному полюсу. Летом 1914 года часть экипажа во главе со штурманом Валерианом Альбановым отправилась в беспрецедентный переход по дрейфующим льдам к ближайшей земле — архипелагу Земля Франца-Иосифа. Из 13 человек до мыса Флора дошли только двое: штурман Валериан Альбанов и матрос Александр Конрад, где их по счастливой случайности подобрал возвращающийся после гибели Г. Седова парусник “Св. вмч. Фока”. Незапланированный дрейф “Св. Анны” и ледовый поход Альбанова позволили сделать несколько важных географических открытий и “закрывать”, в частности, они “закрыли” мифические земли Петермана, Оскара и Гилиса. По сей день оставалась не известной судьба оставшихся на судне членов экипажа, как и судьба членов группы Альбанова, с которыми он вынужденно расстался на одном из островов Земли Франца-Иосифа, как и судьба самого Альбанова, который принёс на тёплую землю журнал с научными результатами экспедиции и через какое-то время опубликовал в приложении к “Запискам по гидрографии” свой дневник-отчёт об этом беспрецедентном ледовом переходе.

К тому времени уже всюду шла Первая мировая война, впоследствии хитро переведённая в гражданскую, и было не до поиска пропавших полярных экспедиций. Якобы Альбанов пытался попасть на приём к А. В. Колчаку, выдающемуся полярному исследователю, вынужденному стать военным правителем России, с предложением организовать спасательную экспедицию, но Колчака в то время уже самого было нужно спасать, и оба они в скором времени сгорели в горниле страшной братоубийственной войны. И одной из причин, что Альбанова на долгое время “забыли”, как “забыли” время и место его рождения и смерти, был факт, что он погиб или умер, будучи моряком колчаковской гидрографической службы.

Его же “Записки по дрейфующим льдам Северного Ледовитого океана летом 1914 года” в России известны были больше специалистам. За рубежом же они издавались не раз, с каждым десятилетием всё чаще, и уже в XXI веке были переизданы во Франции, Англии, США, где названы “забытым шедевром русской литературы, прежде всего, в России”.

Да, время от времени о пропавшей экспедиции писали, преимущественно сенсационно-популярные статьи перед очередной подписной кампанией. В этих статьях порой выдвигались заведомо фантастические версии гибели экспедиции. Да, я написал книгу “Загадка штурмана Альбанова”, и хотя книжный герой Саша Григорьев стал примером для тысяч молодых людей, но реального “Саши Григорьева” всё не находилось. Мало того, казалось, что с развалом Советского Союза время Саш Григорьевых безвозвратно ушло в прошлое. Ушло время романтики, над чувством патриотизма откровенно издевались. Совесть законодательно заменили гнусным постулатом: “Что не запрещено, то разрешено”. Единственным мерилom человеческих ценностей стал даже не рубль, а доллар — ничем не подкреплённая бумажка с масонской символикой, а идеалом женской нравственности стала вовсе не Ерминия Жданко, юная и единственная женщина на шхуне “Св. Анна”. Она пришла на пирс проводить корабль в плавание и, узнав, что судовой врач в последний момент сбежал с корабля, женским чутьём вдруг поняла, что экспедиция обречена на гибель. Тогда она жертвенно поднялась на борт судна, заведомо зная, что никогда уже не увидит родных... Таким общественным идеалом стала почему-то Ксения Собчак, к которой, как ни к кому, подходит народная мудрость “яблоко от яблони недалеко падает”...

И вдруг меня нашли люди, которые в свой отпуск собирались искать без малого сто лет назад пропавшую экспедицию! Даже меня, почти 40 лет собиравшего по крохам материалы о ней, немало удивил этот факт! Может, ещё больше удивило меня то, что это были не юные романтики, как я сначала предполагал, а люди вполне зрелые, в недалёком прошлом офицеры спецназа ВДВ, за плечами которых была война, и спасатели автотранспортного отряда “Центроспас” МЧС России — профессионалы высочайшего класса, работающие на ликвидации последствий природных и техногенных катастроф не только в России, но по всему миру. В Подмосковье, в Перedelкине, меня нашли полковник МЧС, опытный полярный волк Валерий Кудрявцев и другой полярник-поисковик с немалым экспедиционным ста-

жем – Александр Чичаев. Русское Географическое Общество отказало им в мизерном гранте, и деньги на экспедицию они собирали вскладчину. Эти люди поразили меня своей душевной чистотой, открытостью и незащищённостью – всеми теми свойствами души, которые ныне в грош не ставятся, мало того, над которыми откровенно смеются.

Что их позвало в Арктику? Это в то же время вопрос: что за люди идут в спасатели?

– Поиск правильной жизни, когда всё понятно: кто с тобой и с кем ты, – ответил на мой вопрос врач экспедиции Роман Буйнов, отец пятерых детей, бросивший врачебную практику из-за невозможности на зарплату врача прокормить семью. – А практически привёл меня Леня Радун, с которым мы познакомились в 1995 году во фронтовом Грозном: он был спасателем, а я – врачом. Повидали много (у Лени, кстати, много правительственных наград, в том числе и орден Мужества за Чечню). Так вот, спустя 10 лет он пригласил меня в Арктику. Просто как человека, в котором уверен, ну, и плюс мой врачебный опыт.

– Когда я служил в ВДВ, у нас был закон: своих не бросать. Сколько человек ушло на задание – столько же должно вернуться, не важно, мёртвые или живые. Были случаи, что при эвакуации погибшего гибли другие, но никто никогда не ставил под сомнение непреложность этого закона братства и чести. Люди, которых мы сейчас ищем, – в своем роде тоже солдаты. У них был свой фронт, но пали они за то же, за что погибнут их потомки на различных полях брани – за укрепление мощи и славы России, за Великий Северный морской путь, который оказался таким незаменимым во время Великой Отечественной войны. Найти их для нас – дело чести, пусть страна сейчас и живёт другими ценностями, – не боясь показаться красиво сентиментальным, ответил на этот вопрос самый молодой участник экспедиции – спасатель аэромобильного отряда “Центроспас” МЧС, тридцатилетний Александр Унтила, в недалёком прошлом – майор, заместитель командира легендарного, созданного полковником Поповских 218-го батальона спецназа ВДВ, в январе 1995-го спасшего Грозный от разрушения, а Росийскую армию – от позора, за 2 года и 8 месяцев в Чечне не потерявший ни одного солдата, но 2 года назад выброшенный из армии по причине её “реформирования” маршалом Табуреткиным: батальон полностью разогнали, аллею Героев раскорчевали, землю продали и построили на этом месте элитные многоэтажки.

Однажды я спросил Александра: “Какая из твоих многочисленных наград самая дорогая?” Подумав, он ответил: “Солдатская “За отвагу” и... случайно услышанный разговор. Новобранцы, только что поступившие в батальон, спрашивают у старослужащего: “К кому в роту лучше всего попасть?” Тот отвечает: “Конечно, все к Унтила не попадёте, но счастье тому, кто попадёт к нему. Он из вас жилы вытянет, дрючить будет нещадно, но до дембеля доживёте”.

Профессиональным спасателем стал выпускник МГИМО Владимир Мельник. Неординарные биографии и у других участников экспедиции.

По всему, поисковая экспедиция должна была называться “По следам экспедиции Брусилова” или “По следам Валериана Альбанова”, но они принципиально назвали её по В. Каверину: “По следам “Двух капитанов”. Во-первых, потому, что мало что ныне знает о Брусилове и Альбанове, а во-вторых, таким образом подавали сигнал другим, также воспитанным на этой книге: присоединяйтесь!

На их призыв откликнулись два “капитана” нашего времени, и не просто присоединились, а возглавили экспедицию: бывший офицер-десантник, гендиректор ООО “Полярный мир” (благодаря этой организации был прекращён варварский промысел бельков – новорождённых детёнышей тюленей) Олег Леонидович Продан, за плечами которого – более полутора тысяч парашютных прыжков, в том числе – десантирование на Северный полюс, и десятки сложнейших полярных, в том числе спасательных экспедиций. Его позвало жизненное кредо: “Сделать то, что другие до тебя не смогли!” Ещё присоединился к нам заслуженный военный лётчик, за плечами которого было 8 с половиной лет Афганистана, а потом – Чечня, Герой России, командующий авиацией ФСБ, генерал-лейтенант Николай Фёдорович Гаврилов.

Зная, что я даже не решусь попроситься в экспедицию, в том числе и потому, что всего за полтора года до этого хирурги-кардиологи буквально вытащили меня с того света, они позовут меня с собой. В полной мере оценив их доброту, я ответил: “Безмерно вам благодарен, но на вашем месте я не стал бы меня приглашать: я могу стать не просто обузой, а сорвать экспедицию, которую вы столько лет готовили”.

За начальника экспедиции мне ответил Александр Унтила, который до сих пор не может отделаться от привычки, где бы ни был: ночью просыпаться каждые 15 минут – ровно на 4 секунды, обвести взглядом “палатку”, спросить дежурного о наличии людей, оружия. Он сказал: “Мы знаем, что это Ваша давнишняя мечта – попытаться пройти путём Альбанова. Обузой не будете. Нам нужен надёжный тыл – опытный человек, который будет преимущественно находиться в базовом лагере на Земле Георга, обеспечивать бесперебойную связь и координацию поисковых групп, связь с погранзаставой и вертолётами ФСБ на случай ЧС (тьфу-тьфу!), ну, и разные мелочи, например, отгонять медведей от лагеря...”

Я благодарен не очень-то благосклонной ко мне судьбе, что подарила мне встречу с этими людьми. Они заставили меня укрепиться в вере, что есть ещё, пусть оскорблённая и униженная, но истинная Россия, а не ООО или ЗАО “Российская Федерация” Абрамовичей, Прохоровых и Чубайсов. Они заставили меня укрепиться в вере, что есть ещё Россия искренне любящих её и преданных ей сынов, часто не очень русских по крови, которые по-прежнему живут по принципу: сначала думай о Родине, а уж только потом о себе.

Экспедиция, путеводителем которой были “Записки...” Альбанова, – через 96 лет после арктической трагедии! – сделала на Земле Франца-Иосифа сенсационные находки: останки одного из членов группы Альбанова, фрагменты дневника, общие экспедиционные вещи, неоднократно упоминаемые Альбановым в “Записках...”, что ещё раз подтвердило их достоверность, хотя участники экспедиции в этом не сомневались, но ведь есть же “исследователи” арктических трагедий, сидящие на тёплой московской или петербургской печи, которые, сообразуясь со своей гнилой сутью, упорно навязывали мысль, что не иначе как на “Св. Анне” произошла кровавая драма из-за единственной на борту женщины, Альбанов, заметая следы, перестрелял команду, затем сжёг судно, а “Записки путешествия по дрейфующим льдам...” придумал. Точно так же они утверждали, что раз спутники Седова после его смерти вернулись “достаточно упитанными” и не найдена его могила, – не иначе, как они его съели...

Да, экспедиция сделала сенсационные находки, но, по-моему, главная её заслуга не в этом, а в том, что она вообще состоялась! Что нашлись люди, которые не могли спать спокойно при мысли, что где-то лежат не преданные земле и оболганные их соотечественники.

Есть пусть малые, но признаки того, что Россия, переболев чужебесием, постепенно возвращается к истинным ценностям, одна из которых, в общем-то, древняя, изначальная, лишь повторена В. Кавериним, как бы считана им с небес в так нужный для России момент: “Бороться и искать, найти и не сдаваться!...” Этот девиз, равный по своей простоте и чистоте апостольским заповедям, озвученный, может быть, по наитию в смутное время, когда апостольские заповеди были осмеяны и даже запрещены, накануне Великой Отечественной войны стал, к удивлению самого В. Каверина, духовным компасом для сотен тысяч, а может, и миллионов молодых людей, ищущих свой путь в жизни. Этот девиз, в так называемое “перестроечное” время втоптаный в грязь, снова был востребован в начале XXI века. Он неожиданно соединил разорванные великой криминальной революцией 90-х годов поколения, когда отцы зачастую не понимают детей и наоборот. А тут вдруг оказалось, что у них общие духовные ценности, несмотря на разные порой политические взгляды. Он стал своеобразным компасом для значительной части нынешнего молодого поколения, встающего на ноги в эпоху звериного капитализма, поколения, мордуемого бесконечными отупляющими фурсенковскими и ливановскими школьными и вузовскими реформами, поколения, которое как бы специально оболванивают сладко-смердными телевизионными сникерсами, которые возведены в разряд духовных ценностей. Сквозь полиэтиленовый шорох очеред-

ной, теперь уже “капсомольской” жвачки тысячи юных, услышав, словно клич боевой трубы, этот, как и раньше, чистый от политики и лжи призыв: “Бороться и искать, найти и не сдаваться!”, собираются в поисковые отряды, до недавнего времени вопреки власти, и ищут в лесах и болотах на месте бывших боёв без вести пропавших дедов и прадедов, приближая истинное окончание Великой Отечественной войны, когда, наконец, будет достойно похоронен последний погибший за Родину, за други своя солдат. Это только недавно, спохватившись, власть сначала стыдливо присоседилась, а потом сделала вид, что она и инициировала это святое дело.

Именно за этими молодыми людьми будущее России!

Я писал, что нашёл меня в Переделкине полковник МЧС Владимир Васильевич Кудрявцев, вложивший душу в подготовку поисковой экспедиции. Но на Землю Франца-Иосифа он не смог полететь – по семейным обстоятельствам. Роман Буйнов в письме мне так характеризовал его: “Человек, стремящийся к разумному риску, без которого жизнь считает пресной. Энергичен и напорист в достижении целей. Коммуникабелен и деликатен. Умеет мотивировать коллектив на выполнение задач в сложных условиях экспедиционной деятельности. Фанат моря, особенно если преодолевать его приходится на почти игрушечных яхтах. В 2008 году мы пробивались через льды Карских ворот почти трое суток, на нашей с ним яхте сломался винт у двигателя. По ситуации шли то на буксире, то только на парусе между льдов. Вообще он авантюрист в самом хорошем смысле этого слова. С ним экспедиция раскрашивается дополнительными красками. В 1999 году он был заместителем руководителя Морской арктической экспедиции МЧС России на парусно-моторных судах на архипелаг Новая Земля. В сложнейших условиях был пройден путь более 2 тыс. миль. Отрабатывались вопросы по дальнейшему совершенствованию технических средств связи. Проведены подводные погружения с целью поиска поморских судов в губе Крестовой и заливе Мелкий. Проведены работы по апробированию технических средств подводного поиска и подводного снаряжения. Открыта и восстановлена памятная плита 1880 г. Вилему Баренцу. И, главное, был открыт остров с координатами Ш-75°46’25 N; Д-58°40’E...”

Следующее предложение заставило замереть мою душу: “Вячеслав Васильевич был один из тех, кто впоследствии добился, чтобы острову было присвоено имя Андрея Рожкова, спасателя МЧС, который погиб за год до этого при спуске под дрейфующие льды в районе Северного полюса при испытании нового спасательного оборудования”.

Боже мой, эта трагическая весть как-то обошла меня стороной, все эти годы Андрей Рожков был для меня живым! Я не могу сказать, что был с ним хорошо знаком. Наша встреча была единственной и короткой. Это было где-то в конце 80-х годов. Прилетев в Москву по издательским делам, я позвонил своему другу, известному горновосходителю, мастеру спорта международного класса по альпинизму Михаилу Петровичу Конькову, несколько лет до того опально жившему недалеко от Уфы в старинном горнозаводском городке Миньяр.

– Если тебе удобно, в 17 часов я буду на выходе из метро на Добрынинской, – отозвался Петрович. – У меня там пятиминутная встреча с одним альпинистом. И поедем ко мне.

– Андрей Рожков, – представил Петрович молодого человека. – За плечами десяток сложнейших восхождений. Только что вернулся с пика Коммунизма, где руководил французско-советской экспедицией.

– Михаил Петрович сказал, что вы руководили первым спуском в глубочайшую пещерную систему Урала – пропасть Кутук-Сумган за год до того, как в ней погибли спелеологи Московского университета. Мне никто толком не мог объяснить, что там случилось.

– Они выбрали для экспедиции опасное время. Они поднимались по веревочной лестнице в последнем 70-метровом колодце и уже видели вверху небо, как на них сверху обрушился водопад. Было 31 марта, из-за резкого потепления началось буйное таяние снегов, воронки, в которую обычно уходили дождевые и талые воды, словно пробкой, закупорило льдом, и поток обрушился в пропасть, на лету превращаясь в лёд. Двое, которые стали подниматься первыми, вмёрзли в этот лёд, остальные остались отрезанными внизу...

Прощаясь, мы молча пожали друг другу руки, чтобы, как оказалось, в этой жизни больше не встретиться, хотя позже наши пути-дороги не раз пересекались. Мне запомнилась глубокая печаль в его глазах, хотя, протягивая мне руку, он широко улыбался. Я только недавно узнал, что друзья его между собой за глаза звали “печальным спаниелем”.

Через несколько лет имя Андрея Рожкова я услышу во время войны в Югославии, которая была полигоном, на котором отработывался план уничтожения СССР, а потом и России. Андрей Рожков во время той страшной междоусобной войны проводил через зоны военных действий конвои МЧС по доставке гуманитарной помощи в осаждённые районы Боснии и Герцеговины. В Югославии мне с ним встретиться не привелось, однажды мы разминулись на каких-то полчаса на одном из блокпостов. О нём с благодарностью и восхищением говорили жители сербских анклавов и водители ооновских гуманитарных конвоев.

Все эти годы он был для меня живым...

В своё время я дал себе слово, что больше никогда не поеду в бывшую Югославию. Там я как русский потерпел своё последнее поражение и не хотел ничего вспоминать. Не успела война закончиться, не успела высохнуть кровь, а уже без разбору ещё во вчера противоборствующие православленную Черногорию и католическую Хорватию бросились новые и не совсем новые русские скупать дешёвую послевоенную недвижимость. Меня это оскорбляло, разумеется, не потому, что у меня не было денег даже на самую дешёвую недвижимость.

Но в июне прошлого года меня всё-таки уговорили полететь в Черногорию на Международный фестиваль, посвящённый Всемирному дню русского языка. Я согласился после долгих колебаний и только потому, что фестиваль должен был проходить в Будве, небольшом городке на побережье Адриатики, которого не коснулась война, где я никогда не был, где я никого не знаю и где никто не знает меня. Прекрасное море, обрамлённое зелёными и красными скалами, но уже через день я не выдержал: раз оказался здесь, будет подлостью, если я не доеду до Никшича на севере Черногории, где с дорогим моим другом, выдающимся общественным деятелем и скульптором, Президентом Международного фонда славянской письменности и культуры Вячеславом Михайловичем Клыковым, которого в воюющей Югославии звали не иначе, как Слава, мы в 2002 году ставили один из его последних памятников – Пресвятой Богородице – незадолго до его смерти. Не мог я снова не побывать в монастыре Чудотворца Св. Василия, спрятанном высоко в горах, в скалах, бывшем духовной опорой черногорцев во время османского ига. Не мог я не побывать и в монастыре Цетине, не приложиться к святым мощам – длани Иоанна Крестителя, нет, не надеясь замолить грехи и выпросить хоть сколько-нибудь здоровья, я давно понял, что вера – это не меновая лавка: я – тебе, ты – мне. И к своему удивлению, как оказалось, я часть пути, прежде всего, к Цетине, ехал дорогами Ивана Сергеевича Аксакова, полтора века назад предпринявшего поездку по славянским землям в надежде соединить братьев-славян в древнем единстве. На этой мессианской идее обжёгся не только он, но и Достоевский, и многие другие – уже в наше время. Впрочем, по-настоящему ещё не прочитанный нами И. С. Аксаков был трезвее в этом вопросе всех других: он уже тогда видел корень зла. Именно из этой поездки в июне 1860 года он писал родным: **“Я вообще убедился, что только одно есть действительное средство поднять славянский дух в прочих угнетённых племенах, – это чтобы сама Россия стала Русью. Этот один факт, без всякого вмешательства политического, безо всякой войны оживит и направит на путь дух прочих онемеченных, обитальяненных, офранцузенных, отуреченных племён славянских...”**

Вроде бы я всё знал об Иване Сергеевиче Аксакове, но даже в моём представлении сложился этакий тип классического кабинетного деятеля. А тут поразился не только его гражданской смелости – асфальтовых серпантинных троп, по которым я сейчас ехал, тогда не было, лишь узкие горные тропы, по которым можно было над пропастями пробираться пешком или верхом; по этой причине турки могли завоевать только прибрежную часть Черногории. И он, в крови которого была большая доля турецкой крови, со своей восточной внешностью безбоязненно без какой-либо охраны пробирался в самое сердце Черногории, где в воздухе витал дух вот-вот гото-

вого вспыхнуть антитурецкого восстания. Из того же письма родным: “Путь в Черногорию ужасно труден и утомителен, голые скалы и камни, никакой долины, а надо взбираться на самую верхушку... На обратном пути встретили двух герцоговинцев, вооружённых, с красными тюрбанами на головах. Они ехали к господарю (князю Черногорскому) посоветоваться насчёт восстания...” Впрочем, турки смогли завоевать лишь прибрежную Черногорию не только из-за труднопроходимых горных хребтов, один из которых называется не иначе, как Проклетье (Проклятье). Кто-то из историков писал: “Самыми поразительными чертами духовного облика черногорца были его презрение к смерти и высочайшее уважение, которое он питал к храбрости...” Красноречивы цифры, приведённые русским учёным П. Рачинским: “Каждый месяц черногорцы имели шесть-семь сражений с турками, две пятых населения погибло на поле боя, одна пятая — от ран, и только остальные две пятых жителей умирали естественной смертью”.

И. С. Аксаков сыграл исключительную роль в освобождении Болгарии, Сербии и Черногории, Боснии и Герцоговины от пятисотлетнего османского ига. Увы, в отличие от Болгарии, где почти в каждом городе и селе есть улица имени Аксакова, в Сербии и Черногории не помнят ни о нём, ни о написанном им письме славянофилов “К сербам”, потому, по моему мнению, и случилась страшная междоусобная славянская война в 90-е годы теперь уже прошлого века... Он засылает в Сербию, вопреки запрету российского правительства, когда там вспыхнет восстание, легендарного генерала Черняева, русских добровольцев, деньги, врачей, оружие, склоняет русское правительство вести освободительную войну... Отклики южных и западных славян на его смерть могли бы составить целую книгу. Общий смысл их выразила сербская газета “Застава”: “Нам тяжело стало, точно мы потеряли свет. Иван Аксаков был великан. Когда он говорил, голос его раздавался по всей Европе... До сих пор не было публициста с большим значением, чем Аксаков. Любовь Аксакова обнимала всё славянство одинаково. Если бы мы жили при более благоприятных обстоятельствах, Аксаков, без сомнения, простёр бы свою любовь на всё человечество, но он видел, что славяне всех более угнетены, что они не имеют ни защитника, ни друга в широком мире, и он встал перед Россией и сказал: “Теперь мы должны заступиться за них!...”

А теперь в рекламе соседнего с гостиницей турбюро я с удивлением обнаружил, что теперь запросто, без всяких проблем, из самостоятельной — в результате развала Югославии — Черногории за 50 евро можно поехать в составе туристической группы даже без визы в столь же самостоятельную Боснию и Герцоговину, как раз туда, куда в своё время я дал себе слово никогда не возвращаться... Опять-таки после долгих колебаний я решился проехать памятными дорогами. Оказывается, теперь это популярный туристский маршрут, правда, так как предупредят, что слабонервным и боящимся высоты лучше не ездить, тем как многочисленные узкие серпантины висят над жутковатыми пропастями... А каково было проводить тяжёлые грузовики конвоев МЧС по обледенелым зимним дорогам, когда к тому же почти на каждом повороте за тобой следил прицел снайперской винтовки? Порой я терял чувство реальности, невольно напрягался, вглядываясь в очередной поворот, в туристическую безмятежность возвращали лишь курортно одетые — в маечки и шорты — спутники. Кажется, никто из них о недавней войне не знал, а экскурсовод предпочитала о ней деликатно умалчивать, поскольку нынешние власти Боснии и Герцоговины не заинтересованы в том, чтобы туристам рассказывали, как всего пятнадцать лет назад эти красивейшие горы были полем страшной битвы и геноцида сербов... Я же проклиная себя, что в спешке, не предполагая, что попаду сюда, взял в поездку не ту телефонную книжку и не могу даже позвонить моему дорогому другу, выдающемуся сербскому поэту Зорану Костичу! Последний раз мы с ним виделись-простились теперь уже в прошлом веке на железнодорожном вокзале в греческом городе Солониках, когда небо над Белградом было закрыто блокадой, был отрезан и железнодорожный путь через Украину и Венгрию. А мы приплыли в Солоники с российской военно-морской базы в Крыму под Евпаторией на арендованном паруснике, на котором сами же были матросами, и мы с Владимиром Тальковым, братом убиенного Игоря Талькова, посадили на белградский поезд, идущий через Македонию, Зорана Костица с молодой женой, актрисой Малого театра Еленой Трепетовой. Мало сказать, что она, первая красавица в знаменитом театре, была не обделена мужским внима-

нием, — она была осаждаема поклонниками, но, познакомившись у нас в Международном славянском центре с приехавшим в поисках хотя бы духовной помощи Зораном Костичем, знаменем сербского сопротивления, буквально, как говорила её мать, потеряла голову, и уже через полмесяца полуконтрабандными путями — на паруснике! — мы переправляли молодую чету в охваченную войной Югославию... “Есть женщины в русских селеньях...”

В своё время меня, в первый раз оказавшегося в воюющей Югославии, бывалые люди учили: “Передвигаясь по Югославии, старайся не садиться в военные грузовики, бронетранспортеры, не надевай бронжилета — снайпер всегда найдёт щёлку в твоей амуниции! По возможности передвигайся на грузовиках гуманитарных конвоев, а надёжнее всего, если на борту грузовика будет надпись “МЧС Россия”. Садись рядом с водителем в одной рубашечке или даже полуобнажённым, чтобы тебя приняли за второго водителя. Все три воюющие между собой стороны питаются за счёт этих конвоев. Потому, за редким исключением, не трогают их...”

Оказывается, моё невольное напряжение не осталось без внимания нашего экскурсовода, хохлушки Лены из самостийной теперь Украины. Проходя по автобусу, она, улучив момент, присела на свободное рядом со мной кресло.

— Вы единственный, кто молчит, не восхищается красотами, ни о чём не спрашивает, напряжённо смотрит в окно... Такое впечатление, что вы едете по этой дороге не в первый раз.

Я не сразу нашёлся, что ей ответить... На моё счастье, кто-то из экскурсантов обратился к ней с вопросом, и она вынуждена была оставить меня, крепко пожав мне руку в запястье. По окончании поездки на прощание она горячо поцеловала меня в щеку, и у меня возникло такое чувство, что этот поцелуй как бы ворованный: он предназначался тем русским добровольцам, кто воевал здесь или даже сложил здесь голову...

Вот развилка дорог, где мы разминулись с Андреем Рожковым. Я попросил Лену, если можно, остановиться на несколько минут.

— Да у нас тут как раз плановая остановка для фотосессии и чтобы перекусить.

— Сколько у нас времени?

— Полчаса... — Видимо, что-то прочитав на моём лице, Лена добавила: — Можно чуть больше, но ненадолго.

— Спасибо!

Пока мои спутники фотографировались на фоне красивейших гор, я заторопился к церквушке, хотя она была ещё не до конца восстановлена. Я поставил свечи в память об Андрее и, выйдя, положил букетик сорванных на обочине дороги полевых цветов к церковной оградке. У меня было такое чувство, что Андрей где-то рядом, словно вот-вот вывернет из-за поворота МЧСовский “КамАЗ” и состоится та, несостоявшаяся тут двадцать лет назад встреча.

— Воевал здесь? — спросил меня вышедший вслед за мной из храма пожилой серб, а может, черногорец — они сами запутались в этом.

— Нет.

— А цветы?

— В память одного человека. Мы могли встретиться здесь во время войны, но судьба развела.

— Он тут погиб?

— Нет, он погиб на Северном полюсе. Он был спасателем. Сюда во время войны он водил гуманитарные конвои МЧС России.

— О, они нам здорово помогали! Смелые парни, настоящие русские солдаты, только без оружия. Не боялись. Мы всё спрашивали: почему без оружия? А как его звали?

— Андрей Рожков.

— Нет, не помню такого, я в горах тогда был... Днём священника нет, вечером закажу панихиду. Ваши спасатели недавно тут были, разминировали минные поля. Все отказались — и французы, и немцы, тем более американцы, — потому что никаких карт нет, а ваши взялись.

Я знал это, потому как среди них был бывший заместитель командира батальона спецназа ВДВ майор Александр Унтила, за 2 года 8 месяцев спецопераций на Кавказе не потерявший ни одного солдата, а в благодарности

подло и жестоко вышвырнутый из армии (но таких офицеров, оказывается, помнили, одно время он даже был в охране первых лиц государства: впереди – полковничьи погоны, московская квартира, а ведь семью он потерял, пока воевал, жена устала от бесквартирья... Но он ушёл в безработные, перебиваясь случайными заработками, пока не нашёл работу по душе – в МЧС, в аэромобильном отряде “Центроспас”, в своего рода спецназе, осуществляющем самые сложные спасательные операции по всему миру. В первый же год, кроме своих военных, он освоил ещё 15 профессий, необходимых спасателю международного класса).

– Пойдём, выпьем вина, помянем твоего друга, – предложил мой новый знакомый.

Я посмотрел на часы – времени уже не было. Но отказать черногорцу или сербу выпить вина – значит, оскорбить его, а тут тем более – память.

Прежде чем зайти в дом, я, не обнаружив туалета, по малой нужде зашел за сарай и упёрся в висящий брезентовый тент. Я из любопытства оттянул угол тента – там стоял бронетранспортер то ли немецкой, то ли хорватской сборки. За спиной кашлянул хозяин, я вздрогнул – так бесшумно он подошёл.

– А что, пусть стоит, сена не просит, – ответил он на мой немой вопрос. – Мало ли что, вдруг пригодится... Официально сейчас у нас, в Республике Сербской, нет ни одной единицы зарегистрированного оружия, – усмехнулся он, – но у каждого на всякий случай припрятан автомат Калашникова, а то и не один. Нам, сербам, иначе нельзя, нас хотят свести со света... И пока есть Россия, у нас есть надежда... А что касается твоего друга, я вечером закажу службу...

– Если бы Андрей Рожков был жив, мог бы он быть в нашей поисковой экспедиции? – спросил я Романа Буйнова, от которого узнал я печальную весть.

– Несомненно, если бы в это время ему не пришлось где-нибудь в другом месте спасать людей... Вы, конечно, знаете, что Андрей Рожков имеет самое прямое отношение к вашему городу? Точнее, что он сыграл, без преувеличения, большую роль в судьбе Уфы? И Уфа сыграла в его судьбе большую роль.

Заметив моё недоумение, он удивлённо спросил:

– Вы что, не знаете про аварию на дымовой трубе на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в сентябре 1991 года? О взрыве?

– Мельком слышал, но деталей не знаю. На нефтезаводах то и дело что-нибудь взрывается. А тогда рвалась на кровавые куски страна.

– О той аварии и тогда мало кто знал, даже в Уфе, тем более, мало кто помнит теперь. Во многом потому, что катастрофу на НПЗ удалось предотвратить. Вот если бы не удалось, до сих пор помнили бы, как Чернобыль... Не я придумал, откройте сайт МЧС, любая статья об истории создания МЧС утверждает, что это была не только первая крупномасштабная аварийно-спасательная операция МЧС, но с неё практически начинается история министерства, если не считать лыком пришитую к ней историю гражданской обороны. И одним из главных героев этой уникальной операции по предотвращению катастрофы был Андрей Рожков...

А дело было так. На Уфимском НПЗ на высоте 120 метров произошёл надлом 150-метровой железобетонной дымовой трубы, накренившийся 30-метровый “осколок” навис над заводом и мог рухнуть в любую минуту. Падение “осколка” весом почти в 700 тонн могло привести к непредсказуемым... впрочем, к вполне предсказуемым последствиям. Даже если отбросить тот факт, что труба нависла над крупнейшим в стране нефтеперерабатывающим заводом непрерывного цикла работы, вариант падения 700-тонного “осколка” в условно чистое поле мог вызвать землетрясение в городе. Обрушение же его на завод, несомненно, привело бы к гигантской техногенной катастрофе, сравнимой только с Чернобылем. Специальной спасательной службы в то время в России не было: Спитак, увы, ничему нас не научил.

Недавно страна отметила 80-летний юбилей службы гражданской обороны. Отмечать его было поручено МЧС, которое с явной натяжкой было назначено её преемником. Что представляла собой, особенно в последние годы своего существования, служба гражданской обороны? Мало приспособ-

собленные под бомбоубежища подвалы за ржавыми замками на случай атомной войны. Заведомо невыполнимые эвакуационные планы в села и деревни, которые якобы не тронут атомные взрывы... Пожары тушили пожарники, потерпевших в автокатастрофах вытаскивали, как могли, из автомобилей гаишники при помощи попавшихся под руку подручных средств в виде монтаровок и “домиков”, найденных в багажниках этих автомобилей. С последствиями стихийных бедствий боролась армия и коммунальные службы.

Как бы предчувствуя эпоху катастроф, как техногенных, так и природных, нависших над раздираемой смутой страной, в 1991 году был учреждён Корпус спасателей, председателем которого назначили тогдашнего заместителя Председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству Сергея Кужугетовича Шойгу. У кого узнать, кому принадлежала эта простая и в то же время великая мысль? Может, кому-то здравомыслящему из окружения президента Ельцина положили на стол написанную в голодном и холодном марте 1918 года монографию великого русского учёного А. Л. Чижевского “Исследование периодичности всемирно-исторического процесса”, в которой он, анализируя периодичность всемирно-исторических и космических процессов прошлых эпох, выявил короткие – в 11, 33, 120 лет и длинные – в сотни, тысячи лет – повторяющиеся циклы планетарной нестабильности и сделал предостерегающий вывод, что планета входит в опасный 400-летний цикл геокосмической активности, который будет характеризоваться вспышкой катастрофических землетрясений, наводнений, извержений вулканов, техногенных катастроф и общественных катаклизмов (чему мы уже стали свидетелями). Может, идея создания специальной спасательной службы принадлежала Сергею Шойгу, раз ему было поручено её возглавить? Но почему именно ему, в недавнем прошлом мало кому известному управляющему строительным трестом в Абакане? Это будет ясно позже, когда в чехарде постоянно меняющихся министерств и министров он окажется единственным бесценным, незаменимым и результативным министром, и в народе не без оснований сложится твёрдое убеждение, что все другие министерства только то и делают, чтобы ведомство Шойгу не осталось без работы...

Корпус спасателей был учреждён, но это далеко ещё не значит, что он был создан. К сентябрю 1991 года он существовал только на бумаге, только начал формироваться. И тут над Уфой нависла беда.

Сергей Шойгу немедленно вылетел в Уфу, чтобы оценить масштабы беды. Из прибывших по его приказу к месту аварии представителей различных структур, приданных корпусу, только офицеры-сапёры военно-инженерных войск взяли на себя часть ответственности за исход рискованной операции. В течение трёх суток ими были произведены сложнейшие расчёты разных вариантов предотвращения катастрофы. В конце концов, выбрали единственный и, конечно, рискованный: серией направленных взрывов срезать 700-тонный “осколок” и, развернув его на 15 градусов, положить в узкую щель между производственными установками и ниткой нефтепровода на специально подготовленную “мягкую” подушку. Для этого на обрубке трубы на разных высотах нужно было с ювелирной точностью разместить 350 килограммов взрывчатки, но закрепить взрывчатку на трубе могли только высокопрофессиональные промышленные альпинисты. А таковых в создаваемом Корпусе спасателей ещё не было, оставалось рассчитывать только на альпинистов-спортсменов.

Почему выбор пал на Андрея Рожкова, сейчас ответить, наверное, не сможет даже Сергей Шойгу, лично возглавивший аварийно-спасательную операцию. Кто ведёт человека по жизни, порой резко меняя не только его жизненные планы, но и судьбу? После окончания Московского гидромелиоративного института в 1983 году Андрей Рожков работал инженером отдела водохранилищ в ВНИИ “Союзгидроводхоз”. Спокойная, размеренная жизнь, прекрасные служебные перспективы, правда, вызывают неприятие общественности некоторые грандиозные проекты института. И он, продолжая работать в институте, учится во Всесоюзной школе инструкторов альпинизма и на курсах альпинистов-спасателей – и в 1986 году переходит на работу в Управление альпинизма Всесоюзного добровольного физкультурно-спортивного общества профсоюзов тренером отдела учебно-спортивной работы и спасательной службы. Параллельно вступает в созданный тогда спасатель-

ный отряд Красного Креста и Красного Полумесяца, с которым принимает участие в ликвидации последствий страшного землетрясения в Армении в 1988 году. Он был одним из тех немногих непрофессиональных спасателей, альпинистов-добровольцев, о которых упоминает в своих воспоминаниях Н. И. Рыжков. Землетрясение в Спитаке окончательно определило его дальнейшую жизнь. Спокойную работу гидромелиоратора он твёрдо решил поменять на работу, нет – на судьбу спасателя.

Так что к Андрею Рожкову обратились не случайно. К этому времени у него, уже начальника отдела альпинизма и туризма профессионального спортивного клуба “КамАЗ”, за плечами, помимо Спитака, были сложнейшие восхождения на пики Свободная Корея (Тянь-Шань), Гран-Капуцин (Франция), Корженевской (Памир), Хан-Тенгри (Тянь-Шань), Ауэзова и Ленина (Памир), руководство советско-французской экспедицией на пик Коммунизма в 1989 году. Может, сыграл свою роль и тот факт, что незадолго до ЧП на Уфимском НПЗ в том же 1991 году – как вызов всем альпинистам мира! – произошло его восхождение на пик Ленина на собачьих упряжках, которое сразу же вошло в знаменитую Книгу рекордов Гиннеса.

Как вспоминает один из срочно собранных Рожковым добровольцев, Виктор Ситин, скалолаз и спелеолог, масштаба и сложности предстоящей работы никто не представлял. Да и никто, в том числе в силу секретности, им ничего толком не объяснил. Чуть ли не по всей подмосковной Балашихе собирали альпинистские верёвки, которых, как им сказали, потребуется очень много, с трудом набрали 600 метров, на своей машине поехали в аэропорт. И только там поняли чрезвычайность ситуации, когда им предоставили личный самолёт президента страны: ковры, диваны – всё это не совсем укладывалось в голове.

Труба могла рухнуть каждую минуту, с уже висящими на ней альпинистами, вес которых мог стать критическим. Критическим мог оказаться и вес брикетов взрывчатки, каждый в 50 килограмм, а их было 7. “Но нам очень повезло, – вспоминает Виктор Ситин, – пока мы 3 дня работали на этой трубе, ветер был в нужную сторону, и она не упала, так сказать, внепланово. Ну, и получилось так, что всю нашу верёвку альпинистскую мы потратили на крепежи, а саму взрывчатку пришлось поднимать на обыкновенных пеньковых верёвках. И мы опасались, что они оборвутся, так как брикеты были очень тяжёлые”.

Когда подготовительные работы были закончены, заводской персонал и близлежащее население вывели на расстояние трех километров. Андрею Рожкову, учитывая его главную роль в операции, дали крутануть ручку взрывной машинки... Труба при взрыве, издавдала казалось – бесшумно, развернулась в запланированные 15 градусов и точно – не рухнула, а легла! – на подготовленную подушку из брёвен и песка. Как потом выяснят, подобная операция была осуществлена впервые в мире. За выполнение этой операции группа офицеров инженерных войск и альпинисты были награждены государственными наградами. Но бывают времена, когда кусок хлеба дороже наград. Директор завода М. Г. Рахимов, позже Президент Республики Башкортостан, попросил предоставить ему список альпинистов, участвовавших в уникальной операции, предотвратившей катастрофу, и против каждой фамилии проставить размер зарплаты её носителя. Под списком поставил резолюцию: каждому выписать премию в размере трехгодового оклада. “Тогда нам за работу заплатили очень хорошо, – вспоминает Виктор Ситин. – А времена-то были тяжёлые, голодные. Я был директором турклуба, так вот, мне заплатили 36 месячных окладов!”

А Андрея Рожкова со срочно набранной для этой операции командой Сергей Шойгу попросил перейти спасателями в Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям, который вскоре был реорганизован в Министерство – МЧС.

У других на это уходят многие годы, но Андрей Рожков уже через год стал спасателем международного класса и заместителем командира созданного к тому времени Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда, сокращенно “Центроспаса”. Надо ли говорить, что костяк “Центроспаса” составили участники уникальной уфимской операции. Все они за время службы в МЧС, как говорится, выбились в люди, к примеру, Сергей Кудинов стал генерал-лейтенантом, заместителем Шойгу. Не последними людьми в МЧС стали Кирилл Бородин, Сергей Лебедев.

Наверное, не случайно, что ныне возглавить Российскую армию в трудную пору призвали Главного спасателя страны.

Надо сказать, что спасатель – не профессия, как таковая, это даже не призвание, это особый склад души, особое состояние совести. Как становятся спасателями? Когда ты бессилён бороться с окружающей тебя несправедливостью, но не хочешь идти против своей совести, возможный выход – идти спасать пострадавших не столько в результате природных катастроф (которые всё чаще тоже провоцируются человеком), а катастроф, ставших результатом необдуманной, неумной или даже преступной деятельности властителей, политиков, обслуживающих их безнравственных учёных, экономистов, юристов...

Потому в одно время с мелиоратором Андреем Рожковым уходит в спасатели выпускник МГИМО Владимир Мельник. В 2010 году он стал участником поисковой полярной экспедиции по следам Валериана Альбанова. Уходит в спасатели выброшенный из армии по случаю её “реформирования” “маршалом Табуреткиным”, которого увели-таки от тюремных нар, зам. командира батальона спецназа ВДВ майор Александр Унтила, за 2 года и 8 месяцев спецопераций на Кавказе не потерявший ни одного солдата. Он тоже в 2010 году вошёл в состав поисковой полярной экспедиции, и именно он сделал первые сенсационные находки. Что касается Андрея Рожкова, я с удивлением прочёл в воспоминаниях одного из его друзей: “Для многих было непонятным, почему он, успешный инженер-мелиоратор, стал спасателем. Он стал спасателем из-за несправедливого устройства мира, окружающей жизни, из-за лжи, в которую была обрушена страна, в результате которой была исковеркана жизнь миллионов людей. Не имея возможности противостоять этому, он и стал спасателем”.

Среди моих близких друзей – бывший командир Уфимского филиала Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Климец, пришедший в МЧС из туристской контрольно-спасательной службы, и его отряд стал одним из лучших в министерстве. Он был спасателем и в более широком смысле: в трудную для меня пору, когда я серьёзно захандрил после долгой болезни и жизненных неурядиц, чтобы я вконец не сломался, Слава строгой повесткой – 10 минут на сборы, автобус в аэропорт у подъезда! – вытащил меня на сборы спасателей на Памир, а там было уже не до хандры. Несколько лет назад решил Слава уйти в обыкновенную жизнь, о причинах умолчу. Сергей Шойгу не подписал рапорта: “Вместе пришли – вместе уйдём, не время”. И вот недавно вместе ушли: Шойгу – в министры обороны, спасать, приводить в чувство обворованную армию, Слава Климец – в советники нового начальника отряда, своего ученика.

Я счастлив, что судьба на своём очередном изломе, очередном подведении итогов, надеюсь, ещё не окончательных, подарила мне встречу с этими людьми. Не случайно, что костяк экспедиции по следам Валериана Альбанова составили бывшие офицеры ВДВ и профессиональные спасатели, не важно, ныне действующие или бывшие, потому как бывших спасателей, как и бывших офицеров, не бывает. Я, конечно, так примитивно о спасателях не думал: ну, работа такая, наверное, хорошо платят, кто-то идёт в спасатели от нужды, из-за безработицы. Но в то же время, оказывается, не задумывался над глубинной сутью этой профессии. Наверное, приходят в спасатели и от нужды, и от безработицы, но долго такие в спасателях не задерживаются, потому что, во-первых, не каждому дано постоянно видеть человеческое горе, человеческую смерть. Нет, спасатели выдерживают это не потому, что окаменевают их душа или её вообще у них нет – с холодной душой, несомненно, было бы легче работать! – а потому, что спасатель – это мировоззрение, образ жизни, наконец, жертва, это часто или даже, как правило, собственный излом судьбы, который не сломал человека, а позвал спасать других людей.

Они спасают не только человеческие жизни – они спасают человеческие души. И не только тех, кого непосредственно выручают во время природной или техногенной катастрофы. А их родных, близких, наконец, престиж страны. А в случае с поисками на Земле Франца-Иосифа спутников Валериана Альбанова – спасают память о пропавших почти век назад соотечественниках. Как оказалось, кроме них в стране это некому было сделать.

Это очень тяжёлая профессия. И не только физически и психологически. И можно только догадываться, что творится в душах спасателей. Это люди с обострённой совестью. Накапливающееся внутри напряжение требует выхода, разрядки, иначе рано или поздно его критическая масса может сработать как детонатор, вызывающий физический или нравственный взрыв – разрушение человека. Потому не случайно, что почти все они находят самовыражение в творчестве. Владимир Мельник стал талантливым художником-фотографом, лауреатом многочисленных российских и международных премий. Александр Унтила пишет военную жёсткую и честную, как его биография, прозу, она сродни “окопной” прозе лейтенантов Великой Отечественной: Юрия Бондарева, Константина Воробьёва, Василя Быкова...

После Уфы Андрей Рожков принимал участие в десятках поисково-спасательных операций, в общей сложности более чем в 150, спасая от верной гибели многие, многие жизни. Вместе со своим подразделением он участвовал в ликвидации последствий наводнения в Дагестане, землетрясений в Иране и Киргизии, в ликвидации последствий эпизоотии чумы в Тыве, в операциях по доставке гуманитарной помощи в Ткварчели (Абхазия), в Таджикистан и, как я уже писал, в осаждённые сербские анклавы Боснии и Герцеговины в Югославии. Там же, в Югославии, в районе боевых действий искал пропавших российских журналистов. Участвовал в поиске и извлечении тел погибших вертолётчиков из зоны боевых действий в районе реки Кодори (Абхазия). В 1995 году во фронтовом Грозном в составе оперативной группы принимал участие в эвакуации – опять-таки под огнём! – больных и раненых, спасал сокровища музея изобразительных искусств, до войны одного из богатейших в стране. Вместе с ним был Леонид Радун, в 2010 году ставший участником поисковой полярной экспедиции по следам Валериана Альбанова. В 1995 году Андрей Рожков участвовал в учениях МЧС на Северном Полюсе, руководил лыжной группой. Принимал участие в ликвидации последствий авиакатастрофы на Шпицбергене, в ликвидации последствий взрыва жилого дома пограничников в Каспийске и во многих других операциях.

Во время одного из десантирований у него не открылся основной парашют, что-то случилось и с запасным. Сложный перелом позвоночника. Семь месяцев в госпитале. Врачи не очень-то верили в то, что Андрей сможет встать на ноги. Из дневника Андрея Рожкова того времени: “О чём можно думать длинными, бессонными ночами, когда приговор врачей обжалованию не подлежит?” И ещё: “Жена... Господи, за что же ей такие испытания? Хотя она смирилась с этой участью. Участью воспитывать двоих детей и постоянно ожидать и бояться каждого звонка...” В госпитале он стал писать сказки для своих детей Маши и Лёши: про маленького медвежонка у горной реки, про старый рюкзак и палатку, про себя самого, где-то очень далеко от своих детей спасающего других малышей. Перед своими детьми, как и перед женой, он чувствовал великую вину за то, что так мало проводил с ними времени, мотаясь по свету, спасая в том числе и детей. Это, несомненно, психологически самое тяжёлое в работе спасателя, и далеко не каждый способен долго это выдержать – не только слабые нервные уходят. Вот небольшой отрывок из газетной публикации Андрея Рожкова о взрыве, прогремевшем 22 мая 1996 года в одном из домов Светогорска Ленинградской области:

“– Ой, ты, маленькая моя, сейчас мы тебя достанем...”

Хуже всего приходится, когда раскапываешь детские сады, школы и достаёшь из-под обломков детей. Мы стараемся причинить как можно меньше боли тем, кого достаём. Ведь ты – последняя надежда родителей. И вдруг выносишь ребёнка, который, может, ещё жив...”

Андрей Рожков, будучи многогранно талантливым, и до госпиталя сотрудничал с редакциями различных журналов и газет, публикуя очерки, статьи, он был талантливым фотохудожником, занял I и III места в фотоконкурсе “Интерфото” в 1996 году. А тут, в госпитале, появилось время. Стали выходить в печати его сказки, очерки. Но новым Николаем Островским он себя не видел. Он смог не только встать на ноги, но и вернуться в отряд, участвовать в сложнейших спасательных операциях, кататься на горных лыжах, карабкаться по скалам, до самозабвения увлечься подводным плаванием. В 1997 году его называли “самым глубоководным спасателем года”.

Ему хотелось многое успеть. Казалось, он хотел объять необъятное: всегда спешил на помощь людям, попавшим в беду, разделяя их страдания и горе. И при этом оставался чутким, открытым человеком, понимавшим и любившим всё прекрасное. Он всегда и везде оставался Спасателем с большой буквы. Может, он чувствовал, что ему отпущено на этом свете немного времени, может, он был более нужен там? Он часто повторял фразу: “Никогда не спрашивай: “По ком звонит колокол?” Он звонит и по тебе”...

“Наверное, стоило жить проще и спокойнее, — писал один из его друзей. — Работать по своей основной специальности, занимаясь гидромелиорацией. То есть жить, как все, не напрягаясь. Не летать в вертолёте под зенитным огнём, не переходить линию фронта в Абхазии, когда выводил тысячи мирных жителей из блокады. Не карабкаться по обледенелым Саянским склонам в Туве, собирая мёрзлые трупы яков, чтобы по весне, когда всё оттаёт, не вспыхнула эпидемия страшной болезни, не пробиваться десятки часов к живым сквозь бетонно-каменные завалы в Армении, Южной Осетии, Каспийске. Не собирать тела погибших после авиакатастрофы на Шпицбергене, не поднимать с глубины в 40 метров тела погибших в Чёрном море друзей... Но тогда он бы не был Андреем Рожковым. За глаза мы, шутя, звали его “печальным спаниелем”. Его всегда, даже когда смеялся, грустные глаза смотрели куда-то туда, за горизонт. Он всегда хотел пройти первым, чтобы облегчить путь другим, испытать всё на себе, чтобы не подвергать опасности остальных. Так было всегда. Всю дорогу. Иначе он не понимал — зачем жить”.

О смысле жизни он сказал в своих стихах:

*Нам, наверно, от Бога дано
Из холодных рук смерти
Безвинные души спасать...*

Спасатель международного класса, заместитель командира “Центроспаса” МЧС России, полковник Андрей Николаевич Рожков — один из тех, кто стоял у истоков Чрезвычайной Службы России, — погиб 22 апреля 1998 года при испытании нового спасательного водолазного оборудования при погружении под многометровые дрейфующие льды в районе Северного полюса. Погружение было необходимо для проверки возможностей нового водолазного спасательного оборудования в условиях дрейфующего льда. Многие — из не спасателей! — не понимали, зачем он пошёл на это, считали, что ради очередного рекорда. Но спасатель Андрей Рожков знал, что место аварии или катастрофы не выбирают, что погибших и пострадавших приходится доставать не только из покорёженных машин и из-под обломков домов. Погибших приходится доставать и со дна моря, и с разной глубины, в том числе и из-под льда — Андрею пришлось поднимать со дна моря тела погибших друзей всего полгода назад. Чтобы хорошо делать своё дело, надо быть уверенным не только в тех, с кем работаешь, но и в оборудовании. Не всегда можно срочно доставить тяжёлое водолазное снаряжение к месту беды. В лёгком водолажном костюме он ушёл под дрейфующие льды на глубину 50,8 метров. Это зафиксировал его подводный наручный компьютер. Он же зафиксировал и момент его смерти. Его ещё пытались откачать на льду, четыре часа делали ему искусственное дыхание, но чуда, которое спасало Андрея не раз, на этот раз не случилось... Казалось, против этого погружения была и природа: в аэропорту Хатанги шесть суток она не давала взлететь самолёту, который должен был унести его к Северному полюсу. Как бы надеялась, что ему надоест ждать, и он вернётся в Москву. Но он упрямо ждал...

Может, он предвидел свою смерть? Незадолго до своего трагического спуска он написал стихи:

*Упрямо я стремлюсь ко дну,
дыханье рвётся, давит уши.
Зачем иду на глубину?
Чем плохо было мне на суше?*

Он был поэтом в спасательном деле. Он погиб, как Поэт, — в 37 лет!

Это было личное горе Сергея Кужугетовича Шойгу — с Андреем они начинали строить МЧС. На стол Президента России легло его представление о присвоении Андрею Николаевичу Рожкову звания Героя России.

Андрей Рожков продолжает спасать людей и по сей день. Его именем назван один из спасательных вертолётов Ми-8 и поисково-спасательный ка-тер “Центроспаса” МЧС. Его имя присвоено московской средней школе № 502, в которой он учился. В декабре 2007 года в посёлке Мулино Нижегородской области при участии Сергея Шойгу открылась кадетская школа-интернат пожарно-спасательного профиля, которой присвоено имя Андрея Рожкова. В его честь проводятся ежегодные соревнования юных спасателей. А Московская городская дума одним постановлением выносит решение о возведении памятников в столице двум своим великим гражданам: великому русскому поэту Ф. И. Тютчеву и великому спасателю А. Н. Рожкову.

Наверное, эта статья была бы более к месту к “юбилею” несостоявшегося Уфимского Чернобыля. Но 22 апреля прошлого года, глубокой ночью меня как бы стукнуло... Я вдруг отчётливо вспомнил ту короткую встречу в Москве около станции метро Добрынинская, поразивший меня печальный взгляд внешне весёлого молодого человека, обращённый как бы за горизонт, словно ему было дано видеть то, что нам, обычным смертным, видеть не дано. Я посмотрел на календарь: со дня гибели Андрея Рожкова прошло ровно 15 лет.

Кого я в Уфе ни спрашивал, никто, кроме Славы Климца, не знал этого имени. И я не стал ждать следующей “юбилейной” даты – годовщины предотвращённой уфимской катастрофы, к тому же до неё ещё надо дожить. Не знаю, есть ли экспозиция об Андрее Николаевиче Рожкове в музее уфимского НПЗ, как не знаю и того, существует ли сам музей, но, может, неплохо было бы, если бы ему, как и офицерам-саперам, взявшим на себя чрезвычайную ответственность в той операции, была посвящена пусть небольшая экспозиция в будущем музее города или даже в музее Боевой Славы, ибо по жизни они были солдатами, защитниками Родины, а Андрей Рожков и погиб, как солдат...

В позапрошлом году члены поисковой экспедиции по следам пропавшей группы Валериана Альбанова прилетели в Уфу на XXII Международный Аксаковский праздник, на торжественную церемонию присоединения имени “Штурман Альбанов” учебному судну Уфимского командного речного училища. “Саша Григорьев XXI века” – Герой России, генерал-лейтенант Николай Фёдорович Гаврилов из Москвы, – ныне стал начальником Управления безопасности полётов одной из лучших российских авиакомпаний “ЮТэйр”. Когда ведущая торжественного Аксаковского вечера представила его: “генерал-лейтенант в отставке”, – он, выйдя на сцену, поправил её: “Врагам России ответственно сообщаю, что я не в отставке, а в запасе”. Почётный полярник Олег Леонидович Продан прилетел из Арктики, где он один на сверхлёгком вертолёте впервые в мире долетел до полярной станции Борнео и, кажется, даже до самого Северного полюса. А спасатель “Центроспаса” МЧС Александр Павлович Унтила прибыл из Кейптауна, где он проводил суда через океанские пиратские районы. Потом я получил от него письмо: “Михаил Андреевич, ну, нет слов. Был бы я чуть сентиментален, отписался бы в восторженных тонах. Ощущение, что глотнул чистого воздуха и хлебнул свежей воды. Теперь вопросы: “зачем” и “ради чего” долго не возникнут – за вот таких людей, как Ваши земляки, – хоть под пули, хоть в завал. Спасибо, что показали НАСТОЯЩУЮ Россию, а то в этой долбаной Москве все представления исказились. Живы мы, и жить будем...” И снова надолго пропал он, пока не получил я от него по электронке фотографию: четверо *вежливых молодых людей* в камуфляже с американскими винтовками М-16 на каком-то судне... Значит, опять спасает торговцев моряков и рыбаков разных стран от пиратов. А недавно я получил от него СМС: “У меня всё в порядке. Я в Северной Сирии, исключительно с туристической целью”.

P.S. МЧС России стало соучредителем Международного славянского форума искусств “Золотой Витязь”. И мы в октябре 2014 года летели из Москвы в Пятигорск на V Международный литературный форум “Золотой витязь”, на празднование 200-летия великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, на флагманском самолёте МЧС с гордым именем “Валерий Чкалов”. МЧС России взвалило на себя ещё одну ответственную обязанность: спасти отечественное искусство и отечественную литературу.

ВИКТОР СЕНЧА

ЧЕЛОВЕК ИЗ “СМЕРША”

...Нынче на Поклонной фронтовиков-ветеранов по пальцам перечесть, хотя лет этак пять назад от орденских планок, медалей и убелённых сединой голов в глазах рябило. Не то что сегодня: раз-два – и обчёлся; если увидишь с десяток – считай повезло.

Уходят от нас ветераны, стремительно покидают. Когда-то, помнится, ещё школьником был, победители встречались у Большого побатальонно и полками; позже – дивизиями и армиями. Уже в наши дни удачей считается найти соратника, с кем в грозные военные будни тянул лямку на Калининском, Западном или каком-нибудь из Белорусских или Украинских фронтов. Где они, наши деды – лихие конники и разведка, пехота-матушка, летуны и герои морфлота? Теперь самым младшим из них аккурат под девяносто.

Странное дело, чем дальше от войны, тем больше давит некое чувство, назвать которое сразу не берусь. То ли тоска, то ли какая-то ностальгия. Скорее, мучительное желание беседы – такой, чтоб по-мужски, немногословной, но глубокой по сути. Мучительность же оттого, что желание это изначально несбыточно: мой дед, с которым как раз и хотел бы я поговорить, сложил голову в сорок третьем под Вязьмой. И отсюда моя безысходность.

Был ещё один дед, по отцу. И тоже воевал, правда, на Востоке. Где-то там, в маньчжурских степях громил лихой танкист из Кустаная самураев Квантунской армии, дойдя... до Киото. Вернулся домой победителем. На подъезде к родному городу, на каком-то полустанке, его вдруг окликнул родной голос:

- Илюха!
- Васька!

Василий был младшим в семье. Войну начинал с Курской дуги, дошёл до Берлина. В конце сорок пятого братья возвращались домой. Один – с Запада, другой – с Востока. На остановке Василий решил пройтись вдоль встречного состава – вдруг брата увидит. И увидел! К матери вернулись оба враз – целёхонькие, цветущие, повзрослевшие. С православными крестиками на груди, что надела им матушка при прощании...

Деда Илью я помню хорошо. Его лукавый прищур, могучие плечи и добрую улыбку, свет которой сохранил в душе до сих пор. А вот поговорить повзрослому не пришлось. Когда вырос, деда уже не было. Умер тихо, неожиданно, не дотянув и до шестидесяти. Лишь оставил по себе добрую память...

СЕНЧА Виктор Николаевич родился в 1960 году в г. Кустаная (Казахстан). Детские и юношеские годы провёл в городе Вятские Поляны Кировской области. Правозащитник, писатель, публицист. Автор книг “Однажды в Америке: триумф и трагедия президентов США” (2005 г.); “Этюд с кумачом без белых перчаток” (2012 г.); “Полчаса из прошлого” (сборник рассказов, 2012 г.). Печатался в журналах “Москва”, “Наш современник”, “Нева” и др. Живёт в Москве.

И всё же мне повезло. Несколько лет назад я почти случайно познакомился с удивительным человеком. Им оказался не просто фронтовик-окопник, а тот, кого в годы войны боялись как по ту, так и по эту сторону окопов. Знакомьтесь, *Иванов Леонид Георгиевич*, 1918 года рождения, профессиональный военный разведчик, генерал-майор в отставке. В годы Великой Отечественной служил в армейской контрразведке; с 1943-го — офицером легендарного “Смерша”. Автор уникальной книги “Правда о “Смерш””.

Война глазами контрразведчика — это ли не удача для любого, кому интересна родная история? Ухватившись за возможность познакомиться, я набрал нужный номер телефона и после нескольких гудков услышал густой мужской голос:

— Да, слушаю вас, Иванов...

* * *

...Мы встретились в его генеральской квартире — почти в самом сердце столицы, недалеко от станции метро “Проспект мира”. После дежурных приветствий крепко пожали друг другу руки.

Рукопожатие может рассказать о многом — даже раскрыть характер человека. Если вялое и с какой-то влажной торопливостью — с таким лучше и не здороваться вовсе, себе дороже. Подобный типчик — скользкий, юркий и ненадёжный. Зато сильная и уверенная рука всегда говорит о человеке характерном, прямом и уверенном. У Леонида Георгиевича Иванова, несмотря на его девяносто с хвостиком, рукопожатие было именно такое — сильное и даже тяжеловатое. Одним словом, мужское. И после этого мне сразу сделалось как-то легко. Хотя ещё даже не начинали разговор.

Едва разместился в гостиной — ещё одна неожиданность: телефонный звонок.

— Всё в порядке, — сказал в трубку Иванов. — Гость явился; именно тот, с кем мы договаривались о встрече. Да-да, Виктор Николаевич... Не волнуйтесь.

Вот так, ещё та закалка, “смершевская”, усмехнулся я про себя. Как говорится, на мякине не проведёшь: чужие здесь не ходят...

— Чай или кофе? — поинтересовался хозяин.

— Спасибо, на ваше усмотрение...

— Тогда предлагаю кофе, он у меня хороший...

— Сдаюсь...

— Рановато сдаётесь, молодой человек, — улыбнулся Леонид Георгиевич. — Ведь мы ещё не начинали...

Удивительное дело, этому боевому генералу на вид никак не дашь его годы — от силы семьдесят пять. Строен, крепок, опрятен, тщательно выбрит. И глаза — они не столько пронзительны, сколько умны.

Генерал Иванов — живая легенда военной разведки. “Смершевец” в годы войны, в мирное время он служил в Управлении особых отделов Группы советских оккупационных войск в Германии, в УОО по Киевскому военному округу. В пятидесятые был переведён в 3-е Главное управление МГБ СССР; в шестидесятые возглавил Особый отдел по Южной группе войск (Венгрия), тогда же получил генеральское звание. Возглавлял ОО по Прибалтийскому, Киевскому и Московскому военным округам. Лично знал Юрия Андропова, был в хороших отношениях с Яношем Кадаром и его супругой Мариной, русской по происхождению. Любимым анекдотом о своей работе Леонид Георгиевич всегда считал тот, который рассказал ему... Юрий Гагарин.

Не поспоришь — легенда. Поэтому каждый эпизод из жизни — отдельная глава, причём чрезвычайно интересная.

Но у меня всего лишь пара часов, от силы — три, чтобы удовлетворить своё писательское любопытство. А потому отведённое мне время я посвящаю самому главному в биографии этого человека — Великой Отечественной войне...

Войну Леонид Иванов встретил в Северной Буковине, под Черновицами, в самой западной точке Украины (вошла в состав СССР в июне 1940 года). Военным противостоянием пахло давно. По крайней мере, когда Молотов и Риб-

бентроп подписывали пакт о ненападении, всем было ясно: это ненадолго. Первыми самую свежую информацию получали контрразведчики. Как показало время, сильнее был тот, у кого лучше работала именно контрразведка.

Но до того как принять свой первый бой на границе, оперуполномоченный Иванов успел не раз испытать надёжный маузер в борьбе с украинскими националистами.

К тому времени, когда части Красной армии вошли в Западную Украину, она была пропитана идеями борьбы с полонизацией*. Всплеск движения за независимость выпал на двадцатые-тридцатые годы. От бывшей Австро-Венгерской империи остались лишь жалкие осколки. Одним из таких осколков оказалась Галиция. В ноябре 1918 года была создана Западно-Украинская народная республика (ЗУНР), опорой которой стала Украинская Галицкая армия (УГА). Впрочем, просуществовала она недолго: после того как в ходе польско-украинской войны сечевые стрельцы потерпели полное фиаско, фактически с 1921 года Галиция вошла в состав Польши.

Но начало было положено. В 1929 году фендрик (прапорщик) австро-венгерской армии Евген Коновалец из разрозненных националистических отрядов создал единую Организацию Украинских националистов (ОУН). К середине тридцатых оуновцы скатились к открытому террору в отношении польских оккупационных властей. За убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого в 1936 году двенадцать членов ОУН были приговорены к длительным срокам заключения. Трое из них – Бандера, Лебедь и Карпинец – к смертной казни (позже она была заменена на пожизненное заключение).

Активный идеолог ОУН Степан Бандера просидел за решёткой до сентября 1939 года, когда Польшу оккупировали гитлеровцы. Тогда-то этот “герой” и был завербован абвером.

Из характеристики Бандеры на Нюрнбергском процессе из уст полковника Эрвина Штольце, заместителя начальника отдела Абвер-2:

“В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек Бандеру к непосредственной работе в абвере. По своей характеристике Бандера был энергичным агентом и одновременно большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда готовый совершить любые преступления. Агентурные отношения с Бандерой поддерживал в то время Лахузен, я – полковник Э. Штольце, майор Дюринг, зондерфюрер Маркерт и другие...”

23 мая 1938 года в Роттердаме был ликвидирован Евген Коновалец. Произошло это в одном из местных ресторанов, где агент НКВД Павел Судоплатов презентовал “сладкоежке” коробку шоколадных конфет, начинённую... взрывчаткой. Однако гибель оуновского лидера ничего не изменила. Абвер-2 уже вовсю готовил боевиков из числа западных украинцев. Возглавил организацию Андрей Мельник.

В августе 1939 года произошёл раскол. Образовалось две фракции: ОУН(б) (бандеровская) и ОУН(м) (мельниковская). Но суть от этого не менялась. Миллионы немецких марок исправно шли на поддержание националистического движения в Западной Украине. Мельник стал гитлеровским агентом “Консул-1”, Бандера – “Серым”. Хозяином “бандеровцев” был абвер, “мельниковцев” – гестапо. Как ни крути – фашистские прихвостни и безжалостные каратели. Позже вся эта свора сформирует дивизию СС “Галичина”**.

Националисты ненавидели всех – поляков, евреев, “москалей” и коммунистов... И первый удар после прихода в Западную Украину Красной армии приняли на себя сотрудники НКВД...

В конце 1940 года Леонид Иванов будет назначен заместителем начальника отделения СПО (секретно-политического отдела) в составе УНКВД по

* Полонизация – насаждение польской культуры, в частности – польского языка, – в контролируемых Польшей землях с непольским населением. Помимо этого, в отношении украинцев осуществлялось политическое и экономическое давление.

** 15 октября 1959 года Степан Бандера будет убит в подъезде дома № 7 по Крайтманштрассе в Мюнхене, где после войны жил с семьёй. Агент КГБ Богдан Сташинский выстрелил ему в лицо из пистолета-шприца с цианистым калием. Причиной смерти назовут паралич сердца. Убийца Бандеры позже окажется перебежчиком; уйдя на Запад, он сам расскажет всю правду о секретной операции Лубянки. Андрей Мельник благополучно скончается в Люксембурге в 1964 году.

Черновицкой области. Основной задачей отделения была борьба с украинскими националистами. Хорошо налаженное подполье, надёжная агентура, деньги, радиосвязь, оружие – вот то, что помогало вражеским агентам вести активную борьбу с новыми властями. Стрельба из засад, повреждение линий связи, диверсии, саботаж – это тоже их “почерк”. Зверства, чинимые бандеровцами и мельниковцами в отношении не только представителей Советской власти, но и мирных жителей, заставляли леденеть кровь...

Чтобы бороться с этой нечистью, требовалось мужество, стойкость. Своё хладнокровие младший лейтенант госбезопасности Иванов проявлял, появляясь на улице Черновиц исключительно в военной форме. Вопреки угрозам и реальной опасности быть убитым прямо на улице города. И едва не поплатился за это, когда его пробитая пулей фуражка отлетала в сторону. (“Ещё бы немного, – рассказывал он, – и всё, привет!”) Стреляли также и в окна Управления НКВД.

Как-то в апреле 1941 года выехали в один из районов на задержание опасного бандита. На месте были уже в сумерках. Подошли к дому, у дверей – женщина.

– Где хозяин?

– Немае...

Одного сотрудника отправил в дом, другого – в подвал; сам полез на чердак. Однако хозяина нигде не было. Осталась клуня, сарай... Осторожно вошёл, замер – вроде тихо. Темень – глаз выколи. Не спеша поднялся на сеновал, прошёлся по мягкому селу. В одном месте нащупал лёжку – здесь кто-то недавно был. Сунул руку – тепло. Ага, значит, где-то здесь, голубчик... Вдруг внизу и сбоку послышался шорох. Кубарем вниз, следом два громких выстрела. Промазал, не на того напал... Оба затихли. Сейчас главное, мелькнула в голове мысль, не выдать себя, затаиться, чтоб в темноте уловить дыхание смертельного врага. Всё дело в выдержке. Кто окажется более хладнокровным, тот в этой дуэли и выйдет победителем... Но и медлить нельзя. Вычислят тебя – и привет! Лёгкий шорох... Мгновенно среагировав, Иванов вдавил спусковой крючок маузера, почувствовав несколько тяжёлых отдач в руку... В ответ – тишина. Пришлось отползти метра на три в сторону. Если враг ранен – он ещё опаснее, более ожесточён, да и терять ему уже нечего...

Молодость победила. Бандит был убит прямо в висок. При нём нашли список местных оуновцев. Получалось, в общей сложности следовало арестовать человек двадцать. Да ещё по разным сёлам, некоторые – у чёрта на куличках; плюс ко всему – весенняя распутица и, конечно, ограниченное время! Что делать?

И тут Иванова выручила его природная смекалка. Решили так. Наутро в села из районного военного комиссариата ушли повестки: такой-то вызывается в военкомат в целях учёта. Среди вызванных были и те, кто значился в списке убитого. Но вызвать – ещё не значит взять. Пришлось прибегнуть к хитрости. В итоге получился целый спектакль; правда, игра оказалась серьёзной.

Во главе стола в кабинете, куда вызывался военнообязанный, восседал “военком” – оперуполномоченный Иванов собственной персоной. Здесь же находился “врач” – один из подчинённых “военкома”. Кроме них, ещё присутствовал “учётчик” – человек, работавший с картотекой (тоже чекист).

Итак, спектакль начинается. Заходит сельский хлопец, представляется. “Учётчик” старательно роется в картотеке. Находит нужную карточку... А дальше очень интересно.

Под рукой чекиста всякие-разные списки, один из которых – с фамилиями агентов. Нет в списке – карточку откладывает в одну сторону, скажем, влево; в ней что-то записывают, а потом хлопча отпускают. Но вот если из списка – тогда совсем другая технология. Карточка откладывается вправо, поближе к “врачу”: какие-то, мол, проблемы со здоровьем – то ли плоскостопие, то ли с лёгкими совсем беда. К такому – особое внимание: и рост, и вес выверят, даже объём груди проверят. В Красной армии слабые здоровьем не нужны. “Болезный” поначалу вроде как напрягается, но быстро смекает, что всё идет как надо: найдут доктора какую-нибудь хворь – и в армию идти не придётся. Тем более что и желанья-то особого нет.

Нда, качает головой, исследовав грудную клетку, “врач”: что-то с лёгкими.

– Куришь, поди, хлопец?

– Уху...

– Ну, раз “уху” – тогда на обследование, в город...

Так через “сито” пробежались все двадцать, оказавшиеся вдруг нездоровыми. А раз нездоровый – обязан обследоваться. Всех погрузили в машину – и в Черновицы. Только вместо диспансера – в областное Управление НКВД.

Так была выявлена целая подпольная сеть оуновцев. “Улов” оказался весомым: помимо задержания агентов, обнаружили крупный склад с австрийским и немецким оружием. Взяли оружие – спасли множество человеческих жизней...

В субботу вечером 21 июня 1941 года младший лейтенант госбезопасности Леонид Иванов, покинув Черновицы, выехал в направлении границы. В эти тревожные дни главной заботой сотрудников НКВД в приграничных районах стала работа с перебежчиками и агентами, засылаемыми на сопредельную территорию. Для встречи с одним из таких агентов Иванов и отправился на пограничную заставу.

Работы оказалось невпроворот; лёг спать далеко за полночь. А вскоре его разбудил часовой. Часы показывали ровно три.

– Вставайте, товарищ лейтенант... Нарушители!

Быстро оделся, вышел во двор. Где-то совсем близко стреляли. Вместе с пограничниками занял оборону в одном из дзотов.

Из книги Леонида Иванова “Правда о “Смерш”:

“Я передвинулся к бойнице... Звонко ударил рядом выстрел, второй, третий. В нос ударил острый запах пороховых газов. Винтовка сама собой оказалась в руках. Я быстро нашел цель и спустил курок.

Отношение к оружию в те годы было у меня пиететное [...]. Как у начинающего оперативника, был у меня, конечно же, и маузер. Кому-то это может показаться смешным, но я полюбил “маузер К-96”, широко известный ещё в гражданскую, тяжеловатый, десятизарядный, но с очень хорошим и эффективным боем. Позднее я заменил это хорошее, но также несколько прихотливое оружие на обычный надёжный наган [...].*

В ту памятную ночь нам пришлось вести тяжёлый напряжённый бой. Наше укрепление оказалось на пути, где противник сосредоточил значительные силы и настойчиво пытался преодолеть государственную границу. Офицер-пограничник, с которым мы появились в дзоте, вскоре был вынужден нас оставить, с тем чтобы привести подкрепление. Оставшись втроём, мы вели почти непрерывную прицельную стрельбу...”

Тогда же, в том первом бою, Иванов попал под авиационную бомбёжку. К счастью, для дзотов вражеские самолёты были не страшны. А через несколько дней постоянных боёв оперативника отправили обратно в Черновицы, откуда он вскоре был откомандирован в Одессу.

Самое страшное ждало впереди...

* * *

Это только кажется, что с бывалым человеком разговаривать просто и легко. Да, он много прошёл, ещё больше знает; но не факт, что это узнаете и вы. Всё дело в тактике разговора, в умении задать такие вопросы, которые собеседнику были бы не только понятны, но и способствовали тому, чтобы он рассказывал всё больше и интереснее.

– Что для вас значат такие слова, как “окопная правда” или “проза войны”?

– “Проза войны”? – удивляется Леонид Георгиевич. – Что ж, расскажу один случай. Где-то в начале войны мы несколько недель не выходили из боёв. Приползали в землянку и, не раздеваясь, валились от усталости на нары. Засыпали мгновенно. Через несколько часов – снова в бой. И вот однажды заметил: что-то случилось с моими ногами. Вроде не ранен, сапоги не прострелены. А боли в ногах такие, что впору идти в медсанбат. Будто посечены

* Однако в беседе со мной Леонид Георгиевич сказал, что самым надёжным личным оружием в военные годы показал себя пистолет ТТ; именно с таким он прошёл до конца войны.

осколками. Сначала терпел, сколько мог. Потом стало немого. Попробовал снять сапоги – не получилось. Помоги, говорю, товарищу, избавься от обуви, сильно ноги болят. Тот тянул-тянул – без толку. Режь, говорю, голенища, иначе – нет никаких сил терпеть... Одним словом, стянул он с меня эти несчастные сапоги – а там...

– Осколки? – не выдержал я.

– Нет, не осколки. Полные сапоги... вшей. Вычерпывал горстями. Вся эта масса ноги и сдавила. Так что проза любой войны – вши. Они-то и есть окопная правда. Кто на войне не познал вошь – тот в окопе не сиживал...

– Какое самое страшное воспоминание о войне?

– Керчь, в сорок втором. Страшнее, чем там, не было нигде. Трупы, которые в такт волнам качались в прибрежной воде. Почитайте в моей книге, я там об этом писал...

“С пирса было видно, что в морской воде находится большое число трупов, почему-то они были в вертикальном положении. Кто был в шинели, а кто в ватнике. Это были убитые или утонувшие наши люди. Была небольшая волна, и создавалось впечатление, что они как бы маршируют. Страшная картина. Многих она толкала на безрассудные поступки и отчаянные действия”...

– Они до сих пор у меня перед глазами, эти безымянные трупы. Десятки и сотни мёртвых людей. Страшно...

– Кстати, как вы тогда выбрались из той Керченской мясорубки?

– Мы оборонялись ещё несколько дней. Но двадцать первого мая всё было кончено. Немцы напирали. Ну, думаю, всё-таки придётся стреляться. Спасся чудом. Помог пожилой капитан, который на своей шхуне до этого несколько раз подходил к пирсу за ранеными. Он-то и шепнул: “Эта шхуна последняя. Больше не будет, всё”.

Уходили под немецким шквальным обстрелом. Несколько наших погибло. Полузатопленная шхуна всё же добралась до косы Чушка на противоположном берегу...

– Если говорить о “Смерше”, на ваш взгляд, эта структура оправдала своё предназначение в годы войны?

– Безусловно. И здесь следует отметить заслугу генерала Абакумова. Уникальный был человек. Умный, грамотный разведчик, настоящий профессионал своего дела. Сталин ему доверял. В 1943 году особые отделы НКВД оказались подчинены Наркомату обороны, объединившись в органы контрразведки “Смерш”. Как известно, поначалу планировалось другое название – “СмерНеШ” (“Смерть немецким шпионам!”); однако Сталин возразил: “Почему мы должны иметь в виду только немецких шпионов? Разве против нашей страны не действуют шпионы других разведывательных служб? Предлагаю назвать контрразведку “Смерть шпионам!”, то есть “Смерш”...” Возражений не последовало.

Сейчас много говорят, что “смершевы” во время войны отсиживались в тылу, бражничали и окопов-то, мол, не видели. Ложь! Воевали – и ещё как! Семь тысяч погибших сотрудников, ещё столько же раненых и пропавших без вести... Эти цифры говорят сами за себя. “Смершевы” воевали, не щадя своих жизней... Ну, а про генерала Абакумова скажу одно: а ведь немца-то он объегорил, уложил абвер на лопатки! Не это ли главное?

– Три десятка обезвреженных вами вражеских агентов – это же, по сути, целый взвод... Агент – зачастую обычный с виду парень, хорошо говоривший по-русски, да ещё с каким-нибудь характерным вологодским или курским акцентом, в форме красноармейца. И распознать его среди сотен солдат и офицеров было изначально непростым делом. Это, пожалуй, целая наука?..

– Наука, – согласился Леонид Георгиевич. – Правда, она постигалась с опытом, путём проб и ошибок. Порой – пролитой кровью...

Обычно “беседа”-допрос с подозрительным начиналась с ознакомления с так называемой книжкой красноармейца*. Книжечка как книжечка. У кого-то потёртая, изношенная от пота после долгой носки в кармане гимнастёрки; у кого-то – новенькая, такая была у новобранцев. Фамилия, имя, отчество.

* До 20 апреля 1940 года документом, удостоверяющим личность красноармейца и младшего командира, была так называемая служебная книжка красноармейца. С началом войны, в соответствии с приказом народного комиссара обороны Союза ССР № 330 от 7 октября 1941 года, во всех частях и учреждениях Красной Армии как в тылу, так и на фронте вводилась красноармейская книжка с фотографией согласно объявленному образцу.

Звание и должность... Наименование части и подразделения... Откуда призван... Военная специальность... Сведения о ранениях... Всё как обычно.

Во время беседы между делом можно спросить о городе, откуда красноармеец призван; или о госпитале, в котором одно время проходил лечение. Вполне понятно, что после ранения в руку-ногу необходимо “предъявить” доказательство в виде шрама или следа от операции. Госпитали — на них срезались многие. Всё там же, спросит дознаватель, в 13-й школе? Ну да, подтвердит солдатик, в тринадцатой. Что у парка, на улице Калинина? Да-да, именно там. Если не диверсант — не ошибётся; мало того, назовёт ещё немало уточняющих зацепок: в баню водили на соседнюю улицу, оперировал доктор Петров, а обратить на себя внимание медсестрички Катеньки из терапевтического не мечтал разве что угодивший в изолятор для дизентерийников...

Другое дело — “засланный казачок”. Каждое слово — будто выдавлено; каждый факт подается с осторожностью, чтоб не оступиться. Легче расклялся тот, у кого вся “легенда” липовая от начала до конца. И в Тамбове, откуда якобы призван, никогда не бывал; и городок Киров, где, как сказано в документах, отбывал в госпитале, знал разве что по одной-двум старым фотографиям. С таким и работать проще. Несколько несложных вопросов — и... “птичка в клетке”. Другое дело, если и в госпитале лежал, и город, указанный в красноармейской книжке, знает не понаслышке. Да и ведёт себя вполне естественно, пытаюсь шутить или рассказать какую-нибудь байку. Обычно так вели себя профессионалы, выпускники абверовских спецшкол. Такие появились ближе к концу войны.

Вот перед контрразведчиком сидит понурый красноармеец. Веснушчатый деревенский парень, откуда-нибудь из-под Пскова. И в госпитале-то лежал, и призван оттуда, откуда положено. Участвовал в боях, побывал в окружении. Только почему-то из всего взвода, оказавшегося в немецком плену, выбраться удалось лишь одному. Отсюда и подозрения. Слегка испуган, виновато прячет глаза — как-никак бежал из фашистской неволи. Таких — десятки; но этот — один из целого взвода, да и батальона тоже. Не каждый день такая удача. И удача ли?

Его красноармейская книжка от длительной носки поистрепалась, поблёкла и выцвела. Это и понятно, не всякий документ выдержит пот, болотную жижу, речную воду и просто грязь. Поэтому книжка эта влажная и липкая — одним словом, непрезентабельная. Но это не беда. Главное, знает “смершевец”, чтоб “презентабельной” оказалась одна существенная деталь этой книжицы. *Скрепки!* Вот что не могли предусмотреть абверовские умельцы. От пота, воды и грязи металлические скрепки подёргивались налётом и ржавчиной. Если, конечно, не были сделаны из нержавеющей стали. На этом немцы и погорели: в поддельных красноармейских книжках скрепки клепались из нержавеющей стали! Открыл книжку, взглянул на скрепки — ржавые. Не врёт солдатик из-под Пскова, свой, везунчик. А уж коли из нержавеющей стали — не взыщи, касатик...

Иногда на поддельных подводил шрифт. Однажды контрразведчики заметили, что на стр. 4 красноармейской книжки буква “к” как-то странно, будто пьяная, ушла вверх. Присмотрелись, ещё одна, неожиданно завалившись, в конце странички сползла вниз. Что за чехарда? Причём солдатик с кривыми буквами, по странному стечению обстоятельств, прошли одни и те же “котлы” — Вяземский, Харьковский, Демянский... Лёгкий дефект вражеской типографии стоил жизни десяткам агентов противника.

И не только это. Скрупулёзность “смершевцев” удивляла даже опытных сыскарей. (Впрочем, они и были самыми что ни на есть сыскарями!) Бывало, документы оказывались настолько профессионально легендированы, что комар носа не подточит. Хотя сомневаться в достоверности ориентировки не приходилось: диверсант. Однако и в родном городе его, что называется, “каждая собака знала”, да и книжечка со “ржавчинкой”. На такого имелись другие приёмы. Скажем, награды.

Взять, к примеру, орден Красной Звезды. Славный орден, будто пропитанный кровью красноармейца. Такой требует не только трепетного к себе уважения, но и должного его значимости пиетета (словечко генерала Иванова). Не уважать такую награду мог разве лишь тот, кто не был достоин её. А вот некоторые этим явно пренебрегали — например, носили на левой стороне груди. С чего бы вдруг? А ведь это улика! Потому как в первые годы “звёздочку”, и правда, носили слева; но позже, в годы войны, согласно

отдельному циркуляру, сторону поменяли на противоположную. И не знать этого мог только “пришлый”...

– Некоторые современные “писакки” чего только не измышляют про ужасы, творимые “смершевцами” в годы войны. Заподозрили в шпионаже, попытались “расколоть”, и если красноармеец ни в чём не признавался, его тут же выводили куда-нибудь за угол и, не мудрствуя лукаво, расстреливали.

– Всё это неправда. Даже в случае явного разоблачения вражеского агента его не расстреливали во дворе комендатуры. Выявили негодяя – и в следственное отделение. Дальше с ним занимались военные следователи. Мы сами никогда не расстреливали. Перед нами стояли совсем другие задачи...

– А как обстояло дело с так называемыми самострельщиками?

– С этими – то же самое. После тщательного расследования и доказательства вины их судили...

* * *

...В июле 1944 года Ставка готовила Яско-Кишинёвскую операцию. Утечка любой секретной информации грозила повлечь за собой серьёзные неприятности. “Неприятности” на войне – это, в первую очередь, человеческие жертвы. Чем выше уровень секретности, тем большее количество жертв.

Именно в те дни было получено сообщение, что в 49-й гвардейской стрелковой дивизии, ведущей боевые действия на днестровском плацдарме, действует агент абвера. Имелись его данные – фамилия, имя и отчество. А ещё – прекрасная наводка: перед войной этот малый работал поваром в московском ресторане “Метрополь”.

К тому времени капитан Иванов уже служил в армейской контрразведке 5-й Ударной армии. Быстро оценив важность полученной информации, “смершевцы” тут же отправили шифрограмму в отдел контрразведки дивизии о задержании опасного агента. Однако спустя несколько дней получили ответ: такой в дивизии не числится. Иванов срочно выехал в дивизию.

Два-три дня ушло на то, чтобы собрать все имеющиеся списки личного состава – живых, убитых, раненых и больных, пропавших без вести, бывших в командировках... Агента в этих списках тоже не оказалось. Либо что-то напутали разведчики, либо... плохо искали. Иванов не привык валить вину на кого-то. Прежде всего, считал он, следует быть разыскательным к себе. Поэтому необходимо было продолжать поиски. Но, к сожалению, они ничего не дали. Придётся, вздохнул Иванов, возвращаться ни с чем...

Из книги “Правда о “Смерш”:

“... Перед отъездом мы сели позавтракать в землянке начальника отдела Васильева. Я обратил внимание на удивительное для боевых условий высокое качество завтрака. Поинтересовался: кто готовил?

Васильев ответил, что недавно у него во взводе охраны ОКР “Смерш” появился новый солдат, работавший поваром до войны. У меня сразу возник вопрос:

– Слушай, Васильев, а список твоего взвода мы проверяли?

Васильев при этих словах словно окаменел, поражённый догадкой:

– Так это он и есть! Тот, кого мы разыскиваем. Солдат-повар, который подаёт нам завтрак.

Я говорю:

– Спокойно, никаких эмоций, доедим, как обычно, свой завтрак до конца.

После завтрака взял список взвода охраны отдела “Смерш” дивизии и убедился, что солдат-повар действительно является разыскиваемым шпионом...”

Остальное было делом техники. Иванов вызвал предателя на “беседу”, во время которой похвалил: хорошо готовишь. А потом продолжил: у нас, мол, в штабе армии у одного важного генерала желудок больной, ему диета нужна; поваром к нему пойдёшь? Тот, конечно, согласился. А уж когда прибыли в отдел армии, там его и “раскололи”. Рассказал всё – кем, когда и с какой целью был завербован, чем занимался в боевой дивизии и т. д. Как оказалось, задержали изменника за несколько дней до ухода его к немцам; а до этого агент намеревался похитить некоторые оперативные документы в отделе контрразведки...

23 апреля 1945 года части 5-й Ударной армии вошли в Берлин. 2 мая Берлинский гарнизон капитулировал. Всё это воодушевляло, хотя для контрразведчиков начиналась самая ответственная работа. Майору Иванову было приказано возглавить оперативную группу, действовавшую в районе Рейхсканцелярии. Главная задача группы заключалась в поиске и задержании главных военных преступников; в сфере интересов были также фашистские разведорганы, гестапо, а также гитлеровские секретные документы, архивы, картотеки агентуры, ценности...

Как только была взята Рейхсканцелярия, туда отправили оперативную группу под командованием майора Зыбина; остальным Иванов приказал работать в здании гестапо. Сам он в это время находился в Карлсхорсте, поэтому приходилось командовать "на расстоянии". В отсутствие начальника произошёл один неприятный инцидент.

Из книги Леонида Иванова:

"... И вот Зыбин присылает мне записку: "Леня, пришли грузовую машину. Нашёл труп Геббельса". А у Зыбина был легковой автомобиль "опель" – машина маленькая, и майор не рискнул затолкать в неё тело. К тому же он боялся везти его по разбитым бомбами и снарядами улицам Берлина. Дескать, в дороге тело так растрясёт, что его никто не узнает, и скажут: "Ну, и чего ты нам какого-то дохлого фрица привез?" Я послал Зыбину полторку и солдата. Но у нас было соревнование – отдел контрразведки 3-й Ударной армии выполнял ту же задачу. Начальник этого отдела, полковник Мирошниченко, с группой сам приехал в Рейхсканцелярию, увидел майора Зыбина и спрашивает, указывая на тело: "Это что такое?" "Товарищ полковник, Геббельса нашёл!" – радостно отрапортовал мой подчинённый. Мирошниченко тут же распорядился забрать труп в свою армию. Зыбин был небольшого роста, он встал перед полковником, выпятил грудь вперёд и заявил: "Мой трофей, не отдам!" Тот развернулся и как ударит того наотмашь! Так труп Геббельса достался "Смерш" 3-й армии..."

Вскоре были найдены трупы Адольфа Гитлера, Евы Браун, их собаки... Возмездие осуществилось!

Обгорелый труп – всего лишь труп. Зато в распоряжении группы майора Иванова оказались личные вещи известных нацистов. Через его руки прошли семь личных кителей Гитлера, на каждом из которых имелись золотые знаки с нацистской символикой; на отворотах, у внутреннего кармана, готический вензель с первыми буквами имени и фамилии – "АН". Удивили контрразведчиков ботинки "колченогого" доктора Геббельса – каблук одного из них был гораздо толще. Так был раскрыт геббельсовский секрет: одна его нога была короче. Рыцарские кресты с бриллиантами, дорогие авторучки, генеральские папки, прочие личные вещи главарей гитлеровского Рейха и всякого рода канцелярские принадлежности Рейхсканцелярии – ничто не произвело на советских офицеров ни малейшего впечатления. И лишь единственный "трофей" привлёк внимание – *витамины*, которые употреблял "бесноватый фюрер". Три коробки витаминов (внешне схожих с кусочками рафинада) стали наградой группе на несколько месяцев вперёд.

Как уже говорилось, особое внимание уделялось поиску архивных документов и ценностей. Солдаты дивизии генерала Антонова недалеко от вокзала обнаружили подземный склад СС. Вход замаскирован, массивные чугунные двери. В подземелье – длинные коридоры, крысы, смрад... С правой стороны оказались ящики. В них обнаружили много золотых вещей – часы, золотые челюсти убитых; в некоторых хранились просто золотые слитки. Были ящики с какими-то золотыми египетскими монетами треугольной формы. Одним словом, ценностей там оказалось много. Позже всё это было отправлено в Москву...

Особенно майору Иванову запомнился один момент 2 мая 1945 года. Именно в тот день скромный деревенский парень на стене Рейхстага написал: "Л. Иванов из Тамбова". Это была жирная точка – то, ради чего стоило жить все четыре года самой ужасной войны...

В тот же день Иванов принял участие в принятии капитуляции немецких войск Берлинского гарнизона. А 8 мая состоялось подписание Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. Иванова включили в состав оперативной группы контрразведки "Смерш" 1-го Белорусского фронта. Важ-

ность момента требовала особых мер безопасности. На Темпельгофском аэродроме Берлина встречали представителей союзных войск, откуда (вместе с немецкой группой Кейтеля) через разбитую столицу поверженного Рейха гостей пришлось сопровождать в Карлсхорст. Особо приходилось охранять генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля. Последний, как начальник штаба Верховного главнокомандования вооруженными силами Германии, должен был от лица нацистской верхушки подписать Акт о безоговорочной капитуляции. Если бы с ним что-то случилось, другого официального представителя найти было не так-то просто. Любое промедление могло обернуться новой кровью...

Подписание Акта о капитуляции Германии должно было состояться в здании местного инженерного училища. Наиболее сложная задача ложилась на плечи майора Иванова: он отвечал за внешнюю безопасность – как сейчас бы сказали, за внешний периметр охраны.

Из книги “Правда о “Смерш”:

“В Карлсхорсте... хоть и недолго, ведь я был при исполнении, но и мне посчастливилось быть в том зале, где проходило подписание.

Был я именно в тот психологически очень яркий момент, когда в зал вошёл фельдмаршал Кейтель и его делегация. Я обратил внимание, что при входе в зал члены немецкой делегации быстро переглянулись. Дело было, наверное, в том, что выразительный ковёр, которым покрыли зал, был взят из кабинета Гитлера. Они, конечно, сразу его узнали и соответственно среагировали. Сам Кейтель пристально вглядывался в волевое лицо маршала Жукова, наверное, пытаясь запомнить своего победителя. Г. Жуков был абсолютно спокоен, внимателен, точен в движениях и эмоциях.

После подписания капитуляции был устроен пышный банкет. Великолепные напитки и наилучшие закуски были заранее привезены из Москвы, а горячее приготовлено хорошими поварами. Сидели за столом до утра, танцевали, пели.

Возник вопрос о том, как быть с немецкой делегацией – кормить их или нет? Задали этот вопрос Вышинскому – он был тогда заместителем министра иностранных дел. Он ушёл от ответа, заявив, что это дело не его, а военных. Тогда обратились к Г. К. Жукову. Тот ответил:

– Дать им, гадам, всё, что есть на нашем столе. Они знали русских во время войны, пусть теперь узнают после войны...”

Как рассказал Леонид Георгиевич, сразу после подписания Акта о капитуляции боевые действия были прекращены. Радости всех не было предела: войне конец! Победа! Там же произошёл один курьёзный случай. Глава французской делегации де Латр де Тассиньи настолько “радовался”, что, не рассчитав дозу выпитого, уснул прямо за столом. Это стало очередным поводом для всеобщей шутки: мало того, что французы всю войну проспали, так ещё и победу...

Тяжёлым ударом, омрачившим радость Победы, стала для майора Иванова гибель командующего 5-й Ударной армией генерал-полковника Николая Эрастовича Берзарина, назначенного первым комендантом поверженного Берлина. Он был знаком с командующим лично, очень его уважал; они импонировали друг другу. “Культурнейшим генералом Красной армии, у которого есть масштаб,” назвал Берзарина писатель Всеволод Вишневский.

Благодаря активности советского коменданта Берлина населению германской столицы удалось избежать массового голода. Уже через несколько дней после окончания войны был пущен берлинский метрополитен; к середине июня открыли двери 600 столичных школ, было организовано 90 детдомов для сирот.

16 июня 1945 года произошла трагедия. Как рассказал Леонид Георгиевич, на выезде из арки в районе Карлсхорста “цундап” коменданта столкнулся со “студебеккером”, следовавшим в перпендикулярном направлении. Удар головой о раму грузовика стоил генералу жизни...

* * *

Июньский день неумолимо клонился к закату. Два часа беседы, на которые я рассчитывал, явно затянулись. Но чем больше Леонид Георгиевич рассказывал, тем дольше хотелось его слушать. Терпеливо, внимательно, с ог-

ромным интересом, стараясь сохранить в записной книжке каждое его слово.

— Сейчас такое рассказывают и пишут про произвол красноармейцев на территории Германии, в том числе — в Берлине. Неужели правда?

— Всякое было, — чуть помолчав, ответил Леонид Георгиевич. — Но в наши дни враньё перешло все мыслимые границы. Если верить, то получается, русский Ваня изнасиловал всех немецких женщин. Враньё! Неприкрытая, наглая ложь! Конечно, война есть война, были эпизоды. Но, поймите, *е-ди-нич-ны-е*. Фашисты — да, насиловали; зачастую, поиздевавшись, ещё и пристреливали. Геббельсовская пропаганда о недочеловеках давала о себе знать. Ну, а в Красной армии с такими явлениями серьёзно боролись. А вот немецкие бордели в послевоенной Германии, не скрою, были, но тут же прикрывались нашим командованием.

— Что-нибудь из неординарного времён послевоенной Германии можете рассказать?

— Конечно. Ну, хотя бы вот такой случай. Один наш старший офицер, майор по званию, полюбил немку. Надо сказать, это категорически не поощрялось, а попросту — запрещалось. По нашим данным, дамочка ещё и работала на иностранную разведку. Чем всё это могло закончиться — мы поняли сразу: изменой. Я вызвал этого офицера к себе, поговорил с ним довольно жёстко. Не порвётся с немкой, говорю, выпроводим из Германии домой.

А потом произошло неожиданное — майор этот... пропал. Первыми забил тревогу в его части: не явиться без уважительной причине на службу уже само по себе являлось серьёзным проступком. Проходит день, два, а его всё нет. Потом об этом узнали мы. Не скрою, всполошились. Наверняка, подумали, драпанул за кордон со своей немкой. Хорошо — знали, где та проживала. Сразу туда. Дверь закрыта; на звонки и стук никто не отвечает. Пришлось взламывать... Они были здесь, оба. Лежали в кровати валетом. Он застрелил любимую женщину из пистолета в сердце, потом — себя, в висок...

На столе обнаружили записку. Просил никого не винить. Майор не мог прервать любовные отношения, как того от него требовали. Но и уход на Запад в глазах офицера выглядел предательством. На двойное самоубийство пошли по взаимному согласию. Схоронили их в одном гробу...

В служебной карьере Леонида Иванова был ещё один эпизод, непосредственно связанный с Великой Отечественной. Вернее — с её самым прославленным полководцем — Георгием Константиновичем Жуковым. Роль маршала Жукова во Второй мировой войне переоценить трудно. Безусловно, ту войну выиграл *советский солдат*. И числом, и умением. А ещё потому, что рукоять меча, громившего фашистскую гадину, держал талантливейший полководец.

После войны всё изменилось. Для кремлёвских вождей маршал стал видаться исключительно в ореоле Бонапарта, косившегося на большевистский трон.

В пятидесятые, в бытность Леонида Иванова начальником 1 отдела 3-го главного управления контрразведки, в его руках оказалось дело, заведённое в своё время на маршала Жукова. На Лубянке особые дела и назывались по-особому. Жуковское дело было известно как *“Гордец”*. В нём содержались протоколы допросов генералов и офицеров, охранников и сослуживцев, даже поваров. Были, в частности, результаты прослушки его телефонов и обыска квартиры и дачи.

— Я видел эту дачу — небольшой деревянный сруб в лесу. Не сказал бы, что уж какие хоромы, — рассказывает Леонид Георгиевич. — В Одессе, куда отправил опального маршала Сталин, процветал бандитизм, преступность зашкаливала. Офицеры прозябали в жалких условиях; о собственном жилье приходилось лишь мечтать. А он и с бандитами расправился, и офицеров квартирами обеспечил. Казалось бы — молодец! Ан нет, в ЦК посыпались письма с жалобами: всё, мол, делает ради карьеры — настоящий культ личности вокруг себя создал. Хорошо, перевели в Свердловск. Та же песня. Вот, пишут, Жуков в театр приходит, а его там встречают аплодисментами, стоя, и так несколько минут. Культ личности!

На трёх листах — перечень вещей, найденных при обыске квартиры: антиквариат, дорогие картины, посуда, шубы, золотые вещи, десятки дорогих шуток... Писали, что хотели! Потому что знали: никто не будет проверять. Тут ещё такое дело: Жуков и Абакумов были в скверных между собой отноше-

ниях. Отсюда и абакумовская приписка: "... ощущение, что особняк находится не под Москвой, а где-то в предместьях Берлина". Но маршал держался, никого не оговаривал, да и про Сталина плохого ничего не говорил. А потом всё изменилось: Абакумова арестовали, Сталин умер, а Жуков стал замминистра, вскоре – и министром.

Когда это оперативное дело находилось у меня, маршал был членом Политбюро. Ввиду всей несостоятельности и надуманности этого дельца я обратился к Серову, возглавлявшем тогда КГБ, с тем чтобы дело "Гордец" уничтожить. Серов долго сомневался, но потом дал согласие. И я его уничтожил. Лично...

– Хотите анекдот? – обратился ко мне перед уходом Леонид Георгиевич. – Не поверите, мне его при знакомстве рассказал Юрий Гагарин. Так вот, гагаринский анекдот.

Сидят в тюрьме трое немецких парашютистов-диверсантов. Рассказывают друг другу, при каких обстоятельствах взяли каждого.

– Спустился на парашюте, цел и невредим, – рассказывает первый. – И прямо на колхозное поле. А там местные бабы с косами и вилами солому в стога собирают. Увидели меня, окружили, косы и вилы приставили к горлу... Пришлось сдаться...

– Приземлился удачно. Ничего не вывихнул, не сломал, – говорит второй. – И надо же такому случиться – прямо на территорию пионерского лагеря. Увидав меня, пионеры налетели, повалили... Пришлось сдаться...

– Нет, ребята, у меня всё было по-другому, – вздыхает, качая головой, третий. – Приземлился нормально, в лесу. Зарыл парашют, припрятал документы, переоделся. Вышел к железной дороге, сел на поезд, проехал километров двести. И тут захотел есть. С поезда сошёл, смотрю – гастроном. Я – туда. Очередь человек десять; на полках – хлеб, колбаса и водка. Ничего, думаю, постою. Гляжу, в стороне стоят двое мужиков. То на водку посмотрят, то на меня; то на водку, то на меня... Потом подходят и говорят: "Ну что, третьим будешь?"...

И тут я понял, что где-то прокололся. Пришлось сдаться...

При расставании мы вновь обменялись рукопожатием. Крепким, мужским. Попрощались, как старые знакомые. Я знал: ему очень грустно. Совсем недавно этот человек потерял любимую супругу – Полину Ивановну. Она тоже была военной разведчицей, служила в 5-й Ударной армии. Но ни о чём этом не стал его спрашивать. Решил, не к чему бередить ветеранскую душу...

С тех пор мы иногда перезванивались. Не реже трёх раз в год – на Девятое мая, в августе, когда у Леонида Георгиевича день рождения, и, конечно, 19 декабря, в День военного контрразведчика. Помню, рассказал ему о том, какое сильное впечатление произвёл на меня его портрет, выполненный выдающимся мастером Александром Шиловым. "Нелегко, конечно, было мне ездить на Знаменку, да и позировать по несколько часов – тоже тяжело, – сетовал ветеран. – Но художник был очень учтив: каждый раз встречал меня лично и сопровождал в свою мастерскую..."

А потом... Потом звонки прекратились. И так уже несколько месяцев. К сожалению, я до сих пор не знаю, что же произошло. Но самые худшие предположения упорно пытаюсь отгонять. Просто возраст, успокаиваю сам себя; разведка не подведёт, та ещё, "смершевская"... И надеюсь дозвониться как-нибудь позже.

Да вот беда, пока не удаётся. Хотя это ни о чём не говорит. В разведке такое случается. И я ничуть не сомневаюсь, что однажды, набрав давно выученный наизусть номер телефона, обязательно услышу знакомое:

– Да, слушаю вас, Иванов...

Поэт Евгений Боратынский принадлежит самой сердцевине золотого века русской литературы. Собеседник Гнедича и Жуковского, друг Дельвига и Пушкина, добрый приятель Вяземского и Дениса Давыдова, собеседник Чаадаева, Гоголя и Любомиров... В молодости — непревзойдённый эзегик, в зрелости — автор шедевров философской лирики... И при всём том взыскательнейший, предельно строгий к самому себе мастер поэтического слова:

Мой дар убог, и голос мой негромок...

Этим скромным признанием, ставшим знаменитой строкой, поэт словно бы накликал себе всю свою посмертную судьбу. Книг о нём совсем немного; круглые даты проходят почти незаметно; памятников нет... лишь недавно в Тамбове установлен бюст. А между тем Боратынский, самый негромкий гений русской поэзии, — несомненно, один из лучших наших поэтов всех времён.

К золотым страницам истории отечественной словесности принадлежит его замечательная, пусть и недолгая, дружба с выдающимся мыслителем Иваном Киреевским. Встречаясь, они всякий раз беседовали далеко за полночь, а в разлуке писали друг другу с каждой почтой. Это была искренняя и горячая дружба двух светлейших голов, двух умнейших людей XIX века. Сохранилось более 50 писем Боратынского к Киреевскому; писем же философа к поэту время не пощадило.

Вскоре в издательстве “Молодая гвардия” выйдет первая биография Боратынского в серии “Жизнь замечательных людей”. Её автор — поэт Валерий Михайлов, недавно издавший в этой серии книгу о Лермонтове. Жизнеописание Е. А. Боратынского отнюдь не приурочено к очередной круглой дате, хотя в этом году в феврале по старому и в марте по новому стилю будет отмечаться 215 лет со дня его рождения. Дело, конечно, не в памятных датах, а в нашей памяти: без стихов Евгения Абрамовича Боратынского немыслима русская поэзия. Ни прошлая, ни сегодняшняя...

ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВ

“МЫ ВИДИМ В ТЕБЕ МИЛОГО БРАТА...”*

Боратынский и Киреевский: начало дружбы

С московскими Любомирами Евгений Боратынский познакомился в 1826 году. Отношения как-то сразу не заладились из-за различных взглядов на мир и общество, да и на творчество. Лишь В. Ф. Одоевский и И. В. Киреевский сочувственно отнеслись к стихам Боратынского, другие отзывались о них с иронией и холодком и сторонились поэта. Характерные записи оставил в своём дневнике М. П. Погодин; судя по ним, он “затруднялся” говорить с Боратынским: “<...> не лежит к нему сердце”. Впоследствии Погодин признался и в другом: что он опасался даже показываться рядом с Пушкиным и Боратынским, людьми, подозрительными для правительства. В свою очередь, Боратынский скептически оценивал многое из сочинений Любомиров; так, о трагедии Погодина “Марфа Посадница” он сказал, что теоретические познания ещё никак не заменяют автору таланта.

* Отрывок из книги “Боратынский”, которая готовится к печати в издательстве “Молодая гвардия” в серии ЖЗЛ.

Всё же с одним излюбимудров поэт позже по-дружески сошёлся. Это был Иван Васильевич Киреевский. “<...> В силу своего необыкновенно логического, твёрдого ума Киреевский был родствен по духу Баратынскому <...>”, – заметил по этому поводу биограф поэта Гейр Хетсо.

Иван Киреевский был шестью годами моложе Боратынского. Он происходил из старинного дворянского рода Калужской губернии, вырос в честной, умной, богобоязненной семье, уважающей, впрочем, и светские знания. Отец, Василий Иванович, владел пятью языками, был широко образован – и терпеть не мог кощунства: скупал сочинения Вольтера и предавал огню. Он отличался исключительной добротой, его крепостные жили в любви и достатке, а провинности искупали земными поклонами. Однажды продавали соседнюю деревню другому барину: мужики кинулись в ноги Василию Ивановичу с просьбой купить их. Но денег у него не хватало, и тогда крестьяне собрали свои сбережения, лишь бы только у них был “добрый барин”. В Отечественную войну 1812 года Василий Иванович создал на свои средства лечебницу для раненых пленных французов, пытался обратить их в истинную веру, но заразился тифом и умер. Мать, Авдотья Петровна, племянница Жуковского, оставшись молодой вдовой с тремя детьми, вышла замуж за Алексея Андреевича Елагина, бывшего боевого офицера, человека просвещённого и хорошо знакомого с немецкой философией. В Москве Авдотья Петровна стала хозяйкой одного из самых блестящих литературных салонов, где принимала гостей в собственном доме у Красных ворот.

Иван Киреевский сызмалу отличался необыкновенной даровитостью, к десяти годам был хорошо начитан в русской и французской литературе. В двенадцать лет он в совершенстве овладел немецким языком, после изучил греческий и латинский. Отчим беседовал с ним о немецкой философии; в Московском университете Киреевский слушал лекции профессора М. Г. Павлова, ученика Шеллинга.

Киреевский унаследовал лучшие качества своих родителей; впоследствии его друг и единомышленник Алексей Хомяков дал ему замечательную характеристику: “<...> Сердце, исполненное нежности и любви, ум, обогащённый всем просвещением современной нам эпохи; прозрачная чистота кроткой и беззлобной души; какая-то особенная мягкость чувства, дававшая особенную прелесть разговору; горячее стремление к истине, необычайная тонкость диалектики в споре, сопряжённая с самою добросовестною уступчивостью, когда противник был прав, и с какою-то нежною пощадою, когда слабость противника была явною; тихая весёлость, всегда готовая на безобидную шутку, врождённое отвращение от всего грубого и оскорбительного в жизни, <в> выражении мысли или в отношениях к другим людям; верность и преданность в дружбе, готовность всегда прощать врагам и мириться с ними искренно; глубокая ненависть к пороку и крайнее снисхождение в суде о порочных людях; наконец, безукоризненное благородство, не только не допускавшее ни пятна, ни подозрения на себя, но искренно страдавшее от всякого неблагородства, замеченного в других людях, – таковы были редкие и неочёные качества, по которым Иван Васильевич Киреевский был любезен всем, сколько-нибудь знавшим его, и бесконечно дорог своим друзьям <...>”.

Однако прошло два года, прежде чем Боратынский и Киреевский сблизились по-настоящему. В конце января 1829 года И. Киреевский писал к С. Соболевскому: “<...> С Барат<ынским> мы сошлись до ты. Чем больше его знаешь, тем больше он выигрывает <...>”. Это высказывание чуть ли не дословно повторяет мнение Вяземского о поэте, высказанное месяцем раньше в письме к А. И. Тургеневу. Очевидно, даже родственным по духу людям ум, сердце и характер Боратынского открывались не сразу, не вдруг, а постепенно. Поэт явно не держал душу нараспашку и, разумеется, никак не выставлялся лучшими своими качествами. Вряд ли он изучал, что за люди его новые знакомые, но, по-видимому, сблизиться с тем или иным человеком не торопился. Скорее, всё происходило своим чередом, само собою: по естественному ходу событий, как Бог на душу положит. А со стороны такая сдержанность вполне могла показаться равнодушием или же холодностью...

Характерным примером сказанного может послужить небольшая история с любимудром Н. М. Рожалиным.

Весной 1829 года Рожалин писал из Дрездена в Москву к А. А. Елагину: “<...> у вас теперь Пушкин, Баратынский и Вяземский <...>. Вы пишете, что

они все любят и меня, особенно Баратынский. Позвольте вам отвечать на это одно, что я очень знаю, как они меня любят, особенно Баратынский. Знаю, что ежели он иногда поминает обо мне, то из лести вам, и потому не оскорбьтесь, ежели я прошу вас никогда не поминать обо мне при нём; я имею на это причины и, будучи совершенно доволен одной вашею дружбою, не хочу, чтобы она отзывалась в таких людях, как Баратынский”.

Но уже через полгода обиженный непонятно на что любомудр в корне изменил своё мнение, причём даже не выезжая из Дрездена. Он обратился с письмом к А. П. Елагиной, где, в частности, заметил: “<...> Вы полюбили Баратынского? Это значит, что он стоит любви и что я худо знал его. Часто я сужу о людях слишком поспешно; особенно бываю опрометчив в своих антипатиях. Так случилось и на счёт Баратынского <...>”.

Сам поэт, возможно, и не знал всего этого...

Так или иначе, Москва всё теснее сводила его с молодыми писателями и мыслителями из “Общества любомудров”. Дельвиг был далеко и приезжал в первопрестольную редко; Пушкин бывал тут короткими наездами; Вяземский подолгу жил в Петербурге... С кем ещё мог Баратынский приятельствовать и вести беседы в Москве, как не с любомудрами?..

Киреевскому поэт *предался* “с полною дружбой”, как сам выразился в письме к его матери, А. П. Елагиной. Это особенно заметно по одному из писем к молодому философу (осень 1829 года): “<...> я рад, что нахожу тебя таким, каков ты есть, рад, что моё чутьё меня в тебе не обмануло, рад ещё одному: что ты, с твоею чувствительностью, пылкою и разнообразною, любил меня, а не другого. Я нахожу довольно теплоты в моём сердце, чтоб никогда не охладить твоего, чтобы делить все мечты и отвечать душевным словом на душевное слово. Береги в себе этот огонь душевный, эту способность привязанности, чистый, богатый источник всего прекрасного, всякой поэзии и самого глубокомыслия. Люди, которых охлаждает суетный опыт, показывают не пронизательность, а сердечное бессилие. Вынь сердце своё свежим из опытов жизни, не позволяй ему смутиться ими – вот на что мы должны обратить все наши нравственные способности <...>”.

Последнее пожелание, похоже, относится им и к самому себе не меньше, чем к молодому другу. Баратынский, кажется, предчувствует те сумерки, что вскоре начнут всё неумолимей окутывать его душу. Дружба видится ему одним из последних убежищ от суетного мира:

“Прекрасное положительнее полезного, оно принадлежит нам в большей собственности, оно проникает всё существо наше, между тем как остальное едва нами осязается. Я пишу эти строки с истинным восторгом, знаю, что твоё сердце не имеет нужды в подобных поощрениях, но мне, в мои теперешние лета, испытав, по некоторым обстоятельствам более другого, размышляя не менее других, мне сладко с глубоким убеждением принести это свидетельство в пользу первых чистых вдохновений сердца, простительных, годных, по мнению эгоизма, только в одну пору, а по мне – священных, драгоценных во всякое время. – Я заболтался, душа моя, но от доброго сердца. Желание моё состоит в том, чтобы ты воротился из дальних странствий каким поехал и обнял бы меня с старинною горячностью <...>”.

Уезжая весной 1829 года с семьёй в Мураново, он дал своим молодым собеседникам (И. Киреевскому, А. Веневитинову, М. Погдину) “блистательный обед у Яра”, как сообщил Погдин Шевырёву в Рим.

А Дельвигу в то же время написал в письме, что тяжко занемогла его младшая дочь Катенька. Дельвиг отвечал из Петербурга: “Милый друг, посылаю тебе шинель непромокаемую для твоего тестя и желаю, чтобы письмо моё нашло тебя спокойнее, чтобы дети твои были здоровы. Ужели ты не знаешь, что болезнь очень частый гость у малюток? Надобно только заботиться о них, но не упадать душою. Вырастут, об нас будут заботиться. Зато как мы подгуляем, выдавая твоих дочек замуж! Я чувствую нынешний день себя лучше. Если бы не бессонница, то уже давно бы прыгал. Ты пишешь, буду ли я издавать “С<еверные> цветы”? Буду и прошу не оставлять их. Твой же запас желал бы прочесть поскорее. Ужели ты думаешь, что твои стихи мне надобны только для альманаха? Мне нужно для души почитать их, она, бедная, голодна и сидит на журнальных сухариках. Сжался!.. Я тоже пишу кой-что и надеюсь прислать к тебе, что сделаю, да мне писать трудно. Если тесть мой в Москве, так не говори, что я болен, он, бедный, сам нездоров и беспоко-

ится об нас во вред здоровью. Скажи, что я потому не еду, что ищу и ещё не получил места в Москве, что также правда <...>.”

Грустное письмо! Дельвиг хворал, и сильно. Кто знал тогда, что ему, тридцатилетнему, оставалось уже немного...

Были трудности с альманахом: Полевой, Булгарин и Погодин – отвернулись, обиженные тем, что *аристократы* на них “смотрят сверху”. Поддержал Дельвига только Киреевский...

По мнению Г. Хетсо, сближение с Иваном Киреевским наконец позволило Боратынскому найти своё место в новой литературной среде. “<...> Не то, чтобы поэт чувствовал себя там духовно свободным. Отношения его со многими московскими писателями были двойственны и даже проблематичны. Но, сблизившись с Киреевским, Баратынский хорошо усвоил идеалистическую философию Любомудров, и она наложила определённый отпечаток на его творчество. Несомненно, что перемена, которая в конце 1820-х годов становится заметной в поэзии Баратынского, во многом объясняется влиянием на него Киреевского”.

В этом утверждении, которое биограф в дальнейшем всячески развивает, всё же есть нечто сомнительное. Тут кроется некое недоверие к самостоятельности мышления поэта, к его мировоззренческой зрелости. И сам собой возникает вопрос, примерно такой же, как в известной загадке: что же появилось раньше – яйцо или курица...

Так что же изначально: мысль или чувство? философия или поэзия?

Разумеется, беседы с Киреевским *повлияли* на Боратынского, как, наверное, и беседы с поэтом *повлияли* на философа. Кто на кого влиял сильнее – вопрос, мало поддающийся разрешению.

Вообще, так ли нуждается поэт в идейном учителе, как это кажется со стороны? Знание *теории*, как с усмешкой говорил сам Боратынский о Погодине, отнюдь не заменяет природного дара. Да и трудно представить себе умного и самостоятельного Боратынского в роли примерного ученика, усваивающего уроки “идеалистической философии”. Вряд ли такое неравенство породило бы сердечную дружбу между поэтом и молодым философом...

В записной книжке одного из виднейших Любомудров, Владимира Фёдоровича Одоевского, есть интересная мысль о поэзии и философии, причём записана она как раз в то время, когда Боратынский тесно подружился с Киреевским, – в мае 1830 года: “Что наиболее меня убеждает в вечности моей души – это её общность. На поверхности человека является его индивидуальный характер, но чем дальше вы проникаете во глубь души, тем более уверяетесь, что в ней, как идеи, существуют вместе все добродетели, все пороки, все страсти, все отвращения, что там ни один из сих элементов не первенствует, но находится в таком же равновесии, как в природе, так же каждый имеет свою самобытность, как в поэзии. Оттого наука поэта не книги, не люди, но самобытная душа его; кто в душе своей не отыщет отголоска какой-либо добродетели, какой-либо страсти, тот никогда не будет поэтом или – другими словами – никогда не достигнет до глубины души своей. Оттого поэт и философ одно и то же. Они развиты лишь по индивидуальным характеристикам лица: один стремится извергнуть свою душу, вывести сокровища из их таинственного святилища, философ же боится открыть их взорам простолюдинов и созерцает свои таинства внутри святилища. В религии соединяется и то, и другое. Религия выносит на свет некоторые из своих таинств и завесой накрывает другие. Оттого в каждом религиозном человеке вы находите нечто почти что философическое, которое, однако же, не есть ни поэзия, ни философия; в древние времена она была их матерью, в средние они как бы заплатили ей долг свой, поддерживая её, в новейшие постарались заменить её, в будущем они снова сольются с ней <...>.”

(Поэт – пророк. В минуту вдохновения он постигает сигнатуру периода того времени, в котором живёт он, и показывает цель, к которой должно стремиться человечество, дабы быть на естественном пути, а не на противоположном <...>”).

И, наконец:

“Кто же больше имеет значения – поэт или философ? Сей вопрос существовать не может! Поэт не столько проникает в глубину души, ибо он гость времени, которое философ употребляет на большее погружение в самого себя, он проводит обмен сокровища души в образы, но зато он всё же что-либо,

но выносит на свет; истинный философ не унижается до сего, если он и берёт в руки перо, то есть становится за минуту поэтом, то ждёт образов наиболее близких к чистым идеалам души, следственно, неприступных для толпы. В будущей религиозной эпохе человечества оба сольются воедино, но мы того так же постигнуть не можем, как наши праотцы не могли постигнуть, что из религии разовьётся поэзия, что в звуках, кроме мелодии, есть гармония или, лучше, что мелодия в чреве своём носила гармонию”.

Вот, пожалуй, лучший, современный Боратынскому и Киреевскому, ответ на вопрос: кто на кого и как повлиял. . .

В сентябре 1829 года Боратынский с женой и детьми уехал в Мару, и надолго, до следующей весны. “<...> Надеюсь, что в деревенском уединении проснётся моя поэтическая деятельность, — писал он Ивану Киреевскому, который собирался за границу. — Пора мне приняться за перо: оно у меня слишком долго отдыхало. К тому же, чем я более размышляю, тем твёрже уверяюсь, что в свете нет ничего дельнее поэзии <...>”.

И в деревне покоя не было, как писал он Вяземскому, от набега “целой орды соседей”, этих “двуногих комаров”, пьющих если не кровь, то “время на дело”.

Как ни досаждали визиты скучающих помещиков и семейные хлопоты, Боратынский всё же принялся за большую работу. “<...> у меня новая поэма в пяльцах, и поэма ультраромантическая, — писал он в конце ноября И. Киреевскому. — Пишу её, очертя голову <...>”.

Давно у него не было в посланиях такой добродушной бодрости! . .

В январе 1830 года в альманахе М. А. Максимовича “Денница” вышел отрывок из новой поэмы “Наложница”. В этом же номере было напечатано “Обозрение русской словесности за 1829 год” Ивана Киреевского — там немало замечательных суждений о поэзии Боратынского, глубоких и точных:

“<...> муза Баратынского, обняв всю жизнь поэтическим взором, льёт равный свет вдохновенья на все её минуты и самое обыкновенное возводит в поэзию посредством осветительного прикосновения с *целою* жизнью, с господствующею мечтою. Оттого, чтобы дослышать все оттенки лиры Баратынского, надобно иметь и тоньше слух, и больше внимания, нежели для других поэтов. Чем более читаем его, тем более открываем в нём нового, не замеченного с первого взгляда — верный признак поэзии, сомкнутой в собственном бытии, но доступной не для всякого. Даже в художественном отношении многие ли способны оценить вполне достоинство его стихов, эту точность в выражениях и оборотах, эту мерность изящную, эту благородную щеголеватость? Но если бы идеал лучшего общества явился вдруг в какой-нибудь неизвестной нам столице, то в его избранном кругу не знали бы другого языка. — Между тем красота жизни поэтической, с лица которой муза Баратынского сняла покрывало до половины, доказывает нам, что поэт ещё не весь выразился в стихах своих; что мы должны ожидать ещё несравненно более того, что он совершил; что ему ещё предназначено столько превзойти наши ожидания, сколько разоблачение красоты может удивить воображение <...>”.

К поэме “Бал” Киреевский отнёсся более критически, однако выразил всё это довольно темно:

“Но в его “Бальном вечере”, напечатанном в прошлом году, есть недостаток, которого нет в “Эде”, ни в “Переселении душ”, этом милом, остроумно-мечтательном капризе поэтического воображения: в “Бальном вечере” Баратынского нет средоточия для чувства и (если можно о поэзии говорить языком механики) в нём нет одной *составной силы*, в которой бы соединились и уравновесились все душевные движения. Несмотря на это, однако ж, эта поэма превосходит все прежние сочинения Баратынского изящностью частей, наружною связью целого и совершенством отделки. В самом деле, кто, прочтя её, не скажет, что поэт сделал успехи; что самые недостатки его доказывают, что он требовал от себя больше, чем прежде; что смешение тени и света здесь не сумерки, а рассвет, заря новой эпохи для его таланта <...>”.

Мысли И. Киреевского о Боратынском вызвали отклики в печати.

Александр Пушкин в рецензии, опубликованной “Литературной газетой”, заметил, что критик видит в Боратынском поэта “самобытного, своеобразного” и “справедливо ставит “Эду”, одно из самых оригинальных произведений элегической поэзии, выше “Бального вечера”, поэмы более блестящей, но менее изящной, менее трогательной, менее вольно и глубоко вдохновенной”.

Последние слова, по сути, говорят о том, что Пушкин видел в поэме “Бал” больше обдуманности и мастерства, нежели стихийного вдохновения и своеобразия.

Николай Полевой подвергнул мнение Киреевского саркастическому разному, упрекнув автора в том, что “<...> даже недостатки он ставит г-ну Баратынскому в достоинство”. Полевой в то время разорвал отношения с аристократами, разошедшись во взглядах на “Историю Государства Российского” Карамзина, и ругал их на чём свет стоит. А. П. Елагина, мать братьев Киреевских, писала к С. А. Соболевскому в начале 1830 года: “<...> Недавно Полевой сказал при многих, что Пушкин, Вяземский и Баратынский одним им стали так известны и что он втопчет их опять в ту грязь, из которой вынул <...>”. То же самое и в схожих выражениях сообщал и Погодин Шевырёву в Рим...

Н. Полевой не ограничивался критикой в печати и устной бранью, но и писал вдобавок эпиграммы, чаще всего на Боратынского:

*Зачем мою хорошенькую Музу,
Голубчик мой, ты вздумал освистать?
Зачем, скажи, схоластики обузу
На жар ума ты вздумал променять?
Тебя спасал сто раз, скажи, не я ли?
Не я ль тебя лелеял и берёг,
Когда тебя в толчки с Парнаса гнали,
Душа моя, Парнасский простачок.*

Полевой подписывался псевдонимом Гамлетов. Он всерьёз полагал, что поэты обязаны славой исключительно критикам, в упор не замечая, что его “хорошенькая Муза” способна лишь на корявые эпиграммы... Чуть позже Гамлетов обратился уже Обезьяниным – и спародировал пушкинское стихотворение “Собрание насекомых”, задев вместе с Пушкиным всех его друзей по перу, где Боратынский был назван: “<...> Финский наш чертополох”...

Ни Боратынского, ни Вяземского, ни тем более Пушкина Полевой, несмотря на все свои потуги, в грязь, конечно, не втоптал, – разве что сам изрядно измарался...

Ранняя и неожиданная смерть Дельвига повергла Боратынского в белезнь, разбередила душу и заставила ещё больше задуматься о своём призвании.

Поправившись, он по весне уехал с семьёй в Мураново.

В канун этой поездки в московской типографии при Императорской Медико-Хирургической Академии вышла из печати его поэма “Наложница”. Впрочем, на обложке значилось отнюдь не слово – поэма, а сочинение, – но по сути это был роман в стихах.

К тому времени у Боратынского было, по-видимому, готово и сочинение в прозе – повесть “Перстень”, которую он намеревался передать “Литературной газете”. “Лета к суровой прозе клонят, // Лета шалунью рифму гонят...”, – заметил Пушкин в “Евгении Онегине”... Не то ли же самое чувствовал и его ровесник Боратынский, не спешивший, однако, расставаться со стихами?.. Именно в это время он глубоко задумывается о том, что же такое роман и каким он должен быть. В письмах к Ивану Киреевскому (написанных, предположительно, весной 1831 года) эти мысли выражены с предельной остротой:

“<...> Все прежние романисты неудовлетворительны для нашего времени по той причине, что все они придерживались какой-то системы. Одни – спиритуалисты, другие – материалисты. Одни выражают только физические явления человеческой природы, другие видят только её духовность. Нужно соединить оба рода в одном. Написать роман эклектический, где бы человек выражался и тем, и другим образом. Хотя всё сказано, но всё сказано порознь. Сблизив явления, мы представим их в новом порядке, в новом свете. Вот тебе вкратце и на франкмасонском языке мои размышления <...>”.

Это пока теория, до дела ещё не дошло; сказывается давняя привычка всё досконально продумать, прежде чем взяться за перо.

“Я покуда ничего не делаю. Деревья и зелень столько же развлекают меня в деревне, сколько люди в городе. Езжу всякий день верхом, одним словом, веду жизнь, которой может быть доволен только Рамих <...>”, – шутит Боратынский, упоминая имя семейного врача.

В следующем письме к другу поэт сообщает, что летом, “...а в сентябре непременно”, он будет в Москве и тогда уже вполне растолкует свои мысли о романе, которые он изложил “слишком категорически”. Киреевский в то же время сам работал над романом, и потому Боратынскому именно с ним хотелось поделиться всем, что накопилось на душе:

“<...> Как идеал конечного возьми “L’ane mort” и “La confession” <романы Жюль Жанена “Мёртвый осёл” (1829) и “Исповедь” (1830)>, как идеал спиритуальности – все сентиментальные романы: ты увидишь всю односторонность того и другого рода изображений и их взаимную неудовлетворительность. Фильдинг, Вальтер Скотт ближе к моему идеалу, особенно первый, но они угадали каким-то инстинктом современные требования и потому, попадая на настоящую дорогу, беспрестанно с неё сбиваются. Писатель, привыкший мыслить эклектически, пойдёт, я думаю, далее, то есть будет ещё отчётливее. Не думай, чтобы я требовал систематического романа, нет, я говорю только, что старые не могут служить образцами. Всякий писатель мыслит, следовательно, всякий писатель, даже без собственного сознания, – философ. Пусть же в его творениях отразится собственная его философия, а не чужая. Мы родились в век эклектический: ежели мы будем верны нашему чувству, эклектическая философия должна отразиться в наших творениях; но старые образцы могут нас сбить с толку, и я указываю на современную философию для современных произведений как на магнитную стрелку, могущую служить путеводителем в наших литературных поисках <...>”.

В Мураново он читает Руссо:

“<...> он пробудил во мне много чувств и мыслей. Человек отменно замечательный и более искренний, нежели я сначала думал. Всё, что он о себе говорит, без сомнения, было, может быть, только не совсем в том порядке, в котором он рассказывает. Его “Confessions” <“Исповедь”> – огромный подарок человечеству <...>”.

В Мураново настроение поэта наладилось. Нет лучше лета, чем в деревне: и проснуться весело, и гулять весело; часом раньше, нежели в Москве, чай поутру, и обед, и ужин; да ещё беседы, прогулки верхом по окрестным полям и лесным просёлкам; да ещё “то чувство, которому нет имени”, – всё, всё это и составляет “эту благодать семейного счастья”.

Новое письмо к Ивану Киреевскому исполнено необыкновенной сердечной теплоты. Утрата Дельвига только обострила его потребность в настоящем друге. И чувство его к жене, Настасье Львовне, стало уже таким, когда они – одно целое. Боратынский пишет письмо *слиянно* – не разделяя себя с ней:

“Дружба твоя, милый Киреевский, принадлежит к моему домашнему счастью; картина его была бы весьма неполной, ежели б я пропустил речи наши о тебе, удовольствие, с которым мы читаем твои письма, искренность, с которою тебя любим и радуемся, что ты нам платишь тем же. Мы видим в тебе милого брата и мысленно приобщаем тебя к нашей семейной жизни. Ты из неё не выходишь и в мечтах наших о будущем, и когда мы располагаем им по воле нашего сердца, ты всегда у нас в соседстве, всегда под нашим кровом. Ты первый из всех знакомых мне людей, с которым изливаюсь я без застенчивости: это значит, что никто ещё не внушал мне такой доверенности к душе своей и своему характеру <...>”.

СВЕТЛАНА ЗАМЛЕЛОВА

кандидат философских наук

ПАТОЛОГИЯ КАК КУЛЬТУРА

Русский социолог Питирим Александрович Сорокин выделял три типа культуры – идеациональный, идеалистический и чувственный. Основой всякой культуры является ценность. Любая культура представляет собой единство составных частей, пронизанных одним смыслом, одной ценностью. Господствующая ценность определяет социально-экономический уклад и формы деятельности человека. Так, например, считает П. А. Сорокин, для культуры Запада Средних веков главной ценностью был Бог. Именно поэтому все сферы человеческой деятельности средневекового Запада были связаны с религией и контролировались ею. Литература и музыка, живопись, архитектура и философия носили исключительно религиозный характер. Такую культуру П. А. Сорокин называл идеациональной.

Но уже с XII в. на Западе сложилась новая культура, частично основанная на рациональном, чувственном – идеалистическая. Начиная с XVI в., сформировалась культура светская, могущая быть воспринята только через органы чувств, или чувственная.

Чувственная культура стремится “отразить чувственную красоту и обеспечить чувственное удовольствие и развлечение”¹. Герои и персонажи такой культуры – типичные смертные. Эта культура существует для рынка и конкурирует с другими товарами. Характеризуя искусство чувственной культуры, П. А. Сорокин писал, что “это искусство пейзажа и жанра, портрета, карикатуры, сатиры и комедии, водевиля и оперетты, искусство голливудского шоу; искусство профессиональных художников, доставляющих удовольствие пассивной публике”². Существенный момент заключается в том, что чувственная культура отображает окружающую действительность такой, как мы воспринимаем ее посредством органов чувств.

Разные области культуры прошли один и тот же путь – от идеациональной и идеалистической формы к чувственной³. К отказу от Бога как высшей ценности в пользу чувствия и удовольствия, в пользу необременительного существования и потребления.

В XX в. чувственная культура переживает кризис. Искусство перестает быть “указателем в трансцендентное” и превращается в товар, творец становится активным и полноправным участником рыночных отношений, а делец – ценителем прекрасного. Складывается ситуация, когда делец подчиняет себе творца и навязывает тем самым свои вкусы публике, влияя таким образом на дальнейшее развитие культуры.

Анализируя культуру XX в., П. А. Сорокин уверенно предрекал ей скорый крах. “Разложение идет сейчас в полную силу. Ничто не может остановить

его”⁴. Однако разложение не прекратилось, культура второй половины XX – начала XXI вв. не только сохранила черты, подмеченные П. А. Сорокиным, но и, что совершенно очевидно, сосредоточилась на аномальных явлениях и персонажах. Сложился новый тип культуры, в основе которой – аномия, порок и преступление. Применительно к общественной ситуации в США середины XX в. Р. Мертон называл порок и преступление “нормальной” реакцией на ситуацию, “когда усвоено культурное акцентирование денежного успеха, но доступ к общепризнанным и законным средствам, обеспечивающим этот успех, недостаточен”⁵.

Развивая мысль П. А. Сорокина, можно говорить о том, что уже в XX в. сложился новый тип культуры, могущей быть названной патологической. Это культура общества, переживающего аномию или социальную патологию, “распад человеческих связей, массовое девиантное поведение, когда значительная часть общества нарушает нормы этики и права”⁶.

Интересной в этой связи представляется точка зрения А. С. Панарина о “разоблачительных” революциях, которые в конце XIX – начале XX вв. претерпела культура христианского мира и которые подвели ее к пафосу отрицания возвышенного и утверждению низменного⁷. Прежде всего, К. Марксу удалось показать, что действительность не дана человеку Богом, а производится им самим. Материальное производство – основа действительности, а следовательно, действительность может быть преобразована и переименована.

Затем Ф. В. Ницше “открыл”, что ценности, которыми жила христианская цивилизация на протяжении почти двух тысячелетий, есть не что иное, как обман или мещанская надстройка, за которой скрываются основы бытия. Провозглашая превосходство сильных над слабыми, Ф. В. Ницше причисляет к элите тех, кто способен презреть христианскую мораль и преуспеть в самоутверждении. Для З. Фрейда мораль и религия также не являются самоценными явлениями. Это лишь иллюзии сознания, прячущего истинную человеческую природу, основанную на инстинкте и влечении. И, наконец, последним изобличителем иллюзий А. С. Панарин называет Ф. М. де Соссюра⁸.

В таком же ключе рассматривали фигуры К. Маркса, Ф. В. Ницше и З. Фрейда философы-постмодернисты. Так, например, Ж. Бодрийяр, выступая с критикой фрейдизма и марксизма, говорит о “фрейдомарксизме”, объединяя два направления на основе их революционности⁹. А Р. Барт, рассуждая о литературной критике, называет старый критический словарь “словарем барышни, готовившейся к выпускным экзаменам три четверти века назад”¹⁰. Ведь читатель уже знаком “с Марксом, Фрейдом, с Ницше”, настолько изменившим дискурс, что обращение к чему-то (в данном случае, к языку, к словарю критика) бывшему до них представляется Р. Барту анахронизмом. З. Фрейда и К. Маркса Р. Барт именует не иначе, как носителями “мутации дискурсивного строя”¹¹.

В соответствии с учением К. Маркса, цель любого капиталиста – извлечение прибыли без учета потребностей общества. В учении Ф. М. де Соссюра языковая система знаков так же автономна по отношению к реальности и смыслу, как и капиталистическое производство по отношению к потребностям общества. Ф. М. де Соссюр при этом подчеркивал, что условием развития лингвистики является “признание независимости знака от референта и изучение автономного знакового обмена”¹². Это положение Ф. М. де Соссюра легло в основу современного духовного производства, которое стремится к тому, чтобы освободиться от связи с действительностью, от влияния ценностей и ожиданий потребителей текстов или общественных ожиданий¹³.

Творчество внутри идеациональной, идеалистической и даже чувственной культуры проходило несколько этапов – через познание действительности к производству новых текстов. Патологическая культура минует познание действительности, производя ни с чем не связанные и ничему не служащие знаки. Творчество, таким образом, оказывается объективно немотивированным и превращается в подобие игры. Причем игры, ориентированной даже не на потребителя текста, а на создание новой, виртуальной реальности, основанной на знании о первичности инстинкта, требующего неперемного удовлетворения. Именно субъективное радикальное удовлетворение может предложить создаваемая патологической культурой виртуальная реальность¹⁴.

Для обретения человеком внутренней гармонии, для достижения совершенства, для преобразования действительности необходимы серьезные тру-

доемкие усилия. Создание видимости, удовлетворение инстинкта не потребуют больших вложений ни от создателей, ни от потребителей.

С точки зрения А. С. Панарина, текст патологической культуры интероцептивен, адресован подсознанию. Текст любой другой культуры энтероцептивен, адресован сознанию и связан с действительной жизнью: “Вся эротическая и детективно-садистская зрелищность современной “индустрии знака” основана на этом производстве сенсорных заменителей, призванных дать нашим подавленным инстинктам несравненно большее удовлетворение, чем сенсорика любого реального чувственного опыта”¹⁵.

Патологическая культура, таким образом, является абсолютной противоположностью идеациональной культуры, поскольку нацелена на то, чтобы избавить человека от давления каких бы то ни было норм и ценностей религиозной и светской морали. Апеллируя к подсознанию, патологическая культура поощряет все то, что запрещает религия и отторгает идеациональная культура.

Патологическая культура возникла как результат отказа человека от постоянного напряжения сил, направленных на самосовершенствование и совершенствование действительности. Интенции этой культуры связаны с гедонизмом. Знанию о действительности патологическая культура предпочитает знание о подсознательных влечениях и подавленных инстинктах. В этой культуре нет места подвигу, самопожертвованию, бескорыстию и пр. Аскеты и герои оказались под подозрением, с чем, в частности, связан пересмотр в конце XX в. героизма, проявленного во время Великой Отечественной войны¹⁶. Патологическая культура не понимает и не принимает поступков, не объяснимых с точки зрения подавленного инстинкта.

Смена чувственной культуры патологической обусловлена антропологическим сдвигом: прежний человек отличался, в первую очередь, привязкой к действительности и, как следствие, был ориентирован на познание и покорение этой действительности, что требовало определенных усилий и самоограничений; но этот прежний человек сменяется новым человеком, оторвавшимся от действительности, погружившимся в виртуальную реальность, обещающую удовольствие.

Разрыв человека с действительностью или с космосом начался с утверждения в мысли, что действительность не космична, а рукотворна и всегда может стать другой. Однако всегда оказывается, что рукотворная действительность не поддается корректировке в соответствии с представлениями о ней индивидов. Значит, мир просто создан другими людьми для себя. Марксизм, психоанализ и структурализм спровоцировали смерть Буржуа, смерть Отца и смерть Автора соответственно, вызвав тем самым у человека неприятие и отторжение действительности, поскольку, в соответствии с учениями К. Маркса, З. Фрейда и Ф. М. де Соссюра, видимая и доступная всем действительность оказывается только поверхностным и искаженным слоем неназываемого и неосознанного¹⁷.

Одной из характеристик и отличительных особенностей патологической культуры стал провокационный Ф. М. де Соссюром и усвоенный философией постмодернизма отрыв означающего от означаемого: “означающее немотивированно-произвольно по отношению к данному означаемому, с которым у него нет в действительности никакой естественной связи”¹⁸. В парадигме Маркса – Фрейда – Соссюра сформировалась культура ложных знаков, то есть явлений, существующих без связи с традиционно понимаемой действительностью и без связи с такими понятиями, как “смысл” и “истина”¹⁹. Человек патологической культуры оказался вне космоса, погруженным в виртуальный мир.

Иерархии других культур в большей или меньшей степени связаны с бытийственным принципом, другими словами, тео- или антропоцентричная культура привязана к смыслу и ценности. Патологическая культура отвергает смысловые и ценностные ориентиры, предлагая разбалансировку и децентрацию культурного пространства с целью выпустить на свободу все маргинальное, с точки зрения ценности и смысла. Эти маргинальные элементы начинают задавать тон в пространстве новой культуры, их средой становится виртуальная реальность.

Патологическая культура с характерным отказом человека от высокого в пользу обыденного и даже низменного, стала достоянием так называемого “общества потребления”. Другими словами, именно в обществе потребления возникла и утвердилась патологическая культура, как когда-то в раннесредневековом европейском обществе утвердилась идеациональная культура²⁰.

Рассмотренный выше отрыв от действительности человека патологической культуры связан также и с искусственным изменением окружающей среды. Человек патологической культуры пережил своего рода мутацию, создав вещную среду, окружив себя изобилием товаров. Патологическая культура, связанная с учением об эмансипации, об освобождении от традиции, стала культурой общества потребления, для которого «красота обрамления является первым условием счастливой жизни»²¹. Центры потребления, так называемые «мегамаркеты», представляя собой некие дистиллированные пространства покоя и удобства. Ж. Бодрийяр называет их сублимацией «всей реальной жизни, всей объективной общественной жизни, где ликвидируются не только труд и деньги, но и времена года»²². Таким образом, в покорении окружающего мира, в отвоевании у космоса тайн мироустройства, в прорывах в трансцендентное – в том, для чего требуются усилия воли и напряжение сил, у современного человека отпала необходимость. С тех пор, как человек узнал об изначальной стороне действительности, он нацелился на освобождение от давления этой действительности и на преобразование собственного восприятия. Действительность человек подменил виртуальной реальностью, имитацией или, по слову Ж. Бодрийяра, «покровом знаков»²³.

Но, устранившись от познания мира, человек, тем не менее, влечется к его картинкам. Другими словами, спасовав перед действительностью, человек не может существовать в полной изоляции. Именно поэтому действительность заменяется ее имитацией. Комфортное существование в отрыве от действительности обеспечивается потреблением ее знаков.

Эксплуатация искусством патологической культуры темы насилия связана с потребностью человека этой культуры в «картинке» насилия. Такие «картинки» способны внушить ощущение собственной безопасности – ведь происходящее на экране происходит не со мной. Кроме того, их цель – служить оправданием той гедонистической направленности, к которой стремится человек патологической культуры – ведь если внешний мир так жесток, трудно осуждать кого-либо за отказ от контактов с этим миром и предпочтение комфорта и покоя.

Комфорт и покой или, говоря обобщенно, счастье и есть основа общества потребления. После того, как для человека «Бог умер»²⁴, счастье заменило спасение. Понятие счастья для общества потребления стало во многом синонимом понятия равенства, то есть возможностью всем на равных обладать вещами и знаками социального статуса. Другими словами, счастье означает «иметь». Ж. Бодрийяр называет представления о благосостоянии и потребностях мифами, нацеленными на то, чтобы скрыть истинное, объективное неравенство²⁵.

Таким образом, даже базовое понятие, на котором основано общество потребления, а именно понятие счастья, как и предшествующее ему понятие равенства, оказалось сведено к знакам, то есть опять-таки оказалось оторванным от действительности и перемещенным в виртуальную плоскость.

Возможность приобрести и иметь, независимо от функционального назначения приобретаемого и его эстетической ценности, составляет своего рода идеологию общества потребления. Чтобы чувствовать себя счастливым и полноценным, человеку необходимо обладать определенным числом знаков. К таким знакам можно отнести товары престижных торговых марок, отдых в престижном месте и пр., что так или иначе является признаком статуса, но не выражением реальных потребностей. Потребление знаков способствует соединению человека с той социальной группой, к которой ему хотелось бы принадлежать. В действительности положение потребителя не меняется в связи с обладанием той или иной вещью. Однако на основании общности обладания создается иллюзия приобщения к неким социальным кругам. Потребность, таким образом, формируется, то есть задается уже существующими благами, значимыми при этом в системе ценностей. Следовательно, удовлетворение потребностей сводится на деле к принятию стиля жизни и оказывается самообманом потребителя, порывающего связи с действительностью и переселяющегося в мир знаков.

Закономерно предположить, что отрыв от действительности, стремление к «идеалу соответствия»²⁶, тяготение к знаку характерно не только для сферы приобретения вещей. Отрыв означающего от означаемого естественным образом приводит к переоценке традиционных ценностей. Тем более что «иде-

ал соответствия”, формируемый зачастую СМИ и рекламой, может оказаться весьма необычным. Так, например, романтизация проституции или героизация бандитизма приводит к тому, что молодые люди начинают воспринимать и то, и другое как престижные профессии²⁷. Это можно отнести и к насилию, точнее, к тавтологии в отношении насилия в обществе потребления. Насилие потребляется постоянно, наравне с целым рядом других зрелищ. В обществе потребления, где человек оторван от действительности, но при этом не перестает “лакомиться” ее изображениями, то есть знаками действительности, насилие необходимо, “чтобы безопасность ощущалась более глубоко, как таковая <...>, но также и для того, чтобы каждый был вправе выбирать безопасность как таковую <...>. Фатальность должна быть повсюду предложена, обозначена, чтобы банальность этим насытилась и получила оправдание”²⁸. В то же самое время потребление насилия задает “идеал соответствия”. Таким образом, получается, что некий индивид, утратив связь с действительностью, потребляет ее знаки, в том числе насилие, которое в определенный момент становится для него “идеалом соответствия” по причине все той же оторванности от действительности и переоценке в связи с этим прежних ценностей. В том числе и ценности чужой жизни и чужого достоинства. Насилие и бездушие становятся реальностью, потому что человек общества потребления утратил связь с реальностью, в результате чего и насилие не воспринимается им как реальность, но только как знак реальности.

Кроме того, потребность в насилиии стимулируется, как и всякая другая потребность в обществе потребления, общим призывом пробовать и не упускать. “Человек потребления одержим страхом <...> упустить наслаждение, каким бы оно ни было”²⁹. Ж. Бодрийяр называет эту всеобщую любознательность, стремление все попробовать “fun-morality” – моралью развлечения, которая затмила прежнюю мораль.

Изображение насилия, присущее патологической культуре как культуре общества потребления, является чем-то вроде баланса нестабильности изобилия. Насилие на экранах и страницах словно бы свидетельствует, что изобилие и равновесие неустойчивы. Но кроме изображенного насилия существует насилие вполне реальное, порожденное изобилием и безопасностью³⁰.

Общество потребления – это пример принуждения нового типа, осуществляемого посредством СМИ через формирование потребностей. Участие большинства в потребительских процессах ради производительного роста осуществляется принудительно. Это мягкое, скрытое принуждение, однако, оно является необходимым условием существования общества потребления, а в первую очередь – обеспечения промышленного роста. Естественной реакцией на принуждение является насилие как попытка выйти из-под принуждения³¹. Современная художественная литература, отчасти предвидя, отчасти фиксируя, являет разные варианты возможного развития общества потребления. В качестве примеров можно привести роман К. С. Льюиса (1898–1963) “Мерзейшая мощь” (1945)³², роман А. А. Зиновьева (1922–2006) “Глобальный человек” (1997)³³, повесть А. Н. Стругацкого (1925–1991) и Б. Н. Стругацкого (1933–2012) “Хищные вещи века” (1964)³⁴ и др.

Ж. Бодрийяр утверждает, что удовлетворение желаний порождает тоску, поскольку всякое желание амбивалентно и не может быть полностью удовлетворено предметом, благом или услугой. Аннулированная тоска становится причиной деструктивности и насилия. Изобилие и потребление, таким образом, естественно оборачиваются насилием, которое в определенный момент само превращается в объект потребления.

Кроме того, в обществе потребления социализация происходит через достижение определенного уровня жизни и дохода, через успех и внешнее признание. Невозможность добиться успеха и определенного уровня жизни, а следовательно, невозможность пройти социализацию также порождает депрессию, протест и немотивированную внешне агрессию.

Общество потребления представляет собой новый, современный способ социализации, со своей моралью, своей системой ценностей и своим институтом принуждения, формирующими нового человека. Человек патологической культуры отличается от человека культуры идеациональной и даже идеалистической, в связи с чем можно говорить об антропологическом сдвиге.

Возникновение общества потребления не случайно и не спонтанно. Стимуляция к потреблению расчетливо нацелена на стимуляцию производствен-

ного процесса, на превращение пассивных людей в активную рабочую силу. Социализировав сельское население в XIX в., капиталистическая система продолжила их социализацию как потребителей в XX в.³⁵. При этом процесс социализации, а практически — закабаления, происходит под видом освобождения, процветания, наслаждения и пр. Таким образом, и в ментальность современного человека входит представление об освобождении как о возможности наслаждаться — беспрепятственно владеть вещами, получать удовольствие от еды, секса, развлечений и пр.

Ж. Бодрийяр считает потребление, как систему значений, языком³⁶. Уточняя при этом, что потребление не есть обладание или функциональная практика, речь не идет даже о функции престижа, но о системе коммуникации и обмена, круговорота знаков.

Суть потребления — это обмен знаками, ориентация на внешнее. Предметы лишаются как сакрального смысла, так и функциональности — наступает разрыв означаемого и означающего. Предметы более не служат, они значат.

В дискурсе искусства также произошли существенные изменения — многочисленные инсталляции и тексты существуют вне смысловой нагруженности, драматургии и “прорывов в трансцендентное”. Может создаться впечатление, что искусство общества потребления лишилось элемента сакральности. Однако сами творцы обесмысленных инсталляций и текстов свидетельствуют о переживании вдохновения и творческого подъема³⁷. То есть механизмы творческого процесса остаются во многом прежними. Однако, приобщаясь новой реальности и новой мифологии — реальности и мифологии знаков, — художник становится проводником и выразителем нового. Это новое заключается в том, что искусство общества потребления сакрально по-своему. Вследствие разрыва означаемого и означающего, вследствие превращения предметов в знаки сами предметы перемещаются из области рационального в область сакрального.

Подобно тому, как ношение христианами нательного креста означает их принадлежность христианской вере и соотнесение себя с истиной, точно так же ношение одежды определенных марок способствует самоидентификации человека общества потребления и соотнесения им себя с истинной социальной группой и системой идей и взглядов.

Таким образом, практически любое изображение претендует на сакральность в обществе потребления, поскольку любое изображение может быть воспринято и истолковано как знак, а, следовательно, обладать самоидентификационным значением для индивида. Здесь, по-видимому, своего апогея достигает дехристианизация европейской культуры. С. Н. Зенкин считает, что “с деистским божеством просветителей невозможна личностная коммуникация, и в этом оно парадоксально сближается с архаическими божествами, культ которых не включает в себя ни молитв, ни обетов, ни исповеди и сводится к немым и темным магическим обрядам. Вместо присутствия перед лицом Бога, взаимного предстания с ним, в современной/архаической религиозной ситуации человек принужден к жертвенному обмену со стихийно-бесформенными существами...”³⁸. Из всех возможных существ вещь — “существо” наиболее бесформенное и безликое. Бытовые вещи оказываются страшнее даже подземных, хтонических божеств, традиционно связанных со смертью — “в европейской цивилизации земля соотнесена со смертью”³⁹. Вещи не связаны ни с какой стихией. С онтологической точки зрения, они появляются из ниоткуда, уходят в никуда и ничего не значат. Они не являются персонификацией какого бы то ни было сакрального, вещи общества потребления персонифицируют небытие, пустоту. Интересно, что тема “Пустоты” нередко затрагивается философией постмодернизма⁴⁰.

Для общества потребления характерно распространение логики товара на все сферы человеческой жизни и на любые отношения. В том именно смысле, что все оценивается с точки зрения прибыли и переводится в образы и знаки. И делают это не какие-то плохие люди. Такое положение дел нормально и неизбежно для патологической культуры. В своей основе потребление гедонистично и регрессивно, оно основано на редукционизме, на сведении сложного к простому, высокого — к низкому. Для человека потребления нет больше трансцендентного, есть только система знаков. Нет онтологического разделения на Добро и Зло, человек растворяется в системе знаков социального статуса.

Естественным образом или, точнее, по объективным причинам классические ценности и идеалы теряют свою актуальность в обществе потребления и подменяются наслаждением, эмансипацией личности и освобождением от давления требований действительности и морали.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 443.
- ² Там же. С. 443.
- ³ Там же. С. 446.
- ⁴ Там же. С. 448–462.
- ⁵ Мертон Р. Социальная структура и anomia. Цит. по: Кара-Мурза С. Г. Anomia в России: понятие, причины и проявления // Литературно-исторический журнал Великороссъ. 2012. № 2(4). С. 4.
- ⁶ Там же. С. 4.
- ⁷ Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 29–35.
- ⁸ Там же. С. 30–33.
- ⁹ “Марксизм и психоанализ обладают внутренней связностью лишь в своих частично-ограниченных пределах (каковых они сами не сознают), а потому и не могут быть генерализованы как общие аналитические схемы”. (Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2011. С. 385–386).
- ¹⁰ Барт Р. Критика и истина // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 344.
- ¹¹ Барт Р. Разделение языков // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989. С. 533.
- ¹² Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 101.
- ¹³ Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 34.
- ¹⁴ Там же. С. 42.
- ¹⁵ Там же. С. 44–45.
- ¹⁶ Жовтис А. Л. Уточнения к канонической версии // Аргументы и факты. 1991. № 38.
- ¹⁷ Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 52.
- ¹⁸ Соссюр Ф. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 101.
- ¹⁹ Панарин А. С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2002. С. 64.
- ²⁰ Сорокин П. А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 431.
- ²¹ Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 5.
- ²² Там же. С. 11.
- ²³ Там же. С. 15.
- ²⁴ Ницше Ф. В. Стихотворения. Философская проза. СПб., 1993. С. 376.
- ²⁵ Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 74.
- ²⁶ Там же. С. 98.
- ²⁷ Кара-Мурза С. Г. Anomia в России: понятие, причины и проявления // Литературно-исторический журнал Великороссъ, № 2(4), 2012. С. 6–7.
- ²⁸ Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006. С. 17.
- ²⁹ Там же. С. 110.
- ³⁰ Там же. С. 221.
- ³¹ Там же. С. 223.
- ³² Льюис К. С. Мерзейшая мощь // Собрание сочинений в 8 томах. Т. 4. СПб., 2003.
- ³³ Зиновьев А. А. Глобальный человек. М., 2003.
- ³⁴ Стругацкие А. Н. и Б. Н. Хищные вещи века. М., 2009.
- ³⁵ Там же. С. 112.
- ³⁶ Там же. С. 125.
- ³⁷ Там же. С. 153.
- ³⁸ Зенкин С. Н. Небожественное сакральное. М., 2000. С. 306.
- ³⁹ Там же. С. 307.
- ⁴⁰ Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб., 1994. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПб., 2000. Бодрийяр Ж. Соблазн. М., 2000.

ВАЛЕНТИНА ЕФИМОВСКАЯ

ПОДВИГ ЛЮБВИ

О книге Николая Иванова “Новеллы цвета хаки”

Творчество Николая Иванова вызывает широкий читательский интерес, получает высокую оценку благодаря его современному звучанию, приключенческой динамике, героической тональности, уникальной военной биографии автора. В новом издании известного московского прозаика собраны его работы, написанные в жанре новеллы. И хотя многие включённые в книгу произведения автора известны и были опубликованы ранее, книгу “Новеллы цвета хаки” можно назвать новой, потому что в ней созданы наилучшие условия для их восприятия, как говорил Павел Флоренский, – условия “благоденствия” художественного произведения. В результате создаётся целостное литературное полотно, глядя на которое можно говорить и о ценности каждого элемента, и о художественных особенностях творчества в целом, и о природе устойчивого интереса читателя к нему.

“Любимый враг”

Тема любви – сквозная тема многих произведений Николая Иванова, тонкого исследователя этого чувства, создателя лучших современных женских образов. Кажется, после литературы об Отечественной войне тема “женщина и война” уже должна быть исчерпана: что ещё можно добавить к щемящему откровению Юлии Друниной: “Кто говорит, что на войне не страшно, / Тот ничего не знает о войне” (1943)?.. Но автор новелл находит свою точку зрения, преломляет женский образ, пропуская его через восприятие мужским солдатским сердцем. Ошарашивающим, возмутительным кажется это восприятие на первых страницах лирической новеллы “Вера. Надежда. Война”. Не сразу читатель догадывается, что не женщинами пытаются прикрыться в бою молодые бойцы, а наоборот: воодушевляются спасительными женскими именами, которые они написали на своих танках, дав железным машинам имена любимых. Следствием такого неожиданного слияния разнородных образов в один – танка, олицетворяющего мужской боевой характер, и нежного женского имени любимой, на нём написанного, – является возникновение нового, проникновенного образа любви, повенчанной войной, любви, скреплённой героической жертвой. Война, как говорит писатель, – “идеальное место для любви”, ведь “сильнее всего женщин любят, когда их нет рядом”. Этот уникальный для современной литературы психологический авторский приём позволяет в максимальной степени передать художественными средствами

предельно возможный в неразделимости, чувственно-жертвенный накал великого жизнетворного чувства, восходящего в идеале к третьей, высшей ипостаси — любви к Родине.

Невозможно не сопереживать тому, как сильно они, эти молодые бойцы, прокопченные дымами боёв, кто с обожженными ушами, кто с беспальными руками, любят своих стальных возлюбленных! Как бесстрашно идут за них в бой, как закрывают собой бреши в атаке!

“И хотя были офицеры почти все в орденах и медалях, за подмогой всё же оглянулись на неровную шеренгу девочек. Выставленные словно на показ, без солдатского хоровода вокруг себя, они вдруг сделались беззащитными и жалкими. И даже Любашка, этот несмышлёныш, глупыш, лисёныш, уже не рада была, что вылезла вперёд, приняла на себя все мужские взоры. А из одежды-то — лишь бархатная пыль. И целоваться уже явно не хочется. И комбат недовольно поджимает губы: угораздило же ей иметь такое же имя, как и у его невесты. Сравнивай теперь, думай невольно, как оградить, спасти...”

Спасти! Вот главное стремление лирического героя новелл Николая Иванова, стремление, идущее не от ума, не от расчёта, но от сердца, от собственной любви, это сердце переполняющей. Да, спасти даже врага! “Любимый враг” — этим оксюмороном, принадлежащим Владимиру Соловьёву, исследовавшему смысл войны, можно обозначить новый для современной военной прозы нравственный конфликт, не подразумевающий, конечно, “любовь” заведомого предателя к врагу или материальную от него зависимость, например, корреспондента-русофоба, каковых много подкармливалось в Чеченских кампаниях.

Несмотря на то, что христианская заповедь проповедует принцип сострадания к каждой живой душе, она исключает врагов военных. *“...любимый враг перестает быть врагом, и с ним уже нельзя воевать” (Русские философы о войне. / В. В. Соловьёв. Смысл войны / Москва. Кучково поле. 2005. С. 27)*. И мы это знаем по великой трагедии Тараса Бульбы, потерявшего сына Андрия. Молодой воин покинул ради любимой-полячки поле битвы, которое и есть, по мысли Гоголя, для воина главное ложе любви. Герой новеллы Николая Иванова “Тот, кто стреляет первым” встречает “любимого врага” именно на этом “ложе любви” — на поле сражения. Но не чувственное влечение заставляет молодого офицера, оказавшегося на передовой грузино-осетинского конфликта, совершить подвиг ради спасения раненой грузинской девушки-спецназовца. Николай Иванов ставит и решает более сложную задачу. Его герой — солдат, давший присягу на верность Родине, а значит, на борьбу со всеми её врагами без исключения, — чувствует и пытается нравственно оправдать неодолимую духовную потребность спасти умирающую от смертельного ранения молодую женщину, оставленную своими сослуживцами под палящим солнцем на линии уже прекратившегося огня. Долгое, мучительное раздумье майора разрешилось мгновенным рывком к раненой, но вражеская пулемётная очередь оказалась быстрее: прошла грудь комбата, не позволила ему дотянуться до умирающей грузинки всего лишь на расстояние, равное стволу автомата, оказавшегося между ними.

“Утихло всё на нейтральной полосе. Земная жизнь начала течь уже без них, и, осознавая эту отрешенность, они вдруг потянулись навстречу друг другу липкими от крови пальцами. Словно уверовав, что спастись они могут только вместе...”

О чём эта новелла? Зачем лейтенант совершил, кажется, бессмысленный подвиг? Верить автору: во имя спасения.

“И перевалило солнце за валун. И сдалась девушка, прикрывая веки. И оставшийся в одиночестве майор тоже понял: всё! С этого момента ни ему, ни соседке не требовалось ни подтягивать под свои раны земной шар, ни отталкиваться от земли — та сама замерла перед тем, как принять рабов Божиих к себе...”

Понятно, что сложившаяся здесь психологическая ситуация “внеаходимости и противонаходимости другого” (М. М. Бахтин) не могла иметь никакого иного разрешения, кроме мистического. Но не для того она была смоделирована автором новеллы, чтобы исследовать её мистическую семантику. Писатели интересуют другие смыслы.

Несмотря на трагический финал новеллы, после её прочтения остаётся ощущение победы, ощущение возрастания личности героя, соучастия в его по-

двиге. Потому что в этом небольшом произведении Николай Иванов ставит задачу исследования возможностей нравственного развития личности в условиях войны, показывает, что это может быть и потрясение, связанное с неординарным событием. “К ненормативным относятся особые события, нетипичные, индивидуальные, правильнее сказать, непредсказуемые” (**Интеллект, воображение, интуиция. / В. Ананьев. Потрясение как подвиг развития личности. СПб, 2001. С. 250**). Таким событием для молодого комбата стали не только неожиданное вторжение врага на землю мирного народа, не только появление противника в образе девушки-спецназовца, но и её дальнейшая судьба, к которой он отнёсся с исконно русским чувством сострадания. Писатель показывает длительность переживания молодого русского солдата, осмысление им своих физических возможностей, нравственные и духовные колебания, разрешившиеся подвигом.

Но нужен ли был этот подвиг? Автор находит такие щемящие слова, такие косвенные доводы, что у читателя не возникает сомнений в том, что он нужен! Слышится что-то от Вселенского Отцовства в поступке героя, очевидна родовая связь с исконным человеческим инстинктом: спасти, защитить себе подобного, тем более слабого, даже вооружённую женщину-врага. Концентрация этого чувства стала одним из условий появления и развития такой святой общности, как Отечество, основанной в большей степени на законах нравственности, нежели на писаных, юридических законах.

Немаловажное значение эта новелла имеет и для прояснения национального вопроса. Показывая последствия национальной обособленности, не способствующей делу мира, писатель заставляет читателя задуматься, говоря словами В. В. Соловьёва, о том, что *“истинное единство и желанный мир человечества должны основываться не на слабости и подавленности народов, а на высшем развитии их сил, на свободном взаимодействии восполняющих друг друга народностей”* (**Русские философы о войне. / В. В. Соловьёв. Смысл войны / Москва. Кучково поле. 2005. С. 41**). Только такие отношения спасительны и для государства, и для личности.

Чтобы быть убедительным, автор развивает действие новеллы в сфере военного конфликта, возникшего по вине наших единоверцев, — близкого нам грузинского народа. Поэтому вызывает абсолютное неприятие развязанная Тбилиси война, но не вызывает осуждения поступок героя, который идёт навстречу врагу с подвигом любви. За спасение бытия любви расплавляется герой своей жизнью, *“не требуя наград за подвиг благородный”* (А. С. Пушкин).

“Не требуя наград за подвиг благородный...”

Благо-родный — значит, произошедший от благого, обладающего высокими нравственными качествами рода. То, что герои новелл Николая Иванова ведут свою родословную именно от таких, весьма распространённых в России родов, отличившихся подвигами ещё в Отечественную, не вызывает сомнения. Ведь, действительно, не мыслят они своего служения за вознаграждение, за оценку, имеющую материальный образ или исчисление, считая себя награждёнными уже одной возможностью служить Родине. Но Божиим Промыслом каждого всё же ждёт награда.

Желаемый знак отличия за участие в боевых действиях получает хитрован из Госдумы в новелле “Дела земные”, решивший “прогуляться” в район боевых действий накануне выборов для поднятия своего рейтинга. Десантники, рискуя собственными жизнями, обеспечили ему участие в фальшивой боевой операции, дабы не подвергать “незаменимого” риску. И получили награду все: они — недоброжелательные окрики начальства, он (депутат со многоговорящей фамилией Махонький) — орден Мужества. А командир группы, *“подняв взгляд в просветлённое небо, не зная молитв и не привычный креститься, просто просил у него удачи своим разведчикам. Признавая, что дела земные вершатся под ним, под небом”...*

Не каждый на войне солдат может рассчитывать на такую удачу — остаться в живых, но кому она выпадает, принимает её как Божию награду. А кому на роду написано сложить голову, как в щемящей новелле “Помяни, Господи”, удостоивается “Вечной памяти”, “Со святыми упокой” и Жизни Вечной. Наивысшую награду получил реальный герой новеллы “Золотистый золотой”, мученик, местночтимый святой Евгений Родионов: у Престола Господнего мо-

лить Бога о нас грешных. Эта новелла – одно из совершенных произведений современной литературы, много о нём было мною сказано. Повторю лишь, что человека, пролившего слёзы или склонившегося в откровенном раздумье над рассказом “Золотистый золотой”, можно тоже считать воином, душою воюющим вместе со всей навеки обречённой на освободительную миссию Россией; а оставшегося равнодушным, не дрогнувшего сердцем читателя хочется назвать или врагом, или глупцом. Много причин тем слезам, в высшей ценности своей – животворящим и радостным. Как слепящее до слёз солнце, пронизывает и высвечивает происходящую трагедию название, подчеркивающее оптимистическую мысль жизнеутверждающего произведения, посвящённого великой непреодолимой наследственности подвига, исконно русской христианской жертвенности, передающейся из поколения в поколение. Мать совершает подвиг христианской материнской любви вслед за совершившим подвиг во имя Родины сыном, с кровью впитавшим веру матери, предки которой в своё историческое время стояли за Россией.

Мир новеллы “Золотистый золотой” является частью мира Божия, пронизанного Любовью, той, которая может нисходить до самых глубин ада, чтобы победить его. Красота художественного отображения победы этой Любви возводит новеллу “Золотистый золотой” на уровень лучших современных литературных произведений.

Желанной для него наградой награждён и главный герой новеллы “Комбатанты”, завершающей книгу “Новеллы цвета хаки”. Дискретным сюжетом, непривычной, вводящей в недоумение лексикой, жестокими сценами это произведение мгновенно втягивает заинтригованного читателя в напряжённую жизнь героев и не отпускает его до финальной строчки.

“Мелочей в моих действиях нет, здесь ничто не случайно: при малейшей попытке освобождения пленных одного зажигательного патрона по бензобаку окажется достаточно, чтобы поднять всех в небо одним клубом огня и дыма. Я ведь никогда не обманываю пленников: сказал, что спасение в темноте, так и цеплялись бы за мешки на головах, лелея надежду на недоразумение, которое вот-вот кончится. Сам иду за капонира, на ходу надевая маску-чулок и снимаю орденские планки с ещё советскими наградами. . .”

Только в конце становится ясно, что художник убедительно смоделировал и доподлинно показал возможность страшной ситуации плена. С облегчением мы постепенно начинаем понимать, что не в плену у боевиков оказались молодые корреспонденты, а на курсах выживания в боевых условиях, которыми руководит опытный матёрый десантник. Суворовский принцип “тяжело в ученье – легко в бою” и поныне незаменим. Отчасти это произведение автобиографическое: Николай Иванов является руководителем таких регулярных сборов для студентов-журналистов, готовящихся работать в “горячих точках”. Необходимо дать им почувствовать, что каждый комбатант, то есть непосредственный участник военных действий, ответственен за порученное дело и за собственную жизнь, что это не игра, не приключение. Руководитель-десантник вознаграждён за свою работу не только тем, что благодарные за выучку ребята и девчата хорошо усваивают его уроки, но главное – обрётённой верой в современную молодёжь, которая готова, рискуя жизнью, служить Родине везде, куда она ни пошлёт.

И мы вместе с автором радуемся, что есть ещё наследники боевого опыта, и вместе с ним укрепляемся в вере, что будут ещё наследники святого воинства, в рядах которого ныне молится о России наш современный святой Евгений Родионов. Хорошо, что такой обнадеживающей, оптимистично звучащей, но и предостерегающей новеллой заканчивается книга. Прочитанная до последней буквы, она остаётся как будто открытой, продолжается в будущее. И снимок с обложки, сделанный самим писателем, десантником, полковником Николаем Ивановым в Чечне на погранзаставе с Грузией, на котором радостно улыбаются уходящие то ли на боевую операцию в горы, то ли в небо молодые русские воины, усиливает эту уверенность в нас, остающихся на земле, но вместе с автором книги “Новеллы цвета хаки” не отрывающих взора от небес.

С-Петербург

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

“Я ВЫБРАЛ ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ...”

Михаил Фёдоров. “Солдат правды”, Воронеж, 2013

Уходят последние фронтовики Великой Отечественной войны... Те, кому в 1941 году было 18 лет, и они только вступали во взрослую жизнь, сейчас уже перевалили свой 90-летний рубеж. Много ли их осталось?.. И ещё меньше осталось фронтовиков-писателей, людей особой судьбы, сумевших не только вынести все тяготы фронта и победить, но и сумевших рассказать после всю правду о страшной и великой войне, о судьбе человека на этой войне, о страданиях и славе, любви и смерти, не отступая от правды жизни, как бы горька она ни была.

Таким писателем-фронтовиком, “солдатом правды”, как назвал его Михаил Фёдоров – автор книги, посвящённой этому человеку, был Юрий Данилович Гончаров. Писатель, вся жизнь которого была связана с родным Воронежем, он и июнь 1941 года встретил в своём родном городе, и отсюда началась его военная судьба. Ему тогда было 18 лет... Нет, даже не 18, а всего только 17 – он родился 24 декабря 1923 года в семье большевика с революционным прошлым Даниила Степановича Гончарова, прошедшего к тому времени и Первую мировую, и гражданскую войну. А вот мать будущего писателя вышла из семьи священнослужителя, была дочерью дьякона, обладавшего незаурядным басом, гремевшим в Преображенском соборе в родной Бутурлиновке под Воронежем. Так Даниил Степанович и в советское время во всех анкетах писал о своей супруге: “дочь дьякона”, – и не боялся, что его из партии попрут. Сам он был выходцем из безземельных крестьян из-под Гомеля, белорус. А учился на телеграфиста, стал высококлассным специалистом, сдал экзамен на чиновника и имел звание губернского секретаря по “Табели о рангах”. И такие люди шли в революцию! Тут стоит задуматься, что социалистическую революцию в России не одни заезжие жидомасоны да террористы делали, как нас пытаются уверить нынешняя беспардонная пропаганда. Нет, нелегко жилось простому народу при “батюшке-царе”, и многие грамотные люди понимали это и шли в революцию вполне сознательно. Потому и полюбила этого человека, уже красного комиссара, мать будущего писателя, дочь дьякона, когда встретила его в тревожном и страшном 1919 году. А будущий отец писателя оборонял Воронеж от банд Шкуро, таскивших за собой огромные обозы с награбленным добром, а после стал одним из организаторов почтово-телеграфной службы в южных районах Советской России.

В такой достаточно благополучной, по тогдашним меркам, семье и родился будущий писатель в Воронеже, ставшем для него навек родным и любимым городом.

Книга Михаила Фёдорова – это документальное повествование о писателе Юрии Гончарове, рассказанное, по сути, им самим. И в этом смысле она является последним произведением писателя-ветерана. Задача Михаила Фёдорова здесь была направлять линию повествования на наиболее важные моменты жизни его собеседника. Эта задача ему удалась. Вот и счастливый путь детства Юрия Гончарова, о котором можно было бы рассказать подробнее, ведь с младых ногтей герой повествования рос и воспитывался как сугубо советский, кристально ясный в своём понимании жизни человек, сын старого большевика, сам – активный пионер, побывавший даже в Артеке в 1935 году; после – комсомолец, путь которого после окончания школы был ясен и определён – институт, партия, советская работа... этот путь прерывается правдой жизни, которая вовсе не была в те годы так безоблачна и счастлива.

Юрий Данилович вспоминает, как попались ему в руки дневники его дяди – старшего брата отца, Ивана Степановича Гончарова, раскулаченного зажиточного крестьянина из-под Гомеля, отправленного в 1931 году со всем семейством за отказ вступать в колхоз на поселение в Сибирь. Страшные строки о голоде, о холоде, о смертях родственников в этой Сибири потрясли молодую душу комсомольца и заставили его по-иному взглянуть на мир, который простирался рядом с его безоблачным детством. А писательская жилка проснулась в нём рано! Он же был активистом и как активист выступал в пионерских передачах на радио, потом стал заниматься в литературной студии при местной газете “Молодой коммунар”, там же в 1940 году и опубликовал свой первый рассказ. С этого момента Юрий Данилович станет вести отсчёт своей писательской биографии.

Родители не мешали ему заниматься литературой. Писательство в Советском Союзе было работой почётной, уважаемой. Писателей ставили высоко, смотрели на них, как на “инженеров человеческих душ”, по меткому высказыванию И. В. Сталина, который как-то на встрече с литераторами поднял тост за писателей со словами: “Человек перерабатывается самой жизнью. Но и вы помогаете переделке его души. Это важное производство – души людей. Вы – инженеры человеческих душ”. После, правда, на волне “развенчания культа личности” Сталина выражение это стали приписывать Юрию Олеше. Как бы там ни было, но Юрий Гончаров к моменту окончания школы писателем быть не хотел. Он выбрал путь лесовода и поступил в лесной институт. А было это уже в 1941 году...

Грянула Великая Отечественная война, но студентов первого курса, которым не исполнилось ещё 18 лет, в армию не брали, а послали на уборку урожая. Работали весь август и сентябрь на жарких воронежских полях. Скирдовали снопы хлеба, и это была для Юрия Гончарова первая серьёзная тяжёлая работа. Хлеб убирали спешно, работали от зари до зари – “Всё для фронта, всё для победы!” – а пришлось этот хлеб жечь... Враг наступал слишком быстро, линия фронта нависала над воронежской землёй и – запылала по всей южной степи готовые уже скирды золотого хлеба!.. Это была первая несправедливость, с которой пришлось столкнуться в жизни будущему писателю. Как же: работали, работали, надрывались из последних сил, а теперь всё уничтожаем своими руками... Может, отсюда, от этого случая берёт начало критический взгляд писателя на окружающую действительность, и, соответственно, в дальнейшем возникает у него желание писать только правду, не скрывая ничего, – ни героических, ни горестных страниц войны.

Фронт приближался к Воронежу, и Юрий Гончаров вместе со своей семьёй оказался в эвакуации на Алтае, под Барнаулом, работал на военном заводе токарем, точил болванки для снарядов. Может, и забыл бы он совсем о литературном творчестве – не до того было! – но литература сама пришла к нему в горячий цех в лице комсомольского начальства и повела за собой в редакцию районной многотиражки. Учили парторги, что 18-летний парень уже что-то писал и даже публиковался. Такие кадры были нужны, и стал Юрий Гончаров редактором газеты, что выходила каждую неделю тиражом в 800 экземпляров. И это по военному времени! Работал он взахлёб, с упорством, и был, как он вспоминает, едва ли не единственным автором своей газеты. Это была уже настоящая литературская школа. Так прошёл будущий писатель школу труда, школу творчества, оставалось пройти школу войны... И она, эта школа, была уже не за горами.

В 1942 году Юрий Гончаров, которого до поры до времени, в связи с проблемами со зрением, не призывали в действующую армию, поступил учиться в педагогический институт на филфак в Уральске. Вот ведь, война шла страшная, страна напрягала последние силы, фашист стоял на Волге, а в стране работали вузы, набирали студентов, разумеется, из числа тех, кого по здоровью не призывали на фронт. Страна думала о своём мирном будущем, загодя готовила школьных учителей, но этим будущим учителям своё высшее образование пришлось получать ещё и в окопах. Эта судьба не минула и студента Гончарова. В конце 1942 года, в самое тяжёлое время Сталинградской битвы, его призвали в армию, но не отправили в числе молодых и необученных сразу на линию огня, а полгода ещё готовили к будущим сражениям, прививая воинские навыки в степных лагерях под Оренбургом. Уж пришлось там студенту Гончарову подолбить твёрдой, как камень, целинной землицы, вырывая на учения окопы полного профиля, ползая на брюхе по степным бурьянам, вброд форсируя бурную реку Урал, где утонул легендарный Чапаев. Но как же пригрозилась ему эта наука потом на фронте, когда многие его товарищи погибали, не успев вырыть себе надлежащее убежище!

Как-то летним днём 1943 года вывели учебную часть на станцию, команда “по ва-го-нам!” грянула, и погнали состав с новобранцами “со страшной скоростью”, как пишет Гончаров, прямо на фронт. Ехали через Саратов, через Лиски, а это уже родная воронежская земля, ехали на Курск, а выгрузили эшелон в Волчанске, и уже слышен был дальний гул артиллерии, зарево пожаров вставало вдаль – это горела и сражалась огненная Курская дуга...

Дальнейший рассказ писателя – это одна кровавая рана. Участвовал он в атаках на вражеские позиции без всякой поддержки танков и техники, даже без артподготовки. Выходил командир роты: “Вперёд! Перебежками! Наступать! В атаку! Чего лежите! Чего немцев боитесь! Сейчас мы их собьём...” Так и шли в атаку, а сбить немцев было непросто: у них было много автоматического оружия, особо скорострельные пулемёты МГ-34, производившие восемьсот выстрелов в минуту! Вот и считайте наши потери. Как утверждает Гончаров: “Каждую ночь приводили пополнение, которое в течение дня расходилось полностью. Вот, бывало, я лежу в окопчике, который сам копал, а слева метров на пятнадцать никого нет, и справа никого нет. Я чувствую себя передним краем, фронтом чувствую – вот какие были ощущения”.

И под пером писателя определяется вопрос: “А почему мы столько потеряли?!” И возникает ощущение, что теряли в основном мы, а фашисты только расстреливали наших бойцов из своих скорострельных пулемётов. Но вряд ли это было так. И внимательно вчитываясь в текст воспоминаний Юрия Гончарова, как его передаёт Михаил Фёдоров, мы находим противоречивые суждения о потерях сторон во время войны. Вот только что Гончаров написал о гибели наших бойцов, идущих в бой даже без прикрытия артиллерии. Но вот он же описывает картину боёв под Харьковом: “Ох, я страшные вещи видел! Помню, мы уже окружали немцев под Харьковом. Перевес на нашей стороне по огню. Немцев просто рвали на клочья минами, и наши миномётчики стреляли крайне точно, крайне метко, а немцы копали окопы очень узкие... Внизу в этом окопе вырыта ниша, как нора. В некоторые такие норы легковой автомобиль можно загнать. Если начинался наш артиллерийский или миномётный огонь, то немцы ныряли вглубь своих ниш. Чтобы их поразить, нужно, чтобы мина попала точно в эту щель. А её ширина – сантиметров пятьдесят-шестьдесят. И наши миномётчики гвоздили точно в эти щели. Немцы, которые там находились, были искрошены, валились друг на друга, и вся эта щель, ниша была завалена трупами”. И таких описаний немало. Значит, не одни мы несли потери, доставалось и немцам, и артиллерия наша работала неплохо, и танки выручали пехоту!.. Сам Юрий Данилович признаётся, что остался жив во время одной такой атаки только благодаря глубокому танковому следу, колее, вырытой в мягком чернозёме танком лейтенанта Юрия Полиновского. Солдат Гончаров забился в этот след, и пули из немецкого скорострельного пулемёта прошли поверх. Много лет спустя писатель Юрий Данилович Гончаров нашёл этого танкиста, которому тогда, как и Гончарову, было всего 19 лет...

Героическое, легендарное поколение! Вот эти 19-летние пацаны и спасли нашу Родину в те грозные годы. Может быть, в награду некоторым из них и дарована была долгая и насыщенная жизнь. Тем, кто остался в живых... Ос-

тался в живых и Юрий Данилович Гончаров, который после ранения был в чине ефрейтора комиссован вчистую и в 1944 году вернулся к своей учёбе. Переехал из Уральска в свой родной Воронеж, где и начал писать рассказы, повести, начал издаваться, и в 1948 году у него уже вышла первая книга рассказов. В 1949 году он вступил в Союз писателей СССР. Дальше – Москва, учёба на Высших литературных курсах, возвращение в родной город, где и прошла вся его творческая жизнь. Был он редактором отдела прозы знаменитого воронежского журнала “Подъём”, и при нём журнал этот стал одним из передовых литературно-художественных изданий страны. База была заложена в это журнал крепкая, так что и сейчас, в наше приземлённое, лишённое идеалов время, когда само звание писателя умалывается, а тиражи литературных изданий стремятся к нулю, журнал “Подъём”, тем не менее, остаётся значительным, заметным изданием, наряду с журналом “Наш современник” определяющим общий высокий уровень классической русской литературы.

Уходят последние фронтовики. Уходят фронтовики-писатели... Юрий Данилович Гончаров ушёл из жизни два года назад, и великое дело сделал Михаил Иванович Фёдоров, записав воспоминания своего земляка и издав их для нашего просвещения, для служения правде, солдатом которой навек останется писатель-фронтовик Юрий Данилович Гончаров. Воспоминания его, оформленные Михаилом Фёдоровым в документальную повесть-монолог “Солдат правды”, заканчиваются проникновенными мудрыми словами старого писателя: “Сколько мне осталось прожить, не знаю, но оставшиеся дни буду писать о людях, чьи судьбы потрясли меня и, я думаю, затронут души других. Я выбрал путь писателя и служил этому делу всю свою сознательную жизнь”.

ЗОЛОТАЯ ПОРА

Поэту Владимиру Скифу исполнилось 70 лет. Не верится! Читаешь его стихи – и радуешься свежести чувств, простодушной молодой впечатлительности, лёгкому, быстрому отклику на множество судьбоносных событий, то и дело происходящих в нашем мире, событий, изменяющих жизнь человечества столь быстро, что многие из нас не успевают понять: куда и зачем движется земная история. А Скиф успевает...

С той поры, как он, будучи шестнадцатилетним юношей, впервые опубликовал в 1961 году стихотворение, посвящённое полёту Гагарина, много воды утекло. Издано 22 книги стихотворений, получено множество больших и малых премий (последняя – премия “Нашего современника” за стихи, напечатанные в 2014 году), вложено столько сил в жизнь Иркутской писательской организации, одной из крупнейших в России...

Ведь недаром же иркутские писатели недавно снова избрали его своим руководителем.

Но для меня Владимир Скиф – прежде всего, поэт. В предисловии к его сборнику “Золотая пора листопада” несколько лет тому назад я написал такие слова:

“Владимир Скиф – поэт быстро вдохновляющийся, легко и обильно пишущий, стремящийся запечатлеть священный для него облик Родины – России:

*Дымится времени река,
Невзгоды, словно льдины, тают,
Идёт Россия сквозь века,
А может, в вечности плутает.*

Облик Родины для поэта складывается из многих светлых и священных понятий, которые, словно клейма, обрамляют центральное изображение иконы – это или озеро Байкал, или поэт Николай Рубцов, или град Иерусалим, или композитор Свиридов...

А ещё Александр Блок, Сергей Есенин, Василий Шукшин и многие другие образы небесной России. Но, побывав на неземных высотах, как и подобает православному человеку, облегчив созерцанием и молитвой душу, вчерашний язычник Владимир Скиф с тем большей страстью возвращается на землю, полную трав и ручьёв, цветов и пчёл...

“Ангел простых человеческих дел” – по словам Николая Клюева – охотно сопровождает его в самых немудрёных житейских работах: помогает колоть дрова, топить печь, собирать рыжики, солить капусту.

*Топор, колун — всё в действии сегодня.
Какая радость в мышцах и в душе!
А в чистом небе — Николай Угодник
С живой водой в невидимом ковше.*

Он же – этот Ангел – наущает писать стихи и “вновь за руки вести сквозь дни или века” своих детей, словом, жить на родной сибирской земле жизнью всех предыдущих поколений, освоивших прибайкальские просторы.

Владимир Скиф — поэт земной и грешный, многоглагольный и многострадальный, искренний и велеречивый, и, прочитав его книгу жизни от начала до последней строки, я подумал, что, выбирая свою подлинную тропу, спотыкаясь и останавливаясь, он идёт к истине:

*Истина — искра от Бога —
Вспыхнет и высветит высь.
Надо мне в жизни немного:
С истиной не разойтись.*

*Выбрать такую дорогу,
Где между пней и камней
Тропку, как ниточку к Богу,
Высветит истина в ней.*

*Чтобы я духом и телом
Все испытанья избыл,
Чтобы и словом, и делом
Свет искупленья добыл.*

*Надо мне в жизни немного:
Чтоб не махали ножом,
Чтоб у родного порога
Встретила мама с ковшом*

*И улыбалась нестрого...
Чтоб в золочёном венце
Истина — искра от Бога —
Мне посветила в конце.*

“Золотая пора листопада”... Пусть эта его пора длится как можно дольше...”

Станислав КУНЯЕВ

.....

“Дорогой Виктор Стефанович! Очень рад нашему давнему сотрудничеству и, глубже, содружеству!” — писал Вадим Кожинوف журналисту газеты “Правда” В. КОЖЕМЯКО. Таких отзывов у Виктора Стефановича наберётся немало. Добрые и даже восторженные слова в его адрес высказывали и Валентин Распутин, и Виктор Розов, и Александр Зиновьев. Почти полвека В. Кожемяко представляет в легендарной газете всё лучшее, что даёт русская литература и мысль. Немало публикаций вышло у него и в журнале “Наш современник”. В феврале замечательному подвижнику отечественной словесности исполняется 80 лет! Виктор Стефанович по-прежнему в строю, полон энергии и творческих планов. Поздравляем нашего давнего автора со славным юбилеем!

.....

Исполняется 65 лет Сергею Александровичу ТРАХИМЁНКУ! Родившийся в Сибири писатель в полной мере раскрыл свой талант в братской Беларуси. Но он не забывает и о своих корнях, активно публикуясь в российской печати, прежде всего в журнале “Наш современник”. Нашим читателям он известен как автор острозаметной, насыщенной социальной проблематикой прозы. В ближайших номерах “Нашего современника” будут напечатаны новые произведения Сергея Александровича. Поздравляем нашего друга и автора!